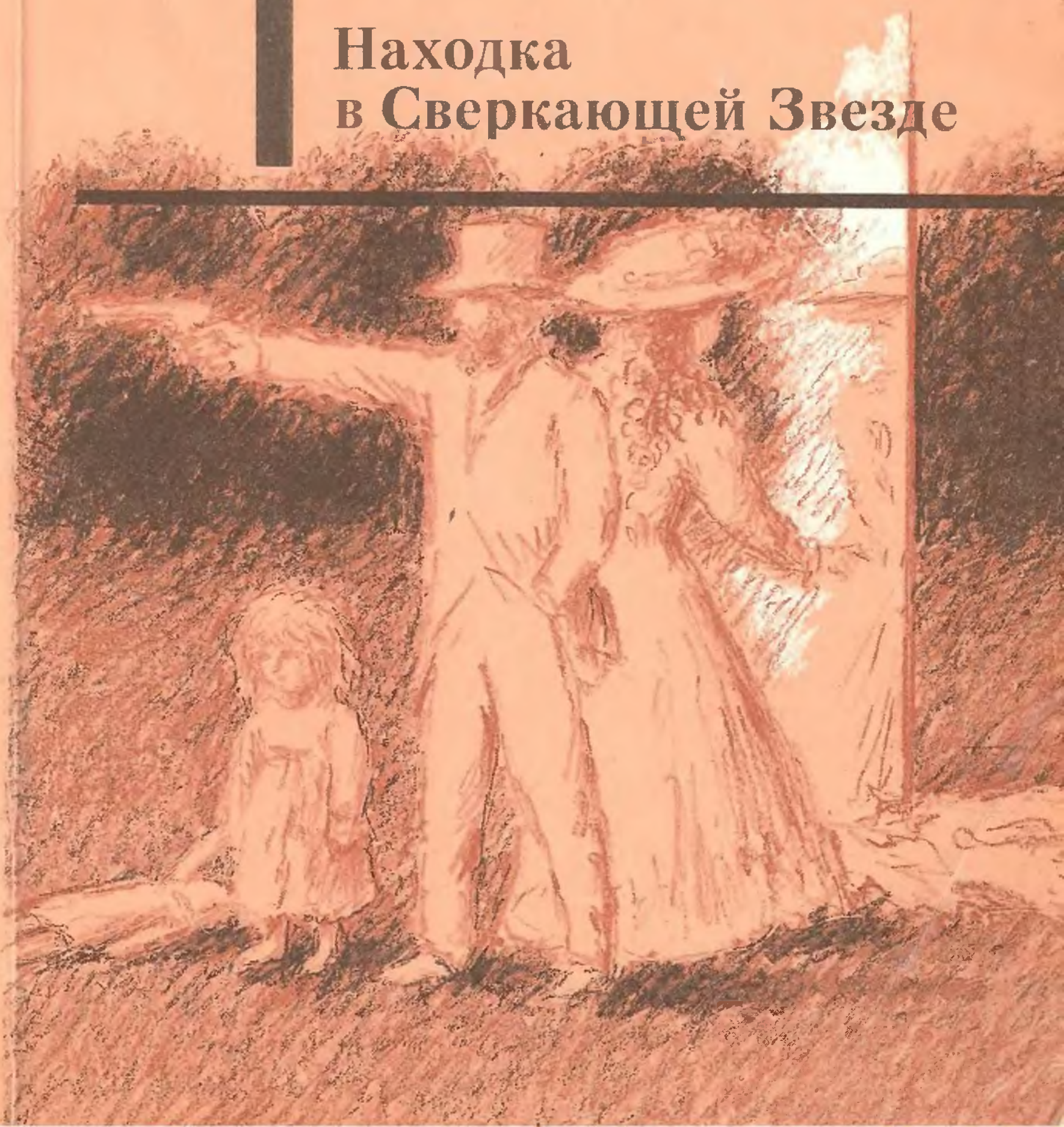




Мир приключений

**БРЕТ ГАРТ**

**Находка  
в Сверкающей Звезде**





**Scan Kreyder - 12.10.2014**  
**STERLITAMAK**



Мир приключений

**БРЕТ ГАРТ**

**Находка  
в Сверкающей Звезде**  
РАССКАЗЫ

**История  
одного рудника**  
ПОВЕСТЬ

МОСКВА · ИЗДАТЕЛЬСТВО « ПРАВДА »  
1991

84.7 США

Г 20

*Переводы с английского*

Послесловие

А. М. Зверева

Иллюстрации

Н. Г. Раковской

Г  $\frac{4703000000-2072}{080(02)-91}$  2072—91

ISBN 5—253—00155—7

©Издательство «Правда», 1991.  
Послесловие.  
Иллюстрации.



# Рассказы



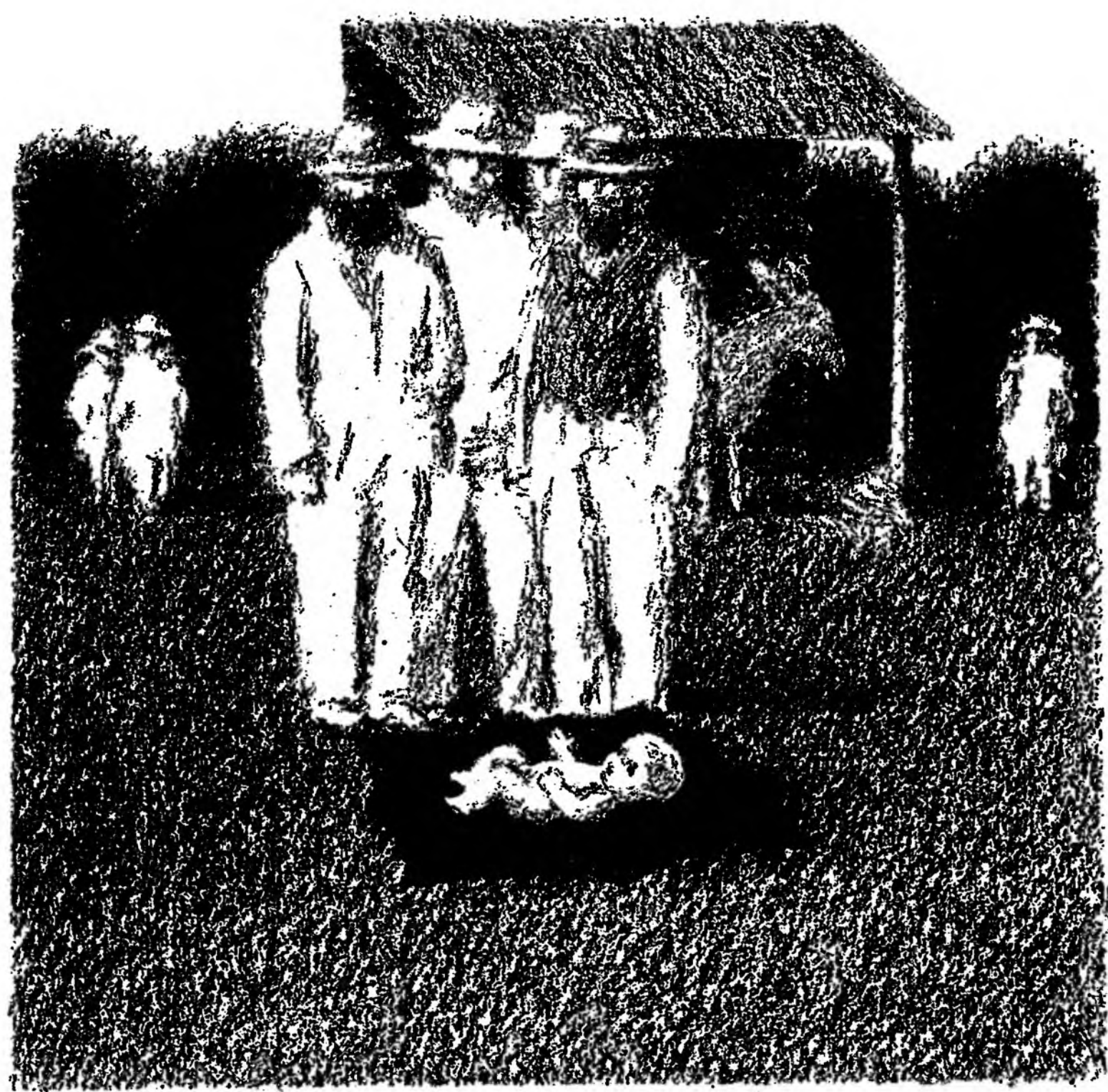
---

## Счастье Ревущего Стана

В Ревущем Стане царило смятение. Его вызвала не драка, ибо в 1850 году драки вовсе не представляли собой такого уж редкостного зрелища, чтобы на них сбегался весь поселок. Обезлюдели не только заявки и канавы — пустовала даже «Бакалея Татла». Игроки покинули ее — те самые игроки, которые, как все мы помним, преспокойно продолжали игру, когда Француз Пит и канак Джо уложили друг друга наповал у самой стойки. Весь Ревущий Стан собрался перед убогой хижинкой на краю расчищенного участка. Разговор велся вполголоса, и в нем часто упоминалось женское имя. Это имя — черок-ийка Сэл — все здесь хорошо знали.

Пожалуй, чем меньше о ней рассказывать, тем лучше. Сэл была грубая и, увы, очень грешная женщина, но других в Ревущем Стане тогда не знали. И вот сейчас эта единственная женщина в поселке находилась в том критическом положении, когда ей был особенно нужен женский уход. Беспутная, безвозвратно погрязшая в пороке, никому не нужная, она лежала в муках, трудно переносимых, даже если их облегчает женское сострадание, и вдвойне тяжких, когда возле страждущей никого нет. Расплата настигла Сэл так же, как и нашу праматерь, совсем одну, что делало кару за первородный грех еще более страшной. И, может быть, с этого и начиналось искупление ее вины, ибо в ту минуту, когда ей особенно не доставало женского сочувствия и заботы, она видела вокруг себя только полупрезрительные лица мужчин. И все же, мне думается, что кое-кого из зрителей тронули ее страдания. Сэнди Типтон сказал: «Плохо твое дело, Сэл!» — и, глядя, как она мучается, на минуту даже пренебрег тем обстоятельством, что в рукаве у него были припрятаны туз и два козыря.





Случай был действительно из ряда вон выходящий. Смерть считалась в Ревущем Стане делом самым обычным, но рождение было в новинку. Людей убивали из поселка решительно и бесповоротно, не оставляя им возможности прийти обратно, а, как говорится, *ab initio*<sup>1</sup> там еще никто и никогда не появлялся. Отсюда и всеобщее волнение.

— Зайди туда, Стампи,— сказал, обращаясь к одному из зевак, некий почтенный обитатель поселка, известный под именем Кентукки.— Зайди посмотри, может, помочь нужно. Ты ведь смыслишь в этих делах.

Такой выбор был, пожалуй, обоснован. В других палестинах Стампи считался главой сразу двух семейств, и Ревущий Стан — прибежище отверженных — был обязан обществом Стампи явной незаконности его семейного положения. Толпа одобрила эту кандидатуру, и у Стампи хватило благоразумия подчиниться воле большинства. Дверь за скороспелым хирургом и акушером закрылась, а Ревущий Стан расселся вокруг, закурил трубки и стал ждать исхода событий.

Возле хижины собралось человек сто. Один или двое из них скрывались от правосудия; имелись здесь и закоренелые преступники, и все они, вместе взятые, были народ отпетый. По внешности этих людей нельзя было догадаться ни о их прошлом, ни о их характерах. У самого отъявленного мошенника был рафаэлевский лик с копной белокурых волос. Игрок Окхерст меланхолическим видом и отрешенностью от всего земного походил на Гамлета; самый хладнокровный и храбрый из них был не выше пяти футов ростом, говорил тихим голосом и держался скромно и застенчиво. Прозвище «головорезы» служило для них скорее почетным званием, чем характеристикой.

Возможно, у Ревущего Стана был недочет в таких пустяках, как уши, пальцы на руках и ногах и тому подобное, но эти мелкие изъяны не отражались на его коллективной мощи. У местного силача на правой руке насчитывалось всего три пальца; у самого меткого стрелка не хватало одного глаза.

Такова была внешность людей, расположившихся вокруг хижины. Поселок лежал в треугольной долине

---

<sup>1</sup> С самого начала (*лат.*).

между двумя горами и рекой. Выйти из него можно было только по крутой тропе, которая взбегала на вершину горы прямо против хижины и теперь была озарена восходящей луной. Страждущая женщина, наверно, видела со своей жесткой постели эту тропу — видела, как она вьется серебряной нитью и исчезает среди звезд.

Костер из сухих сосновых веток помог людям разговориться. Мало-помалу к ним вернулось их обычное легкомыслие. Предлагались и охотно принимались пари относительно исхода событий. Три против пяти, что Сэл «выкарабкается» и что даже ребенок останется жив; заключались и дополнительные пари — относительно пола и цвета кожи ожидаемого пришельца. В разгаре оживленных споров в группе, сидевшей поближе к дверям, слышалось восклицание, остальные замолчали и насторожились. Пронзительный жалобный крик, какого в Ревущем Стане еще не слышали, прорезал стоны качающихся на ветру сосен, торопливое журчание реки и потрескивание костра. Сосны перестали стонать, река смолкла, костер затих. словно вся природа замерла и тоже насторожилась.

Все как один вскочили на ноги. Кто-то предложил взорвать бочонок с порохом, но остальные вняли голосу благоразумия, и дело ограничилось несколькими выстрелами из револьверов, ибо вследствие ли несовершенства местной хирургии или каких-либо других причин жизнь черокийки Сэл быстро угасала. Прошел час, и она как бы поднялась по неровной тропе к звездам и навсегда покинула Ревущий Стан с его грехом и позором.

Вряд ли эта весть могла сама по себе хоть сколько-нибудь взволновать поселок, но о судьбе ребенка он задумался. «Выживет ли?» — спросили у Стампи. Ответ последовал неуверенный. Единственным в поселке существом одного пола с черокийкой Сэл, вдобавок тоже ставшим матерью, была ослица. Кое-кто высказывал сомнения, годится ли она, но все же решили попробовать. Это было, пожалуй, вернее, чем древний опыт с Ромулом и Ремом, и, по-видимому, могло сулить не меньший успех.

После обсуждения подробностей, занявшего еще час, дверь отворилась, и любопытствующие мужчины, выстро-



ившись в очередь, гуськом стали входить в хижину. Рядом с низкой койкой или скамьей, на которой под одеялом резко проступали очертания тела матери, стоял сосновый стол. На столе был поставлен свечной ящик, и в нем, закутанный в ярко-красную фланель, лежал новый житель Ревущего Стана. Рядом с ящиком лежала шляпа. Назначение ее скоро выяснилось.

— Джентльмены, — заявил Стампи, своеобразно сочетая в своем тоне властность и (*ex officio*<sup>1</sup>) некоторую долю учтивости, — джентльмены благоволят войти через переднюю дверь, обогнуть стол и выйти через заднюю. Кто захочет пожертвовать сколько-нибудь в пользу сироты, обратите внимание на шляпу.

Первый из очереди вошел в хижину, осмотрелся по сторонам и обнажил голову, бессознательно подав пример следующим. В подобном обществе заразительны и хорошие и дурные поступки.

По мере того как зрители гуськом входили в хижину, слышались критические замечания, обращенные больше к Стампи, как к распорядителю.

— Вот он какой!

— Мелковат!

— А смуглый-то!

— Не больше пистолета.

Дары были не менее своеобразны: серебряная табакерка, дублон, пистолет флотского образца с серебряной насечкой, золотой самородок, изящно вышитый дамский носовой платок (от игрока Окхерста), булавка с бриллиантом, бриллиантовое кольцо (последовавшее за булавкой, причем жертвователь отметил, что он видел булавку и выкладывает двумя бриллиантами больше), рогатка, Библия (кто ее положил, осталось неизвестным), золотая шпора, серебряная чайная ложка (к сожалению, должен отметить, что монограмма на ней не соответствовала инициалам жертвователя), хирургические ножницы, ланцет, английский банкнот в пять фунтов и долларов на двести золотой и серебряной монеты.

Во время этой церемонии Стампи хранил такое же бесстрастное молчание, как и тело, лежавшее слева от него, такую же нерушимую серьезность, как и новорожденный, лежавший справа. Порядок этой странной процессии был нарушен только раз. Когда Кентукки с любопыт-

---

<sup>1</sup> По должности (*лат.*).

ством заглянул в свечной ящик, ребенок повернулся, судорожно схватил его за палец и секунду не выпускал из рук. Кентукки стоял с глуповатым и смущенным видом. Что-то вроде румянца появилось на его обветренных щеках.

— Ах ты, чертенок проклятый! — сказал он и высвободил палец таким нежным и осторожным движением, какого от него трудно было ожидать.

Выходя из хижины, он оттопырил этот палец и недоуменно осмотрел его со всех сторон. Осмотр вызвал тот же своеобразный комплимент по адресу ребенка. Кентукки как будто доставляло удовольствие повторять эти слова.

— Ухватил меня за палец, — сказал он Сэнди Типтону. — Ах ты, чертенок проклятый!

Только в пятом часу утра Ревущий Стан отправился на покой. В хижине, где остались бодрствовать несколько человек, горел свет. Стампи в эту ночь не ложился. Не спал и Кентукки. Он много пил и со вкусом рассказывал о происшествии, неизменно заключая свой рассказ проклятием по адресу нового обитателя Ревущего Стана. Оно как будто предохраняло его от несправедливых обвинений в чувствительности, а у Кентукки были некоторые слабости, украшающие более благородную половину рода человеческого. Когда все улеглись спать, Кентукки, задумчиво посвистывая, спустился к реке. Потом, все еще посвистывая, поднялся по ущелью мимо хижины. Дойдя до гигантской секвойи, он остановился, повернул обратно и снова прошел мимо хижины. На полпути к берегу он опять остановился, опять повернул обратно и постучал в дверь. Ему открыл Стампи.

— Ну, как дела? — спросил Кентукки, глядя мимо Стампи на свечной ящик.

— Все в порядке, — ответил тот.

— Ничего нового?

— Ничего.

Наступило молчание — довольно неловкое. Стампи по-прежнему придерживал дверь. Тогда Кентукки, решив прибегнуть к помощи все того же пальца, протянул вперед руку.

— Ведь ухватился за него, чертенок проклятый! — сказал он и пошел прочь.

На следующий день Ревущий Стан в соответствии со своими возможностями устроил чернокике Сэл скромные проводы. После того как ее тело было предано земле на склоне горы, весь поселок собрался на обсуждение вопроса, что делать с ребенком. Решение усыновить его было принято единогласно и с большим подъемом. Однако сейчас же вслед за тем разгорелись споры относительно способов и возможностей удовлетворить потребности приемыша. Интересно отметить, что в прениях совершенно не было слышно ядовитых личных намеков и грубостей, без чего раньше не обходился ни один спор в Ревущем Стане. Типтон предложил отправить ребенка в поселок Рыжая Собака — за сорок миль, где можно будет поручить его женским заботам. Но эту неудачную мысль встретили единодушным и яростным возмущением. Было ясно, что участники собрания не примут никакого плана, который грозит им разлукой с их новым приобретением.

— Не говоря уж обо всем прочем, — сказал Том Райдер, — надо и о том подумать, что этот сброд в Рыжей Собаке наверняка подменит его и потом всучит нам другого. — Неверие в порядочность соседних поселков было так же распространено в Ревущем Стане, как и в других местах.

Предложение допустить в поселок кормилицу тоже встретили неодобрительно. Кто-то из ораторов заявил, что ни одна порядочная женщина не согласится жить в Ревущем Стане, «а другого сорта нам не нужно — хватит!». Этот намек на покойницу мать, хоть и весьма язвительный, был первым порывом благопристойности — первым признаком морального возрождения Ревущего Стана. Стампи не принимал участия в спорах. Может быть, чувство деликатности не позволяло ему вмешиваться в выборы своего преемника по должности. Но когда к нему обратились с вопросом, он решительно заявил, что они с Джинни — это было млекопитающее, о котором упоминалось выше, — как-нибудь вырастят ребенка. В этом плане были оригинальность, независимость и героизм, пленившие поселок. Стампи остался на своем посту. В Сакраменто послали за кое-какими покупками.

— Смотри, — сказал казначей, вручая посланцу мешок с золотым песком, — брать все самое лучшее, чтобы там с кружевами, с вышивкой, с рюшками — плевать на расходы!



Как ни странно, ребенок благоденствовал. Возможно, живительный горный климат возмещал ему многие лишения. Природа приняла найденыша на свою могучую грудь. В прекрасном воздухе Сьерры, воздухе, полном бальзамических ароматов, бодрящем и укрепляющем, как лечебное снадобье, он нашел для себя пищу, или, может быть, некое вещество, которое превращало молоко ослицы в известь и фосфор. Стампи склонялся к убеждению, что все дело в фосфоре и в хорошем уходе.

— Я да ослица, — говорил он, — мы для него все равно что отец с матерью! — И добавлял, обращаясь к беспомощному комочку: — Смотри, брат, не вздумай потом отречься от нас!

Когда ребенку исполнился месяц, необходимость дать ему имя стала совершенно очевидной. До сих пор его называли то «Малышом», то «приемышем Стампи», то «Кой-отом» (намек на его голосовые данные); применяли и ласкательное прозвище, пущенное в ход Кентукки: «Чертенок проклятый». Но все это казалось неопределенным, недостаточно выразительным и наконец было отброшено под влиянием некоторых обстоятельств.

Игроки и авантюристы — люди большей частью суеверные. В один прекрасный день Окхерст заявил, что младенец принес Ревущему Стану счастье. Действительно, за последнее время жителям его здорово везло. Решили так и назвать ребенка Счастьем, а для большего удобства присовокупили к прозвищу имя Томми. О матери его при этом никто не упомянул, отец же был неизвестен.

— Самое верное дело — начать новый кон, — сказал Окхерст (у него был философский склад ума). — Назовем малыша Счастьем и с этим и пустим его в жизнь.

Назначили день крестин. Читатель, имеющий уже некоторое понятие о бесшабашной нечестивости Ревущего Стана, может вообразить, что должна была представлять собой эта церемония. Церемониймейстером избрали некоего Бостона, известного остряка, и все предвкушали, что на предстоящем торжестве можно будет здорово поразвлечься. Изобретательный юморист потратил два дня на подготовку пародии на церковный обряд и снабдил ее язвительными намеками на присутствующих. Обучили хор, роль крестного отца поручили Сэнди Типтону. Но, когда процессия с флажками и музыкой проследова-

ла к роше и ребенка положили у некоего подобия алтаря, перед насторожившейся толпой вырос Стампи.

— Не в моих обычаях портить веселье, друзья, — сказал этот маленький человечек, решительно глядя прямо перед собой, — но, сдаётся мне, мы поступаем не по-честному. Зачем затевать комедию, когда мальчишка ещё и шуток не понимает? А уж если здесь и крестный отец намечается, то хотел бы я знать, у кого на это больше прав, чем у меня! — Слова Стампи были встречены молчанием. К чести всех юмористов, надо сказать, что автор пародии первым признал справедливость этих слов, хотя они и принесли ему разочарование. — Однако, — быстро продолжал Стампи, чувствуя, что успех на его стороне, — мы собрались на крестины, и крестины состоятся. Согласно законам Соединённых Штатов и штата Калифорния и с помощью божией нарекаю тебя Томасом-Счастьем.

В первый раз имя божие произносилось в поселке без кощунства. Обряд крещения был настолько нелеп, что вряд ли даже сам юморист мог придумать что-нибудь подобное. Но, как ни странно, никто этого не замечал, никто не смеялся. Томми окрестили с полной серьёзностью, точно обряд совершался под кровом церкви; он плакал, и его утешали, как полагается.

Так началось возрождение Ревущего Стана. Перемены происходили в нём почти незаметно. Прежде всего преобразилась хижина, отведенная Томми-Счастью, или просто Счастью, как его чаще звали. Её тщательно вычистили и побелили. Потом настлали пол, повесили занавески, оклеили стены обоями. Колыбель палисандрового дерева, которую везли восемьдесят миль на муле, по выражению Стампи, «забила всю остальную мебель». Поэтому понадобилось поддержать честь прочей обстановки. Посетители, заходившие к Стампи справляться, «как идут дела у Счастья», относились к этим переменам одобрительно, а конкурирующее заведение «Бакалея Татла» раскачалось и в целях самозащиты обзавелось ковром и зеркалами. Отражения, появлявшиеся в этих зеркалах, привили Ревущему Стану более строгие понятия о чистоплотности, тем паче, что Стампи подвергал чему-то вроде карантина всех, кто домогался чести и привилегии поддержать Счастье на руках. Лишение этой привилегии глубоко уязвило Кентукки, хотя оно было вызвано соображениями весьма ра-

зумного порядка, ибо он, со свойственной широким натурам небрежностью и в силу бродяжнических привычек, смотрел на одежду как на вторую кожу, которая, точно у змеи, должна истлеть, прежде чем человек от нее избавится. Но влияние всех этих новшеств, хоть и неумолимое, было так сильно, что впоследствии Кентукки каждый день появлялся в чистой рубашке и с лицом, лоснящимся от омовений. Не пренебрегали и моралью и другими законами общежития. Томми, вся жизнь которого, по общему мнению, протекала в непрерывных попытках отойти ко сну, должен был наслаждаться тишиной. Крики и вопли, вследствие коих поселок получил свое злосчастное прозвище, вблизи хижины запрещались. Люди говорили шепотом или с важностью индейцев покуривали трубки. По молчаливому соглашению ругань была изгнана из этих священных пределов, а такие выражения, как, например, «тут счастья днем с огнем не сыщешь» или «нет и нет счастья, пропади оно пропадом», совсем перестали употребляться в поселке, ибо в них теперь слышался намек на определенную личность. Вокальная музыка не возбранялась, поскольку ей приписывали смягчающее и успокаивающее действие, а одна песенка, которую исполнял английский моряк по кличке Джек Матрос, капитан из австралийских колоний ее величества, пользовалась особенной популярностью в качестве колыбельной. Это была мрачная, в унылом миноре, повесть о семидесятичетырехпушечном корабле «Аретуза». Каждый куплет ее заканчивался протяжным, замирающим припевом: «На борту-у-у Арету-у-зы». Надо было видеть это зрелище, когда Джек держал Счастье на руках и, покачиваясь из стороны в сторону, будто в такт движению корабля, напевал свою матросскую песенку! То ли от мерного покачивания Джека, то ли от длины песни — в ней было девяносто куплетов, которые певец добросовестно доводил до грустного конца, — но колыбельная всегда производила желательное действие. Упиваясь этими песнопениями в мягких летних сумерках, обитатели поселка обычно лежали, растянувшись во весь рост, под деревьями и покуривали трубки. Неясное ощущение идиллического блаженства реяло над Рёвущим Станом.

— Прямо как в раю, — говорил англичанин Симмонс, задумчиво подпирая голову рукой. Это напоминало ему Гринвич.



В длинные летние дни Томми-Счастье уносили к ущелью, где Ревущий Стан пополнял свои золотые запасы. Там он лежал на одеяле, постланном поверх сосновых веток, а внизу, в канавах, шла работа. Потом кое-кто стал делать неловкие попытки убрать это уединенное местечко цветами и душистыми травами — Томми приносили азалии, дикую жимолость, тигровые лилии. Жителям поселка вдруг открылась красота и ценность этих пустыков, которые они столько лет равнодушно попирали ногами. Пластинка блестящей слюды, кусочки разноцветного кварца, яркий камешек со дна реки обрели прелесть для прояснившихся, тверже смотревших глаз и приберегались в подарок Счастью. Просто чудо, сколько сокровищ давали леса и горные склоны — сокровищ, которые были «в самый раз нашему Томми». Надо полагать, что маленький Томми, окруженный игрушками, невиданными даже в сказочной стране, не мог пожаловаться на свою жизнь. Вид у малыша был безмятежно-счастливый, хотя ребяческая важность и задумчивый взгляд его круглых серых глаз по временам тревожили Стампи. Томми был всегда послушным и тихим, но однажды с ним произошел такой случай: выбравшись за пределы своего «корраля» — загородки из перевитых сосновых веток, — он ткнулся головой в мягкую землю и, с невозмутимой серьезностью задрал ножки кверху, пробыл в таком положении добрых пять минут. Когда его подняли, он даже не пискнул. Я не решаюсь приводить здесь многие другие доказательства ума Томми, ибо они основываются только на пристрастных свидетельствах его друзей. Кроме того, часть этих рассказов не свободна от некоторого привкуса суеверия.

— Лезу я сейчас вверх по склону, — рассказывал как-то Кентукки, еле переводя дух от восторга, — и — вот провалиться мне на этом месте! — сидит у него на коленях сойка, и он с ней разговаривает. Болтают за милую душу, воркуют оба, что твои херувимчики!

Как бы то ни было, но, выбиравшись ли Томми за ограду из сосновых веток, лежал ли безмятежно на спине, глядя на листву над головой, ему пели птицы, для него цокала белка, для него распускались цветы. Природа была его нянькой и товарищем его игр. Ему она протягивала сквозь ветви золотые солнечные стрелы — дотянись и схвати их! — ему слала легкий ветерок, приносивший с собой запах лавра и смолы: для него дружески и словно

в дремоте покачивали вершинами высокие деревья, жужжали шмели, и засыпал он под карканье грачей.

Такова была золотая пора Ревущего Стана. В те горячие денечки счастье играло в руку его обитателям. Заявки давали уйму золота. Поселок ревниво оберегал свои права и подозрительно посматривал на чужаков, иммиграция не поощрялась, и, чтобы еще больше отгородиться от внешнего мира, обитатели Ревущего Стана закрепили за собой участки по обе стороны гор, стеной окружавших долину. Это обстоятельство плюс репутация, которую заслужил Ревущий Стан благодаря своему искусству обращаться с огнестрельным оружием, сохраняли нерушимость его границ. Почтальон — единственное звено, соединявшее поселок с окружающим миром, — нередко рассказывал о нем чудеса. Он говорил:

— В Ревущем провели такую улицу! Куда там Рыжей Собаке! Вокруг домов у них насажены цветы, по стенам вьется плющ, моются они по два раза на дню. Но чужаку туда лучше носа не совать. А поклоняются они индейскому мальчишке.

Вместе с процветанием появилась и потребность в дальнейших усовершенствованиях. Было предложено выстроить весной гостиницу и пригласить на постоянное жительство два-три почтенных семейства, с расчетом, что Счастью пойдет на пользу женское общество. Столь серьезную уступку, сделанную этими людьми, весьма скептически взиравшими на добродетель и полезность прекрасного пола, можно объяснить только любовью к Томми. Кое-кто восставал против такой жертвы. Но план этот нельзя было осуществить раньше чем через три месяца, и меньшинство покорилося в надежде, что какие-нибудь непредвиденные обстоятельства помешают задуманному. Так оно и вышло.

Зима 1851 года долго будет памятна у подножия этих гор. На Сьерре выпал глубокий снег, и каждый горный ручеек превратился в реку, каждая река — в озеро. Ущелья наполнились бурными потоками, которые с корнем выдирали на своем пути громадные деревья, разносили плавник и камни по всей долине. Рыжую Собаку заливало уже дважды, и Ревущий Стан получил предостережение.

— Вода намывает золото в ущелья, — сказал Стампи. — Всегда так было, и так будет!

И в эту ночь Северный Рукав вдруг вышел из берегов и разлился по всему треугольнику Ревущего Стана.

В хаосе бурлящей воды, падающих деревьев, треска ветвей и тьмы, которая словно неслась вместе с водой и заливала прекрасную долину, трудно было отыскать жителей разрушенного поселка. Когда наступило утро, хижины Стампи, ближайшей к реке, на месте не оказалось. Выше по ущелью нашли тело ее незадачливого хозяина. Но гордость, надежда, радость, Счастье Ревущего Стана исчезло бесследно. Люди, вышедшие на его поиски, с тяжелым сердцем брели вдоль реки, как вдруг кто-то окликнул их. Окрик шел из спасательной лодки, плывшей вниз по течению. Она подобрала в двух милях отсюда мужчину и ребенка — обоих без признаков жизни. Кто-нибудь знает их? Они здешние?

Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать Кентукки, обезображенного, искалеченного, но все еще прижимающего к груди Счастье Ревущего Стана. Склонившись над этой странной парой, люди увидели, что ребенок уже похолодел и пульс у него не бьется.

— Умер, — сказал кто-то.

Кентукки открыл глаза.

— Умер? — чуть слышно проговорил он.

— Да, друг, и ты тоже умираешь.

Улыбка промелькнула в угасающих глазах Кентукки.

— Умираю, — повторил он. — Иду следом за ним. Скажите всем, что теперь Счастье всегда будет со мной.

И взрослого, сильного человека, хватающегося за хрупкое тело ребенка, как утопающий хватается за соломинку, унесла призрачная река, которая вечно катит свои волны в неведомое нам море.

## Компаньон Теннесси

Вряд ли кому-нибудь из нас было известно его настоящее имя. Впрочем, это обстоятельство не причиняло нам ни малейших неудобств в общении с ним, так как в 1854 году почти всех обитателей Сэнди-Бара окрестили заново. Прозвища давались или по какой-нибудь особенности в одежде, как это было с «Нанковым Джеком», или в насмешку над каким-нибудь чудачеством, как с «Содовым Биллом», который валил в хлеб свой насущный несуразное количество соды, или же из-за простой обмолвки, чему служит доказательством «Железный Пират» — тихий, безобидный человек, обязанный своей мрачной кличкой тому, что он неправильно произносил термин «железный пирит». Кто знает, может быть, так закладывались основы примитивной геральдики? Впрочем, я склонен объяснять пристрастие к прозвищам тем фактом, что в то время настоящее имя человека можно было узнать только с его собственных слов, никем и ничем не подтвержденных.

— Так тебя, говоришь, зовут Клиффорд? — с бесконечным презрением обратился Бостон к одному скромному новичку. — Такими Клиффордами в преисподней хоть пруд пруди! — И тут же представил нам несчастного, которого действительно звали Клиффорд, под именем «Болтуна Чарли». Эта кличка, рожденная минутным вдохновением нечестивца Бостона, так и пристала к Клиффорду на всю жизнь.

Но вернемся к Компаньону Теннесси, которого мы только и знали под этим именем, выражавшим его отношение к другому лицу. То, что он существует сам по себе как личность, и довольно яркая, стало нам ясно гораздо позже. В 1853 году он отправился из Покер-Флета в Сан-Франциско подыскать себе жену, но дальше Сток-

тона не уехал. Там его пленила одна молодая особа, прислуживавшая за столиками в ресторане, куда он ходил обедать. Однажды утром он сказал ей что-то такое, что заставило ее улыбнуться отнюдь не сурово, не без некоторого кокетства опрокинуть блюдо с гренками прямо на его серьезную, простоватую физиономию, обращенную к ней, и скрыться на кухне. Он проследовал туда же и через несколько минут вернулся, увенчанный опять-таки гренками и лаврами победы. Неделю спустя судья сочетал их браком, и молодожены приехали в Покер-Флет. Я знаю, что этот эпизод можно было бы разукрасить, но предпочитаю изложить его так, как он излагался в Сэнди-Баре — на заявках и в салунах, где всякая сентиментальность умеряется сильно развитым чувством юмора.

О супружеском счастье этой пары мало что известно, ибо сам Теннесси, который жил тогда у своего компаньона, вскоре обратился к новобрачной с какими-то словами, на которые она, как говорят, улыбнулась отнюдь не сурово и целомудренно скрылась, на этот раз в Мэрисвилл, куда за ней последовал и Теннесси, и где они зажили вдвоем без помощи судьи. Компаньон Теннесси отнесся к потере жены, как относился ко всему в жизни, — просто и серьезно. Но когда Теннесси в один прекрасный день вернулся из Мэрисвилла без жены своего компаньона — она улыбнулась еще кому-то и скрылась с ним, — Компаньон Теннесси, ко всеобщему изумлению, первый пожал ему руку и дружески приветствовал его. Люди, собравшиеся в каньоне поглазеть на поединок, естественно, вознегодовали. Их негодование могло бы перейти в едкие насмешки, но взгляд Компаньона Теннесси ясно говорил, что он не способен оценить юмор. В самом деле, это был человек серьезный, склонный всегда становиться на путь практических мероприятий, что в случае каких-либо недоразумений с ним грозило неприятностями.

Между тем в Сэнди-Баре о Теннесси сложилось неблагоприятное мнение. Все знали, что он нечисто играет, подозревали его и в воровстве. Все это в равной степени набрасывало тень и на Компаньона Теннесси: продолжение их дружбы после вышеизложенных событий можно было объяснить только сообщничеством в преступлениях. Наконец виновность Теннесси стала совершенно явной.

Однажды он нагнал на дороге человека, который шел в поселок Рыжая Собака. Впоследствии этот человек рассказывал, что Теннесси развлекал его в пути разными анекдотами и воспоминаниями и вдруг ни с того ни с сего закончил беседу следующими словами:

— А теперь, молодой человек, потрудитесь отдать мне ваш револьвер, нож и деньги. Чего доброго, попадете в беду с таким арсеналом, а на деньги ваши в Рыжей Собаке могут позариться какие-нибудь мошенники. Сдается, вы говорили, что проживаете в Сан-Франциско? Постараюсь вас навестить там.

Надо сказать, что у Теннесси было недюжинное чувство юмора, которое не покидало его даже тогда, когда он занимался серьезными делами.

Это был его последний подвиг. Рыжая Собака и Сэнди-Бар объединились против грабителя. На Теннесси устроили облаву, как на медведя-гризли. Видя, что сети опутывают его все туже и туже, он сделал отчаянную попытку прорваться сквозь поселок, разрядив револьвер в толпу перед салуном «Аркадия», и скрылся в Медвежьем каньоне. Но в конце каньона путь ему преградил человек на серой лошади. С минуту они молча смотрели друг на друга. Оба были бесстрашны, хладнокровны, уверены в себе; оба прекрасные образчики цивилизации, которых в семнадцатом веке назвали бы героическими личностями, а в девятнадцатом — попросту головорезами.

— Покажи свою игру — чья будет взятка, — спокойно сказал Теннесси.

— Два козыря и туз, — не менее спокойно ответил незнакомец, показывая два револьвера и охотничий нож.

— Моя карта бита, — сказал Теннесси. Отпустив эту игрецкую шуточку, он швырнул в сторону бесполезный револьвер и под конвоем своего поимщика отправился обратно.

Был жаркий вечер. Прохладный ветерок, поднимавшийся обычно с заходом солнца из-за гор, поросших густым чапаралем, на этот раз миновал Сэнди-Бар. В узком каньоне стоял душный запах смолы; с отмелей, заваленных сплавным лесом, тянуло гнилью. Лихорадочная суматоха и жаркие страсти, бушевавшие в тот день в поселке, еще не стихли. Вдоль речного берега, не отражаясь в мутной воде, сновали огоньки. За темными стволами сосен ярко светилося окно чердака над почтовой конторой,



и сквозь незанавешенное стекло зевакам, собравшимся внизу, были видны те, кто решал участь Теннесси. А вверху, надо всем этим, вырисовываясь на темном небосводе, поднималась Сьерра, далекая и равнодушная, увенчанная еще более далекими равнодушными звездами.

Суд над Теннесси велся настолько беспристрастно, насколько это соответствовало стремлению судьи и присяжных хоть как-нибудь оправдать в приговоре недостаточную юридическую обоснованность ареста и обвинительного заключения. Закон Сэнди-Бара разил неумолимо, но не мстил. Азарт и ярость, порожденные охотой на преступника, улеглись; заполучив Теннесси в свои руки, эти люди готовы были терпеливо выслушать любую речь в его защиту, заранее уверенные, что она будет недостаточно убедительна. Не сомневаясь в виновности подсудимого, они охотно давали ему право использовать в своих интересах любое колебание мнений. Уверенность в том, что преступник заслуживает петли, позволяла предоставить ему такие возможности защищаться, каких этот отчаянный смельчак, по-видимому, и не требовал. Судья, вероятно, был озабочен больше, чем подсудимый, который, не выказывая ни малейшего интереса к ходу дела, испытывал мрачное удовольствие при мысли о том, какую ответственность он налагает на других.

«Я в вашей игре не участвую», — таков был его неизменный, но беззлобный ответ на все вопросы. Судья — он же и поимщик Теннесси — на минуту почувствовал смутное сожаление, что не застрелил его на месте в то утро, однако поборол в себе эту человеческую слабость, как недостойную слуги закона. Тем не менее, когда послышался стук в дверь и выяснилось, что в пользу подсудимого хочет выступить Компаньон Теннесси, его сразу впустили. Присяжные помоложе, начинавшие изнывать от этой внушительной процедуры, в глубине души, может быть, приветствовали появление в зале суда нового лица, которое отнюдь не отличалось внушительностью. Приземистый, с квадратным, неестественно красным от загара лицом, в мешковатой парусиновой куртке и забрызганных красной глиной штанах, Компаньон Теннесси при любых обстоятельствах мог показаться фигурой весьма странной, а сейчас он был просто смешон. Когда он нагнулся поставить на пол тяжелый ковровый саквояж, полустертые буквы и надписи на заплатках, которыми пестрели его штаны, сразу уяснили присутствующим, что этот материал первоначально предназначался для менее возвышен-

ных целей. Но Компаньон Теннесси, как ни в чем не бывало, с весьма степенным видом прошел вперед, учтиво поздоровался со всеми за руку, вытер свое серьезное, озабоченное лицо красным носовым платком, чуть уступавшим в яркости цвету его кожи, оперся могучей рукой о стол и обратился к судье со следующими словами:

— Я проходил мимо,— начал он извиняющимся тоном,— дай, думаю, зайду послушаю, как обернется дело Теннесси... моего компаньона. Вечер-то какой душный! Что-то я не припомню такой жары в Сэнди-Баре.

Он немного помолчал и, так как никто не проявил желания предаться вместе с ним метеорологическим воспоминаниям, снова прибег к помощи носового платка и старательно вытер лицо.

— Вы имеете что-нибудь сказать о подсудимом? — спросил наконец судья.

— Вот, вот! — обрадовался он. — Я ведь компаньон Теннесси, я знаю его почти четыре года, насквозь знаю, как облупленного, и в беде, и в счастье с ним был. Не по душе мне некоторые его повадки, что греха таить! Но нет в нем ничего такого, чего бы я не знал, и все его проделки мне известны. И когда вы спрашиваете меня напрямик, как мужчина мужчину: «Знаете ли вы что-нибудь о своем компаньоне?», — то я говорю тоже напрямик, как мужчина мужчине: «Неужто человек может не знать своего компаньона?»

— И это все, что вы хотели сказать? — нетерпеливо перебил его судья, видимо, опасаясь, что чувство юмора настроит суд на более гуманный лад.

— Все, — ответил Компаньон Теннесси. — Мне против него не пристало говорить. А если рассудить, как было дело... Теннесси понадобились деньги, дозарезу понадобились, а одолжаться у своего старого компаньона он не хочет. Так что же Теннесси делает? Подкарауливает какого-то чужака и разделявается с этим чужаком по-своему. А вы подкарауливаете Теннесси и тоже разделяетесь с ним по-своему. Положение у вас равное. И вот я, как человек рассудительный, спрашиваю вас, джентльмены, а вы тоже люди рассудительные, — так это или не так?

— Подсудимый, — прервал его судья, — есть у вас вопросы к этому человеку?

— Что вы, что вы! — засуетился Компаньон Теннесси. — Я сам по себе пришел. А суть дела вот в чем: Теннесси ни с кем не посчитался — чужаку это дорого обошлось и нашему поселку тоже. Как же будет по-честно-

му? Одни скажут — так, другие — эдак. Вот у меня здесь золота на тысячу семьсот долларов и часы — почти все мое богатство. Вот давайте и разочтемся! — И не успели ему помешать, как он высыпал содержимое саквояжа на стол.

Одно мгновение жизнь Компаньона Теннесси висела на волоске. Двое-трое вскочили со своих мест, несколько рук потянулось к припрятанному в карманах оружию, и предложение «вышвырнуть оскорбителя в окно» не было исполнено только благодаря тому, что судья предостерегающе поднял руку. Теннесси посмеивался. А компаньон его, по-видимому, не замечая общей суматохи, опять утерся платком.

Когда порядок был восстановлен и Компаньону Теннесси наконец весьма выразительно и красноречиво дали понять, что такое преступление не искупить деньгами, лицо его омрачилось и стало совсем багровым; те, кто стоял рядом с ним, заметили, как задрожала его заскорузлая рука, опиравшаяся о стол. Он начал убирать золото обратно в саквояж, но как-то нерешительно, точно еще не вполне поняв возвышенного чувства справедливости, владевшего трибуналом, и теряясь от мысли, что мало предложил. Потом он обратился к судье со словами: «Я сам по себе пришел, мой компаньон тут ни при чем», — поклонился присяжным и шагнул к выходу, но судья остановил его:

— Если хотите что-нибудь сказать Теннесси, говорите сейчас.

Впервые за все время глаза подсудимого встретились с глазами его странного адвоката. Теннесси улыбнулся, показав свои белые зубы, и со словами: «Плохая карта, дружище!» — протянул ему руку. Компаньон Теннесси пожал ее, пробормотав: «Шел мимо, дай, думаю, загляну — послушаю, как тут дела обернутся», — потом добавил, что «вечер душный», снова вытер лицо платком и, не сказав больше ни слова, удалился.

При жизни эти двое больше не встретились. Неслыханное оскорбление, нанесенное судье Линчу, — попытка дать взятку этому фанатичному, слабому, ограниченному, но неподкупному судье — окончательно устранила в сознании этой мифической личности всякие колебания относительно судьбы Теннесси. И на рассвете осужденный под надежным конвоем пошел ей навстречу к вершине Марли-Хилла.

Как произошла эта встреча, с каким хладнокровием вел себя Теннесси, как он отказался что-либо сказать, на-

сколько исполнители приговора справились со своей задачей — все это с присовокуплением морали и предостережений на будущее всем злоумышленникам было в свое время изложено редактором «Глашатая Рыжей Собаки», который находился в числе зрителей на вершине Марли-Хилла, и я с удовольствием отсылаю читателя к его красноречивому отчету. Но прелесть летнего утра, сладостная гармония земли, воздуха и неба, пробуждающиеся к жизни вольные леса и горы, ликование обновленной природы и, самое главное, нерушимое спокойствие в вышине не попали на страницы газеты, будучи явлениями малопоучительными для общества. И все же, когда жалкое и безумное деяние свершилось и жизнь с ее надеждами и возможностями покинула тело, повисшее между небом и землей, птицы пели, цветы благоухали, солнце светило так же радостно, как всегда; и весьма возможно, что «Глашатай Рыжей Собаки» был прав.

Компаньона Теннесси не было в толпе, окружавшей злое дерево. Но когда люди стали расходиться, их внимание привлекла неподвижно стоявшая у дороги тележка, запряженная ослом. Подойдя ближе, все узнали почтенную Джинни и двуколку — собственность Компаньона Теннесси, на которой он свозил с участка отработавшую породу; а подалее, под каштаном, вытирая пот с лоснящегося лица, сидел и сам хозяин этого выезда. В ответ на чей-то вопрос он сказал, что приехал за покойным, «если не будет возражений». Он никого не торопит — он сегодня не работает и может подождать, пока джентльмены не кончат своего дела.

— Если найдутся желающие присутствовать на похоронах, — добавил Компаньон Теннесси, как всегда просто и серьезно, — пусть приходят.

Возможно, тут заговорило чувство юмора, которым, как я уже отмечал, славился Сэнди-Бар, а возможно, и что-нибудь большее, но две трети зевак сразу приняли приглашение.

В полдень тело Теннесси передали его компаньону. Когда тележка подъехала к роковому дереву, мы увидели, что на ней стоит продолговатый ящик, очевидно, сколоченный из досок промывного желоба и наполовину набитый древесной корой и хвоей. Сама двуколка была украшена ивовыми ветками и благоухающими цветами каштана. Как только тело положили в ящик, Компаньон Теннесси прикрыл его просмоленным брезентом, с серьезным видом взобрался на узенькое сиденье и, поставив

ноги на оглобли, стегнул ослицу. Двуколка двинулась с той благопристойной медлительностью, которая была свойственна Джинни даже при менее торжественных обстоятельствах. Провожающие — народ незлобивый — отчасти из любопытства, отчасти ради шутки потянулись кто впереди, кто сзади, кто по бокам. Но оттого ли, что мало-помалу дорога начала суживаться, оттого ли, что в них восторжествовало чувство благопристойности, все они постепенно выстроились парами позади этого убогого катафалка, с виду ничем не отличаясь от обычной похоронной процессии. Джек Фолинсби вначале пытался сделать вид, будто играет похоронный марш на воображаемом тромбоне, но, не встретив сочувствия и одобрения, быстро стушевался, что свидетельствовало об отсутствии в нем дара истинного юмориста, умеющего обходиться без аудитории.

Дорога проходила Медвежьим каньоном, который уже был укутан в траурные сумерки и тени. Вдоль нее, вытянувшись гуськом, зарыв мохнатые ноги в красную землю, как индейцы в мокасынах, стояли секвойи, и склоненные ветви их неуклюже посылали гробу свое благословение. Заяц, с перепугу поднявшись на задние лапы и дрожа всем телом, следил за процессией из придорожных зарослей папоротника. Белки скакали по верхушкам деревьев, стараясь получше рассмотреть, что делается внизу; сойки, расправив крылья, неслись впереди них, точно фореиторы. Наконец катафалк выехал на окраину Сэнди-Бара и поравнялся с одинокой хижинкой Компаньона Теннесси.

Даже в более веселую минуту это место не могло бы порадовать глаз. Скучный ландшафт, убогое жилье, мерзость запустения вокруг — так вьют свои гнездышки все калифорнийские золотоискатели, а здесь на всем лежала печать какого-то особого уныния и заброшенности. В нескольких шагах от хижины стояла плохонькая изгородь, за которой в недолгие дни супружеского счастья Компаньона Теннесси был садик, теперь заросший папоротником. Подойдя ближе, мы с изумлением увидели, что кучка земли, показавшаяся нам издали свежевскопанной грядкой, была навалена у открытой могилы.

Двуколка остановилась у изгороди; отклонив предложения помочь ему, Компаньон Теннесси все с тем же спокойным достоинством взвалил самодельный гроб на плечи и сам опустил его в неглубокую могилу. Потом он прибил гвоздями доски, заменившие гробу крышку, стал



на маленький холмик рядом с могилой, снял шляпу и неторопливо вытер платком лицо. Все поняли, что он готовится произнести речь, и, разместившись кто на пнях, кто прямо на каменистой земле, ждали, что будет дальше.

— Когда человек весь день бегал где вздумается, — медленно начал Компаньон Теннесси, — то что ему надо сделать? Да вернуться домой, конечно! А если сам он не может идти, то что должен сделать его лучший друг? Доставить его домой! Так вот и Теннесси бегал где вздумается, а теперь мы доставили его домой. — Он замолчал, поднял с земли кусочек кварца, задумчиво потер его о рукав и продолжал: — Мне не впервой нести Теннесси на спине. Сколько раз, бывало, я тащил его в хижину, когда он и пальцем шевельнуть не мог. Сколько раз мы с Джинни поджидали его на холме и везли домой, когда он и языком не ворочал и меня не узнавал. А вот сегодня это в последний раз. — Он снова замолчал и снова осторожно потер кусочек кварца о рукав. — И, знаете, не легко это его компаньону. — Он поднял с земли лопату с длинной ручкой. — А теперь, джентльмены, похоронный обряд окончен. За ваше беспокойство премного вам благодарен, и Теннесси тоже вас благодарит.

Отказавшись от нашей помощи, Компаньон Теннесси повернулся к нам спиной и стал засыпать могилу; после минутного колебания толпа начала постепенно расходиться. Поднявшись на холм, который закрывал Сэнди-Бар, люди оглядывались назад и уверяли, будто отсюда видно Компаньона Теннесси и будто он, кончив свое дело, сидит на могиле, поставив лопату между колен и закрыв лицо красным платком. Впрочем, другие говорили, что на таком расстоянии не отличить его лица от платка, и этот вопрос так и остался неразрешенным.

Лихорадочное волнение того дня улеглось, но Компаньона Теннесси не забыли. Тайное расследование отвело от него всякие подозрения в сообщничестве с Теннесси и оставило невыясненным только вопрос о состоянии его рассудка. Сэнди-Бар повадился заходить к нему в хижину и одолевал его своими неуклюжими, но дружескими услугами. Однако с того дня железное здоровье и несокрушимая сила Компаньона Теннесси начали заметно сдавать, и, когда пошли дожди и на каменистой могильной насыпи стали пробиваться тонкие усики травы, он совсем слег.

Как-то ночью, в бурю, когда сосны у хижины раскачивались на ветру, проводя своими тонкими пальцами по крыше, а снизу доносился рев и плеск вздувшейся реки, Компаньон Теннесси поднял голову с подушки и сказал:

— Пора идти за Теннесси. Пойду запрягу Джинни.— Он хотел было встать с койки, но человек, приставленный к нему для ухода, удержал его. Сопrotивляясь, он все еще продолжал бредить: — Ну, ну, Джинни, стой спокойно, старушка. Темно-то как! Гляди, где тут колея, и про него тоже не забывай. Ведь знаешь, напьется и рухнет поперек дороги. Держи вон к той самой сосне на горе. Стоп! Ну, что я говорил? Вот он, идет сюда — сам идет, трезвый, и лицо светится. Теннесси! Компаньон!

И тут они встретились.

---

## Браун из Калавераса

По сдержанному тону разговора и по тому, что из окон уингдэмского дилижанса не шел сигарный дым и не торчали подошвы сапог, было ясно, что среди пассажиров находится женщина. Зеваки на станциях подолгу застаивались перед окнами дилижанса, и их старания наскоро поправить воротничок и шляпу указывали на то, что пассажирка хороша собой. Все это мистер Джек Гемлин, восседавший на козлах рядом с кучером, отметил философски-цинической усмешкой. Не то чтобы он презирал женщин, но он не мог не видеть обманчивости их очарования, зов которого иногда отвлекает человечество от равно ненадежных прелестей покера; заметим кстати, что мистера Гемлина можно было считать олицетворением этой игры.

И потому, ставя узкий ботинок на колесо и прыгивая вниз, он даже не взглянул на окно, из которого выбивался кончик зеленой вуали, и стал прогуливаться взад и вперед со свойственным людям его профессии скучающим и равнодушным видом, который почти заменяет благовоспитанность. Застегнутый на все пуговицы, сдержанный, он являл резкий контраст остальным пассажирам, их неумеренному волнению и лихорадочному беспокойству, и даже Билл Мастерс, питомец Гарварда, неряшливый, буйно жизнерадостный, склонный ценить выше меры всякое варварство и беззаконие и уплетающий галеты с сыром, едва ли представлял собой романтическую фигуру рядом с этим одиноким ловцом удачи, бледным, как греческая статуя, и гомерически спокойным.

Кучер скомандовал: «Все по местам!» — и мистер Гемлин вернулся к дилижансу. Он уже стал ногой на колесо, и его лицо очутилось на одном уровне с окном кареты, как вдруг он встретился взглядом с глазами, которые

показались ему самыми прекрасными в мире. Он спокойно соскочил с колеса, сказал несколько слов одному из пассажиров внутри кареты, поменялся с ним билетами и занял его место. Мистер Гемлин не позволял своим философским воззрениям влиять на решительность и быстроту своих действий.

Боюсь, что такое вторжение мистера Гемлина несколько стеснило остальных пассажиров, особенно тех, кто оказывал внимание даме. Один из них наклонился вперед и, по-видимому, сообщил ей кое-что о профессии мистера Гемлина, определив ее одним словом. Слышал ли это мистер Гемлин, узнал ли он в пассажире почтенного юриста, проигравшего ему на днях несколько тысяч долларов, не могу сказать. Его бледное лицо не изменило выражения; черные глаза, спокойные и наблюдательные, скользнув равнодушно по лицу почтенного джентльмена, остановились на несравненно более приятных чертах его соседки. Стоицизм индейца, унаследованный им, как говорили, от предков по женской линии, служил ему хорошую службу всю дорогу, пока дилижанс не закрипел по речной гальке на Переправе Скотта и не остановился на время обеда у «Интернациональной» гостиницы. Почтенный юрист вместе с депутатом конгресса выпрыгнули и стали наготове, чтобы помочь выходящей из дилижанса богине, а полковник Старботтл из Сискью завладел ее зонтиком и шалью. При таком изобилии кавалеров дело не обошлось без некоторой заминки и суеты. В это время Джек Гемлин спокойно открыл противоположную дверцу, предложил даме руку с той решительностью и уверенностью, какую умеет ценить слабый и нерешительный пол, и в одно мгновение легко и грациозно помог ей стать на землю, а потом подняться на крыльцо. С козел слышалось фыркание, исходившее, надо полагать, от другого циника, кучера Юбы Билла.

— Глядите в оба, полковник, как бы вам чего не потерять! — с притворным участием заметил почтальон, смотря вслед полковнику Старботтлу, который угрюмо плелся в хвосте триумфальной процессии, направлявшейся в общий зал.

Мистер Гемлин не остался обедать. Лошадь его была уже оседлана и дожидалась хозяина. Он поскакал через брод, поднялся на осыпанный галькой косогор и умчался вдаль по пыльной уингдэмской дороге с чувством челове-

ка, который стряхивает с себя тяжелый сон. Обитатели запыленных придорожных домиков, прикрыв глаза рукой, смотрели ему вслед, узнавая всадника по лошади и размышляя о том, какая муха укусила Команча Джека. Их любопытство, впрочем, относилось главным образом к лошади, как и следовало ожидать в обществе, где резвость, показанная кобылой Француза Пита во время его бегства от шерифа округа Калаверас, совершенно заслонила собой судьбу всадника и настолько заняла умы, что прославленный беглец уже никого не интересовал.

Почувствовав, что Серый устал, Джек вернулся к действительности. Он придержал лошадь и, свернув на тропу, которой иногда пользовались для сокращения пути, поехал неторопливой рысью, небрежно опустив поводья. Мало-помалу характер пейзажа менялся и становился все более идиллическим. В просветах между стволами сосен и сикомор можно было заметить кое-какие культурные насаждения: крыльцо одного из домишек заплела цветущая лоза; возле другого женщина качала колыбельку под розовым кустом; немного дальше Гемлин встретил босоногих детишек, которые бродили по колена в воде ручья, заросшего ивняком, и своими шутками внушил им такое доверие, что они осмелели и начали карабкаться к нему на седло. Тогда мистеру Гемлину пришлось напустить на себя невероятную свирепость и спастись бегством, отделавшись поцелуями и несколькими монетками. Въезжая в глубину леса, где уже не было и признаков жилья, он запел таким приятным тенором, исполненным такого покоряющего и страстного чувства, что, я готов ручаться, все малиновки и коноплянки замолчали, прислушиваясь к нему. Голос мистера Гемлина был необработанный, слова песни были нелепы и сентиментальны — он научился им у негритянских певцов, но в тоне и выражении звучало что-то несказанно трогательное. В самом деле это была удивительная картина: сентиментальный мошенник с колодой карт в кармане и револьвером на поясе, оглашающий темный лес жалобной песенкой о «могиле, где спит моя Нелли» с таким чувством, что у всякого слушателя навернулась бы слеза. Ястреб перепелятник, только что заклевавший шестую жертву, почуял в мистере Гемлине родную душу и воззрился на него в изумлении, готовый признать превосходство человека. Хищничал он куда искуснее, однако петь не умел.

Скоро мистер Гемлин снова очутился на большой дороге и перешел на прежний аллюр. На смену лесам и оврагам пришли канавы, кучи песку, оголенные косогоры, пни, гниющие стволы деревьев, предвещающая близость цивилизации. Потом показалась колокольня; мистер Гемлин был дома. Еще несколько секунд, и он проскакал по единственной узенькой улице, терявшейся у подножия горы в хаосе вывороченных камней, канав и грудях промытого песка, и спешил перед блестящими позолотой окнами салуна «Магнолия». Пройдя через длинную комнату бара, он толкнул дверь, обитую зеленым сукном, вошел в темный коридор, отпер своим ключом другую дверь и очутился в плохо освещенной комнате, обстановка которой, весьма изящная и ценная для здешних мест, была изрядно потрепана. Мозаичный столик посредине комнаты был усеян круглыми пятнами, не входившими в первоначальный замысел мастера. Вышивка на креслах выцвела, а зеленая бархатная кушетка, на которую бросился мистер Гемлин, была запачкана в ногах уингдэмской глиной.

Мистер Гемлин не пел в своей клетке. Он лежал неподвижно, глядя на яркую картину, где изображена была молодая особа с пышными формами. Ему пришло в голову, что такой женщины он никогда не видел, а если бы и увидел, то едва ли она ему понравилась бы.

Быть может, он думал о красоте другого типа. Но как раз в эту минуту кто-то постучался в дверь. Не вставая с кушетки, он потянул шнур, который, по-видимому, поднимал щеколду, потому что дверь распахнулась, и в комнату вошел человек.

Вошедший был широкоплечий, здоровый мужчина; его сильной фигуре не соответствовало выражение лица, красивого, но до странности бесхарактерного и к тому же одутловатого от пьянства. Надо полагать, он был пьян, так как пошатнулся, увидев мистера Гемлина, и сказал, заикаясь:

— Я думал, здесь Кэт... — И вид у него был смущенный и растерянный.

Мистер Гемлин ответил ему той же улыбкой, какой улыбался в уингдэмском дилижансе, и сел, вполне отдохнувший и готовый заняться делами.

— Ты, должно быть, не с дилижансом приехал, — продолжал посетитель.

— Нет, — ответил Гемлин, — я сошел на Переправе Скотта. Дилижанс придет не раньше чем через полчаса. Ну как дела, Браун?



— Ни к черту! — сказал Браун, и лицо его неожиданно выразило безнадежность и отчаяние. — Я опять вдребезги проигрался, Джек, — продолжал он плачущим голосом, который до смешного не соответствовал его грузной фигуре. — Не одолжишь ли ты мне сотню до завтрашней промывки? Мне, видишь ли, нужно послать деньги моей старухе, а, кроме того, ты у меня выиграл в двадцать раз больше.

Вывод был, возможно, не совсем логичен, но Джек пренебрег этим и передал деньги своему гостю.

— Не завирайся насчет старух, Браун, — заметил он вскользь, — скажи лучше, что хочешь попытать счастья в фараон. Ты не женат, сам знаешь.

— В том-то и дело, что женат, — сказал Браун неожиданно серьезным тоном, как будто одно прикосновение золота к ладони прибавило ему важности. — У меня есть жена, да еще какая хорошая, я тебе говорю, в Штатах. Я ее уже три года не видел и уже год, как не писал ей. Вот поправятся дела, нападём на жилу, я привезу ее сюда.

— А как же Кэт? — спросил мистер Гемлин с прежней улыбкой.

Мистер Браун из Калавераса попытался прикрыть плутовским взглядом свое смущение — задача, с которой плохо справились его оплывшее лицо и затуманенный алкоголем мозг, — и сказал:

— Поди ты к дьяволу, Джек, надо же человеку немного поразвлечься, ты и сам знаешь! Брось, лучше давай сыграем по маленькой. Покажи-ка мне, как с моей сотней выиграть другую.

Мистер Гемлин с любопытством поглядел на своего бестолкового друга. Он, должно быть, увидел, что тому суждено проиграть эти деньги, и предпочел, чтоб они снова попали в карман к нему, а не к кому-нибудь другому. Он кивнул и пододвинул стул поближе к столу. В это время в дверь постучались.

— Это Кэт, — сказал мистер Браун. Мистер Гемлин поднял щеколду, и дверь открылась. И тут в первый раз за всю жизнь он совершенно растерялся и, смутившись, вскочил с места, и в первый раз за всю жизнь его бледные щеки залились горячей краской до самого лба. Перед ним стояла пассажирка, которой он помог сойти с дилижанса, а Браун, роняя карты, с истерическим смехом приветствовал ее:

— Моя старуха, разрази меня гром!

Говорят, будто бы миссис Браун ударилась в слезы и осыпала мужа упреками. Я видел ее в Мэрисвилле в 1857 году и не верю этим слухам. А на следующей неделе «Уингдэмская хроника» под заголовком «Трогательное свидание» сообщала: «На прошлой неделе в нашем городе произошло одно из тех прекрасных и трогательных событий, которые так часты в Калифорнии. Жена одного из выдающихся граждан Уингдэма, наскучив вырождающейся цивилизацией Востока и его неблагоприятным климатом, решила приехать к своему мужественному супругу на золотые берега Калифорнии. Не предупредив его о своем намерении, она отважилась на долгое путешествие и прибыла к нам на прошлой неделе. Радость супруга не поддается описанию. По слухам, встреча была невообразимо трогательная. Надеемся, что этот пример не останется без подражаний».

Благодаря влиянию миссис Браун, а быть может, более удачному ходу дел, финансовое положение мистера Брауна начало с этих пор непрерывно улучшаться. Недели через две по приезде жены он откупил у своих компаньонов прииск «Выпей и закуси» на деньги, будто бы выигранные в покер. Однако, если верить слухам, основанным на сообщении миссис Браун, что муж ее зарекся подходить к карточному столу, деньги эти дал мистер Гемлин. Браун выстроил и отделал «Уингдэмскую гостиницу», которая благодаря популярности хорошенькой миссис Браун была всегда переполнена. Он был выбран депутатом в Собрание и пожертвовал некоторую сумму на церковь. Одну улицу в Уингдэме называли его именем.

Было, однако, замечено, что по мере того, как богатство его и удача росли, сам он худел, бледнел и становился все мрачнее. По мере того, как успех его жены возрастал, он все чаще раздражался и выходил из себя. Самый влюбленный из мужей, он был ревнив до глупости. Если он не стеснял ее свободы, то потому только, шептали злые языки, что при первой и единственной попытке к этому миссис Браун устроила ему ужасающую сцену, и он присмирел. Почти все сплетни такого рода исходили от представительниц прекрасного пола, вытесненных ею из сердец уингдэмских рыцарей, которые, как и большинство рыцарей, преклонялись перед всякой силой, будь это мужская мощь или женская красота. В оправдание миссис Браун следует, однако, сказать, что со времени своего приезда она, сама того не подозревая, стала жрицей цело-

го мифологического культа, быть может, не более возвышавшего ее женское достоинство, чем тот, которым прославилась старейшая греческая демократия. Думаю, что Браун это до некоторой степени сознавал. Но единственным его поверенным был Джек Гемлин, чья репутация, к несчастью, не позволяла ему сблизиться с этой четой и чьи визиты были поэтому весьма редки.

Был лунный летний вечер; миссис Браун, раздумывая, большеглазая и хорошенькая, сидела на веранде, упиваясь свежим фимиамом горного ветерка и, надо опасаться, другим фимиамом, не таким свежим и гораздо менее невинным. Рядом с ней сидели полковник Старботтл и судья Бумпойнтер и последнее прибавление к ее свите — путешественник-иностранец. Она была настроена как нельзя лучше.

— Что видно на дороге? — спросил галантный полковник, который заметил, что в последние несколько минут внимание миссис Браун было занято чем-то посторонним.

— Пыль, — сказала миссис Браун со вздохом. — Стадо баранов сестрицы Анны<sup>1</sup>, больше ничего.

Полковник, литературные познания которого не шли далее вчерашней газеты, понял это буквально.

— Это не бараны, — заметил он, — а верховой. Судья, ведь это Серый Джека Гемлина?

Судья не знал, и, так как миссис Браун нашла, что воздух становится слишком прохладным, они перешли в гостиную.

Мистер Браун был на конюшне, куда обыкновенно удалялся после обеда. Быть может, он хотел выказать этим неуважение к знакомым своей жены, быть может, ему, как другим слабым натурам, доставляло удовольствие проявлять свою власть над беззащитными животными. Он утешался, тренируя рыжую кобылу, которую мог бить и ласкать, сколько душе угодно, чего нельзя было проделывать с миссис Браун. Он заметил знакомую нам серую лошадь и, взглядевшись внимательно, узнал наездника. Браун приветствовал его сердечно и ласково, мистер Гемлин отвечал довольно сдержанно. Однако по настоятельной просьбе Брауна он прошел за ним по черной лестнице в узкий коридор, а оттуда в тесную комнатку, выходившую окнами на конный двор. Обставлена она была скудно: кровать, стол, пара стульев да стойка для ружей и хлыстов.

---

<sup>1</sup> Из сказки Ш. Перро «Синяя борода».

— Вот это и есть мой дом, Джек, — со вздохом сказал Браун, бросаясь на кровать и указывая приятелю на стул. — Ее комната в другом конце коридора. Вот уже больше полугода живем вместе, а встречаемся только за обедом. Нечего сказать, хорошенькое положеньице для главы дома! — заметил он с принужденным смехом. — Но все равно я рад тебя видеть, Джек, очень, очень рад! — И, встав с кровати, он еще раз пожал неподвижную руку мистера Гемлина.

— Я привел тебя сюда, потому что не хотел разговаривать на конюшне, хотя, по правде говоря, это всему городу известно. Не зажигай огня. Мы и при лунном свете можем поговорить. Клади ноги на подоконник и садись вот тут, рядом со мной. Виски вон в том кувшине.

Мистер Гемлин не воспользовался этим предложением. Браун из Калавераса повернулся лицом к стене и продолжал:

— Если б я не любил эту женщину, мне бы и горя мало. А то я ее люблю и давным-давно вижу, что она закусилась удила, а остановить некому, — это вот меня и убивает! Но все равно я рад тебя видеть, очень, очень рад!

В темноте он нашел ощупью руку приятеля и еще раз пожал. Он хотел удержать ее, но Джек отнял руку, сунул за борт застегнутого сюртука и рассеянно спросил:

— И давно это началось?

— С тех самых пор, как она приехала, с того самого дня, как она вошла в «Магнолию». Я тогда был дураком, Джек; я и теперь дурак, но раньше я и сам не знал, как я ее люблю. А ее с тех пор точно подменили. И это еще не все, Джек; не затем я хотел тебя видеть, и я рад, что ты приехал. Не в том дело, что она меня больше не любит; не в том дело, что она флиртует со всеми, кто только под руку подвернется; может быть, я поставил на кон ее любовь и проиграл ее, как проиграл все остальное; может быть, некоторые женщины не могут не флиртовать, от этого еще нет большого вреда, разве только дуракам. А все-таки, Джек, думается мне, она любит другого. Не вставай, Джек, не надо, если тебе револьвер мешает, сними его. Вот уже больше полугода она кажется несчастной и одинокой и как будто беспокойна и боится чего-то. А иной раз я ловлю ее на том, что она смотрит на меня робко и с жалостью. И посылает кому-то письма. А с прошлой недели она начала собирать свои вещи — побрякушки и тряпки; думается мне, Джек, что она хочет уехать. Я бы все стерпел, кроме этого. Чтоб она уезжала краду-

чись, по-воровски... — Он уткнулся лицом в подушку, и несколько минут не было слышно ни звука, кроме тиканья часов на камине. Мистер Гемлин закурил сигару и подошел к открытому окну. Луна уже не светила в комнату, и кровать была в тени.

— Что мне делать, Джек? — сказал голос из темноты. С подоконника ответили быстро и ясно:

— Узнай, кто он, и застрели на месте.

— Что ты, Джек!

— Он знал, на что идет!

— Разве этим ее вернешь?

Джек не ответил, но перешел от окна к двери.

— Не уходи пока, Джек, зажги свечу и садись к столу. Хоть то утешение, что ты со мной.

Джек сначала колебался, потом сел за стол. Он вытащил колоду карт из кармана и стасовал ее, глядя на кровать. Но Браун лежал лицом к стене. Мистер Гемлин стасовал карты, снял с колоды и положил одну карту на противоположный край стола, поближе к кровати, другую сдал себе. Первая была двойка, у него самого — король. Он стасовал и снял еще раз. Теперь у его воображаемого партнера была дама, а у Джека — четверка. Он повеселел, начиная третью сдачу. Она принесла его противнику двойку, а ему опять короля.

— Два из трех, — сказал Джек довольно громко.

— Что такое, Джек? — спросил Браун.

— Ничего.

Теперь Джек попробовал бросить кости; однако он все время выбрасывал шесть очков, а его противник — одно. Сила привычки бывает подчас стеснительна.

Тем временем магическое влияние мистера Гемлина или действие виски, а может быть, и то и другое вместе, принесло облегчение мистеру Брауну, и он уснул.

Мистер Гемлин подвинул свой стул к окну и стал смотреть на город Уингдэм, сейчас мирно спавший. Резкие очертания домов расплылись и смягчились, кричащие краски потускнели и стали нежнее в лунном свете, заливавшем все вокруг. В тишине ему слышно было, как журчит вода в канавах и шумят сосны за горой. Тогда он взглянул на небо, и как раз в это мгновение падающая звезда прорезала мерцающую синеву. За ней другая и третья. Это явление навело мистера Гемлина на мысль о новом способе гадания. Если за четверть часа уладет еще одна звезда... Он просидел с часами в руках вдвое больше назначенного времени, но явление не повторилось.

Часы пробили два, а Браун все еще спал.

Мистер Гемлин подошел к столу, достал из кармана письмо и прочел его при колеблющемся свете свечи. Там была только одна строчка, написанная карандашом, женской рукой.

*«Будьте у корраля с коляской в три часа».*

Спящий тревожно задвигался и проснулся.

— Ты здесь, Джек?

— Да.

— Не уходи пока, Джек. Я сейчас видел сон. Мне снилось старое время. Будто мы с Сюзанной опять венчаемся, а пастор будто бы — как ты думаешь, кто? — ты, Джек!

Игрок засмеялся и сел на кровать, все еще с письмом в руке.

— Хороший знак, верно? — спросил Браун.

— Ну, еще бы... Скажи-ка, старик, а не лучше ли тебе встать?

«Старик», повинувшись ласковому призыву, поднялся, ухватившись за протянутую руку Гемлина.

— Закурим?

Браун машинально взял предложенную ему сигару.

— Огня?

Джек скрутил письмо спиралью, зажег и протянул приятелю. Он держал письмо, пока оно не сгорело, и уронил остаток — огненную звезду — за окно. Он проследил, как она падает, потом повернулся к своему другу.

— Старик, — сказал он, положив руку на плечо Брауна, — через десять минут я буду в пути, исчезну, как эта искра. Мы больше не увидимся, но, пока я не уехал, прими совет от дурака: продай все, что у тебя есть, возьми жену и уезжай отсюда. Тебе здесь не место, и ей тоже. Скажи ей, что она должна уехать, заставь уехать, если не захочет. Не хнычь о том, что ты не праведник, а она не ангел. Не будь идиотом. Прощай!

Он вырвался из объятий Брауна и бросился вниз по лестнице с легкостью оленя. У конюшни он схватил за шиворот полусонного конюха.

— Оседлай мою лошадь в две минуты, а не то... — Умолчание было как нельзя более внушительно.

— Хозяйка сказала, что вы возьмете коляску, — пробормотал конюх.

— К черту коляску.



Лошадь была оседлана настолько быстро, насколько дрожащие руки конюха могли справиться с пряжками и ремнями.

— Что-нибудь случилось, мистер Гемлин? — спросил конюх, который, как и все слуги, восхищался огненным характером своего патрона и искренне желал ему добра.

— Прочь с дороги!

Конюх отскочил. Проклятие, скачок, стук копыт, и Джек очутился на дороге. Еще минута, и полусонные глаза конюха различили вдали только движущееся облако пыли, к которому звезда, оторвавшаяся от своих сестер, протянула огненную нить.

А рано утром люди, жившие далеко от Уингдэма, слышали голос, чистый, как голос полевого жаворонка. Те, кто спал, повернулись на своем грубом ложе, грезя о юности, любви и прошлых днях. Суровые мужчины, беспокойные искатели золота, поднявшиеся до света, бросили работу и, опираясь на кирку, слушали романтического бродягу, ехавшего легкой рысцой навстречу румяной заре.

---

## Блудный сын мистера Томсона

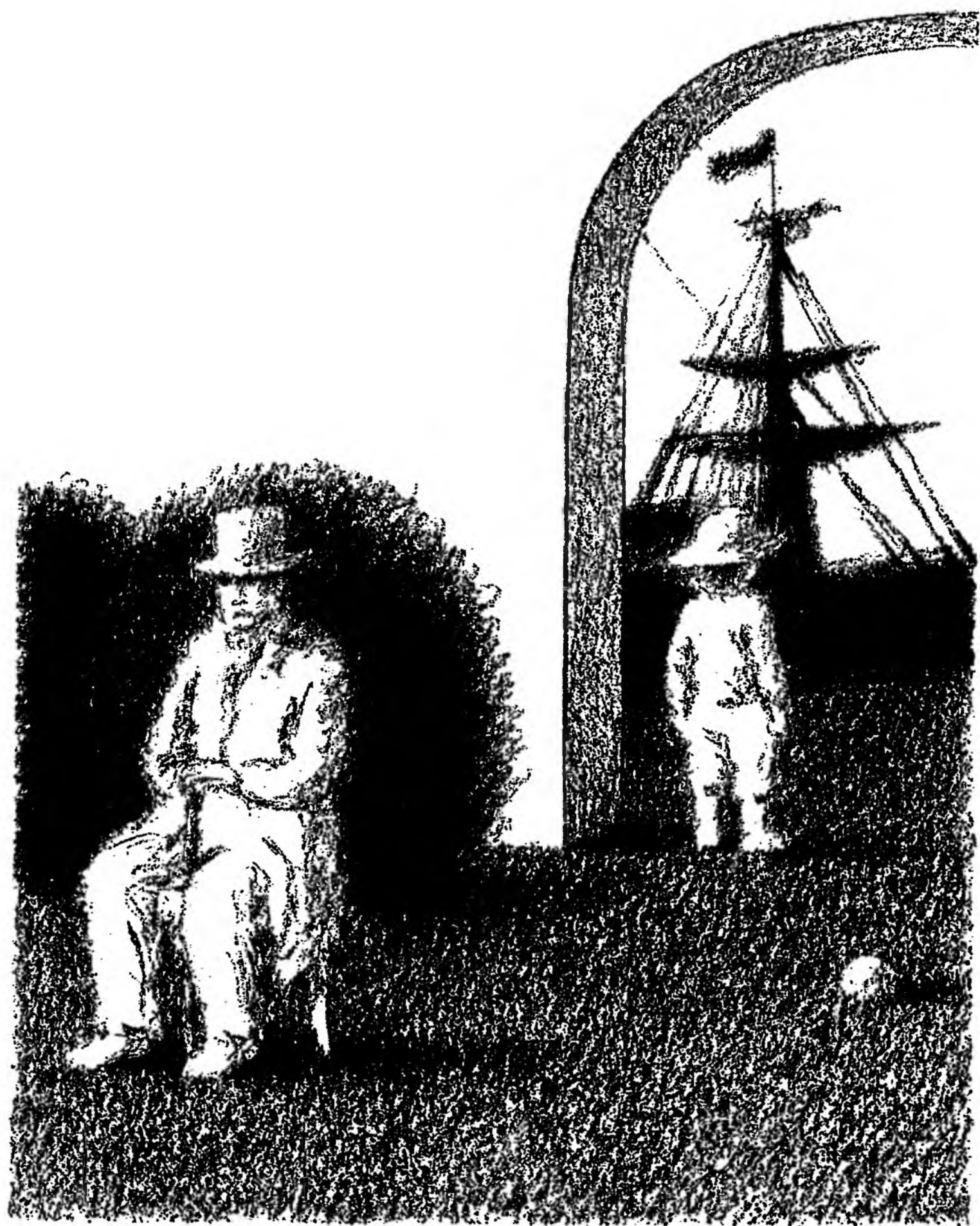
Все мы знали, что мистер Томсон разыскивает своего сына — детище с весьма неважной репутацией. То, что он только ради этого и едет в Калифорнию, не было секретом для его спутников, а физические приметы, так же как и моральные несовершенства пропавшего без вести блудного отпрыска, стали известны нам благодаря откровенным излияниям родителя.

— Вы рассказывали о молодом человеке, которого повесили в Рыжей Собаке за кражу золотого песка из желоба? — спросил как-то мистер Томсон у одного палубного пассажира. — А какие у него были глаза, не запомнили?

— Черные, — ответил пассажир.

— Гм, — сказал мистер Томсон, перебирая что-то в уме, — у Чарлза были голубые. — И отошел в сторону.

Может статься, виной этому был его грубоватый тон, может, склонность западных жителей подшучивать над любым убеждением или чувством, которое им навязывается, но поиски мистера Томсона служили для пассажиров предметом насмешек. По рукам у них ходило состряпанное кем-то воззвание о пропавшем Чарлзе, адресованное «Всем тюремным надзирателям и сторожам». Каждый вспоминал о своих встречах с Чарлзом при самых прискорбных обстоятельствах. Однако следует отдать должное моим соотечественникам: издевательские шуточки стали утаивать от мистера Томсона, лишь только все узнали, какую солидную сумму он ассигновал тем, кто поможет ему найти сына. В присутствии старика не говорилось ничего такого, что могло бы причинить боль отцовскому сердцу, а равным образом помешать возможному обогащению насмешников. Шутливое предложение



мистера Брейси Тибетса образовать акционерное общество по «изысканию» пропавшего юнца пользовалось одно время среди нас большим успехом.

На взгляд поверхностного критика персона мистера Томсона, вероятно, не отличалась ни живописностью, ни приятными чертами характера. Жизнь его, рассказанная как-то за обедом им же самим, была при всей ее необычности построена на весьма практической основе. Прожив суровую, беспокойную юность, схоронив в зрелые годы впавшую в меланхолию жену и доведя сына до того, что тот убежал в матросы, мистер Томсон вдруг обратился к религии.

— Я подцепил это в Нью-Орлеане, в пятьдесят девятом году, — рассказывал он за обеденным столом таким тоном, будто речь шла о заразной болезни. — Вступил в тесные врата. Передайте мне бобы.

Очень возможно, что практические свойства характера помогали мистеру Томсону в его безнадежных поисках. В руках у него не было никаких нитей, ведущих к местонахождению сбежавшего сына, и никаких доказательств, что сын его еще жив. По туманным воспоминаниям о двенадцатилетнем мальчике он надеялся узнать взрослого мужчину.

И наконец мистеру Томсону повезло. Как это случилось, он никогда не рассказывал. Существуют, я полагаю, две версии этого события. Согласно первой, мистер Томсон пришел в больницу и узнал сына по духовному гимну, который больной распевал, вспомнив в бреду свое детство. Версия эта, дававшая повод для высоких чувствований, была весьма популярна, а в изложении его преподавателя мистера Гашингтона, вернувшегося из поездки в Калифорнию, неизменно пленяла слушателей. Вторая много сложнее и, раз уж я решил придерживаться ее, заслуживает более подробного рассказа.

Случилось это после того, как мистер Томсон прекратил поиски среди живых и принялся за обследование кладбищ и тщательное изучение равнодушных «здесь покоится такой-то». В то время он был частым посетителем Одинокой горы — вершины унылой и вдвойне мрачной от белых мраморных памятников, которыми Сан-Франциско, словно якорем, удерживал своих усопших граждан под тонким слоем зыбучих песков и укрывал от свирепого, упорного ветра, силившегося сдуть их с места. Этому ветру старик противопоставлял свою волю, столь же упор-

ную, свое суровое лицо, свои седины и низко надвинутый на лоб высокий цилиндр с креповой повязкой — и проводил целые дни, читая вслух надписи на могилах. Обилие цитат из священного писания радовало его, и он любил сверять их со своей карманной Библией.

— Это из псалмов, — сказал он однажды могильщику, рывшему поблизости могилу. Тот промолчал. Нисколько не смутившись этим, мистер Томсон тут же спрыгнул к нему в яму и задал более практический вопрос.

— Вам не приходилось хоронить некоего Чарлза Томсона?

— Будь он проклят, ваш Томсон! — отрезал могильщик.

— Так оно, вероятно, и есть, если он был неверующий, — сказал старик, выбираясь наверх.

Это происшествие, видимо, задержало мистера Томсона на кладбище дольше обычного. Когда он повернулся лицом к городу, там уже зажигались огни, и яростный ветер, почти заметный на глаз по волнам тумана, гнал старика вперед или прятался в засаду и свирепо налетал на него из-за угла какой-нибудь безлюдной окраинной улицы. На одном из таких углов нечто иное, но столь же злобное и неразличимое в темноте, бросилось на мистера Томсона с бранью, с приставленным в упор пистолетом и с требованием денег. Покушение натолкнулось на железную волю и стальную хватку старика. Грабитель и его жертва упали на землю. Но старик тут же вскочил на ноги, держа в одной руке отобранный пистолет, а другой сжимая горло противника — молодого, рассвирепевшего, готового на все.

— Молодой человек, — проговорил мистер Томсон, почти не разжимая губ, — как вас зовут?

— Томсон!

Пальцы старика, не ослабляя своей хватки, сползли с шеи грабителя ближе к локтю.

— Пойдем, Чарлз Томсон, — сказал он и повел его в гостиницу. Что там произошло, так и осталось неизвестным, но на следующее утро все узнали, что мистер Томсон нашел своего сына.

К только что рассказанной неправдоподобной истории следует добавить, что ни в наружности, ни в поведении молодого человека не было ничего такого, что могло бы придать ей бóльшую вероятность. Степенный, сдержан-

ный, привлекательной внешности, преданный своему вновь обретенному отцу, он принял достаток и обязанности новой жизни с тем спокойным достоинством, которым общество в Сан-Франциско не могло само похвалиться и потому гнушалось. Кое-кто взирал на это свойство его натуры с презрением, усматривая в молодом человеке склонность к ханжеству; другие находили в нем черточки характера, унаследованные от отца, и предрекали ему такую же нелегкую старость. Все, однако, сходились на том, что степенность этого молодого человека нисколько не противоречит его умению устроить свои денежные дела, за которое и отца и сына весьма уважали.

И тем не менее старик явно не нашел своего счастья. Может быть, потому, что, добившись цели, он лишился своей миссии; а может быть — и это кажется гораздо более вероятным, — в нем не проснулась любовь к вернувшемуся сыну. Покорность, которой он требовал, оказывалась ему беспрекословно, духовное перерождение сына — то, к чему устремлялись все его помыслы, — было полное; и все-таки ничто не радовало его. Обратив сына на путь истинный, он выполнил то, чего требовала от него религия, а удовлетворения не получил. Ища разгадки этому, старик перечитал притчу о блудном сыне, давно служившую ему руководством к действию, и обнаружил, что забыл о празднестве примирения. Оно должно было скрепить надлежащей торжественностью залог согласия между ним и сыном. И вот через год после появления Чарлза старик Томсон решил устроить пир.

— Пригласи всех, Чарлз, — сказал он сухо, — всех, кто знает, что я вывел тебя из свиного хлева беззакония и вертепа блудниц. Пусть едят, пьют и веселятся.

Может быть, старик преследовал иные цели, еще не вполне ясные ему самому. Его красивый дом, построенный на дюнах, казался подчас холодным и пустым. Он часто ловил себя на том, что старается подметить в строгом лице Чарлза черты маленького мальчика, который едва помнился ему, а за последнее время не выходил у него из ума. Он считал, что это признак надвигающейся старости и стариковских чудачеств. Однажды он увидел в своей чопорной гостиной ребенка служанки, случайно забежавшего туда, и ему захотелось взять его на руки, но ребенок убежал в страхе перед этой седой бородой. Не настало ли время созвать гостей и выбрать из цветника сан-францис-



ских девиц невестку? А потом в доме появится ребенок — мальчик, которого он будет растить и холить с первых же дней его жизни и полюбит так, как не смог полюбить Чарлза.

Все мы были на этом пиру. Пожаловали Смиты, Джонсы, Брауны и Робинсоны, исполненные жизнерадостности, не сдерживаемой и признаком уважения к хозяину, что многим из нас кажется столь обворожительным. Празднество могло бы пройти бурно, если б этому не препятствовало общественное положение некоторых лиц. Нужно сказать, что мистер Брейси Тибетс, наделенный от природы даром подмечать все комическое, а сейчас, кроме того, подстрекаемый лукавыми глазками барышень Джонс, держался так странно, что привлек к себе внимание мистера Чарлза Томсона, который подошел к нему со словами:

— Вам, должно быть, нездоровится, мистер Тибетс. Позвольте мне проводить вас до кареты. Только попробуй сопротивляться, собака, я тебя живо в окно вышвырну. Будьте любезны, сюда, в комнате очень душно и тесно.

Вряд ли следует говорить, что общество слышало только часть этой беседы; остального мистер Тибетс не разглашал и впоследствии очень жалел, что внезапное нездоровье помешало ему быть свидетелем одного забавного происшествия, которое самая бойкая мисс Джонс назвала «гвоздем программы» и о котором я спешу рассказать здесь.

Случилось это за ужином. Обдумывая то, что ему еще предстояло сделать, мистер Томсон, очевидно, не замечал бесцеремонности молодежи. Как только скатерть была убрана, он поднялся и строго постучал по столу. Хихиканье барышень Джонс подхватила вся их сторона. Чарлз Томсон, сидевший в конце стола, бросил на отца взгляд, озабоченный и нежный.

— Сейчас будет славословить господу бога!

— Прочтет молитву!

— Тише, тише, слово оратору! — слышалось со всех сторон.

— Сегодня исполнился год, братья и сестры во Христе, — сурово, медленно начал мистер Томсон, — сегодня исполнился год с тех пор, как сын мой, расточивший имение свое с блудницами (хихиканье сразу смолкло), вернулся из свиного хлева домой. Посмотрите на него те-

перь. Чарлз Томсон, встань! (Чарлз Томсон встал.) Прошел ровно год, и посмотрите на него теперь.

Чарлз Томсон, стоявший перед нами в праздничном костюме, бесспорно, был красивый блудный сын, раскаявшийся блудный сын, и он с грустной покорностью встретил суровый, холодный взгляд отца. Младшая мисс Смит бессознательно потянулась к нему от всей глубины своего глупого, чистого сердечка.

— Пятнадцать лет назад он ушел из моего дома, — говорил мистер Томсон, — и стал бродягой и мотом. Я сам, о братья мои во Христе, был полон греха, полон ненависти и злобы (старшая мисс Смит: «Аминь!»), но льщу себя надеждой, что гнев господен минует меня. Вот уже пять лет, как душа моя обрела покой, блаженство коего превыше человеческого разумения. Обрели ли душевный покой вы, друзья мои? (Девушки хором: «Нет, нет!» Кокс, мичман с правительственного шлюпа «Везерфилд»: «А с чем его кушают?») Стучите, и отверзется вам!

— И когда я понял свое заблуждение и оценил сокровище благодати, — продолжал мистер Томсон, — я решил приобщить к ней и своего сына. По морю и посуху искал я его и не падал духом. Я не стал ждать, когда он сам придет ко мне, хотя и мог так сделать, руководствуясь книгой, величайшей из всех книг. Я разыскал его в свинном хлеву, среди... (Конец фразы покрыло шуршание юбок вставших из-за стола дам.) Благие деяния — вот мой девиз, братья во Христе. По делам их узнаете их, и вот оно, мое деяние.

Признанное всеми, узаконенное деяние, на которое ссылался мистер Томсон, побледнело и уставилось на веранду, где в толпе слуг, собравшихся у открытой двери поглазеть на гостей, вдруг поднялась суматоха. Шум не стихал. Человек, одетый в отрепье и, очевидно, пьяный, силой прорвался сквозь толпу и, пошатываясь, вошел в зал. Переход от тумана и темноты к залитой светом теплой комнате ошеломил, ослепил его. Он снял свою потрёпанную шляпу, провел ею раз-другой по глазам, стараясь в то же время опереться, впрочем, без особого успеха, на спинку стула. Но вот его блуждающий взгляд остановился на побледневшем лице Чарлза Томсона, и с загоревшимися, словно у ребенка, глазами, засмеявшись визгливым, слабеньким смехом, он кинулся вперед, ухватился за край стола, опрокинул бокалы и буквально упал на грудь блудного сына.

— Чарли! Подлец ты этакый. Здравствуй, здравствуй, дружище!

— Тише, сядь, успокойся! — сказал Чарлз, стараясь поскорее вырваться из объятий непрошеного гостя.

— Нет, вы только полюбуйтесь на него! — Не слушая уговоров, незнакомец держал несчастного за плечи и с нескрываемым восхищением разглядывал его праздничный костюм. — Полюбуйтесь! Хорош красавчик? Ну, Чарли, я горжусь тобой.

— Вон из моего дома! — сказал мистер Томсон, поднявшись из-за стола и грозно блеснув серыми, холодными глазами. — Чарлз, как ты смеешь?

— Не кипятись, старикашка! Чарли, кто этот Старый индюк? А?

— Тише, тише, вот выпей! — Дрожащими руками Чарлз Томсон налил стакан вина. — Выпей и уходи; завтра — в любое время, а сейчас уходи, уходи отсюда! — Но, не дав жалкому оборванцу выпить вино, старик, бледный от ярости, кинулся к нему. Приподняв его своими сильными руками и протаскив сквозь круг испуганных гостей, он уже подошел к дверям, распахнутым слугами, когда Чарлз Томсон, словно очнувшись от оцепенения, крикнул:

— Остановитесь!

Старик остановился. Сквозь открытую дверь в комнату влетали ледяной ветер и туман.

— Что это значит? — спросил он, злобно насупив брови.

— Ничего, только остановитесь, ради бога! Не сегодня, подождите до завтра. Не надо, умоляю вас, не надо!

Может быть, мистер Томсон почувствовал что-то в голосе молодого человека, может быть, соприкосновение с оборванцем, которого он сдерживал своими сильными руками, остановило его, но сердце старика вдруг сжалось от неясного, смутного страха.

— Кто... кто это? — хрипло прошептал он.

Чарлз молчал.

— Отойдите! — крикнул старик окружавшим его гостям. — Чарлз, иди сюда! Я приказываю, я... я прошу тебя, скажи, *кто* этот человек?

Только двое расслышали ответ, который беззвучно прошептал Чарлз Томсон:

— Ваш сын.

Утро, забрезжившее над унылыми дюнами, уже не застало гостей в парадных покоях мистера Томсона. Лампы

все еще горели тусклым и холодным огнем в этом доме, покинутом всеми, кроме троих мужчин, которые сбились в кучку, словно ища тепла в нетопленном зале. Один из них забылся пьяным сном на диване; у ног его пристроился другой, известный раньше под именем Чарлза Томсона; а возле них, устремив свои серые глаза в одну точку, поставив локти на колени, закрыв уши руками, словно стараясь не слышать печального, настойчивого голоса, который, казалось, наполнял всю комнату, сидел измученный и сразу осунувшийся мистер Томсон.

— Видит бог, я не хотел обманывать вас. Имя, которое я называл тогда, было первое, что пришло мне в голову, имя человека, которого я считал умершим, беспутного товарища моей постыдной жизни. А когда вы начали расспрашивать меня, я вспомнил то, что слышал от него самого, и решил смягчить ваше сердце и добиться свободы. У меня была только одна эта цель — свобода, клянусь вам! Но когда вы называли себя и я увидел, что передо мной открывается новая жизнь, тогда, тогда... О, сэр! Покушаясь на ваш кошелек, я был голоден, безрассуден, не имел крова над головой, но на вашу любовь покусился человек беспомощный, отчаявшийся, познавший тоску!

Старик сидел неподвижно. Только что объявившийся блудный сын мирно похрапывал на своем роскошном ложе.

— У меня нет отца. Я никогда не знал другого дома, кроме вашего. Передо мной встало искушение. Мне было хорошо, так хорошо все это время!

Он встал и подошел к старику.

— Не бойтесь, я не стану оспаривать права вашего сына. Сегодня я уйду и никогда больше не вернусь сюда. Мир велик, сэр, а ваша доброта научила меня искать честный жизненный путь. Прощайте! Вы не хотите подать мне руку? Ну, что ж! Прощайте!

Он отошел от него. Но, дойдя до двери, вдруг вернулся и, взяв обеими руками седую голову, поцеловал ее раз и еще раз.

— Чарлз!

Ответа не было.

— Чарлз!

Старик поднялся и, шатаясь, подошел к порогу. Дверь была открыта. До него донесся шум просыпающегося большого города, навсегда поглотивший звуки шагов блудного сына.

---

## Илиада Сэнди-Бара

Около девяти часов утра на реке стало известно, что компаньоны с участка «Дружба» поссорились и на рассвете разошлись.

Шум перебранки и звук двух пистолетных выстрелов, последовавших один за другим, привлекли внимание их ближайшего соседа.

Выбежав из хижины, он разглядел сквозь серый туман, поднимавшийся с реки, высокую фигуру Скотта, одного из компаньонов, который спускался с горы к ущелью; минутой позже из хижины вышел второй компаньон, Йорк, и, пройдя в нескольких шагах от любопытного наблюдателя, свернул в противоположную сторону, к реке.

Позднее выяснилось, что часть ссоры произошла на глазах у одного серьезного и положительного китайца, рубившего лес перед хижинкой.

Но Джон<sup>1</sup> держался спокойно, бесстрастно и отмалчивался.

— Моя рубила лес, моя не дралась, — таков был безмятежный ответ на все нетерпеливые расспросы.

— А что они все-таки *говорили*, Джон?

Джон не знал.

Полковник Старботтл бегло перечислил несколько общеизвестных эпитетов, которые люди невзыскательные могли бы счесть достаточным поводом для драки. Но Джон отверг их.

— И такую-то вот скотину, — с некоторым ожесточением сказал полковник, — кое-кто хочет допустить в суд,

---

<sup>1</sup> Принятое в Калифорнии в описываемое время обращение к китаю; китаец, в свою очередь, называл «Джоном» американца.

чтобы они показывали против нас, белых! Пшел вон, язычник!

Итак, причина ссоры осталась неразгаданной.

То, что два человека, дружелюбие и выдержка которых заслужили им в обществе, не отличающемся добродетелями, почетное прозвище «миротворцев», то, что эти крепко привязанные друг к другу люди вдруг поссорились, и поссорились серьезно, вполне могло возбудить в поселке любопытство.

Те, кто подотошнее, посетили место недавней ссоры, оставленное теперь его прежними обитателями.

В опрятной хижине не было обнаружено ни беспорядка, ни следов драки. Грубо сколоченный стол был накрыт, должно быть, к завтраку; сковорода с лепешками все еще стояла на очаге, потухшие угли которого могли служить олицетворением страстей, бушевавших здесь какой-нибудь час назад.

Но глаза полковника Старботтла, хоть они и были у него несколько воспаленные и слезились, подметили более существенные детали. После осмотра хижины в дверной притолоке был обнаружен след пули, а в оконной раме, почти напротив, вторая вмятина. Полковник Старботтл обратил внимание присутствующих на тот факт, что одна вмятина точка в точку совпадала с калибром револьвера, принадлежавшего Скотту, а другая — с калибром пистолета, который был у Йорка.

— Вот они как стояли, — сказал полковник, занимая соответствующую позицию, — футах в трех друг от друга — и промахнулись! — В голосе полковника слышались горестные нотки, что произвело должное действие на его слушателей. Тонкий намек на неосуществленные здесь возможности поразил всех.

Однако Сэнди-Бару было суждено испытать еще большее разочарование.

Противники не виделись со времени ссоры, но в поселке ходили смутные слухи, будто оба они решили пристрелить один другого при первой же встрече. И поэтому Сэнди-Бар охватило волнение, не лишнее, я бы сказал, некоторой приятности, когда в десять часов утра Йорк вышел из салуна «Магнолия» на единственную в поселке длинную и беспорядочно раскинувшуюся улицу, в ту же самую минуту, как Скотт появился на пороге кузницы у перекрестка дорог. С первого же взгляда всем стало яс-



но, что избежать встречи они смогут только в том случае, если кто-нибудь из них отступит назад.

Двери и окна ближайших салунов мгновенно запестрели лицами. Над береговым откосом из-за прибрежных камней откуда ни возьмись возникли чьи-то головы. Пустой фургон, стоявший у дороги, вмиг наполнился зрителями, словно выскочившими из-под земли. На склоне холма поднялась беготня и суматоха. Мистер Джек Гемлин остановил лошадь посреди дороги и во весь рост встал в двуколке прямо на сиденье.

А тем временем оба предмета столь пристального внимания приближались друг к другу.

— Йорку солнце прямо в глаза! Скотт уложит его вон у того дерева. Выжидает, когда целиться, — слышалось из фургона.

Потом наступила тишина.

А река тем временем бежала и пела свое, ветер с обидным равнодушием шумел в верхушках деревьев. Полковник Старботтл почувствовал это и в минуту наивысшей сосредоточенности, не оглядываясь, помахал за спиной палкой, как бы одергивая природу, и сказал: — Тш-ш!

Противники сходились все ближе и ближе. Одному из них дорогу перебежала курица. Крылатое семечко, слетевшее с дерева, опустилось у ног другого. И не замечая этого иронического комментария природы, они шагали навстречу друг другу, насторожившись, напрягшись всем телом, наконец сблизились, обменялись взглядом и — разошлись в разные стороны.

Полковника Старботтла пришлось снять с фургона.

— Выдохся наш поселок, — мрачно проговорил он, позволив отвести себя под руки в «Магнолию».

Трудно сказать, в каких выражениях полковник излил бы в дальнейшем свои чувства, если б в эту минуту к их группе не присоединился Скотт.

— Вы ко мне изволили обращаться? — спросил он полковника, как бы невзначай опуская руку на плечо этого джентльмена.

Почувствовав некие мистические свойства этого прикосновения и необычную значительность взгляда своего собеседника, полковник удовольствовался тем, что с большим достоинством ответил:

— Нет, сэр!

Поведение Йорка, стоявшего неподалеку от салуна, было столь же примечательным и странным.

— Ведь дело было верное; почему же ты его не ухлопал? — спросил Джек Гемлин, когда Йорк подошел к его двуколке.

— Потому что я его ненавижу, — последовал ответ, слышный только Джеку.

Вопреки распространенному мнению Йорк не прошипел эти слова сквозь зубы, а произнес их совершенно обычным тоном. Но Джек Гемлин, знаток человеческой натуры, помогая Йорку залезть в двуколку, заметил, что руки у него были холодные, губы пересохшие, и выслушал этот парадокс с улыбкой.

Убедившись, что ссору между Йорком и Скоттом не уладить обычными местными способами, Сэнди-Бар перестал интересоваться ею. Но вскоре пронесся слух, будто участок «Дружба» стал предметом судебной тяжбы и оба компаньона, не жалея затрат, собираются доказывать свои права на него.

Поскольку было известно, что участок выработан и никакой ценности собой не представляет, а компаньоны, разбогатевшие на нем, собирались бросить его за каких-нибудь два-три дня до ссоры, поводом к тяжбе можно было счесть только беспричинную злобу.

Через некоторое время в этой простодушной Аркадии появились двое адвокатов из Сан-Франциско, которые вскоре завоевали почетное место в салуне и — что почти одно и то же — доверие здешней публики.

Прямым следствием этого предосудительного содружества были многочисленные вызовы в суд; и когда разбор дела об участке объявили к слушанию, все обитатели Сэнди-Бара пожаловали в здание суда если не по вызову, то просто из любопытства.

Ущелья и канавы на несколько миль в окружности обезлюдели.

Я не собираюсь описывать этот ставший знаменитым процесс. Достаточно сказать, что, по словам адвоката истца, он «имел из ряда вон выходящее значение, ибо коснулся прав, вытекающих из неустанного трудолюбия, с которым разрабатывались сокровища этого золотого

дна»; а согласно простецкой терминологии полковника Старботтла, процесс этот был не чем иным, как «ерундой, которую джентльмены могли уладить в десять минут за стаканом виски, если бы они смотрели на вещи по-деловому, или в десять секунд с помощью револьвера, если бы искали случая поразвлечься».

Дело выиграл Скотт, и Йорк немедленно подал апелляцию. Говорили, что он поклялся всадить все до последнего доллара в эту борьбу.

Таким образом, Сэнди-Бар начал привыкать к тому, что ссора прежних компаньонов перешла во вражду на всю жизнь, и забыл об их былой дружбе. Тех немногих, кто надеялся узнать на суде ее причину, постигло разочарование. В поселке, склонном вообще считать достоинства женского пола весьма спорными, среди прочих поводов для ссоры выставляли и тайное влияние женщины.

— Помните мое слово, друзья, — сказал однажды полковник Старботтл, считавшийся в Сакраменто «Джентльменом старой школы», — в этой истории замешана какая-то прелестница.

В подтверждение своей теории галантный полковник рассказал несколько забавных происшествий, которые обычно любят рассказывать джентльмены старой школы, но из уважения к предрассудкам джентльменов более поздних школ я воздержусь и не стану передавать их здесь.

Однако из дальнейшего выяснится, что и эта теория оказалась ошибочной. Единственной женщиной, которая могла бы как-то повлиять на отношения друзей, была хорошенькая дочка старика Фолинсби из Поверти-Флета, в гостеприимном доме которого, не лишенном некоторого комфорта и изящества, редко встречающихся в этом мире несовершенной цивилизации, и Йорк и Скотт были частыми гостями. Впрочем, однажды вечером, спустя месяц после ссоры, Йорк заглянул в этот очаровательный приют и, увидев там Скотта, обратился к хорошенькой хозяйке с кратким вопросом:

— Вы любите этого человека?

В своем ответе молоденькая девушка воспользовалась теми самыми словами, пылкими и в то же время уклончивыми, которые в подобном случае пришли бы на ум большинству моих очаровательных читательниц.

Не сказав больше ни слова, Йорк вышел.

«Мисс Джо» испустила едва слышный вздох, лишь только дверь скрыла от нее кудри и широкие плечи Йорка, и, как следовало порядочной девушке, вернулась к своему оскорбленному гостю.

— И ты поверишь, милочка, — рассказывала она потом одной близкой приятельнице, — тот, другой, сверкнул на меня глазами, встал на дыбы, взял шляпу и тоже ушел; только я их обоих и видела.

Подобное крайнее пренебрежение к интересам и чувствам других людей характеризовало все поступки бывших компаньонов, когда дело шло об утолении их слепой злобы.

Когда Йорк купил участок ниже новой заявки Скотта и заставил его солидно потратиться на устройство спуска воды обходным путем, Скотт отомстил тем, что загородил реку плотиной, тем самым затопив заявку Йорка.

Не кто иной, как Скотт в соучастии с полковником Старботтлом первым начал кампанию против китайцев, закончившуюся тем, что Йорку пришлось расстаться со своими желтокожими рабочими; не кто иной, как Йорк провел в Сэнди-Бар проезжую дорогу и пустил по ней дилижанс, после чего мулы и караваны Скотта остались не у дел; не кто иной, как Скотт организовал Комитет бдительности, изгнавший из поселка приятеля Йорка Джека Гемлина; не кто иной, как Йорк стал выпускать газету «Вестник Сэнди-Бара», которая назвала это мероприятие «возмутительным беззаконием», а Скотта — «бандитом»; не кто иной, как Скотт во главе двадцати замаскированных молодчиков однажды ночью при луне спустил в желтую воду реки столь оскорбительные для него печатные формы и рассыпал типографский шрифт по пыльной дороге.

В отдаленных и более цивилизованных городах на все эти дела смотрели как на первые признаки прогресса и жизнеспособности поселка.

Передо мной лежит номер еженедельника «Пионер Поверти-Флета» от 12 августа 1856 года, в передовой статье которого под заголовком «Наши успехи» говорится:

«Постройка новой пресвитерианской церкви на «С»-стрит в Сэнди-Баре закончена. Церковь выросла на том самом месте, где был раньше салун «Магнолия», сгоревший месяц тому назад при совершенно загадочных обстоятельствах. Храм, словно феникс, возникший из пепла «Магнолии», является даром эсквайра Г. Дж. Йорка из Сэнди-Бара, купившего участок и предоставившего строительные материалы. Тут же поблизости поднимаются и другие здания, и самое приметное из них — почти напротив церкви — салун «Солнечный

Юг», который строит капитан Мэт Скотт. Капитан не пожалел затрат на оборудование этого салуна, обещающего стать приятнейшим местом отдохновения в старой Туолумне. На днях он приобрел для будущего салуна два первоклассных новых бильярда с пробковыми бортами. Наш старый приятель Горец Джимми будет продавать там спиртные напитки. Мы обращаем внимание наших читателей на объявления в следующем столбце. Навестив Джимми, гости нашего Сэнди-Бара не пожалеют об этом».

В местной хронике мне попалась следующая заметка:

«Г. Дж. Йорк, эсквайр, предлагает вознаграждение в размере ста долларов за поимку лиц, утачивших в прошлое воскресенье во время вечерней службы ступеньки новой пресвитерианской церкви на «С»-стрит в Сэнди-Баре. Капитан Скотт

также предлагает сотню долларов всякому, кто задержит злоумышленников, разбивших вечером следующего дня великолепные зеркальные стекла нового салуна. Ходят слухи о реорганизации Комитета бдительности в Сэнди-Баре».

Прошли долгие месяцы. Жестокое недреманное солнце Сэнди-Бара успело много раз зайти, оставляя позади себя неугасимую ярость этих людей, когда в поселке начали поговаривать о посредничестве. В частности, священнослужитель той новой церкви, о которой я только что упоминал, чистосердечный, бесстрашный, но, видимо, не очень проницательный человек, с радостью воспользовался щедрым даром Йорка, чтобы попытаться примирить бывших компаньонов. Он произнес проникновенную проповедь на отвлеченную тему о греховности раздоров и вражды вообще. Но в своих блестящих проповедях его преподобие мистер Доус обращался к идеальному приходу — к приходу, который состоял из людей, олицетворяющих собой только порок или же только добродетель, из людей единых помыслов, мыслящих логически, исполненных детской веры, сверхъестественной чистоты душевной и в то же время зрело оценивающих свои поступки.

Прихожане мистера Доуса в большинстве своем были люди самые обычные, не без хитрецы, но добродушные, наделенные всеми человеческими слабостями и более

склонные к самооправданию, чем к самообвинению, и они преспокойно пропустили мимо ушей ту часть проповеди, которая касалась их самих, и, глядя на Йорка и Скотта, бросавших всем вызов своим присутствием в церкви, с чувством удовлетворения — боюсь, не совсем христианским — слушали, как тех «пробирают с песочком».

Если мистер Доус ожидал, что Йорк и Скотт обменяются рукопожатием после проповеди, то ему пришлось разочароваться. Но он не отступился от своей цели. С той спокойной отвагой и решительностью, которые заслужили ему уважение людей, склонных отождествлять благочестие с мягкотелостью, он атаковал Скотта в его собственном салуне. Что говорил там мистер Доус, осталось неизвестным; подозреваю, что это было повторением некоторых пунктов его проповеди. Как только он кончил, Скотт без всякой злобы посмотрел на него поверх посуды, стоявшей на стойке, и сказал далеко не так сурово, как можно было бы ожидать:

— Молодой человек, я ценю ваше красноречие, но когда вы будете знать Йорка и меня так же близко, как господа бога, вот тогда мы с вами побеседуем.

Итак, вражда разгоралась все больше и больше; и, как и во многих других случаях, более известных миру, личная неприязнь двух людей стала поводом к возникновению так называемых «принципов» и «убеждений».

Вскоре выяснилось, что убеждения эти соответствуют основным принципам, которые были сформулированы создателями американской конституции, как это подробно изъяснял государственный ум Икс (или, наоборот, являются той роковой пучиной, которая может погубить государственный корабль, как предостерегал красноречивый Игрек). Практическим результатом всего этого было то, что Йорка и Скотта выдвинули в законодательные учреждения от двух враждующих партий Сэнди-Бара.

Неделю за неделей после этого плакаты крупными буквами взывали к избирателям Сэнди-Бара и соседних поселков: «ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!» Напрасно высокие придорожные сосны, к стволам которых прибили и этот и многие другие призывы, противились такому насилию и стояли, покачивая своими овеянными ветром сторожевыми башнями!

В один прекрасный день к рощице у входа в ущелье с барабанным боем, с яркими плакатами подошла процессия. Собрание открыл полковник Старботтл, чья под-



держка почти обеспечивала Йорку победу на выборах, поскольку полковник считался опытным в делах этого рода и пользовался неопределенной репутацией «боевого коня». Речь в пользу своего друга полковник заключил провозглашением кое-каких бесспорных принципов перемежку с анекдотами, настолько рискованными, что, кажется, даже сосны могли бы возмутиться и закидать его опадающими шишками. Но полковник рассмешил своих слушателей, смех помог Йорку завладеть всеобщим вниманием, и когда он поднялся на трибуну, его встретили приветственными криками. Ко всеобщему удивлению, оратор начал с того, что принялся всячески поносить своего соперника. Он распространялся не только о деяниях и проступках Скотта в Сэнди-Баре, но заговорил также о фактах, относившихся к началу его карьеры и до сих пор никому здесь не известных. К точности эпитетов и прямоте речи добавлялась сенсационность разоблачений. Толпа кричала, подбадривала его и была в полном восторге, но когда эта ошеломляющая филиппика подошла к концу, раздались единодушные возгласы: «Давай сюда Скотта!»

Полковник Старботтл попытался было бороться с этой вопиющей бестактностью, но тщетно. Руководствуясь то ли чувством элементарной справедливости, то ли более низменной потребностью поразвлечься, собрание стояло на своем, и Скотта привели, протолкнули вперед и заставили подняться на трибуну.

В ту минуту, когда его нечесаная шевелюра и всклокоченная борода появились над перилами, всем стало ясно, что он пьян. Однако не успел Скотт и слова сказать, как собравшиеся почувствовали, что перед ними стоит подлинный оратор Сэнди-Бара, единственный человек, который способен завоевать их неустойчивые симпатии (может быть, потому, что он не гнушался взывать к ним). Уверенность в себе придала Скотту чувство достоинства, и подозреваю, что состояние, в котором он находился, пленяло его слушателей, видевших в этом признаки царственной свободы и широты натуры. Как бы там ни было, но стоило только этому нежданному-негаданному Гектору выбраться из канавы, как мармидоняне Йорка дрогнули.

— Все до последнего слова, джентльмены, — начал Скотт, наклоняясь над перилами, — все до последнего слова из того, что говорил этот человек, — сущая правда. Меня выгнали из Каиро; я на самом деле был связан с бан-

дитской шайкой; я на самом деле дезертировал из армии; я бросил жену в Канзасе. Но числится за мной еще один неблагоприятный поступок, которым он меня не попрекнул, должно быть, просто по забывчивости. Три года, джентльмены, я был компаньоном этого человека!

Собирался ли Скотт говорить дальше, не знаю: буря аплодисментов придала его успеху художественную полноту и завершенность и предрешила его избрание. Этой же осенью он отправился в Сакраменто, а Йорк уехал за границу; и впервые за долгие годы расстояние и новая обстановка, в которой они оба очутились, разъединили старых врагов.

Мало принесся нового зеленому лесу, серым скалам и желтой реке, но сильно раздвинув вежи, поставленные человеком, и населив поселок новыми лицами, над Сэнди-Баром пролетели три года. Два его обитателя, когда-то крепко с ним связанные, казалось, были совсем забыты.

— Вы уже никогда не вернетесь в Сэнди-Бар, — сказала мисс Фолинсби, «Лилия Поверти-Флета», встретившись с Йорком в Париже. — Ведь Сэнди-Бара больше нет. Теперь он называется Риверсайд, и новые кварталы выстроили выше по реке. Да, кстати, Джо говорит, что Скотт выиграл дело об участке «Дружба», живет теперь в старой своей хижине и почти всегда пьяный. Ах, простите, — добавила эта жизнерадостная особа, увидев, как румянец залил бледные щеки Йорка. — Боже мой, я была уверена, что старая вражда кончилась! По-моему, давно пора.

Через три месяца после этого разговора в прекрасный летний вечер у веранды «Юнион-Отеля» в Сэнди-Баре остановился дилижанс из Поверти-Флета.

Один из пассажиров в хорошо сшитом костюме и с чисто выбритым лицом, по местным понятиям, «чужак», потребовал отдельный номер и рано удалился к себе. Но на следующее утро приезжий встал еще до восхода солнца и, вынув из саквояжа другую смену одежды, облачился в белые парусиновые брюки и белую парусиновую рубаху, а на голову надел соломенную шляпу. Одевшись, он завязал узлом красную шелковую косынку на шею и расправил ее по плечам. Превращение получилось полное. Когда он бесшумно спустился по лестнице и вышел на улицу, никто не сказал бы, что это все тот же щеголеватый незнакомец. Только несколько человек узнали Генри Йорка из Сэнди-Бара.

Неверный свет раннего утра и перемены, происшедшие в поселке, заставили Йорка немного помедлить, прежде чем он понял, где находится.

Сэнди-Бар, каким он его помнил, был расположен возле самой реки, а дома, стоявшие вокруг, были позднейшей стройки и более современные на вид. По дороге к реке ему попадались то новая школа, то церковь, которых раньше не было. Еще немного дальше — и появился салун «Солнечный Юг», превратившийся теперь в ресторан, хотя позолота на нем потускнела и штукатурка облупилась. Теперь уже Йорк знал, куда ему идти, и, быстро сбежав по косогору, перешагнул через канаву и остановился у нижней границы участка «Дружба».

Серый туман медленно поднимался над рекой, цепляясь за верхушки деревьев, вползая по горному склону, и, наконец, заплутавшись среди здешних каменных алтарей, был принесен в жертву восходящему солнцу.

Земля под ногами Йорка, которую он когда-то безжалостно исполосовал и изранил своими инструментами, успела покрыться зеленью за эти долгие годы и теперь улыбалась ему всепрощающей улыбкой, словно говоря, что в конце концов жизнь не так уж плоха.

Стайка птиц купалась в канаве, да так весело, будто канавка эта была новшеством, специально уготованным для них природой. Завидев Йорка, заяц юркнул в опрокинутый желоб для промывки золотого песка, будто желоб только с этой целью там и положили.

Йорк все еще не решался взглянуть прямо перед собой. Но солнце поднялось высоко, и лучи его уже золотили холм, на котором стояла хижина. Несмотря на все свое самообладание, Йорк почувствовал, как у него забилося сердце, лишь только он поднял на нее глаза. Окна и дверь хижины были закрыты, дым из ее глинобитной трубы не шел, но во всем остальном она нисколько не изменилась. За несколько шагов до нее Йорк подобрал с земли сломанный заступ, с улыбкой поднял его на плечо, медленно подошел к двери и постучался. Изнутри не донеслось ни звука. Улыбка замерла у Йорка на губах, и он порывисто толкнул дверь.

Какой-то человек вскочил с койки и сердито шагнул к Йорку навстречу, человек, воспаленные глаза которого вдруг с изумлением уставились на него, а руки, протянутые было вперед, поднялись предостерегающе, человек, который вдруг охнул, захрипел и в припадке стал валиться на пол.

Йорк вовремя подхватил его и вытащил на воздух, на солнце. Оба они упали, перевалившись друг через друга. Но Йорк тут же поднялся и сел, держа на коленях судорожно бившееся тело своего прежнего компаньона и вытирая пену с его подергивающихся губ. Постепенно судороги стали все реже и реже, потом вовсе прекратились, и Скотт затих у него на руках.

Йорк сидел неподвижно, вглядываясь, в лицо своего компаньона. Доносившийся из лесу стук топора — еле слышный, призрачный звук — только и нарушал тишину. Высоко над ними кружил в небе ястреб. А потом послышались голоса, подошли двое мужчин.

— Драка?

Нет, припадок; не помогут ли они перенести больного в гостиницу?

И там занемогший компаньон Йорка лежал неделю, не зная ничего, кроме видений, навязанных болезнью и страхом. На восьмой день перед рассветом он очнулся, открыл глаза и, взглянув на Йорка, пожал ему руку, потом заговорил:

— Значит, и правда ты? А я думал, это виски надо мной измывается.

Вместо ответа Йорк взял его руки в свои и, облокотившись о край койки, с ласковой улыбкой стал шутя разводить их из стороны в сторону.

— Ведь ты был за границей? Ну, как Париж, понравился?

— Да ничего. А как тебе Сакраменто?

— Первый сорт.

И это было все, что они смогли сказать друг другу. Вскоре Скотт снова открыл глаза.

— Ослаб я здорово.

— Ничего, скоро поправишься.

— Вряд ли.

Наступило долгое молчание; они слышали, как где-то рубят лес, как Сэнди-Бар просыпается и начинает свой новый день.

Потом Скотт медленно, с трудом повернулся к Йорку и сказал:

— Я ведь тогда чуть не убил тебя.

— И жалко, что не убил.

Они снова пожали друг другу руки, но пальцы Скотта заметно слабели. Он собирал всю свою волю для какого-то последнего усилия.

— Старик!

— Дружище!

— Ближе!

Йорк нагнулся над его бледнеющим лицом.

— Ты помнишь то утро?.. И все еще сердишься?

— Да.

Легкая усмешка мелькнула в уголке голубых глаз Скотта, когда он шепнул:

— Старик, а ведь ты *переложил* тогда соды в лепешки.

Говорят, что это были его последние слова.

И когда солнце, которое столько раз заходило, оставляя позади себя пустую злобу этих глупцов, снова взглянуло на них, теперь примирившихся, оно увидело, что холодная рука Скотта выпала из рук его бывшего компаньона, не ответив ему на горячее пожатие, и поняло, что вражде, родившейся в Сэнди-Баре, пришел конец.

---

# Мужья миссис Скэгс

## ЧАСТЬ I

### Запад

Заря только что вступала в предгорья, но вот уже час, как к востоку от поселка Ангела обозначилась пламенеющим контуром темная громада Сьерры, а утро началось еще часом раньше, с прибытием дилижанса из Плейсервилла. Сухая, холодная, не смягченная росой калифорнийская ночь все еще мешкала в длинных каньонах и в каменистых изгибах подножия Столовой горы. На горной дороге ледяной воздух пробирал до костей, рождая у путников настоящую потребность в чем-нибудь горячительном и удерживая сонных барменов на посту среди бутылок и рюмок.

Можно, пожалуй, с уверенностью утверждать, что первыми пробуждались к жизни бары. Правда, в придорожных сикоморах уже чирикала несколько птиц, но задолго до этого в салуне «Мэншн-Хауз» звенели рюмки и слышалось характерное бульканье. Салун освещала чахлая височная лампа, которая вовсе выдохлась после бессонной ночи и поражала сходством с упившимся гулякой, который развалился в кресле под нею и тоже не переставал мигать и вздрагивать. Сходство это настолько бросалось в глаза, что когда первый косой луч солнца проник сквозь оконное стекло, бармен, движимый состраданием и будущи последовательным, разделался с этой парой разом: выставил за дверь пьяницу и погасил лампу.

Затем величественно взошло солнце. Выплыв из-за восточного кряжа, оно начало по своему обыкновению самовластно править поселком Ангела: заставило термометр в двадцать минут подскочить на столько же градусов, загнало мулов в скудную тень корралей, накалило красную пыль и возобновило свои давние наступательные действия против шишковатого соснового щита, прикрывавшего Столовую гору. Сюда к девяти часам от-



ступала вся прохлада, и пассажиры империяла, словно в воду, погружали разгоряченные лица в душистую тень.

Кучер уингдемского дилижанса взял себе за правило при въезде в поселок Ангела нахлестывать лошадей, доводя их до того бешеного аллюра, который, как убеждали доверчивое человечество гравюры на стенах бара, был обычной скоростью этого вида транспорта. А надменное выражение лица и официальный, суровый взгляд восседавшего на козлах кучера делали его таким недосыгаемо важным в глазах зевак, толпящихся вокруг прибывшего дилижанса, что мало находилось смельчаков, которые отважились бы с ним заговорить. На сей раз таким смельчаком оказался член местного самоуправления достопочтенный судья Бисвингер, опрометчиво понадеявшийся на свое видное положение.

— Что слышно, Билл, какие политические новости? — спросил он кучера в то время, как тот не спеша сходил со своих высоко вознесенных козел, по-прежнему, впрочем, глядя на всех с высоты своего величия.

— Да так, ерунда, — неторопливо и с достоинством ответил Билл. — Вот только президент Соединенных Штатов сам не свой после того, как вы отказались войти в правительство. В политических кругах все повесили носы.

Ирония даже такого оскорбительного свойства была делом слишком обычным в Ангеле, чтобы вызвать у кого-нибудь улыбку или гримасу неудовольствия. Билл все так же медленно вошел в бар, в котором царило ледяное молчание и лишь слабо теплился дух соперничества.

— А ты случайно не прихватил с собой в этот раз агента Ротшильда? — проговорил бармен с расстановкой, только чтобы внести свой вклад в общий тон разговора.

— Нет. Он сказал, что не сможет заняться участком Джонсона, не посоветовавшись сперва с Английским банком, — глубокомысленно взвешивая каждое слово, ответил Билл.

Мистер Джонсон уже упоминался здесь: это был тот самый упившийся гуляка, которого выставил поутру бармен, и так как участок его заведомо не представлял никакого интереса для банкиров, то, естественно, внимание всех присутствующих устремилось к нему в надежде, что

он как-то ответит на брошенный ему вызов. Он и ответил, нетвердыми шагами подойдя к стойке и невнятно пробормотав: «Спасибо, мне с сахаром», — как если бы получил приглашение выпить. К чести Билла следует отметить, что он не только не попытался вывести Джонсона из заблуждения, но, напротив, с серьезным видом чокнулся с ним, произнеся: «Забьем еще один гвоздь в твой гроб...» — и после этого жизнерадостного тоста, к которому остальные игриво присовокупили: «...и чтобы у тебя все волосы на голове повылазили», — он единым движением головы и локтя опрокинул в себя стаканчик и заметно воспрянул духом.

— Здорово, майор! — воскликнул Билл, отставляя стакан. — И ты тут?

Его слова предназначались мальчику, который при этом обращении застенчиво отступил боком к двери и стоял там, похлопывая шапкой по дверному косяку с напускным безразличием, которому явно противоречили хоть и потупленные, но озорные черные глаза и разгоревшиеся щеки. То ли благодаря малому росту, то ли благодаря хрупкости и ангелоподобному лицу, поражавшему доверчивостью выражения, но он никак не выглядел на свои четырнадцать лет, а казался вдвое младше.

Все в поселке Ангела знали его. Мальчик, которого Билл величал майором, а остальные по имени его приемного отца — Томом Айлингтоном, успел всем примелькаться и постоянно давал пищу для пересудов и критики. Его своенравие, леность и необъяснимое добродушие — качество сомнительное и ничем не оправданное в поселении пионеров, подобном Ангелу, — часто служили темой ожесточенных споров. Почтенное большинство полагало, что мальчишке не миновать виселицы; меньшинство не столь почтенное забавлялось обществом Тома, нимало не заботясь о его будущем, а несколько обитателей поселка Ангела не усматривали в зловещем предсказании большинства ничего нового, ничего грозного.

— А мне есть что-нибудь, Билл? — заученным тоном задал вопрос мальчик, словно то была старая шутка, вполне понятная Биллу.

— Есть ли что-нибудь тебе! — протянул за ним Билл с преувеличенной строгостью, в равной мере понятной Томми. — Ничего! И помяни мое слово, ничего и не будет, покуда не перестанешь слоняться по барам и попусту тратить драгоценное время со всякими лодырями и бездельниками. — Это преувеличенно строгое нравоучение

сопровождалось столь же преувеличенным жестом (Билл схватился за графин), перед которым Томми отступил с не изменившим ему и здесь добродушием. Билл шел за ним до самой двери. — Провалиться мне на месте, если он не потащился за этим бездельником Джонсоном, — добавил он, окидывая взглядом дорогу.

— А чего он ждет, Билл? — полюбопытствовал бармен.

— Да письма от тетки. Дождется он его, черта с два! Сдается мне, они надумали совсем сбыть с рук мальчишку.

— Он ведет здесь праздную и бесполезную жизнь, — вставил свое слово член местного самоуправления.

— Ну! — сказал Билл, который никому, кроме себя, не позволял ругать своего протеже. — Раз у просвещенных избирателей и в мыслях нет предложить ему местечко, о пользе говорить не приходится.

Пустив эту парфянскую стрелу и звякнув стаканом, дабы подчеркнуть свои воинственные намерения, Билл подмигнул бармену, с особой медлительностью натянул на руки огромные, бесформенные перчатки из оленьей кожи, в которых пальцы его казались чудовищно распухшими и как бы забинтованными, прошествовал большими шагами к двери, крикнул, ни на кого не глядя и всем своим видом выражая глубочайшее пренебрежение к тому, как воспримут его приглашение: «Трогаемся!», — взгромоздился на козлы и флегматично пустил лошадей.

Пожалуй, Билл уехал весьма своевременно, так как разговор тотчас же принял оскорбительный для Тома и его родни характер. Совершенно недвусмысленно было высказано предположение, что вышеупомянутая тетка Тома и есть его родная мать; между тем как дядя отнюдь не состоит с ним в той степени близкого родства, которую требовательный вкус поселка Ангела признал бы в достаточной мере нравственной и благопристойной. Общественное мнение также склонялось к тому, что Айлингтон — приемный отец Тома, который регулярно получал некоторую сумму, предназначавшуюся якобы на содержание мальчика, — присваивает ее себе в качестве вознаграждения за умалчивание этих обстоятельств. «На чем, на чем, а на мальчишке он не разорится», — заметил бармен, который, видимо, располагал точными сведениями о главной статье расходов Айлингтона. Но тут оживленная беседа сама собой прекратилась, ибо некоторые участники дебатов до того выдохлись, что бармену пришлось переи-

ти от такого пустопорожного занятия, как разговор, к исполнению своих прямых и весьма серьезных обязанностей.

Отъезд Билла был весьма своевременным еще и потому, что иначе внезапно одолевшая его жажда поучать усилилась бы при виде дальнейшего поведения его протеже. Ибо к этому времени Том, поддерживавший нетвердого на ногах Джонсона — тот все время порывался перебежать через залитую солнцем дорогу, но всякий раз останавливался на середине, — добрался наконец до примыкавшего к «Мэншн-Хаузу» корраля. У самого дальнего его конца стоял насос и желоб, из которого поили лошадей. Сюда-то и привел Том своего спутника, не обменявшись с ним по пути ни словом, но, очевидно, повинувшись какому-то установившемуся обычаю. С помощью мальчика Джонсон стянул с себя куртку и шейный платок, отогнул ворот рубашки и чинно подставил голову под насос. Не спеша и не менее чинно Том занял место у рукоятки. Некоторое время лишь плеск воды и мерное постукивание нарушали эту нелепо-торжественную тишину. Затем все стихло. Джонсон поднес руки к голове, с которой в три ручья стекала вода, критически ощупал ее, словно она не ему принадлежала, и поднял глаза на своего товарища.

— Оно свое дело сделает, — сказал Томми как бы в ответ на его взгляд.

— А не сделает, — сказал Джонсон упрямо и как бы снимая с себя всякую ответственность за дальнейшее, — а не сделает... нет, <sup>с</sup>делает! И все тут!

Если под словом «оно» разумелся описанный выше способ приведения в порядок внешности Джонсона, то «оно» свое дело сделало. Склонившаяся под струю голова казалась несоразмерно большой, неопределенного цвета волосы стояли дыбом, побагровевшее лицо было одутловато и бессмысленно, вытаращенные глаза налиты кровью. Голова, вынырнувшая из-под струи, уменьшилась в размере и обрела другую форму, волосы пригладились, стали прямыми и темными, лицо побледнело, щеки впали, глаза зажглись беспокойным огнем. Изможденный, нервический аскет, который отошел от насоса, ничем не напоминал склонившегося там минутой раньше Вакха. Хотя для Томми в этом не было ничего нового, он не удержался и заглянул в желоб, словно ожидая увидеть в его мелких глубинах хоть что-то от прежнего Джонсона.

Узкая полоска земли, поросшая ивой, ольхой и конским каштаном — всего лишь запыленный обтрепанный край зеленой мантии, окутывавшей высокий стан Столовой горы, — огибала угол корраля. Молчаливая пара быстро перебралась под эту ненадежную защиту от палящего солнца. Они прошли совсем немного, когда Джонсон, быстро шагавший впереди, вдруг замер на месте и повернулся к своему товарищу с вопросительным «Э?».

— Я ничего не говорил, — спокойно произнес Томми.

— А кто сказал, что говорил? — спросил Джонсон, хитро взглянув на Томми. — Ясное дело, ты не говорил, и я тоже не говорил. Никто не говорил. С чего тебе вздумалось, что ты говорил? — продолжал Джонсон, глядя испытующе в глаза Томми.

Улыбка, обычно светившаяся в этих глазах, быстро исчезла; мальчик подошел и взял своего товарища за локоть.

— Ясное дело, ты не говорил, Томми, — настойчиво повторил Джонсон. — Ты ведь не из тех мальчишек, которые рады дурачить такого, как я, разнесчастного пьяницу. Вот за что ты мне по нраву пришелся. Я это сразу в тебе углядел. «Этот мальчишка не станет тебя дурачить, Джонсон, — сказал я сам себе. — Перед ним ты можешь выложить все свои богатства, когда даже бармену и тому нельзя доверять, вот как я сказал себе. Э?»

На сей раз Томми благоразумно пропустил мимо ушей вопрос Джонсона, и тот продолжал:

— Если я сейчас спрошу тебя про одну вещь, ты ведь не станешь меня дурачить, Томми?

— Конечно, нет, — сказал мальчик.

— А если я спрошу тебя, — с нарастающим беспокойством во взгляде и нервическим подергиванием рта продолжал Джонсон, как бы не слыша ответа, — а если я, к примеру, спрошу тебя, не заяц ли это только что пробежал мимо... э?... Ты мне скажешь, как оно есть на самом деле? Ты ведь не станешь дурачить старика?

— Не стану, — сказал Томми, — но это и вправду был заяц.

— Ну, а если я спрошу тебя, — снова начал Джонсон, — была ли на нем, к примеру, зеленая шляпка с желтыми лентами, ты ведь не станешь меня дурачить и говорить «да», — продолжал он с еще большей хитринкой, — если на нем ее вовсе не было.

— Конечно, не стану, — сказал Томми, — но в том-то и дело, что шляпка на нем была.

— Была?

— Была! — проговорил Томми решительно. — Зеленая шляпка с желтыми лентами и... и... и с красным помпончиком.

— Красного пом-пон-чика я что-то не заметил, — медленно и добросовестно выговаривая слова, произнес Джонсон, явно чувствуя облегчение. — Но я ничего не говорю, может, он и был. Э?

Томми посмотрел на своего спутника; землистый лоб его был покрыт крупными каплями пота, пот сбегал и по волосам; рука, которую держал Томми, вздрагивала и была липкой на ощупь, другая, свободная рука конвульсивно дергалась, словно была соединена с каким-то неисправным механизмом. Как бы не замечая этих угрожающих симптомов, Томми остановился и, усевшись на бревно, указал своему товарищу место рядом с собой. Тот послушно сел. Хотя это был и мелкий штрих, но никакой другой эпизод не мог бы так живо охарактеризовать столь необычайное содружество и подчеркнуть превосходство беспечного, почти по-женски мягкого, но все же обладающего характером мальчика над упрямо-своевольным, дико возбужденным взрослым мужчиной.

— А разве это честно со стороны зайца, — помолчав, сказал Джонсон со смехом, который, отнюдь не будучи веселым и мелодичным, вспугнул ящерицу, созерцавшую эту пару, затаив дух от любопытства, — разве это честно со стороны зайца — напялить на себя шляпку? Я спрашиваю, честно, э?

— Ну, — сказал Томми с железной невозмутимостью, — иногда они надевают шляпки, а иногда нет, как придется. Животные — большие чудаки. — И здесь Томми принялся с воодушевлением расписывать, пренебрегая, однако, правдивостью и достоверностью, — как я должен с прискорбием заметить, — нравы калифорнийской фауны, пока Джонсон не прервал его.

— И змеи тоже, э, Томми? — спросил он, с отсутствующим видом уставившись в землю.

— И змеи тоже, — подтвердил Томми. — Но они не кусаются, во всяком случае те, которых ты видишь. Поймай! Не двигайся, дядя Бен! Не двигайся! Вот они и уползли. И теперь тебе пора глотнуть свою порцию.

Джонсон вскочил с места, словно собираясь вспрыгнуть на бревно, но Томми успел поймать его рукой за локоть; в то же время другой рукой он вытащил у него из кармана бутылку. Джонсон остановился и оглядел ее.



— Раз ты так считаешь, мой мальчик, — проговорил он запинаясь, между тем как пальцы его уже судорожно обхватили горлышко, — только скажи мне, когда хватит.

Он поднес бутылку к губам и под критическим взглядом Томми отхлебнул большой глоток.

— Хватит! — выпалил вдруг Томми.

Джонсон вздрогнул, краска бросилась ему в лицо, но он быстро водворил бутылку на место. Однако кровь, прихлынувшая к его щекам, так и осталась там, взгляд стал менее беспокойным, и рука теперь тверже опиралась на плечо товарища.

Путь их пролегал вдоль склона Столовой горы по извилистой тропке, ведущей сквозь глухие, непроходимые заросли; можно было бы предположить, что сюда еще не ступала нога человека, если бы не банки из-под устричных консервов, жестянки, содержавшие когда-то сухие дрожжи, и пустые бутылки, занесенные прихлынувшей сюда первой волной пионеров. На шероховатом стволе гигантской сосны висели клочья серой шерсти, оставленные пробиравшимся здесь медведем гризли, и в странном контрасте с ними у подножия той же сосны валялась пустая бутылка из-под несравненного виски, лучшего создания спасительной цивилизации, — бутылка, увенчанная гербом республики, владеющей панацеей от всех бед. Головка гремучей змеи высунулась из табачного ящика со все еще яркими, кричащими наклейками, рекламирующими известную танцовщицу. А чуть подалее земля была изрыта и перекопана, навалены были одно на другое кое-как обтесанные бревна, неровной линией тянулся промывной желоб, высилась куча гравия и песка, рядом грубо сколоченная хижина; это был участок Джонсона. Хижина могла служить укрытием от дождя и холода — вот и все ее преимущества над окружающей ее первобытной природой. Как и в логовище животного, все в ней было подчинено этой цели, только логовища обычно еще удобны и живописны; даже птицы, которые заглядывали сюда в поисках пищи, должно быть, чувствовали свое превосходство над человеком в строительном искусстве. Хотя хижина была очень мала, в ней были горы грязи, хотя она была выстроена из свежесрубленного леса, воздух в ней был чудовищно затхлый. В тени она выглядела безнадежно унылой, но и посещавшее ее солнце словно отчаялось в своих мучительных, напрасных попытках смягчить ее грубые очертания или хотя бы позолотить ее загаром.

На участке, который в минуты трезвости разрабатывал Джонсон, было с полдюжины грубо выдолбленных в склоне горы отверстий; перед каждым из них громоздились обломки горной породы вперемешку с гравием. Все это никак не свидетельствовало о знании дела или планомерном замысле, зато говорило о ряде беспорядочных попыток, из которых ни одна не была доведена до конца. В описываемый день солнце так пекло, что маленькая хижина накалилась почти до температуры горения; сухая дранка на крыше начала коробиться, а свежие сосновые балки — плакать благовонными слезами; поэтому Томми использовал выдолбленные в скале «пещерки» не по прямому назначению, он ввел Джонсона в ту из них, которая была попросторнее, и сам со вздохом облегчения растянулся на каменном полу. Кое-где благодетельная влага скопилась в стоячие лужицы или же с однообразным успокоительным стуком капала со скалистого свода над головой. Снаружи все было залито режущим глаза солнечным светом — нестерпимым, прозрачным, добела раскаленным.

Некоторое время Томми и Джонсон лежали, приподнявшись на локтях, наслаждаясь тем, что им удалось скрыться от зноя.

— Что ты скажешь, — медленно начал Джонсон, не глядя на своего товарища и обращаясь с отсутствующим видом к расстилавшемуся перед ним пейзажу, — что ты скажешь, если я предложу тебе сейчас сыграть два кона в карты? Ставка — тысяча долларов.

— Не тысяча, а пять тысяч, — тоже в сторону пейзажа задумчиво проговорил Томми. — Тогда я согласен.

— Сколько там за мной? — спросил Джонсон после затянувшегося молчания.

— Сто семьдесят пять тысяч двести пятьдесят долларов, — ответил Томми деловито и с полной серьезностью.

— Что ж, — ответил Джонсон после раздумья, по глубине своей соразмерного значительности суммы, — выиграешь — считай за мной круглым счетом сто восемьдесят тысяч. А где карты-то?

Они оказались над самой их головой в старой жестяной коробке, засунутой в расщелину скалы. Колода была засаленная и потрепанная от долгого употребления. Сдавал Джонсон, хотя правая рука плохо подчинялась ему и, сдав Томми карту, бесцельно повисала в воздухе, так что вновь призвать ее к повиновению удавалось только в результате огромного нервного усилия. При этой явной не-

способности справиться даже с простой раздачей карт Джонсон все же ухитрился тайком вытянуть валета из-под низа колоды. Но проделал это так неумело, с такой постыдной неуклюжестью, что даже Томми должен был кашлянуть и отвести глаза в сторону, чтобы скрыть смущение. Возможно, по этой причине сей юный джентльмен также принужден был справедливости ради добавить себе лишнюю карту сверх того законного числа, которое было у него на руках.

Тем не менее игра шла вяло, без всякого одушевления. Выиграл Джонсон. Вооружившись огрызком карандаша, он увековечил этот факт и сумму, выведя дрожащей рукой каракули, расплзшиеся по всей странице его записной книжки. Потом, после долгой паузы, он медленно извлек что-то из кармана и протянул Томми. На вид это был камень бурого цвета.

— А что бы ты сказал, — растягивая слова, спросил Джонсон, и в его взгляде снова мелькнула неприкрытая хитринка, — а что бы ты сказал, Томми, случись тебе подобрать такой камешек?

— Не знаю, — ответил Томми.

— А может, ты сказал бы, что это золото или серебро?

— Нет, — не задумываясь, ответил Томми.

— А может, ты сказал бы, что это ртуть? А может, будь у тебя друг и знай он место, где ее хоть десять тонн в день грузи, да притом что каждая тонна тянет на две тысячи долларов, так, может, ты сказал бы, что этому твоему другу подфартило да еще как подфартило? Если бы, конечно, ты так выражался, Томми.

— Ну, а ты-то, — проговорил мальчик, переходя к сути дела с полной непосредственностью, — ты-то знаешь, где она есть? Ты напал на залежь, дядя Бен?

Джонсон опасливо огляделся по сторонам.

— В том-то и дело, Томми. Ее там пропасть сколько. Но ты не думай, вся она в земле захоронена, а наверху только и есть, что этот образец да родной его брат у агента во Фриско. Агент явится сюда через денек-другой, чтобы взять пробу на участке. Я послал за ним. Э?

Горящие, беспокойные глаза Джонсона впились в лицо Томми, но мальчик не проявил ни удивления, ни интереса. Нельзя было предположить, что он помнит ироническую и, как казалось тогда, бессмысленную фразу Билла, подтверждающую рассказ Джонсона в этой его части.

— Никто про это не знает,— продолжал Джонсон взволнованным шепотом,— никто про это не знает, только ты да агент во Фриско. Парни, те, что работают тут поблизости, идут себе мимо и видят: копается в земле старик, и хоть бы что блеснуло где, кварца захудалого — и того не видно; а парни, что околачиваются в «Мэншн-Хаузе», видят: таскается старый бездельник по барам — и говорят: «Спета его песенка», — а что к чему, им и невдомек. Или, может, они что пронюхали, э? — засомневался вдруг Джонсон, и взгляд его стал острым и подозрительным.

Томми посмотрел на него, покачал головой, запустил камнем в пробежавшего мимо зайца, но ничего не ответил.

— Когда ты первый раз попался мне на глаза, Томми,— продолжал Джонсон, судя по всему, успокоившись,— в тот первый раз, когда ты подошел и по своей воле стал качать мне воду, хотя ты меня до того и знать не знал; «Джонсон, Джонсон,— сказал я себе тогда,— вот на этого мальчишку ты можешь положиться. Этот мальчишка тебя не одурачит... Уж он-то сама прямота и честность — сама прямота и честность», Томми, так я и сказал себе тогда.

Он немного помолчал, а потом продолжал доверительным шепотом:

«Тебе нужен капитал, Джонсон,— сказал я себе,— капитал, чтобы вести разработки. И еще тебе нужен компаньон. За капиталом дело не станет, его можно раздобыть, а твой компаньон, Джонсон, твой компаньон — вот он тут. И зовут его Томми Айлингтон». Так я и сказал себе тогда слово в слово.

Он замолк и вытер о колени мокрые ладони.

— Скоро шесть месяцев, как ты уже мой компаньон. И с тех пор, Томми, я не сделал ни одного удара киркой, не промыл ни одной горсти земли, не выбрал ни одной лопаты без того, чтобы не вспомнить про тебя. И каждый раз я приговаривал: «Все поровну». И когда я написал моему агенту, я написал и от моего компаньона, не его это дело знать, взрослый он человек или мальчишка!

Джонсон придвинулся к Томми, как бы желая ласково потрепать его по плечу, но в его столь явной привязанности к мальчику присутствовал своеобразный элемент благоговейной сдержанности и даже страха, что-то мешавшее ему излиться до конца, безнадежное ощущение разделяющего их барьера, который ему никогда не преодолеть. Должно быть, он смутно чувствовал порой, что

обращенный к нему критический взгляд Томми светился пониманием и насмешливым добродушием, даже какой-то женственной мягкостью, но никаких других чувств в нем не было. От замешательства Джонсон разнервничался еще больше, но, продолжая говорить, он изо всех сил пытался сохранить спокойствие, что при его подергивающихся губах и трясущихся пальцах производило впечатление жалкое и смешное.

— В моем деревянном ларе есть купчая, составленная, как оно и положено, по закону на половинную долю не поделенного участка, как возмещение двухсот пятидесяти тысяч карточного долга — моего тебе карточного долга, Томми, ты понял? — При этих словах во взгляде его промелькнуло выражение ни с чем не сравнимого лукавства. — И еще есть завещание.

— Завещание? — повторил за ним Томми с веселым недоумением.

Джонсон вдруг испугался.

— Э? Кто здесь говорил о завещании, Томми? — воскликнул он, спохватившись.

— Никто, — ответил Томми, не моргнув глазом.

Джонсон отер холодный пот со лба, отжал пальцами мокрые пряди волос и продолжал:

— Когда, бывает, меня скрутит, как сегодня, здешние парни говорят — да и ты, небось, говоришь, Томми, — что это виски. А это не так, Томми. Это отрава, ртутная отравка! Вот что со мной стряслось. У меня слюнотечение. Ртутное слюнотечение. Я слышал про такое и раньше. И так как ты чего-чего только не читал, надо думать, и ты знаешь про это. Кто работает с киноварью, у того всегда бывает слюнотечение. Хоть так, хоть эдак — им его не миновать. Ртутное слюнотечение.

— А что ж ты будешь делать, дядя Бен?

— Когда приедет агент из Фриско и все закрутится с этими моими копиями, — начал Джонсон, как бы размышляя вслух, — я поеду в Нью-Йорк. И вот приеду я в Нью-Йорк и скажу в гостинице бармену: «Отведи меня к самому что ни на есть лучшему доктору». И он ответит меня. И я скажу тому доктору: «Ртутное слюнотечение, вот уже год. Сколько выкладывать?» И он скажет: «Пятьсот долларов», — и велит мне принимать по две пилюли перед сном и по столько же порошков перед едой и чтобы я пришел к нему через неделю. И я прихожу к нему снова через неделю уже здоровый и выдаю ему в том расписку.

Воодушевленный вниманием, проявившимся во взгляде Томми, он продолжал:

— И вот я уже здоров. И иду к бармену и говорю: «Покажи мне самый что ни на есть большой и шикарный дом, который у вас тут продается». И он отвечает: «Дело известное, самый большой дом продает Джон Джейкоб Астор». «Отведи меня к нему», — говорю я. И он ведет меня к Астору. «Сколько возьмете с меня за этот дом?» А тот смотрит на меня эдак пренебрежительно и говорит: «Убирайся, старик, ты, верно, рехнулся». И я двину ему разок в левый глаз, и он запросит у меня пардону, и я дам ему его цену. И я набыю этот дом сверху донизу мебелью из красного дерева и съестными припасами, и мы с тобой станем там жить, ты да я, Томми, ты да я!

Солнце уже не освещало склон горы. По участку Джонсона поползли тени сосен, и в пещере стало совсем прохладно. В сгущавшихся сумерках видно было, как блещут глаза Джонсона.

— И вот настанет день, — продолжал он, — когда мы зададим с тобой пир, Томми. Мы позовем к себе губернаторов, и членов Конгресса, и самых важных джентльменов, и всех таких прочих. И среди них я позову одного человека, который высоко носит голову, человека, которого я когда-то знал. А ему и невдомек, что я его знаю, он-то меня не помнит. И он входит и садится против меня, и я не свожу с него глаз. И очень он весело настроен, этот человек, и очень сам собой доволен, и вытирает он себе рот белым платком, и улыбается, и, глядя на меня, говорит: «Выпьем с вами вина, мистер Джонсон». И он наливает вина себе, а я себе, и мы встаем, и я швыряю стакан с вином прямо в это его окаянное ухмыляющееся лицо. И он подскакивает ко мне, а он не трус, этот человек, совсем не трус, но тут его хватают за руки, и он спрашивает меня: «Кто ты есть?» И я говорю: «Скэгс, будь ты проклят! Скэгс! Узнаешь?! Отдай мне мою жену и ребенка! Отдай мне деньги, которые ты у меня украл! Отдай мне доброе имя, которое ты у меня отнял! Отдай мне здоровье, которое ты погубил! Отдай мне назад последние двенадцать лет моей жизни! Отдай мне все это, дьявол, и поживее, а не то я вырежу у тебя сердце». И, ясное дело, Томми, он того не может. И вот я вырезаю у него сердце, мой мальчик, я вырезаю у него сердце!

Животная ярость, сверкавшая в его взгляде, сменилась вдруг лукавством.



— И ты думаешь, они вздернут меня за это, Томми? Как бы не так! Я пойду к самому что ни на есть знаменитому адвокату и скажу: «Отравлен ртутью, понимаете, отравлен ртутью». И он подмигнет мне, и пойдет к судье, и скажет: «Этот бедняга за себя не отвечает: он отравлен ртутью». И позовет свидетелей, и вот приходишь ты, Томми, и говоришь им, как меня, бывало, скручивало; и доктор приходит и объясняет им, как мне было худо тогда; и тут присяжные, не сходя с места, все, как один, постановляют: «Оправдать по умопомешательству. Отравлен ртутью».

Дойдя до кульминационной точки своего рассказа, Джонсон пришел в такое возбуждение, что даже вскочил и, наверное, не удержался бы на ногах, если бы Томми не поддержал его и не вывел на воздух. Там, при свете куда более ярком, чем в пещере, сразу стало заметно, как изменилось его изжелта-бледное лицо — изменилось настолько, что Томми быстро подхватил его под руку и отвел, вернее, дотащил до убогой хижины. Когда они туда добрались, Томми уложил Джонсона на грубо сколоченный топчан, или ларь, и стал над ним, глядя с беспокойством на бьющегося в конвульсиях товарища... Потом он торопливо сказал:

— Послушай, дядя Бен, я иду в город — в город, понимаешь? За доктором. А ты ни за что не вставай и не двигайся, пока я не вернусь. Ты слышишь меня? — Джонсон судорожно кивнул. — Через два часа я вернусь.

Минутой позже Томми уже не было в хижине.

В течение часа Джонсон держал слово. Потом он вдруг сел и уставился в угол хижины. Постепенно на лице его появилась улыбка, он что-то забормотал, бормотание перешло в крик, крик — в проклятия, и все завершилось безудержными рыданиями. После чего он снова стих и спокойно улегся.

Джонсон лежал так неподвижно, что любой вошедший в хижину человек принял бы его за спящего или мертвого. Но когда осмелевшая в ненарушимой тишине белка перебралась из-под крыши в хижину, она вдруг замерла на балке прямо над ларем, увидев, что нога человека медленно и неуверенно опускается на пол и что взгляд у него не менее настороженный и внимательный, чем у нее самой. По-прежнему не было слышно ни звука, но обе ноги оказались вдруг на полу. В этот момент ларь скрипнул, и белка юркнула под карниз, а когда она снова выглянула оттуда, все было тихо, но человек исчез.

Часом позже двум погонщикам мулов повстречался на Плейсервиллской дороге человек; волосы у него были всклокочены, сверкающие глаза налиты кровью, одежда изодрана о колючий кустарник и перепачкана красной пылью. Они пошли за ним следом, но он вдруг обернулся и, набросившись на того из них, кто был ближе, выхватил у него пистолет и пустился бежать. Еще позже, когда солнце скрылось за Пейнским хребтом, на Дедвудском склоне начал похрустывать низкорослый кустарник под чьими-то крадущимися, но неутомимыми шагами. Должно быть, это было животное, неясный силуэт которого появлялся в сгущающейся темноте; он то возникал, то скрывался, неуклонно продвигаясь вперед. Да и кто еще, кроме животного, мог оглашать тишину таким бессмысленным, однообразным и несмолкающим криком? Однако когда звук приблизился и раздвинулись кусты чапарала, то показался человек, и человек этот был Джонсон.

Преследуемый сворой призрачных псов, которые с во-ем неслись за ним по пятам, настигая его неотступно и неутомимо, гонимый ударами воображаемого бича, со свистом обвивающегося вокруг его рук и ног; окруженный толпой гнусных призраков, с воплями подступающих к нему со всех сторон, он тем не менее все же различал один-единственный реальный звук — шум стремительной, бурливой реки. Река Станислав! Там, внизу, в тысяче футов от него, она катит свои желтоватые волны. Несмотря на всю зыбкость своего помраченного сознания, он цеплялся за эту единственную мысль — добраться до реки, омыться в ней, переплыть ее, если надо, чтобы навсегда положить преграду между собой и назойливыми видениями, навсегда утопить в ее мутных глубинах толпящихся призраков, смыть ее желтыми водами всю грязь и позор прошлого. И вот он перепрыгивает с валуна на валун, с чернеющего пня на пеня, перебегает от куста к кусту, прорываясь сквозь опутывающие его растения и проваливаясь в песчаные ямы, пока, скользя, спотыкаясь и падая, не добирается до берега реки, где снова падает, снова поднимается, шатаясь, делает несколько шагов вперед и наконец, вытянув руки, валится ничком на скалу, преграждающую путь быстрому течению. И там он лежит, будто мертвый.

Первые звездочки робко блеснули над Дедвудским склоном. Холодный ветер, налетевший неведь откуда, как только спряталось солнце, раздул их слабый блеск до яркого сияния; потом промчался по нагретым склонам

холма и взбудоражил реку. Там, где лежал поверженный человек, река образовывала крутую излучину, и в сгустившихся сумерках казалось, что ее бурные воды вырываются из темноты и снова пропадают. Гниющий плавник, стволы упавших деревьев, обломки промывных желобов — отбросы и отходы, издалека согнанные сюда, на секунду оказывались в поле зрения и тут же исчезали. Вся грязь, накипь, мерзость, которую поставлял довольно большой округ приисков и поселков, все, что изрыгнула из себя эта грубая и вольная жизнь, на миг появившись, уносилось прочь в темноту и исчезало с глаз. Неудивительно, что, когда ветер волновал желтые воды реки, волны, как нечистые руки, вздымались к скале, где лежал упавший человек, словно им не терпелось сорвать его оттуда и умчать к морю.

Стояла тишина. В прозрачном воздухе звуки рожка были ясно слышны за милю. Звон шпор и смех на проезжей дороге по ту сторону Пейнского хребта звучал отчетливо и за рекой. Позвякивание упряжи и стук копыт уже задолго оповестили о приближении уингдемского дилижанса; наконец, сверкнув фонарями, он проехал мимо в нескольких футах от скалы. На час снова воцарилась тишина. Вскоре полная луна взошла над кряжем и свысока посмотрела на реку. Сперва, точно белеющий череп, обозначилась вершина Дедвудской горы, а когда сползли вниз отбрасываемые Пейнским хребтом тени, то и склон горы с его уродливыми пнями, пропыленными расщелинами и местами обнажившейся породой предстал в своем черно-серебряном одеянии. Мягко прокравшись вниз, лунный свет скользнул по берегу, по скале и ярко заиграл на реке. Скала была пуста, человек исчез, но река все так же спешила к морю.

— А мне есть что-нибудь? — неделю спустя спросил Томми Айлингтон, когда к «Мэншн-Хаузу» подъехал дилижанс и Билл неторопливо вошел в бар.

Билл не ответил, но, повернувшись к вошедшему вместе с ним незнакомцу, пальцем указал ему на мальчика. Тот с деловым видом, не скрывая, однако, известной доли любопытства, критически оглядел Томми.

— А мне есть что-нибудь? — повторил Томми, немного смущенный молчанием и устремленным на него взглядом.

Билл не спеша подошел к стойке и, прислонившись к ней спиной, невозмутимо, но явно ликуя в душе, смотрел на Томми.

— Если, — сказал он, — если сто тысяч долларов наличными и полмиллиона в перспективе — это что-нибудь, то можешь считать, что есть, майор.

## ЧАСТЬ II

### Восток

Для поселка Ангела характерно, что известие об исчезновении Джонсона и об его завещании, по которому вся его собственность досталась Томми, взволновало публику куда меньше, чем ошеломляющая новость, что Джонсону, оказывается, было что оставлять. Открытие залежей киновари в Ангеле заслонило собой все сопутствующие этому факту частности и детали. Стратегии с соседних приисков толпами стекались в поселок; на милю по обе стороны от участка Джонсона склоны горы были застолблены; заметное оживление наблюдалось и в торговле. Если верить захлебывающемуся красноречию «Еженедельных ведомостей», «над Ангелом вошла заря новой эры». «В прошлый четверг, — добавляла газета, — выручка бара в «Мэншн-Хаузе» превысила пятьсот долларов».

Дальнейшая судьба Джонсона почти не вызывала сомнений. Последними его видели пассажиры империала уингдэмского ночного дилижанса: он лежал на скале у самой реки. А после того как Финн с Робинсонова парома признался, что дал три выстрела из револьвера по какому-то темному барахтавшемуся в воде предмету, принятому им за медведя, вопрос казался решенным. Как бы неточны ни были наблюдения Финна, точность его прицела не вызывала сомнений. Поскольку все считали, что, заведя пистолетом погонщика мулов, Джонсон мог взять да и уложить на месте первого же встречного, поступок паромщика в поселке признали допустимым и даже в своем роде справедливым.

Не менее характерно для поселка Ангела, что счастье, привалившее Томми Айлингтону, не вызвало ни зависти, ни возражений. Большинство полагало, что он с самого начала был полностью осведомлен о находке Джонсона

и его отношение к последнему было целиком основано на корыстном расчете. Как ни странно, такой взгляд впервые пробудил у людей чувство подлинного уважения к Томми.

— Парень, видно, не дурак! Юба Билл это сразу понял, — сказал бармен.

И после того как мальчик вступил во владение участком Джонсона, кто же, как не Юба Билл, при поручительстве всех богатейших людей Калавераса, вызвался быть опекуном Томми! А когда мальчика отправили на Восток для завершения образования, кто же, как не Юба Билл, сопровождавший Томми до Сан-Франциско, отвел на палубе корабля своего питомца в сторонку и сказал:

— Всякий раз, как тебе понадобятся деньги, Томми, сверх тех, что тебе положены на содержание, пиши мне. Но послушайся моего совета, — здесь голос его внезапно охрип, что заметно смягчило суровость его тона, — и начисто забудь всех распроклятых старых, засекающихся на все четыре ноги бездельников, с которыми ты знался в Ангеле, — всех до одного, Томми, всех до одного! Итак, мой мальчик, береги себя, и... и... да благословит тебя бог! И будь я трижды неладен за то, что я такой перворазрядный и первоклассный осел!

И тот же Юба Билл спустя минуту после этой речи, раздвигая толпу воинственно выставленным вперед плечом и бросая на всех свирепые взгляды, пробился по заполненным людьми сходням, затеял ссору с кебменом, которого тут же скрутил и запихал в его собственный кеб, сам взялся за вожжи и бешено погнал лошадей к гостинице.

— Влетело мне в двадцать долларов, — сказал Юба Билл, излагая этот эпизод несколько позже в поселке Ангела, — двадцать долларов у судьи, на следующее же утро! Но можете не сомневаться, я показал им, как надо ездить, этим парням во Фриско, им было от чего рты разинуть! Я им там задал жару на Монтгомери-стрит за эти десять минут, уж будьте уверены!

Мало-помалу двух первооткрывателей Больших Киноварных залежей забыли в поселке Ангела, не помнили о них и в Калаверасе. Спустя пять лет даже имена их стерлись из памяти, спустя семь — переименован был и поселок, где они когда-то жили, спустя десять — город, в который превратился поселок, был полностью перенесен на склоны горы, и труба рудоплавильного завода, тускло мерцая, по ночам отбрасывала мертвенный свет ту-

да, где когда-то стояла хижина Джонсона, а днем отравляла ядовитым дыханием воздух, пропитанный смолистым запахом сосен. «Мэншн-Хауз» — и тот был снесен, и уингдэмский дилижанс изменил проезжей дороге, выбрав более короткий путь через Ртутный город. И лишь Дедвудская гора, как и встарь, вонзала свой обнаженный гребень в ясное голубое небо, и, как и встарь, у ее подножия неумолимая, неугомонная река Станислав, плещась и что-то нашептывая, бежала к морю.

Над Атлантикой лениво занималось знойное летнее утро. У ветра не доставало сил разогнать сгустившиеся над морем испарения, но сквозь колышущуюся туманную завесу просвечивало фиолетовое небо с проступившими уже на нем тускло-красными полосами, которые, все ярче пламенея, закрасили наконец звезды. Вскоре коричневые утесы Грейпорта порозовели, а вслед за тем расцветилась и вся пепельная полоса пустынного побережья, и один за другим стали гаснуть огни маяка. Потом сотни невидимых прежде парусов выступили из неясной дали и устремились к берегу. Настало утро, и некоторые избранные представители грейпортского высшего общества, которые так еще и не ложились, нашли, что им время идти спать.

Солнце, все больше разгораясь, охватило пожаром и набегающие одна на другую красные крыши живописного дома у песчаной отмели, из открытых, с частыми переплетами окон и с освещенной веранды которого всю ночь лились на берег свет и музыка. Солнце сверкало по всей широкой стеклянной поверхности оранжереи, выходящей на изящную лужайку, где ночью в неподвижном воздухе под полной луной, смешиваясь, как бы застывали запахи моря и суши. Но солнечные лучи вызвали переполох на увешанной разноцветными фонариками длинной веранде и испугнули группу дам и кавалеров, вышедших из гостиной полюбоваться на восход. Солнце было так беспощадно, так, можно сказать, правдиво, что, когда прекрасная и несравненная мисс Джилифлауэр, отъехав в карете от дома, посмотрела на свое отражение в овальном зеркале, она проворно опустила шторы и, откинув самые белоснежные во всем Грейпорте плечи на алые подушки, тут же заснула.

— На что мы все похожи! Роз, дорогая, ты выглядишь почти интеллектуальной, — сказала Бланш Мастермен.



— Надеюсь, что нет, — простодушно ответила Роз. — Восходы солнца такое испытание для нас! Посмотрите, как это освещение обесцветило волосы да и всю миссис Браун-Робинсон.

— Ангелы, — проговорил граф де Ньюга, почтительным жестом указав на небо, — должно быть, не одобряют эту игру небес, которая пагубно отражается на их туалетах.

— Ну, в белом они ничем не рискуют, если только не позируют художникам в Венеции, — заметила Бланш. — А какой свежий вид у мистера Айлингтона! Право, это вовсе не лестно для нас.

— Думаю, солнце просто не видит во мне соперника, — скромно ответил молодой человек. — К тому же, — добавил он, — я долго жил под открытым небом и могу обходиться почти без сна.

— Это восхитительно! — мягким восторженным голосом воскликнула миссис Браун-Робинсон, в которой опасно сочетались пылкость и чувствительность шестнадцатилетней девочки и жизненный опыт женщины тридцати двух лет. — Нет, это просто восхитительно! Какие, наверное, восходы вы видели и в каких диких, романтических краях! Как я завидую вам! Мой племянник, который учился с вами, часто пересказывал мне прелестные истории о ваших приключениях. Расскажите нам сейчас хоть одну! Ну пожалуйста! Но как, вероятно, наскучили вам и мы и вся эта искусственная жизнь здесь, такая ужасно, ужасно искусственная, не правда ли? — Переходя на доверительный шепот. — Ну разве может все это сравниться с теми днями, когда вы бродили по Великому Западу вместе с индейцами, бизонами и гризли? Вам ведь, конечно, попадались там гризли и бизоны?

— Ну, разумеется, дорогая, — с легким раздражением проговорила Бланш, набрасывая плащ на плечи и беря под руку свою спутницу. — В младенчестве его баюкал бизон, а гризли он гордо именует товарищем своих детских игр. Пойдемте, я вам все расскажу об этом. Как мило с вашей стороны, — добавила она вполголоса Айлингтону, когда он подсаживал ее в карету, — как это мило с вашей стороны быть похожим на всех этих диких животных и не сознавать своей силы. При вашем опыте и нашей доверчивости, подумать только, какие истории вы могли бы нам нарасказать! А вы, как я вижу, собираетесь на прогулку? Тогда спокойной ночи!

Узкая затянутая в перчатку ручка непринужденно протянулась к нему из окна кареты, которая тут же отъехала.

— Не упускает ли Айлингтон здесь свой шанс? — проговорил на веранде капитан Мервин.

— Быть может, он не в состоянии выдержать приложения в лице моей прелестной тетушки? Впрочем, он ведь гостит у отца Бланш, и, полагаю, они достаточно часто видят друг друга.

— А вы не находите, что это довольно рискованная ситуация?

— Для него — допускаю, хотя он умудрен жизнью и большой оригинал, но для нее — при ее-то опыте, когда она видела у своих ног всех сколько-нибудь стоящих мужчин обоих полушарий, в том числе и вон того графа де Ньюга, кто для нее вообще может быть опасен! Разумеется, — засмеялся он, — во мне говорит горечь. Но это — уже дело прошлое.

Неизвестно, слышал Айлингтон или нет, как они злословили, во всяком случае, для него в этом не было ничего нового. Он с беспечным видом направился по дороге к морю. Там он побрел по песчаному берегу к скалам и, встретив на своем пути препятствие в виде садовой стены, без всякого труда, с мальчишеской ловкостью и сноровкой перемахнул через нее и, миновав открытую лужайку, продолжал путь к скалам. Высшее общество Грейпорта не привыкло рано вставать, и нарушитель границ чужих владений в вечернем костюме вызывал критические замечания лишь у болтающихся возле конюшен грумов и чистеньких горничных, расхаживающих по просторным верандам, которые грейпортская архитектура считала для себя обязательным обращать к морю.

Только один раз, вступив в пределы Клиффорд-Лодж — знаменитой резиденции Ренвика Мастермена, — он почувствовал на себе чей-то изучающий и недоверчивый взгляд, но скрюченная фигура быстро скрылась и не помешала его прогулке. Миновав аллею, ведущую к дому, Айлингтон, идя вдоль скал, добрался до мыска, на котором стояла незамысловатая беседка, уселся там и стал смотреть на море. И тотчас же на него снизошел бесконечный покой.

Не считая прибрежной полосы, где волны лениво лизали утесы, море пребывало в неподвижности; даже рябь не пробегала по его необозримой глади — оно лишь чуть заметно, ритмично и словно бы во сне вздымалось огромными, тяжелыми полотнищами. А над ним нависла свет-

лая дымка, вобравшая в себя отвесные солнечные лучи. Айлингтон подумал, что вся изнеженность культуры, вся волшебная сила богатства, все чары утонченности, годами воздействовавшие на этот благословенный берег, излили свою милость и на океан — потому он и дышит сейчас таким глубоким спокойствием. Как он был избалован, заласкан, как его здесь лелеяли, как ему льстили и угождали! Неожиданно, по какому-то капризу памяти, перед взором Айлингтона возникли угрюмые очертания Дедвудской горы и желтая река Станислав, бегущая мимо аскетических сосен, и тогда желто-зеленый бархат лужайки и изящная листва показали ему по контрасту деталями тропического пейзажа. Он поднял голову и в нескольких ярдах от себя увидел стройную, похожую на высокий стебель Бланш Мастермен, смотревшую на море.

Она сорвала где-то огромный веерообразный лист и держала его над головой как зонтик, пряча за ним копну светлых волос и серые глаза. Бланш сменила бальный туалет со шлейфом и множеством оборок на облегающее платье в античном духе — этот покрой был бы губительным для женщины менее стройной, но необычайно украшал грейпортскую богиню, еще более подчеркивая изящные изгибы и плавные линии ее фигуры. Когда Айлингтон поднялся, она подошла к нему и открыто и непринужденно протянула ему руку. Заметила ли она его прежде, чем он ее, об этом я не берусь судить.

Они вместе сели на простую деревянную скамью, мисс Бланш повернулась к морю, прикрывая глаза листом.

— Я даже не знаю, как долго я здесь сижу, — сказал Айлингтон, — не знаю, спал я или мечтал. Такое чудесное утро, что просто грешно ложиться. А вы?

Из-за листа он услышал, что мисс Бланш, возвратившись домой, подверглась нападению отвратительного крылатого жука, которого, несмотря на все усилия, ни ей, ни ее горничной так и не удалось выдворить. Ее шпиц Один непрерывно скребся в дверь. И теперь у нее красные глаза от бессонной ночи. И с утра ей надо нанести визит. И море такое прелестное нынче.

— Какая бы причина ни привела вас сюда, я рад, что вы здесь, — сказал Айлингтон со своей неизменной прямо-той. — Сегодня, как вам известно, я последний день в Грейпорте, и насколько же приятнее сказать друг другу до свидания под этим голубым небом, чем там, в доме, даже под прекрасными фресками вашего отца. Притом мне хочется сохранить вас в памяти как часть этого чудес-

ного пейзажа, который принадлежит нам всем, а не среди чьей бы то ни было обстановки.

— Я знаю,— сказала Бланш с не меньшей прямоотой,— что дома — один из пороков нашей цивилизации, но мне еще не доводилось слышать, чтобы эта мысль была выражена с таким изяществом. Куда вы едете?

— Еще не знаю. Планы у меня самые разнообразные. Я могу поехать в Южную Америку и сделаться президентом одной из республик, все равно какой. Я богат, но в той части Америки, которая лежит за пределами Грей-порта, мужчина должен иметь какое-то занятие. Мои друзья считают, что мой капитал обязывает меня поставить перед собой великую цель. Но я родился бродягой и таким, наверное, и умру.

— Я никого не знаю в Южной Америке,— безразлично проговорила Бланш.— Правда, в прошлый сезон здесь были две девушки, но у себя дома они ходили без корсетов, и белые платья всегда так плохо на них сидели. Если вы поедете в Южную Америку, непременно напишите мне оттуда.

— Непременно. Скажите, а как называется этот цветок? Я сорвал его в вашей оранжерее. Он чем-то напомнил мне Калифорнию.

— Возможно, он оттуда. Папа купил его у какого-то полубезумного старика, который недавно здесь появился. Вы случайно не знаете его?

Айлингтон рассмеялся.

— Боюсь, что нет. Ну а я позволю себе преподнести вам этот цветок.

— Благодарю вас. Напомните мне перед вашим отъездом дать вам другой взамен, если вы хотите, конечно.

Они оба поднялись, как бы движимые единым порывом.

— До свидания.

Прохладная, как лепесток, ручка на мгновение задержалась в его руке.

— Вы очень меня обяжете, если за минуту до того, как нам расстаться, отведете от лица этот лист.

— Но у меня красные глаза. И я бог знает на что похожа.

И все же после долгой паузы лист опустился, и прекрасные серые, очень ясные и насмешливые глаза встретились с его глазами. Айлингтон отвел глаза первый. Когда он снова поднял их, ее уже не было.

— Мистер Хайлингтон, сэр!

Это был грум Чокер, англичанин, и он, видимо, бежал, так как сильно запыхался.

— Раз уж вы одни, сэр, прошу прощения, сэр, но там какой-то тип.

— Тип? Что ты этим хочешь сказать? Говори по-английски, нет, черт возьми, лучше не надо,— сказал Айлингтон с легким раздражением.

— Я говорю, какой-то тип, сэр. Прошу прощения, сэр,— не в обиду будь сказано,— но только он не джентльмен, сэр. В библиотеке, сэр.

Несмотря на владевшее им глубокое недовольство собой и неизвестно откуда взявшееся ощущение одиночества, разговор с грумом позабавил Айлингтона, и по дороге к дому он спросил:

— Почему же он не джентльмен?

— Какой джентльмен, прошу прощения, сэр, станет панибратничать с человеком в услужении, сэр? Берет меня за руки, сэр, когда я сижу там у ворот на запятках кареты, и оттягивает их вот так книзу, сэр, и говорит: «А ты их засунь лучше в карманы,—говорит.—Или ты агента дожидаясь, что так сложил руки,—говорит.—Держись крепче на поворотах,—говорит.—А не то не собрать тебе твоих драгоценных косточек»,—говорит. И спрашивает вас, сэр. Сюда, сэр.

Они вошли в дом. Айлингтон быстро пересек готический зал и открыл дверь в кабинет.

В кресле в самом центре комнаты сидел человек, погруженный, очевидно, в созерцание огромной негнущейся желтой шляпы с чудовищными полями, которая лежала перед ним на полу. Кисти рук его висели между колен, а одна нога была на особый лад подобрана под кресло. С первого же взгляда поза эта каким-то странным и необъяснимым образом навела Айлингтона на мысль о козлах. В ту же минуту он, протянув обе руки, ринулся через всю комнату с возгласом:

— Юба Билл!

Человек поднялся, схватил Айлингтона за плечи, крутанул его, крепко прижал к себе, с видом добродушного людоеда ощупал его ребра, изо всех сил потряс за руки, расхохотался и сказал с явным разочарованием:

— Как это ты узнал, а?

Очевидно, Юба предполагал, что в этой одежде он неузнаваем. И Айлингтон, поняв это, рассмеялся и ответил, что ему, должно быть, подсказал инстинкт.

— А ты-то,— сказал Билл, держа его на расстоянии вытянутой руки и критически разглядывая,— ты! Кто бы мог подумать! Эдакий был щенок, от земли не видно. Щенок, которого я не раз вытягивал на дороге кнутом, щенок, на котором и надето было всего-то ничего, и заделался таким щеголем!

Тут Айлингтон вздрогнул: он с каким-то нелепым ужасом вдруг вспомнил, что все еще во фраке.

— Заделался ресторанным лакеем, гарсоном,— сурово продолжал Юба Билл.— Эй, Альфонс, подать сюда гусиный пахтет и омлет, черт тебя подери!

— Полно тебе, старина! — сказал Айлингтон, смеясь и пытаясь прикрыть рукой бородатый рот Билла.— Ну, а как ты? Что-то ты сам на себя не похож. Уж не болен ли ты, Билл?

И действительно, когда Билл повернулся к свету, оказалось, что глаза у него ввалились, а волосы и бороду густо посеребрила седина.

— Это все ваша сбруя,— сказал Билл озабоченно.— Стоит мне эдак взнуздать себя и замундштучить (он указал на золотую массивную цепь от часов), да еще нацепить на себя эту «утреннюю звезду» (он ткнул пальцем в булавку с огромным солитером, сидевшую как большущий волдырь на его манишке), как меня сразу к земле пригибает, Томми! А так со мной все в порядке, мой мальчик, все в порядке.

Однако он уклонился от пронизательного взгляда Айлингтона и даже отвернулся от света.

— Тебе надо что-то сказать мне, Билл? — спросил Айлингтон прямо и почти резко.— Выкладывай!

Билл не ответил, но беспокойным движением потянулся к шляпе.

— Ведь не проделал бы ты три тысячи миль, даже не предупредив меня, только для того, чтобы поболтать со мной о старых временах? — сказал Айлингтон уже более мягким тоном.— Хотя для меня всегда удовольствие видеть тебя, но это не в твоём характере, Билл, ты сам это знаешь. И нам никто здесь не мешает,— добавил он, как бы отвечая на взгляд Билла, обращенный к двери.— Я слушаю тебя, Билл.

— Тогда,— сказал Билл, придвигаясь вместе со своим стулом ближе к Айлингтону,— прежде всего ответь мне на один вопрос, Томми, честно и напрямик, честно и без утайки.

— Продолжай,— сказал Айлингтон с легкой улыбкой.

— Если я скажу тебе, Томми, вот сейчас, сию секунду скажу, что ты должен отправиться со мной, уехать из этих мест на месяц, на год, а может, на два, и, кто знает, может, навсегда, есть ли что-нибудь, что удерживало бы тебя здесь, что-нибудь, мой мальчик, от чего ты не мог бы уйти?

— Нет, — ответил Томми спокойно. — Я здесь всего лишь в гостях. И собирался сегодня уехать из Грейпорта.

— А если я скажу тебе, Томми, поедem со мной в Китай, в Японию или, может, в Южную Америку, ты поедешь?

— Да, — ответил Айлингтон с некоторой заминкой.

— А нет ли чего-нибудь, — сказал Билл, придвигаясь еще ближе к Айлингтону и понижая голос до конфиденциального шепота, — чего-нибудь вроде молодой женщины — ты понимаешь меня, Томми, — что удерживало бы тебя? Они здесь все хороши как на подбор. И молод человек или стар, Томми, всегда найдется на его голову женщина, которая ему либо кнут, либо узда.

Видимо, под влиянием горечи, которая отчетливо прозвучала в этом взволнованном изложении вполне абстрактной истины, Билл не заметил, что лицо молодого человека, когда он произнес «нет», слегка покраснело.

— Тогда слушай. Семь лет назад, Томми, я работал кучером одного из дилижансов на линии Голд-Хилл. И вот стою я как-то перед конторой почтовых дилижансов и ко мне подходит шериф и говорит: «Билл, здесь у меня один помешанный старик, мне поручено доставить его в дом умалишенных. Так-то он тихий и смирный, но пассажиры чего-то разворчались. Ты не против взять его к себе на козлы?» «Сажайте», — говорю. Когда пришло мне время отправляться и я вышел и влез на козлы и уселся рядом с ним, я увидел, что этот человек, Томми, этот человек, который сидел там тихо и смирно, был Джонсон. Он не узнал меня, мой мальчик, — продолжал Юба Билл, поднявшись и дружески положив руки на плечи Томми, — он не узнал меня. Он не помнил ничего — ни тебя, ни поселок Ангела, ни ртутные залежи, ни даже свое имя. Он сказал, что он Скэгс, но я-то знал, что он Джонсон. В эту минуту, Томми, меня щелчком можно было сбить с козел, и если бы в эту минуту все двадцать семь пассажиров дилижанса оказались в реке под обрывом, я так толком и не смог бы ничего объяснить компании, ничего! Шериф сказал, — торопливо продолжал Билл, как бы боясь, что молодой человек прервет его, —



шериф сказал, что за три года до того его привели в лагерь Мэрфи, он был мокрый до нитки и уже тогда повредился в уме; за ним там приглядывали ребята из лагеря. Когда я сказал шерифу, что знаю его, он сдал его мне на руки, и я отвез его во Фриско, во Фриско, Томми, и устроил к самым лучшим врачам и платил за него. И он там имел все, что душе его угодно. Не смотри на меня так, мой мальчик, бога ради, не смотри на меня так!

— Билл, Билл,— с упреком проговорил Айлингтон, который встал и нетвердыми шагами подошел к окну.— Почему же ты скрыл это от меня?

— Почему? — воскликнул Билл в порыве негодования.— Почему? Да потому, что у меня есть голова на плечах. Тут живешь ты, и набираешься ума в своих колледжах, и выходишь в люди, и, может быть, от тебя им будет прок; а там старый бездельник, человек, от которого проку, что от покойника, которому давно пора на тот свет, и он сам бы признал это. Да только ты всегда любил его больше меня,— закончил Билл с горечью.

— Прости меня, Билл,— сказал молодой человек, схватив его обе руки.— Я знаю, что ты это сделал для моего блага. Но продолжай.

— Да мне вроде и нечего больше сказать, да и ни к чему все это, как я погляжу,— ворчливо проговорил Билл.— Врачи сказали, что его не вылечить, потому что у него болезнь, которая на их мудренном языке называется мономания: он все толковал про свою жену и дочь, которых кто-то давным-давно отнял у него, и все думал, как он отомстит этому кому-то. А пять месяцев назад он сбежал, я выследил его до Карзона, потом до Солт-Лейк-Сити, до Чикаго, до Нью-Йорка и пришел по его следу сюда.

— Сюда! — повторил за ним Айлингтон.

— Сюда! Вот почему я сегодня здесь. Слабоумный он или в своем уме, отыскивает он тебя или гоняется за тем, другим человеком — все равно ты должен убраться отсюда. Незачем тебе его видеть. Мы с тобой, Томми, отчалим за море, а года через три-четыре он умрет или сгинет куда-нибудь. И тогда мы вернемся. А теперь идем! — И он поднялся.

— Билл,— тоже поднявшись и взяв своего друга за руку, сказал Айлингтон с прежней непоколебимой твердостью, которой он когда-то покориł сердце Билла,— где бы он ни был — здесь или в другом месте,— болен он или здоров, я буду искать его и отыщу. Все, что у меня есть,

до последнего доллара, я отдам ему. И все, что я потратил, я тоже возвращу ему, все до последнего доллара. Я еще, слава богу, молод и могу работать. И если есть выход из этого невеселого положения, я его найду.

— Так я и знал, — сердито проворчал Билл, безуспешно пытаясь скрыть свое неподдельное восхищение этим спокойно стоявшим перед ним молодым человеком. — Так я и знал! Чего еще можно было ожидать от такого проклятого дурака, каким ты уродился! Ну, прощай тогда. Боже всемогущий! Кто это?

Не дойдя несколько шагов до распахнутой стеклянной двери, ведущей на веранду, он вдруг отпрянул назад с побелевшим, как мел, лицом и остановившимся взглядом. Айлингтон подбежал к двери и выглянул на веранду. Край белого платья мелькнул и исчез за поворотом. Когда Айлингтон вернулся, Билл уже рухнул в кресло.

— Думаю, это мисс Бланш Мастермен, больше никому. Но что с тобой, Билл?

— Ничего, — ответил Билл слабым голосом. — Не найдется ли у тебя под рукой виски?

Айлингтон достал графин и, наполнив стакан, протянул его Биллу. Билл залпом выпил и потом спросил:

— А кто это мисс Мастермен?

— Дочь мистера Мастермена, вернее, его приемная дочь, насколько мне известно.

— А как ее имя?

— Право, не знаю, — сказал Айлингтон недовольно, почему-то раздосадованный этими вопросами.

Юба Билл встал, подошел к открытой стеклянной двери, притворил ее, направился к другой двери, взглянул на Айлингтона, помедлил в нерешительности и возвратился к своему креслу.

— Вроде бы я никогда не говорил тебе, что я женат? — сказал он, подняв глаза на Айлингтона и безуспешно пытаясь изобразить залихватский смех.

— Нет, — ответил Айлингтон, огорченный не столько этими словами, сколько тоном, каким они были сказаны.

— А как же! — воскликнул Юба Билл. — Тому уже три года, Томми, три года!

Билл в упор смотрел на Айлингтона. И тот, понимая, что от него ждут каких-то слов, проговорил первое, что ему пришло в голову:

— А на ком же ты женился?

— То-то оно и есть! — сказал Билл. — Сам понять не могу: знаю только, что дьявол она — дьявол и есть; и мужей у нее было не меньше чем полдюжины.

Привыкнув, очевидно, к тому, что его супружеские злоключения всегда являются поводом для веселья в мужском обществе, и не заметив на сей раз и тени улыбки на серьезном лице молодого человека, он оставил свой залихватский тон и, придвинув стул поближе к Айлингтону, продолжал уже значительно спокойнее:

— Вот с чего это все пошло. Едем мы как-то почти порожняком вниз по Уотсонову склону, а дело к ночи, и тут курьер окликает меня и говорит: «Они тут совсем разбушевались. Останови-ка ты лучше». Я и остановил. И, гляжу, выпрыгивает из дилижанса женщина, а следом за ней несколько парней, и волокут они кого-то, кляня и ругая его на чем свет стоит. Потом оказалось, что это пьяный муж той женщины, и они собираются вышвырнуть его из дилижанса за то, что он оскорбил и ударил ее. И если бы не я, мой мальчик, бросили бы они его там прямо на дороге. Но я все уладил, я посадил ее к себе на козлы, и мы поехали дальше. В лице у нее ни кровинки, — к слову говоря, она из породы тех женщин, которые никогда не краснеют, — но чтобы плакать или хныкать, об этом и речи не было. Хотя каждая расплакалась бы на ее месте. Я еще тогда подивился. Высокая она была, и светлые волосы вились у нее по плечам, длинные, как кнут из оленьей кожи, и цветом, как оленья кожа. А глаза такие, что прошибают тебя уже за пятьдесят ярдов; а руки и ноги на удивление маленькие. И когда она пришла в себя, ожила и развеселилась, то и хороша же она была, будь она проклята, — ох, и хороша! — Слегка покраснев и смутившись от своего неумеренного восторга, он остановился и закончил небрежным тоном: — В Мэрфи они сошли.

— И что же дальше? — спросил Айлингтон.

— Что дальше? Я часто видел ее потом, и когда она бывала одна, то всегда взбиралась ко мне на козлы. Она вроде бы душу отводила со мной, рассказывала, как муж напивается и обижает ее; его-то я мало видел, он все больше во Фриско жил. Но у нас все было чисто, Томми, — все было чисто у нас с ней. Ну вот, я и зачастил к ней туда. Но пришел день, когда я сказал себе: «Не дело это, Билл», — и перевелся на другую линию. Ты знал Джексона Филтри? — спросил он вдруг ни с того ни с сего.

— Нет.

— А, может, слышал про него?

— Да нет, — повторил Айлингтон нетерпеливо.

— Джексон Филтри водил курьерский дилижанс от Уайта до Саммита с переездом вброд через Северный Рукав. Как-то он и говорит: «Билл, паршивая там переправа через Северный Рукав». А я и говорю: «Должно быть, так и есть, Джексон». «Погубит меня когда-нибудь этот Северный Рукав, попомни мое слово, Билл». А я и спрашиваю: «Почему бы тебе не переезжать ниже по течению?» «Сам не знаю, — говорит он, — не могу, и все». И после, всякий раз, как мы встречались с ним, он повторял: «Видишь, еще не погубил меня этот Северный Рукав». Как-то заглянул я в Сакраменто, и подходит там ко мне Филтри и говорит: «Продал я свой курьерский из-за этого Северного Рукава, но он еще погубит меня, Билл, попомни мое слово». И смеется при этом. А через две недели после того нашли его тело ниже по течению — он пытался перебраться там, возвращаясь из Саммита. Люди говорят, глупости это все, а я говорю: судьба! На другой день, как я перешел на Плейсервиллскую линию, выходит эта женщина из гостиницы, что над конторой дилижансов, и говорит, что муж ее лежит больной в Плейсервилле; так она сказала тогда; но это была судьба, Томми, судьба! Три месяца спустя муж ее принимает не в меру морфия от белой горячки и умирает. Поговаривали, что это ее рук дело, но это судьба. И спустя год я женился на ней. Судьба, Томми, судьба!

Прожили мы с ней три месяца — всего три месяца! — продолжал он, глубоко вздохнув. — Долгий ли это срок для счастливого человека? Бывали и раньше в моей жизни дни, когда круто мне приходилось. Но в эти три месяца такие выпадали дни, Томми, что, казалось, не будет им конца, дни, когда как в орлянку: то ли я ее порешу, то ли она меня прикончит. А теперь хватит об этом. Ты еще молод, Томми, и я не собираюсь рассказывать тебе о вещах, про которые я еще три года назад сказал бы, что все это вранье. А ведь я немало пожил на свете.

Когда он замолчал, повернув угрюмое лицо к окну и сжав на коленях руки, Айлингтон спросил, где же теперь его жена.

— Больше не спрашивай меня ни о чем, мой мальчик, ни о чем не спрашивай. Я сказал все, что мог.

И, сделав такое движение рукой, словно он отбрасывал от себя вожжи, Билл встал и подошел к окну.

— Теперь ты понимаешь, Томми, что небольшая кругосветная поездка мне в самую пору. Не можешь ты со мной ехать — дело твое. А я еду.

— Надеюсь, не раньше, чем вы позавтракаете, — произнес нежный голосок, и в комнату вошла Бланш Мастермен. — Отец никогда не простил бы мне, если бы я так отпустила друга мистера Айлингтона. Вы останетесь, правда? Ну, пожалуйста! И разрешите мне опереться на вашу руку, а когда мистеру Айлингтону наскучит стоять вот так, застыв на месте, он тоже пройдет в столовую и познакомит вас со всеми.

— Я совершенно очарована вашим другом, — сказала мисс Бланш, когда они стояли в гостиной, глядя вслед удаляющейся фигуре Билла, который, зажав в зубах короткую трубку, шагал по обсаженной кустарником аллее. — Но почему он задает такие странные вопросы? Ему непременно нужно было узнать девичью фамилию моей матери.

— Он честный малый, — сказал Айлингтон серьезно.

— Вы чем-то очень подавлены. Боюсь, вы вовсе не благодарны мне за то, что я удержала вас и вашего друга. Но не могли же вы уехать, не дождавшись отца!

Айлингтон улыбнулся ей невеселой улыбкой.

— И потом, я думаю, нам все же лучше расстаться здесь, под этими фресками, не правда ли? До свидания!

Она протянула ему узкую ручку.

— Там, у моря, когда у меня были красные глаза, вам не терпелось взглянуть на меня, — добавила она, вступая на опасный путь.

Айлингтон посмотрел на нее печальным взглядом.

Что-то блеснуло на ее длинных ресницах и, задержавшись на миг, скатилось по щеке.

— Бланш!

Теперь на ее щеки вернулся румянец, и она, наверное, отняла бы свою руку, если бы Айлингтон не завладел ею. У Бланш были некоторые основания опасаться, что и талия ее захвачена в плен. И все-таки она не удержалась и сказала:

— А вы уверены, что нет чего-нибудь вроде молодой женщины, что удерживало бы вас здесь?

— Бланш! — воскликнул Айлингтон с укором.

— Если джентльмены выкрикивают свои тайны у двери, открытой на веранду, а на этой самой веранде молодая девушка лежит и читает глупейший французский ро-

ман, должны ли они удивляться, что им она уделяет больше внимания, чем своей книге?

— Тогда вы знаете все, Бланш?

— Да, — сказала Бланш. — Пойдите: «...чего еще можно ожидать от такого — гм! — дурака, каким ты уродился!» До свидания. — И прелестной невинной змейкой она выскользнула из его рук и скрылась.

Под мягкое шуршание волн, под звуки музыки и оживленных голосов над Грейпортом снова вошла желтая полная луна. Она смотрела на бесформенно громоздящиеся скалы, на обсаженные кустарником аллеи, на просторные лужайки, на пляж и мерцающую водную гладь. Особо она выделила белый парус у берега, стеклянный садовый шар на лужайке и, наконец, сверкнула на чем-то зажатом в зубах человека, который, стараясь слиться с низкой стеной, окружающей Клиффорд-Лодж, перелезал через нее. Потом, когда на залитую лунным светом дорожку вышли из тени густой листвы мужчина и женщина, человек этот соскочил со стены и застыл там, выжидая. Это был старик с обезумевшими глазами, чья дрожащая рука сжимала длинный острый нож, и вид его был не столько безжалостный, сколько жалкий, и внушал он не ужас, а сострадание. В следующую секунду нож был выбит у него из рук, и он уже барахтался, зажатый, как в тисках, в объятиях другого человека, который, очевидно, соскочил со стены вслед за ним.

— Будь ты проклят, Мастермен! — хрипло выкрикнул старик. — Выйди против меня на честный бой, и у меня еще хватит сил тебя убить!

— Но я-то Юба Билл, — сказал Билл спокойно, — и пора кончать это твоё окаянство.

Старик бросил свирепый взгляд на Билла.

— Я знаю тебя. Ты один из друзей Мастермена! Будь ты проклят... Пусти меня, я должен вырезать у него сердце... Пусти! Где Мэри?.. Где моя жена?.. Вон она там!.. там... там! Мэри! — Он бы закричал, если бы Билл, проследив за его взглядом, не зажал ему рот могучей рукой. Отчетливо видные в лунном свете, Бланш и Айлингтон стояли рука об руку на садовой дорожке.

— Отдай мне мою жену! — прохрипел старик сквозь зажатый сильной ладонью рот. — Где она?

Бешенство вдруг зажглось во взгляде Юбы Билла.

— Где твоя жена? — повторил он за стариком, нагнувшись на него и прижав его к садовой стене. — Где твоя жена? — снова повторил он, приближая свое искаженное мрачной сардонической гримасой лицо и разъяренные глаза к испуганному лицу старика. — А где жена Джека Эдама? Где моя жена? Где она — эта женщина-дьявол, которая одного человека лишила разума, другого спровадила в ад его же собственной рукой, а меня навсегда сломала и погубила? Где! Где? Ты хочешь знать — где! В тюрьме она, в тюрьме, ты слышишь — брошена в тюрьму за убийство, Джонсон, — за убийство!

У старика перехватило дыхание, он как-то странно вытянулся, а потом вдруг обмяк и как безжизненное тело соскользнул к ногам Билла. Охваченный теперь уже совсем другими чувствами, Билл опустился рядом с ним и, нежно приподняв его за плечи, прошептал:

— Джонсон, посмотри на меня, старина! Ради бога, взгляни на меня, это же я — Юба Билл! А вон там твоя дочь и Томми, ты же помнишь Томми, маленького Томми Айлингтона.

Глаза Джонсона медленно открылись. Он прошептал:

— Томми! Как же, Томми! Сядь ко мне, Томми! Но не садись так близко к воде. Разве ты не видишь, как она поднимается, как она манит меня, как шипит и закипает на скалах? Она подступает все ближе!.. Держи меня, Томми!.. Держи, не отпускай. Мы еще доживем до того дня, когда вырежем ему сердце, Томми, мы еще доживем... мы еще...

Голова его поникла, и стремительная река, видимая только ему одному, вырвалась к нему из темноты и унесла, но уже не в темноту, а сквозь нее к далекому, мирному, сияющему морю.



---

## Фидлтаунская история

В 1858 году она считалась в Фидлтауне очень хорошенькой женщиной. У нее были пышные светло-каштановые волосы, бездонные бархатные глаза, прекрасная фигура, ослепительный цвет лица, и она отличалась своеобразной ленивой грацией, которую принимали за признак изящного воспитания. Она всегда одевалась к лицу и по последней дошедшей до Фидлтауна моде. В ее внешности было лишь два недостатка: один глаз у нее, если внимательно присмотреться, слегка косил, и на левой щеке виднелся небольшой шрам, оставленный каплей серной кислоты — к счастью, единственной достигшей цели из целой склянки, выплеснутой в ее хорошенькое личико некоей ревливой особой. Но человек, заглянувший ей в глаза достаточно глубоко, чтобы обнаружить этот изъян, обычно уже терял способность относиться к нему критически, и даже шрам на щеке, по мнению некоторых, лишь придавал пикантность ее улыбке. Молодой редактор фидлтаунской газеты «Эвеланш» говорил в кругу друзей, что этот шрам — просто лишняя ямочка на щеке, только поглубже. А полковник Старботтл сказал, что этот шрам напоминает ему «мушек, которые дамы времен королевы Анны для красоты сажали себе на щеки, а еще более того самую, черт побери, красивую женщину, сэр, которую мне, черт побери, приходилось в жизни встречать. Это была креолка из Нового Орлеана. И у той женщины был шрам — от глаза до самого, черт побери, подбородка. И та женщина до того была, черт побери, хороша, что кружила голову, сэр, сводила с ума, за нее, черт побери, ты готов был хоть душу заложить самому сатане. Как-то раз я ей сказал: «Селеста, откуда у тебя, черт побери, этот роскошный шрам?» А она отвечает: «Солнышко, я бы в этом не призналась ни одно-

му белому, но тебе я скажу — я сама себе сделала этот шрам, нарочно, черт меня побери». Это были ее доподлинные слова, сэр, и если вы думаете, что я, черт побери, лгу, то я готов побиться об заклад на любую, черт побери, сумму, которую вы назовете, и я вам это, черт побери, докажу».

Почти все мужчины Фидлтауна были в нее влюблены. Из них примерно половина пребывала в уверенности, что им отвечают взаимностью. Единственное исключение, пожалуй, составлял ее муж. Лишь он один вслух выражал сомнение в ее чувствах.

Имя джентльмена, выделявшегося столь незавидным образом, было Третерик. Чтобы жениться на сей фидлтаунской очаровательнице, он развелся с весьма достойной женщиной. Она тоже развелась с мужем, но, как намекали в городе, для нее это мероприятие было лишено прелести новизны и, возможно, связано с меньшими жертвами. Я вовсе не хочу этим сказать, что ей были чужды тонкие чувства или что она была лишена способности придавать им самое возвышенное выражение. Один ее близкий друг заявил (по поводу ее второго развода): «Холодный свет еще не понял Клару», — а полковник Старботтл с присущей ему прямоотой заметил, что за вычетом единственной женщины из прихода Опелузас в штате Луизиана у Клары больше души, чем у всех у них, вместе взятых.

Мало кто мог без слез читать напечатанную в «Эвеланше» элегию «Бедная страдальца», под которой стояла подпись: «*Леди Клара*», а первая строчка звучала так: «*Отчего кипарис не колышет ветвями над моим сокрушенным челом?*» И мало кто при этом не возмущался газетой «Датч-Флет Интеллидженсер», которая с неизменной грубостью и с жалкими потугами на остроумие советовала искать ответ на столь серьезный вопрос в том грустном факте, что кипарисы в Фидлтауне не растут.

Собственно говоря, именно эта склонность облекать свои чувства в стихотворную форму и поверять их холодному свету через посредство газет и привлекла в свое время внимание Третерика. Несколько элегий, посвященных впечатлениям чувствительной души от калифорнийских пейзажей и смутным устремлениям в бесконечность, порождаемым в поэтической груди вынужденным знакомством с бессердечным калифорнийским обществом,



побудили мистера Третерика, который в то время занимался перевозками на запряженном шестеркой мулов фургоне из Найтс-Ферри в Стоктон, разыскать незнакомую поэтессу. Мистер Третерик сам ощущал в своей душе какое-то смутное томление; возможно также, что мысли о суетности его занятий — он поставлял в старательские поселки табак и виски, — усугубленные картинами унылой, пыльной равнины, через которую лежал его путь, затронули в нем какую-то струну, звучащую в унисон с излияниями этой чувствительной души. Как бы то ни было, после недолгого ухаживания, продолжавшегося ровно столько времени, сколько его понадобилось на выполнение некоторых юридических формальностей, мистер Третерик женился на Кларе и привез молодую в Фидлтаун, или в «Фиделтаун», как предпочитала его называть в своих сочинениях миссис Т.

Счастье не сопутствовало этому браку. В скором времени мистер Третерик обнаружил, что чувство, вспыхнувшее в его груди во время поездок из Стоктона в Найтс-Ферри, значительно отличалось от эмоций, порожденных в его супруге созерцанием калифорнийского пейзажа и собственной души. Не отличаясь логическим образом мышления, он стал бить жену — в ответ на что она столь же непоследовательно сочла себя свободной от уз супружеской верности. Тогда мистер Третерик начал пить, а миссис Третерик принялась регулярно сотрудничать на страницах «Эвеланша». Именно к этому времени относится открытие полковника Старботтла, обнаружившего в стихах миссис Третерик сходство с гением Сафо, на что он указал гражданам Фидлтауна в большой критической статье за подписью «А. С.», также опубликованной в «Эвеланше» и широко цитирующей как миссис Т., так и древнегреческую поэтессу. Поскольку в типографии «Эвеланша» не оказалось греческого шрифта, редактору пришлось пойти на воспроизведение левкадийских строф обычными римскими буквами — к невыразимому негодованию полковника Старботтла и великому восторгу жителей Фидлтауна, усмотревших в этом тексте подражание языку индейцев племени чоктав, с которым, как предполагалось, полковник Старботтл, одно время живший на индейской территории, был хорошо знаком. Более того, на следующей неделе «Интеллидженсер» поместил какую-то рифмованную бессмыслицу, якобы написанную

в ответ на стихотворение миссис Т. женой индейского вождя, и сопровождал ее восторженным критическим разбором за подписью «А. С. С.».

Сия неуместная веселость повлекла за собой результат, о котором в одном из последующих номеров «Эвеланша» появилось следующее краткое сообщение:

«В прошлый понедельник перед салуном «Эврика» произошло весьма прискорбное столкновение между досточтимым мистером Джексоном Флешем, редактором «Датч-Флет Интеллидженсера», и уважаемым жителем нашего города полковником Старботтлом. Обе стороны сделали по выстрелу, не нанеся вреда друг другу, но сообщают, что заряд дроби из двустволки

полковника угодил в икры проходившему мимо китайцу. Впредь пусть держится подальше от белых, когда у тех в руках огнестрельное оружие. Причина стычки неизвестна, хотя ходят слухи, что в деле замешана дама. Хорошо осведомленные лица указывают на известную своей красотой и талантом поэтессу, творения которой неоднократно украшали наши страницы».

Между тем Третерик в этой сложной ситуации не предпринимал никаких действий, чем заслужил полное одобрение у окрестных старателей. Один из них, склонный к философским обобщениям, заметил по этому поводу: «А что ему лезть на рожон? Если полковник убьет Флеша, так тому и надо. Если Флеш убьет полковника, Третерику тоже не станет хуже. Так или иначе, а он в выигрыше». И вдруг в самый разгар всей этой истории миссис Третерик сбежала из дома в чем была и укрылась в фидлтаунской гостинице. Она прожила там несколько недель, в течение которых, надо признать, вела себя со всей подобающей скромностью.

Однажды солнечным весенним утром миссис Третерик, никем не сопровождаемая, вышла из гостиницы и направилась по узкой улице к темневшей на окраине Фидлтауна сосновой роще. Немногочисленные в столь ранний час зеваки толпились на другом конце улицы вокруг отбывавшего в Уингдаун дилижанса, и миссис Третерик достигла окраины городка, не замеченная любопытными взорами. Затем она свернула на дорогу, которая шла через небольшой перелесок. Здесь начинался самый фешенебельный район города — дома были построены с претензией и стояли далеко друг от друга, магазинов не было вовсе. И здесь к ней подошел полковник Старботтл.

Хотя сей доблестный муж и сохранял присущее ему достоинство осанки — его сюртук был, как всегда, застег-



нут на все пуговицы, сапоги начищены до блеска и на согнутой руке небрежно покачивалась трость, — ему было явно не по себе. Однако, ободренный благосклонной улыбкой и быстрым взглядом опасных глаз миссис Третерик, полковник, смущенно покашливая и вышагивая с несколько преувеличенной спесью, двинулся с ней рядом.

— Путь свободен, — сказал полковник. — Третерик загулял в Датч-Флете, и в доме только китаец, а его вам опасаться нечего. Я, — продолжал полковник, раздувая грудь и рискуя таким образом лишиться нескольких пуговиц, — я сам позабочусь о том, чтобы вам не воспрепятствовали забрать свое имущество.

— Вы очень любезны и так бескорыстны, — пролепетала его дама. — Так отрадно встретить в этом жестокосердном обществе человека, наделенного душой, человека, способного на понимание и сочувствие!

Миссис Третерик опустила глаза, которые, однако, к тому времени уже успели произвести на ее собеседника свое безотказное действие.

— Да, конечно, разумеется, — отозвался полковник, нервно озираясь. — Да-да, разумеется.

Убедившись же, что их никто не видит и не слышит, он стал уверять миссис Третерик, что всю жизнь страдал из-за того, что наделен чересчур богатой душой. Многие женщины — будучи джентльменом, он, естественно, воздержится от упоминания имен, — многие красивые женщины искали его общества, но, поскольку они были лишены, абсолютно лишены, мадам, вышеупомянутой души, он не мог отвечать на их чувства. Когда же встречаются две созвучные натуры — равно презирающие жалкие помехи, воздвигаемые низменными и вульгарными людьми, и условности, которыми пронизано лицемерное общество, — когда две души сливаются в поэтической гармонии, тогда... — Но тут язык полковника, до сего момента изъяснявшегося с известной бойкостью, которой, возможно, способствовало утреннее возлияние, отяжелел, стал заплетаться и понес что-то совершенно нечленораздельное. Но миссис Третерик, видимо, слышала подобные высказывания и раньше и могла без труда восполнить пробелы. Во всяком случае, всю остальную дорогу до дома обращенная к полковнику щечка рдела румянцем стыдливой радости и девического волнения.

Это был очень приятный домик, новенький, выкрашенный в теплые тона и ярко выделявшийся на фоне темных сосен, сомкнутым строем окружавших расчищен-

ный и обнесенный изгородью участок, посреди которого он стоял. Кругом царило полное безмолвие. Казалось, что в этом залитом солнцем домике никто еще не живет, что отсюда только что ушли плотники и маляры. В дальнем углу участка невозмутимо копался китаец — никаких других людей не было видно. Путь, как выразился полковник, действительно был свободен. Миссис Третерик на секунду задержалась в калитке. Полковник хотел было последовать за ней, но она остановила его жестом.

— Приезжайте за мной часа через два — у меня все будет готово, — сказала она, улыбаясь и протягивая ему руку. Полковник схватил ее и пожал с большим жаром. Возможно, что он ощутил легкое ответное пожатие, ибо удалился, выпятив грудь и браво чеканя шаг, насколько это позволяли его широконосые сапоги на толстом каблуке. Когда он ушел, миссис Третерик открыла дверь, мгновение постояла в пустой прихожей, прислушиваясь, и затем быстро взбежала по лестнице в свою бывшую спальню.

Здесь ничто не изменилось с того вечера, когда она отсюда ушла. На туалетном столике стояла коробка из-под шляпки — она помнила, что оставила ее на этом самом месте. На каминной полке лежала забытая ею при бегстве перчатка. Два нижних ящика бюро были приоткрыты — она забыла их задвинуть, — а на мраморной крышке лежала булава для шали и запачканная манжета. Не знаю, что они ей напомнили, но она вдруг побледнела, задрожала и, взявшись за ручку двери, с бьющимся сердцем прислушалась. Она подошла к зеркалу и со страхом и любопытством раздвинула русые волосы над розовым ушком, где обнаружилась глубокая полузажившая рана. Она долго ее рассматривала, поворачивая головку так и сяк, и от этих манипуляций ее бархатные глаза стали косить гораздо заметнее. Потом она с беззаботным, легкомысленным смешком отвернулась от зеркала и подбежала к шкафу, где висели ее драгоценные платья. Она с беспокойством их перебрала и, не найдя на обычном месте любимого платья из черного шелка, чуть не лишилась чувств от ужаса, но тут же обнаружила его на сундуке, куда сама его бросила в спешке. Тут она, чуть ли не впервые в жизни, от всей души возблагодарила творца, который заботится о беззащитных. Потом, хотя надо было спешить, она не смогла удержаться от искушения приложить к надетому на ней платью бледно-лиловую ленту. Глядя в зеркало, она вдруг услышала у себя за спиной детский голос. Она замерла, а голос повторил:



— Это мама?

Миссис Третерик круто обернулась. В дверях стояла девочка лет шести или семи. Ее платице, видимо, когда-то было нарядным, но сейчас износилось и запачкалось, а спадавшая на лоб копна ярко-рыжих волос придавала ее лицу серьезно-комическое выражение. При всем том она была премиленькой, и за ее детской робостью проглядывала самостоятельность, присущая детям, которых часто предоставляют самим себе. Под мышкой она держала тряпичную куклу, наверно, сделанную ею самой и ненамного меньше ее размером. У куклы была цилиндрическая голова, на которой углем были нарисованы глаза, нос и рот. Большой платок, видимо, принадлежавший взрослой женщине, спадал с плеч девочки и волочился по полу.

Это зрелище отнюдь не вызвало у миссис Третерик восторга. Возможно, что ей не хватало чувства юмора. Во всяком случае, когда девочка, все еще стоя в дверях, повторила свой вопрос: «Это мама?» — она резко ответила: «Нет!» — и устремила на нее суровый взгляд.

Девочка отступила на шаг. Расстояние добавило ей смелости, и она сказала:

— Тогда уходи, чего ты не уходишь?

Но внимание миссис Третерик было приковано к платку. Резким движением она сдернула его с плеч девочки и сердито крикнула:

— Как ты смеешь брать мои вещи, скверная девчонка?

— Это твой? Тогда ты моя мама, правда! Ты мама! — ликующе воскликнула девочка и, не дав миссис Третерик времени отступить, бросила на пол куклу, ухватила обеими руками за юбку женщины и стала скакать от радости.

— Как тебя зовут, девочка? — холодно спросила миссис Третерик, отцепляя от своего платья не очень чистые лапки.

— Кэрри. Каролина.

— Каролина?

— Да, Каролина Третерик.

— Чья же ты дочка? — еще более холодным тоном спросила миссис Третерик, чувствуя, как в душе у нее вдруг поднимается страх.

— Твоя, — с веселым смехом сказала девочка. — Я твоя дочка. А ты моя мама — моя новая мама, а моя старая ма-

ма уехала и больше не вернется. Я теперь не живу с моей старой мамой. Я живу с тобой и папой.

— И давно ты здесь живешь? — резко продолжала миссис Третерик.

— Наверно, три дня, — подумав, ответила Кэрри.

— Наверно? А точно ты разве не знаешь? — рассердилась миссис Третерик. — И откуда же ты приехала?

У Кэрри задрожали губы — допрос велся в самом суровом тоне. Сглотнув от усилия, она все же подавила слезы и ответила:

— Папа... папа привез меня от мисс Симмонс из Сакраменто на той неделе.

— На той неделе! А ты только что сказала, что живешь здесь три дня, — сурово уличила ее миссис Третерик.

— Ну да, то есть месяц, — беспомощно поправилась Кэрри, окончательно запутавшись.

— Ну что ты болтаешь? — крикнула миссис Третерик, которую так и подмывало хорошенько встряхнуть стоящую перед ней фигурку и таким образом исторгнуть из нее правду.

Но тут головка девочки вдруг зарылась в складки платья миссис Третерик, словно она пыталась навеки погасить пламенеющий на ней пожар.

— Ну, ну, перестань хныкать, — огорошенно проговорила миссис Третерик, отнимая платье от влажной мордочки. — Вытри глаза и беги играть, а ко мне больше не приставай. погоди, — сказала она вслед уходящей Кэрри, — а где твой папа?

— Он тоже уехал. Он заболел. Его уже нет, — девочка замаялась, — два... три дня.

— Кто же за тобой смотрит? — спросила миссис Третерик, с любопытством разглядывая ребенка.

— Джон-китаец. Одеваюсь я сама, а Джон готовит еду и убирает кровати.

— Ну ладно, иди и веди себя хорошо, а ко мне не приставай, — скомандовала миссис Третерик, вспомнив о цели своего прихода. — Пстой, куда ты идешь? — спросила она, увидев, что девочка стала подниматься по лестнице, волоча за ногу куклу.

— Иду наверх играть, и вести себя хорошо, и не приставать к маме.

— Никакая я тебе не мама! — крикнула миссис Третерик, быстро вошла в спальню и захлопнула за собой дверь.

Вытащив из стенного шкафа большой сундук, она стала поспешно укладываться. Движения ее были резкие и раздраженные. Она порвала свое лучшее платье, дернув его с крючка, и два раза укололась о скрытые в складках булавки. И все это время она мысленно изливала негодование по поводу только что сделанного ею открытия. Теперь ей все ясно, говорила она себе. Третерик привез дочь от первой жены — дочь, к которой он раньше не проявлял ни малейшего интереса, — лишь для того, чтобы ее оскорбить — заполнить ее место. Без сомнения, скоро последует и сама первая жена, а может быть, появится третья. Рыжие волосы — не каштановые, а *рыжие!* — без сомнения, девчонка — эта Каролина — похожа на мать; да, уж хорошенькой ту, наверно, никак не назовешь! А может быть, все это было обдумано заранее, и эту рыжую девчонку — вылитую мать — держали поблизости в Сакраменто, чтобы за ней всегда можно было послать в случае необходимости. Она вспомнила поездки мужа в Сакраменто якобы по делам. Может быть, и мамаша уже туда явилась, хотя нет, она уехала. Тем не менее возмущенной миссис Третерик доставляло удовольствие думать, что та в Сакраменто. Она испытывала какое-то едва осознанное удовлетворение, раздувая в себе гнев. Ни с одной женщиной на свете не поступали так бесчеловечно! Ей представилось, как, одинокая и покинутая, она сидит на закате в печальной, но тем не менее изящной позе среди развалин античного храма, а ее муж уезжает в роскошной карете, запряженной четверкой, и рядом с ним женщина с рыжими волосами. Сидя на упакованном сундуке, она сочинила первые строки преунылого стихотворения, описывающего ее муки: нищая и покинутая, она встречает мужа с «другой», разодетой в шелка и увешанной бриллиантами. Воображение рисовало ей, как она с горя заболевает чахоткой и лежит на смертном одре, изможденная, но все еще обворожительная, все еще вызывающая восхищение во взорах редактора «Эвеланша» и полковника Старботтла. Да, кстати, где же полковник Старботтл, почему он не едет? У него она по крайней мере находит понимание. Он... тут она опять засмеялась своим легким, беспечным смехом, но вдруг на ее лицо набежала тень.

Что делает эта рыжая обезьянка? Почему ее совсем не слышно? Она бесшумно отворила дверь и прислушалась. Ей показалось, что в хоре шорохов, скрипов и потрескиваний, наполнявших пустой дом, сверху доносилось тоненькое пение. Она вспомнила, что там был чердак, куда

складывали всякий ненужный хлам. Немного стыдясь самой себя, она тихонько поднялась по лестнице, открыла дверь и заглянула на чердак.

Косой солнечный луч, проникавший через единственное окошко и заполненный танцующими пылинками, тянулся во всю длину чердака, едва освещая его унылую пустоту. В этом скудном свете она увидела пламенеющую головку, как бы увенчанную оранжевым ореолом. Девочка сидела на полу, держа между колен свою куклу-переростка, и что-то ей говорила. Вслушавшись, миссис Третерик поняла, что она повторяет разговор, происшедший у них полчаса тому назад, сурово допрашивая куклу, сколько времени она тут живет и вообще как измеряется время. Она очень удачно подражала тону миссис Третерик и почти слово в слово воспроизвела весь их разговор — с одним лишь исключением: сообщив кукле под конец, что она ей вовсе не мать, она трогательно добавила, что если та «будет хорошо себя вести — совсем хорошо», то она, так и быть, станет ее мамой и будет ее очень-очень любить.

Я уже отметил, что миссис Третерик не хватало чувства юмора. Возможно, именно по этой причине вся эта сцена произвела на нее весьма тягостное впечатление, а при заключительных словах девочки ее щеки жарко вспыхнули. Во всем этом было что-то невыразимо печальное: пустой, заброшенный чердак, полутьма, чудовищная кукла, сами размеры которой придавали какую-то горестную значимость ее безмолвию, маленькая фигурка, одна, на пыльном полу — все это не могло не задеть чувствительные струны в душе миссис Третерик. Она невольно стала прикидывать, нельзя ли использовать эту сцену для поэтического обобщения, и подумала, что получилась бы неплохая баллада, если бы комната была еще темнее, а ребенок еще более одинок — скажем, если бы девочка сидела у гроба матери, а за окном тоскливо завывал ветер. Вдруг она услышала внизу шаги и узнала поступь полковника Старботтла.

Она сбежала по лестнице и, встретив его в прихожей, немедленно поведала изумленному полковнику — во всех подробностях и не пренебрегая преувеличениями — о сделанном ею открытии и совершенной по отношению к ней чудовищной несправедливости.

— И не говорите мне, что все это не было подстроено заранее — я в этом абсолютно убеждена, — почти кричала она. — И подумайте, как бесчеловечно этот низкий чело-

век поступил со своим собственным ребенком, — добавила она. — Оставить ее здесь совсем одну!

— Черт знает что, — машинально проговорил полковник.

По правде говоря, он совершенно не мог взять в толк, чего она так разволновалась, и, боюсь, показал это с большей очевидностью, чем ему бы хотелось. Он бормотал какие-то бессвязные слова, раздувая грудь, напуская на себя суровый, потом мужественный, потом нежный вид, но все же не мог скрыть своего недоумения. На какой-то миг миссис Третерик даже усомнилась, действительно ли существуют совершенно родственные души, и сердце ее тоскливо сжалось.

— Не уговаривайте меня! — с неожиданным ожесточением произнесла миссис Третерик в ответ на какое-то нечленораздельное замечание полковника, отнимая руку, которую тот, исполненный самого горячего сочувствия, сжимал с большим пылом. — Не уговаривайте меня — я знаю, что сделаю. Можете присылать за моим сундуком, но я останусь здесь и предъявлю этому человеку доказательство его подлости. Пусть-ка попробует отрицать свои гнусные замыслы.

Не знаю, счел ли полковник присутствие собственной дочери Третерика в его собственном доме убедительным доказательством его неверности и коварства. Во всяком случае, он смутно осознал, что из-за неожиданно возникшего препятствия безграничное томление его чувствительной души не разрешится долгожданной гармонией. Но прежде чем он успел что-нибудь сказать, на лестничной площадке появилась Кэрри и устремила на полковника и миссис Третерик робкий и одновременно критический взгляд.

— Вот она, — патетически произнесла миссис Третерик.

— А, — отозвался полковник и вдруг заговорил приторно-сладким и нарочито-шутливым тоном, который совершенно не вязался с его обликом.

— Какая хорошенькая девочка! Как ты поживаешь, хорошенькая девочка? Ничего, да? Не так уж плохо, да, хорошенькая девочка?

Полковник совсем было собрался выпятить грудь и помахать тростью, но вовремя сообразил, что на ребенка шести-семи лет это, пожалуй, не произведет должного впечатления. Кэрри же не отвечала на его дружественные речи и привела галантного полковника в еще боль-

шее замешательство, подбежав к миссис Третерик и спрятавшись от него в складках ее платья. Но полковник не признал себя побежденным. Отступив на шаг, он выразил всей своей позой почтительное восхищение и заявил, что эта картина напоминает ему мадонну с младенцем. Миссис Третерик польщенно заулыбалась и не стала, как раньше, отрывать Кэрри от своего платья. Несколько секунд все молчали, испытывая неловкость, затем миссис Третерик указала ему глазами на ребенка и проговорила вполголоса:

— Вам лучше уйти. Сюда больше не надо приходить — ждите меня вечером в гостинице.

Она протянула полковнику руку, он галантно над ней склонился, приподнял шляпу и ушел.

— Как, Кэрри, — смущенным голосом и вся вспыхнув спросила миссис Третерик, обращаясь к огненным кудрям, едва видневшимся в складках ее платья, — ты будешь себя хорошо вести, если я позволю тебе посидеть со мной?

— И называть тебя мамой? — спросила Кэрри, поднимая голову.

— И называть меня мамой, — согласилась миссис Третерик и смущенно усмехнулась.

— Да, — решительно отозвалась Кэрри.

Они вместе вошли в спальню. Кэрри сразу заметила сундук.

— Ты опять уезжаешь, мама? — спросила она, бросая на нее быстрый, тревожный взгляд и крепче вцепляясь в ее платье.

— Н-нет, — отозвалась миссис Третерик, глядя в окно.

— Ты просто играешь, — весело предположила Кэрри. — Давай я тоже буду играть.

Миссис Т. согласилась. Кэрри побежала в соседнюю комнату и через минуту притащила оттуда маленький сундучок, в который с самым серьезным видом принялась укладывать свои платья. Миссис Т. заметила, что их не так-то много. Она задала девочке вопрос, потом другой и за каких-нибудь полчаса выяснила всю ее предысторию. Для этого миссис Третерик пришлось взять девочку на колени — надо было создать обстановку, располагающую к откровенности. Но и когда миссис Третерик как будто уже утратила интерес к сообщениям Кэрри, они продолжали сидеть в той же позе: Кэрри беззаботно что-то щебетала, а миссис Третерик рассеянno гладила ее огненные кудри.

— Ты не так меня держишь, мама, — наконец сказала Кэрри, ерзая у нее на коленях.

— А как тебя надо держать? — спросила миссис Трерик, отчасти забавляясь, отчасти смущаясь требовательностью ребенка.

— Вот так, — сказала Кэрри, сворачиваясь клубочком, прижавшись щекой к ее груди и обняв ее рукой за шею, — вот так очень хорошо.

Она еще немного повозилась, как укладывающийся спать зверек, закрыла глаза и уснула.

Некоторое время миссис Трерик неподвижно сидела в этой неудобной позе, едва осмеливаясь дышать. Затем — то ли вследствие таинственной симпатии, порожденной прикосновением, то ли бог знает еще почему — ей пришла в голову странная фантазия. Началось с того, что она вспомнила давнюю боль, давний кошмар, который она решительным усилием воли выкинула из памяти и не вспоминала все эти годы. Она вспомнила изнуряющую тошноту и недоверие к людям, гнетущий страх, ожидание того, что необходимо было предотвратить, — что и *было* предотвращено ценой страданий и страха. Она подумала о существе, которое могло бы появиться на свет, — она не осмеливалась сказать себе: «какому она не дала появиться на свет» — какое оно было бы? С тех пор прошло шесть лет: если бы ребенок родился, он был бы сейчас примерно в возрасте Кэрри. Покойно обнимавшие девочку руки задрожали и крепко ее стиснули. И вдруг в душе миссис Трерик что-то перевернулось, не то вздох, не то рыдание вырвалось из ее груди, и она стала прижимать тельце спящего ребенка к груди, к животу, словно хотела схоронить его в могиле, вырытой там несколько лет назад. Затем потрясший ее шквал утих, и за ним последовал — конечно же! — дождь.

Несколько капель упали на волосы Кэрри, и она беспокойно пошевелилась во сне. Но миссис Трерик успокоила ее, тихонько покачивая, — как легко ей это было теперь! И они долго еще сидели совершенно тихо и неподвижно, как бы слившись с окружающим безмолвием, медленно угасающим солнечным светом и общим духом одиночества и запустения, — но одиночества, в котором не было безнадежности, сопутствующей старости, упадку или отчаянию.



Полковник Старботтл напрасно прождал в гостинице всю ночь. А когда на следующее утро мистер Третерик вернулся в свои покинутые пенаты, в доме не было ни живой души, и лишь пылинки танцевали в солнечных лучах.

Когда в Фидлтауне стало доподлинно известно, что миссис Третерик убежала, захватив с собой ребенка мистера Третерика, это известие вызвало большое возбуждение и массу разноречивых толков. «Датч-Флет Интеллидженсер» писал о «насильственном похищении» ребенка с той же прямоотой и, боюсь, с той же предубежденностью, с какой ранее высказывался о поэтических сочинениях похитительницы. Все женское население города и наиболее неуязвимые представители сильного пола целиком разделяли точку зрения «Интеллидженсера». Остальные же не брались судить, кто тут прав, кто виноват: само то, что миссис Третерик отряхнула желтую пыль Фидлтауна со своих очаровательных ножек, было для них ударом. Они оплакивали не столько проступок похитительницы, сколько потерю ее как таковой. Они отказывались признавать в Третерике оскорбленного мужа и безутешного отца и даже открыто выражали сомнение в искренности его горя. Они заняли позицию иронического сочувствия по отношению к полковнику Старботтлу, одолевая этого достойного джентльмена неуместными изъявлениями соболезнования в пивных, салунах и прочих столь же малоподходящих для прочувственных бесед местах.

— Она всегда была резвой кобылкой, полковник, — высказался один из сочувствующих, весьма убедительно изобразив на физиономии искреннее огорчение и живое участие, — так что ничего удивительного, что она сбежала сама и увела с собой жеребеночка, но как она могла сбросить вас — *вас!* — я просто в толк взять не могу. Говорят, вы всю ночь напролет ждали ее в гостинице, и патрулировали коридоры, и бегали вверх-вниз по лестницам, и высматривали ее у подъезда — и все зря!

Другая добрая и участливая душа тоже не преминула пролить бальзам и вино на раны полковника.

— Ребята рассказывают, будто миссис Третерик попросила вас помочь ей переправить сундук вместе с ребенком на омнибусную станцию, и будто там парень, с которым она уехала, поблагодарил вас и дал за труды два доллара и сказал, что вы ему нравитесь и что, если понадобится, он опять обратится к вам за услугами, — так вы го-

ворите, это все неправда? Надо же, пойду тогда скажу ребятам, что это неправда. Хорошо, что я вас спросил, а то чего только люди не придумают!

К счастью, китаец, слуга ТрETERИКА, который был единственным свидетелем ее побега, спас репутацию миссис ТрETERИК, заявив, что с ней не было никого, кроме девочки. Он рассказал, что по ее приказанию остановил дилижанс, идущий на Сакраменто, и купил билет ей и девочке до Сан-Франциско. Правда, показания А Фе не имели юридической силы, но ему все поверили. Даже те, которые сомневались в способности этого язычника осознать всю святость Истины, признавали, что для него не было никакого смысла лгать. Однако в этом, как явствует из нижеследующего эпизода сей правдивой хроники, они заблуждались.

Примерно через шесть месяцев после побега миссис ТрETERИК А Фе, работавшего на участке ТрETERИКА, окликнули два прохожих китайца. Это были обычные кули, занятые на приисках. Как всегда, они странствовали, сложив свои пожитки в корзины и подвесив их на длинные шесты. Между А Фе и его братьями-монголоидами завязалась оживленная беседа, отличавшаяся той шумной многословностью и кажущейся враждебностью интонаций, которая всегда так смешит и одновременно раздражает представителя цивилизованной европейской расы, не понимающего в ней ни единого слова. Во всяком случае, именно так отнеслись к их языческому лопотанию мистер ТрETERИК, сидевший на веранде дома, и полковник Старботтл, проходивший мимо. Доблестный полковник просто отшвырнул их со своей дороги, а раздраженный ТрETERИК, выругавшись, запустил в них камнем, после чего они поспешно разошлись. Но до этого они успели передать А Фе исписанный иероглифами листок желтой рисовой бумаги и небольшой сверток. Открыв последний в полумраке и уединении кухни, А Фе обнаружил там свежевystиранный, выглаженный и сложенный детский фартучек. В углу был вышит вензель «К. Т.». А Фе засунул фартук себе за пазуху и с улыбкой бесхитростного удовлетворения принялся мыть посуду.

Два дня спустя А Фе сделал своему хозяину следующее заявление:

— Мне не любит Фидлтаун. Мне очень болен. Мне не уходит.

Мистер Третерик в ярости назвал место, куда тот может катиться. А Фе посмотрел на него невозмутимым взглядом и удалился.

Однако, прежде чем покинуть Фидлтаун, он случайно встретил полковника Старботтла и сказал ему несколько маловнятных фраз, которые, видимо, сильно заинтересовали этого джентльмена. В заключение беседы полковник вручил ему письмо и золотую монету стоимостью в двадцать долларов. «Если принесешь ответ, получишь еще столько же, ясно?» А Фе кивнул. Столь же случайное и точно так же завершившееся интервью состоялось у него еще с одним джентльменом, который, как я подозреваю, был не кем иным, как молодым редактором «Эвеланша». Однако должен с прискорбием известить читателя, что, едва отойдя от города, А Фе преспокойно сломал печати на обоих письмах и, безуспешно попытавшись прочесть их вверх ногами и боком, в конце концов порвал их на аккуратные квадратики и в таком виде за незначительное вознаграждение передал своему единоплеменнику, которого встретил в пути. Нравственные мучения полковника Старботтла, обнаружившего, что счет из прачечной, доставленный ему вместе с выстиранным бельем, написан на чистой стороне одного такого квадратика, а затем узнавшего, что остальные части его письма тем же способом распространяются по городу из китайской прачечной некоего Фунг Ти, по описаниям очевидцев, являли собой душераздирающее зрелище. Однако я убежден, что более возвышенные натуры, способные подняться над дешевым юмором этого забавного вероломства, увидят справедливое возмездие в тех невзгодах, которые сопутствовали китайцу в его паломничестве.

По пути в Сакраменто его дважды скидывал с верха омнибуса весьма цивилизованный, но сильно подвыпивший джентльмен, убеждения которого не позволяли ему ехать вместе с представителем расы, известной своим порочным пристрастием к курению опиума. В Хэнгтауне его избил прохожий — просто из христианского усердия. В Датч-Флете у него украли пожитки. В Сакраменто его арестовали по подозрению в том, что он на самом деле кто-то другой, а потом выпустили с суровым внушением, по-видимому, за то, что он таковым не оказался и, следовательно, препятствовал отправлению правосудия. В Сан-Франциско его забросали камнями школьники, но в конце концов, старательно избегая храмов прогресса и просвещения, он, относительно целый и невредимый, добрался до китайского квартала, где ему уже ни от кого

не приходилось опасаться обид, кроме как от полисменов, и притом в строгих рамках законности.

На следующий день он поступил на работу в прачечную Чи Фука; и в пятницу хозяин послал его разносить чистое белье заказчикам.

Забрав корзину, А Фе направился по исхлестанной ветром горбатой калифорнийской улочке. День стоял пасмурный — один из тех унылых, серых дней, когда даже наделенному самым живым воображением жителю Сан-Франциско кажется, что это время года лишь по ошибке было названо летом. Ни на земле, ни на небе не было ни тепла, ни красок, ни света, ни тени — все приобрело однообразный, бесцветный тон. Ветер яростно метался по улицам, а серые дома были исполнены какого-то унылого безразличия. Когда А Фе добрался до вершины холма, на который взбегала улица, Миссионерский хребет уже скрылся в тучах и сырой ветер с моря пронизал его до костей. Он опустил на землю корзину, чтобы немного отдохнуть, и возможно, что его недоразвитый ум и языческие понятия помешали ему оценить сей «благословенный климат», как у нас его обычно называют, и он показался ему недостаточно мягким, приятным и ласковым, а может быть, он в сознании А Фе ассоциировался с его преследователями-школьниками, которые, вырываясь как раз в это время из своего учебного заточения, бывали особенно агрессивны. Так или иначе, но он поспешил дальше и, завернув за угол, наконец остановился перед небольшим домиком.

Это был обычный для Сан-Франциско коттедж. За узкой полоской холодного зеленого кустарника виднелась пустая веранда, по которой гулял ветер, а над ней унылый балкон, где тоже никто не сидел. А Фе позвонил; появилась служанка, окинула взглядом его корзину и неохотно впустила его в дом, словно он был каким-то необходимым домашним животным. А Фе беззвучно поднялся по лестнице, вошел в открытую дверь гостиной, опустил корзину на пол и остановился на пороге.

У окна, через которое проникал холодный серый свет, с ребенком на коленях сидела женщина. Она вяло поднялась и подошла к А Фе. Он сразу узнал миссис Третерик, но ни один мускул на его лице не дрогнул, и в его расколых глазах ничего не отразилось, когда он невозмутимо встретился с ней взглядом. Она, очевидно, его не узнала и принялась считать белье. Но девочка, вглядевшись в него внимательно, вдруг радостно вскрикнула:

— Это же Джон! Мама, это наш Джон, который был у нас в Фидлтауне!

Глаза и зубы А Фе мгновенно просияли. Девочка захлопала в ладоши и ухватила за его блузу. Тогда он коротко проговорил:

— Мне Джон, А Фе — все равно. Мне тебя знает. Здравствуй.

Миссис Третерик, нервно вздрогнув, уронила белье и всмотрелась в А Фе. Но если старая привязанность обострила зрение Кэрри, то равнодушному взгляду миссис Третерик он и теперь казался неотличимым от прочих своих соплеменников. Он только напомнил ей об испытанных невзгодах. Охваченная смутным предчувствием новой опасности, она спросила его, когда он уехал из Фидлтауна.

— Давно. Мне не любит Фидлтаун, не любит Третерик. Любит Сан-Фиско. Любит стирать. Любит Кэрри.

Лаконичные высказывания А Фе пришлись по душе миссис Третерик. Она не стала задумываться, насколько впечатление прямоты и искренности объяснялось его недостаточным знанием английского языка. Она только сказала: «Не говори никому, что меня видел», — и достала из кармана кошелек.

Не заглядывая в него, А Фе увидел, что он почти пуст. Не осматриваясь, увидел, что комната обставлена бедно. Безразлично уставившись в пространство, разглядел, что и миссис Третерик и Кэрри одеты плохо. Однако должен сообщить читателю, что длинные пальцы А Фе без промедления и весьма цепко ухватили протянутую ему миссис Третерик монету в полдоллара.

После этого он стал шарить у себя за пазухой, производя при этом весьма странные телодвижения. Через несколько мгновений он извлек откуда-то из глубины детский фартук, который положил на корзину, проговорив:

— Прошлый раз забыла.

И возобновил свои телодвижения. Наконец в результате длительных усилий он извлек — по-видимому, из правого уха — нечто тщательно завернутое в папиросную бумагу. Он осторожно развернул бумагу, и на ладони у него оказались две золотые монеты по двадцать долларов, которые он и вручил миссис Третерик.

— Твоя оставила на бюро в Фидлтауне, мне нашел. Мне принес. Все порядке.

— Но я не оставляла денег на бюро, Джон! — воскликнула миссис Третерик. — Тут какая-то ошибка. Это чьи-то еще деньги. Забери их, Джон.

А Фе нахмурился, отступил от протянутой руки миссис Третерик и поспешно наклонился над корзиной.

— Мне не возьмет. Нет-нет. Мне поймает полисмен и скажет — проклятый вор — украл сорок долларов — идти в тюрьму. Мне не возьмет. Твоя забыла деньги на бюро в Фидлтауне. Мне принес. Обрато не беру.

Миссис Третерик заколебалась. Она уезжала в такой спешке, что действительно могла забыть деньги. Во всяком случае, она не имела права подвергать опасности этого честного китаЙца, отказываясь от них. Посему она сказала:

— Хорошо, Джон, я оставляю их у себя. А ты приходи к нам в гости, ко мне, — тут ее впервые в жизни осенило, что мужчина может захотеть увидеть не ее, а кого-нибудь другого, — и к Кэрри.

Лицо А Фе посветлело. Он даже издал короткий чревоуещательский смешок, не шевеля губами. Затем он вскинул на плечо корзину, осторожно притворил за собой дверь и бесшумно спустился по лестнице. Однако, оказавшись в передней, он странным образом не сумел открыть дверь наружу и, повозившись минуту с замком, стал оглядываться, кто бы ему мог помочь. Но служанка, которая его впустила, не подозревая о его затруднениях и вообще забыв о его существовании, скрывалась где-то в глубине дома.

И тут произошел таинственный и прискорбный инцидент, о котором я просто поведаю читателю, не пытаясь его объяснить. На столе в прихожей лежал шарф, видимо, принадлежавший вышеупомянутой служанке. Пока А Фе одной рукой крутил замок, другая его рука опиралась на стол. И вдруг словно по собственной воле шарф стал подползать к руке А Фе, а затем медленным змееподобным движением вползать ему в рукав. Вскоре он полностью исчез где-то в глубине его блузы. Не выказав ни малейшего интереса или беспокойства по этому поводу, А Фе продолжал возиться с замком. Минуту спустя покрывавшая стол скатерть красной камчи под действием той же таинственной силы медленно собралась под пальцы А Фе и, извиваясь, скрылась тем же маршрутом. Не знаю, какие бы еще последовали таинственные происшествия, но в это время А Фе наконец раскрыл секрет замка и отворил дверь — одновременно со звуком шагов на лестнице, ведущей в кухню. А Фе не проявил никакой



поспешности, но неторопливо взвалил на плечи корзину, старательно притворил за собой дверь и двинулся в густой туман, который к тому времени окутал небо и землю.

Миссис Третерик смотрела ему вслед из окна, пока он не скрылся в серой мгле. Измученная одиночеством последних месяцев, она была переполнена к нему горячей благодарностью и, если и заметила, что грудь его несколько раздалась, а живот выпятился, то, наверное, приписала это распиравшим его благородным чувствам и сознанию исполненного долга, не подозревая о скрытых под блузой шарфе и скатерти. Ибо миссис Третерик оставалась верной своей поэтически-чувствительной натуре. Когда туман сгустился в сумерки, она привлекла к себе Кэрри и, не вслушиваясь в ее болтовню, погрузилась в сентиментальные и приятные воспоминания, которые были в ее теперешнем положении и горьки и опасны. Неожидаанное появление А Фе как бы перекинуло мостик в прошлое. Она мысленно повторяла проделанный с тех пор печальный путь, заново переживая все его огорчения, трудности и разочарования, и не приходится удивляться порыву Кэрри, которая вдруг на полуслове прекратила свою болтовню, обняла ее ручонками за шею и стала уговаривать перестать плакать.

Упаси бог, чтобы этим самым пером, предназначенным лишь для утверждения нравственных устоев, я попытался изложить взгляды самой миссис Третерик на события этих месяцев, ее жалкие оправдания, нелогичные выводы, избитые извинения и неубедительные резоны. Но как бы то ни было, ей, по-видимому, пришлось несладко. Ее незначительные средства вскоре иссякли. В Сакраменто она убедилась, что стихи, может быть, и пробуждают благороднейшие чувства в человеческой душе и удостоиваются высочайших похвал редакторов на страницах их изданий, но отнюдь не могут обеспечить сносное существование для нее и Кэрри. Тогда она попытала счастья на подмостках сцены, но потерпела здесь полное фиаско. Возможно, что она представляла себе человеческие страсти несколько иначе, чем публика Сакраменто, но, во всяком случае, ее очарование, оказывавшее столь могучее действие на небольшом расстоянии, много теряло в огнях рампы. У нее нашлось сколько угодно закулисных почитателей, но у широкой аудитории она не заслужила популярности. Тогда она вспомнила, что у нее неплохой голос — не очень сильное и не очень хорошо поставленное,



но чистое и трогательное контральто, — и ей удалось получить место в церковном хоре. Там она продержалась три месяца, значительно поправив свои денежные дела и, по слухам, доставив немало приятных минут сидящим в последних рядах джентльменам, которые неотрывно любовались ею во время исполнения псалмов.

Как сейчас вижу ее в церкви. Косые лучи света, проникавшие на хоры, нежно высвечивали ее очаровательную головку с зачесанной наверх массой светло-каштановых волос, оттеняя черные дуги бровей и бахрому ресниц над глазами генуэзского бархата. Было очень приятно смотреть, как открывается и закрывается ее маленький ротик, обнажая ровные, белые зубы, и как под вашим взглядом ее атласная щечка загорается тщеславным румянцем. Ибо миссис Третерик всегда очаровательно розовела под восхищенными взглядами и, как большинство хорошеньких женщин, вся собиралась, словно прищипоренная лошадь.

А затем, естественно, начались неприятности. Исполнительница партии сопрано, отличавшаяся даже бóльшей беспристрастностью суждений, нежели свойственно ее полу, поведала мне, что миссис Третерик ведет себя просто бесстыдно; что она бог знает что о себе понимает; что если она считает остальных хористов своими рабами, то пусть посмеет сказать об этом ей, сопрано, прямо в глаза; что ее перемигивание с басом на пасхальное воскресенье привлекло к себе внимание всех прихожан и что она сама заметила, как доктор Коуп дважды в течение службы поглядел на хоры; что ее, сопрано, друзья не хотели, чтобы она пела в одном хоре с особой, которая выступала на подмостках, но она не стала их слушать. Однако она узнала от верных людей, что миссис Третерик убежала от мужа и что эта рыжая девочка, которая иногда приходит в церковь, не ее родная дочь. Тенор, отозвав меня за орган, доверительно сообщил мне, что миссис Третерик часто затягивает заключительную ноту, стремясь обратить на себя внимание молящихся и тем обнаруживая шаткость своих моральных устоев; что его мужское достоинство — в будни он служил клерком в галантерейном магазине и пользовался большой популярностью у покупательниц, а по воскресеньям усердно пел в хоре, издавая звуки, по всей видимости, бровями, — что его мужское достоинство, сэр, не позволяет ему этого больше терпеть. Один лишь бас, приземистый немец с густым голосом, обладание которым его, казалось, только обременяло

и даже удручало, вступился за миссис Третерик и заявил, что все они ей завидуют, потому что она такая «красотка». Все эти взаимные неудовольствия завершились открытой ссорой, во время которой миссис Третерик выражалась столь точно и красочно, что сопрано в конце концов разразилась истерическими рыданиями и покинула поле битвы, ведомая под руку мужем и тенором. Отсутствие обычной партии сопрано было, как и предполагалось, замечено прихожанами, и происшествие стало достоянием гласности. Миссис Третерик отправилась домой, торжествуя победу, но, оказавшись у себя в комнате, с отчаянием оповестила Кэрри, что они теперь нищие, что она — ее мать — только что отняла кусок хлеба у своей ненаглядной дочурки, и в заключение разразилась слезами раскаяния. Это были не прежние легкие слезы поэтического умиления и грусти, а жгучие слезы подлинного горя. Но тут служанка объявила о приходе ризничего — члена церковного музыкального комитета, который явился с официальным визитом. Миссис Третерик вытерла свои длинные ресницы, приколола к платью новую ленточку и пошла в гостиную. Она пробыла там два часа, что могло бы показаться подозрительным, если бы ризничий не был женат и не имел взрослых дочерей. Вернувшись к себе, миссис Третерик, напевая, повертелась перед зеркалом и выбрала Кэрри. Место в хоре осталось за ней.

Но ненадолго. В скором времени силы ее врагов получили могучее подкрепление в лице жены ризничего. Эта дама нанесла визиты нескольким наиболее влиятельным членам музыкального комитета и супруге доктора Коупа. В результате на очередном заседании комитета было решено, что голос миссис Третерик недостаточно силен для просторного здания церкви, и ей предложили уйти. Она повиновалась. К тому времени, когда на нее неожиданно свалились сокровища А Фе, она была без работы уже два месяца и ее скудные средства почти полностью иссякли.

Серый туман сгустился в черноту ночи, вспыхнули мерцающие огни уличных фонарей, а миссис Третерик, погруженная в свои невеселые воспоминания, все еще недвижно сидела у окна. Она даже не заметила, как Кэрри соскользнула с ее колен и вышла из комнаты, и лишь когда девочка вбежала с еще влажной вечерней газетой в руках, миссис Третерик очнулась и обратилась мыслями к настоящему. За последнее время она усвоила привычку проглядывать отдел объявлений в слабой надежде найти себе какое-нибудь подходящее занятие — какое именно,

она себе не представляла, — и Кэрри заметила эту привычку.

Миссис Третерик машинально закрыла ставни, зажгла свет и развернула газету. Ее взор упал на следующее сообщение:

«Фидлтаун, 7-е. Вчера вечером скончался от белой горячки старожил города мистер Джеймс Третерик. Мистер Третерик	был склонен к злоупотреблению спиртными напитками — как говорят, вследствие неудачно сложившейся семейной жизни».
--	---

Миссис Третерик не вздрогнула. Она спокойно перевернула страницу и взглянула на Кэрри. Девочка сосредоточенно рассматривала книжку. Миссис Третерик ничего не сказала, но весь вечер была непривычно молчалива и холодна. Когда Кэрри уже легла спать, миссис Третерик вдруг упала на колени рядом с ее кроватью и, взяв в ладони огненную головку девочки, спросила:

— Хочешь, чтоб у тебя был новый папа, детка?

— Нет, — ответила Кэрри после секундного размышления.

— Но если будет папа, мама сможет лучше о тебе заботиться — любить тебя, покупать тебе красивые платья, дать тебе хорошее воспитание.

Кэрри посмотрела на нее сонными глазами.

— А тебе он нужен, мама?

Миссис Третерик вдруг покраснела до корней волос и, резко сказав: «Спи!» — отошла от кровати.

Но около полуночи две белые руки крепко обвились ребенка и привлекли его к груди, которая судорожно вздымалась и опускалась, разрываемая рыданиями.

— Не плачь, мама, — прошептала Кэрри, смутно припомнив вечерний разговор. — Не плачь. Пусть будет новый папа, но только если он будет тебя очень любить — очень-очень!

Месяц спустя, ко всеобщему изумлению, миссис Третерик вышла замуж. Счастливым избранником оказался некто полковник Старботтл, недавно избранный от округа Калаверас в законодательное собрание штата. Не надеясь живописать это событие более изящным слогом, нежели корреспондент «Сакраменто Глоуб», я позволю себе привести некоторые из его изысканных периодов:

«Безжалостные стрелы лукавого бога настигли еще одного из наших славных солонов. Последней «жертвой» пал досточтимый А. Старботтл из графства Калаверас, пораженный чарами прелестной вдовы,

в прошлом служительницы Мельпомены. Последнее время она пела в хоре одной из наиболее модных церквей Сан-Франциско, высоко оплачивавшей за услуги этой пленительной святой Цецилии».

«Датч-Флет Интеллидженсер», однако, позволил себе высказаться по этому поводу в юмористически-развязном тоне, который характерен для независимой прессы:

«Новый демократический воитель от Калавераса недавно предложил законодательному собранию небольшой билль, в котором настаивает на замене фамилии Третерик на Старботтл. В Сан-Франциско

этот документ называют свидетельством о браке. Со времени кончины мистера Третерика прошел всего месяц, но, видимо, мужественный полковник не боится привидений».

Справедливость требует признать, что полковнику стоило немалого труда добиться руки миссис Третерик. Мало того, что ему пришлось преодолевать естественную застенчивость дамы своего сердца, — на его пути еще встал соперник. Это был состоятельный гробовщик из Сакраменто, который влюбился в миссис Третерик, увидев ее в театре и в церкви, поскольку по роду занятий был лишен повседневного и непринужденного общения с прекрасным полом и вообще встречался с дамами лишь в самой официальной обстановке. Сей джентльмен нажил неплохое состояние во время весьма кстати разразившейся в Сан-Франциско жестокой эпидемии, и полковник считал его опасным соперником. К счастью, однако, похоронных дел мастеру пришлось снаряжать в последний путь некоего сенатора, коллегу полковника, от чьей меткой пули на поединке чести тот и пал; и гробовщик, то ли из соображений личной своей безопасности, то ли, мудро рассудив, как полезны для него и впредь будут услуги полковника, уступил ему дорогу.

Медовый месяц продолжался недолго и был оборван весьма прискорбным инцидентом. На время свадебного путешествия Кэрри поручили заботам сестры полковника. Вернувшись домой в Сан-Франциско, миссис Старботтл заявила, что она сейчас же пойдет к миссис Кульпепер за девочкой. Полковник, и до этого проявлявший признаки некоторого беспокойства, которое он старался подавить многократными возлияниями, застегнул сюртук

на все пуговицы и, несколько раз пройдясь нетвердой поступью взад и вперед по комнате, вдруг заговорил самым внушительным тоном, на какой был способен.

— Я медлил, — произнес полковник с напыщенностью, усугублявшейся скрытым страхом и нарастающей неразборчивостью речи, — я медлил, в смысле, я не спешил с сообщением, которое мой долг повелевает вам сделать. Я не хотел затмевать сияние вжаимного счастья, глушить расцветающее чувштво, омрачать шупружеский небошклон неприятными ижвештиями. Но теперь мне придется это шделать, черт побери, мэм, никуда не денешьша. Ребенка увезли.

— Увезли? — переспросила миссис Старботтл.

В тоне ее голоса, во внезапно сузившихся зрачках было нечто такое, отчего полковник чуть не протрезвел и частично выпустил воздух из груди.

— Шшаш я вшё обяшню, — заторопился он; успокаивающе подняв руку, — вшё обяшню. То горештное шобытие, которое шделало вожмошным наше шаштье, которое ошвободило вас от брасных уз — ошвободило и ребенка — понимаете? — ребенка тоже. Как только Третерик умер, ваши права на ребенка умерли тоже. Таков жакон. Чей это ребенок? Третерика? Третерик умер. Ребенок не нужен покойнику. Жа каким чертом ребенок покойнику? Это ваш ребенок? Нет. Чей же тогда? Ребенок принадлежит швоей матери. Понятно?

— Где она? — вся побелев, спросила миссис Старботтл очень тихим голосом.

— Я обяшню. Ребенок принадлежит швоей матери. Таков жакон. Я юришт, жаконодатель, американский гражданин. Как юришт, жаконодатель и американский гражданин, я обяжан любой ценой вернуть ребенка штрадающей матери — любой ценой.

— Где она? — повторила миссис Старботтл, впившись глазами в лицо полковника.

— Поехала к матери. Летит ш попутным ветром в обятия штрадающей родительницы. Ражве неправильно?

Миссис Старботтл словно онемела. Полковник чувствовал, что его грудь опадает все ниже, но, опершись о кресло, устремил на нее взор, в котором попытался сочетать рыцарскую галантность с судейской твердостью.

— Ваши чувштва, мэм, делают чешть вашему полу, но подумайте шами. Подумайте, каково бедной матери, подумайте, каково мне! — Полковник помолчал, прижав

к глазам белоснежный платок, потом небрежно сунул его в нагрудный карман и нежно улыбнулся сидевшей перед ним женщине. — Зачем нам, чтоб черная тень омрачала шаштёе двух любящих шердец? Это хорошая девочка, шлавная девочка, но *чужая* девочка. Девочки нет, Клара, но не в ней же шаштёе. У тебя ведь ештъ я, дорогая!

Миссис Старботтл вскочила на ноги.

— Вы! — вскричала она голосом, от которого зазвене-ла люстра. — Вы, за которого я вышла лишь для того, чтоб моя крошка ни в чем не нуждалась. Вы! Пес, которому я свистнула, чтоб он охранял меня от мужчин! *Вы!*

Захлебнувшись гневом, она метнулась мимо него в комнату, где раньше жила Кэрри, потом — опять мимо него — пронеслась в свою спальню, затем вернулась и, грозно выпрямившись, предстала перед ним; ее лицо пылало, дуги бровей распрямились, губы сжались в тонкую линию, челюсть выпятилась вперед, и вся голова как-то по-змеиному сплющилась.

— Слушайте, вы! — проговорила она сиплым фальцетом. — Слушайте, что я вам скажу. Если вы хотите меня когда-нибудь еще увидеть, отыщите ребенка. Если вы хотите, чтоб я когда-нибудь стала с вами разговаривать, разрешила вам к себе прикоснуться, — верните девочку. Ибо я буду там, где она, — слышите? Ищите меня там, куда вы отправили ее!

И, потрянув руками, словно сбросив с них воображаемые оковы, она опять метнулась мимо него в свою спальню, захлопнула за собой дверь и повернула в ней ключ. Полковник Старботтл, вовсе не отличавшийся трусостью, оцепенел от страха при виде этой взбешенной фурии и, отшатнувшись, когда она в последний раз пронеслась мимо него, потерял свое неустойчивое равновесие и беспомощно опрокинулся на диван. После нескольких неудачных попыток подняться он так и остался на нем лежать, время от времени издавая негодующие, но не совсем вразумительные проклятия, и в конце концов, изнуренный эмоциями и побежденный неумеренными возлияниями, заснул.

Тем временем миссис Старботтл с лихорадочной поспешностью укладывала вещи и подсчитывала свои ценности — как ей уже однажды пришлось делать на протяжении этой необычайной хроники. Возможно, что она тоже вспомнила прошлое, ибо вдруг остановилась посреди комнаты и прижала к горящим щекам руки, словно увидев в дверях маленькую фигурку и услышав детский голос: «Это мама?» При этом воспоминании ее сердце сжалось от боли, и она прогнала его резким страстным же-



стом, смахнув рукой с глаз слезу. Но через некоторое время ей попалась среди вещей детская сандалия с оборванным ремешком. При виде нее она вскрикнула — впервые за все время, — прижала сандалию к груди и стала покрывать ее поцелуями и качать, как женщины качают младенцев. Потом она подошла к окну, чтобы лучше ее рассмотреть сквозь слезы, которые теперь уже градом катились у нее из глаз. Тут у нее начался внезапный приступ кашля, который она никак не могла остановить, даже прижав к воспаленным губам носовой платок. И вдруг она вся ослабела, и ей показалось, что окно уплывает от нее, а пол уходит из-под ног; неверными шагами она добралась до постели и упала на нее ничком, все еще прижимая к груди сандалию, а ко рту носовой платок. Ее лицо страшно побледнело, под глазами обозначились черные круги, а на губах появилась красная капля; такое же пятно было на носовом платке и на белом покрывале постели.

Поднявшийся ветер сотрясал оконные рамы и развеивал занавеси, как белые одежды на призраке. Потом он утих, и по крышам стал стлаться серый туман, сглаживая выбитые ветром шероховатости и накидывая на все покров полумрака и бесконечной умиротворенности. Миссис Старботтл неподвижно лежала на кровати — все еще очень красивая женщина, несмотря на постигшие ее горести. А с другой стороны закрытой двери спокойно храпел на своем временном ложе доблестный молодожен.

За неделю до рождества 1870 года в Генуе, небольшом городке в штате Нью-Йорк, бушевала жестокая метель, с особой выразительностью подчеркивая горькую иронию названия, данного ему основателями в честь изнеженной итальянской столицы. Она намела сугробы за каждым кустом, забором и телеграфным столбом, кружила снежные вихри среди нелепых деревянных дорических колонн почты и гостиницы, билась в холодные зеленые ставни лучших домов города и посыпала белой пылью темные угловатые фигуры пробиравшихся по улицам прохожих. В мутном небе маячили силуэты четырех основных церквей города, хотя их безобразные шпили были милосердно скрыты от взоров низко нависшими тучами. Стоявшая неподалеку от железнодорожной станции методическая часовня, к главному входу которой вел пирамидообразный ряд ступеней, сильно напоминала гигантский локомотив с решеткой впереди и, казалось,



только и ждала, когда к ней прицепят еще несколько домов, чтобы отправиться на поиски более гостеприимного места.

А на возвышающемся над главной улицей унылом Парнасе откровенно протянул свои голые кирпичные стены и вознес свой купол знаменитый институт Краммера для благородных девиц. Это полезное учреждение — гордость Генуи — не пыталось скрывать свое лицо. Любой посетитель на его пороге или хорошенькая рожица, выглянувшая в окошко, великолепно просматривались с любого места города.

Свисток четырехчасового экспресса в этот день не привлек на станцию обычной толпы зевак. С поезда сошел лишь один пассажир, которого единственный дожидавшийся у вокзала извозчик увез в направлении «Отеля Генуя». Затем поезд отправился дальше по назначению, как и все экспрессы, глубоко безразличный к человеческим делам и человеческому любопытству, единственную багажную тележку поставили на место, и начальник станции запер двери и пошел домой.

Однако свисток локомотива заставил виновато встрепенуться трех воспитанниц института Краммера, которые тайком лакомились сладостями в кондитерской миссис Филлипс на окраине городка. Ибо даже образцовые правила института не могли полностью обуздать физическую и духовную природу его питомиц; они соблюдали в обществе похвальную умеренность в пище, но втихомолку объедались вкуснейшими изделиями местной кондитерши; они с отменным прилежанием посещали церковь, но во время службы беззастенчиво флиртовали с местными кавалерами; они усердно поглощали разнообразные полезные сведения на уроках, а в перерывах зачитывались самыми низкопробными романами. В результате получались вполне здоровые, нормальные и в высшей степени привлекательные молодые особы, которые делали честь этому достойному учебному заведению. Даже миссис Филлипс, которой они задолжали значительные суммы, зараженная их юной жизнерадостностью, неоднократно заявляла, что молодеет в обществе «этих козочек», и не раз их выгораживала, бессовестно кривя душой.

— Девочки, четыре часа! Если мы опоздаем на пятичасовую молитву, нас хватятся, — воскликнула, поднимаясь с места, самая высокая из этих беспечных дев, наделенная орлиным носом и уверенной манерой вожака. — Ты взяла книжки, Эдди? — Эдди отвернула полу накидки, где обнаружили три разнузданно-пухлых романа. — А пакет,

Кэрри? — Кэрри показала подозрительного вида пакет — видимо, с изделиями миссис Филлипс, — едва помещавшийся в кармане ее пальто. — Ну ладно, тогда пошли. Запишите на мой счет, — сказала она хозяйке заведения, направляясь к дверям. — Я заплачу, когда мне пришлют деньги за следующие три месяца.

— Дай я заплачу, Кэт, — возразила Кэрри, вынимая кошелек, — моя очередь.

— Ни в коем случае, — заявила Кэт, высокомерно поднимая черные брови. — Мне нет дела, что у тебя богатые родственники в Калифорнии, которые тебе без конца шлют деньги. Ни за что! Пошли, девочки, — марш!

Когда они открыли дверь, порыв ветра чуть не сбил их с ног. Добросердечная миссис Филлипс перепугалась.

— Господи боже мой, да куда же вы пойдете в такую вьюгу! Давайте лучше я пошлю в институт сказать, что вы здесь, и положу вас спать у себя в гостиной.

Но ее последние слова потонули в дружном визге девушек, которые, взявшись за руки, сбежали с крыльца в метель и тут же затерялись в снежном вихре.

Короткий декабрьский день, не увидевший даже закатного багрянца, быстро угасал. Было уже почти темно, да к тому же еще густо мел снег. Некоторое время молодость, жизнерадостность и даже сама неопытность поддерживали в тройке проказниц бодрое настроение, но, неразумно решив пойти напрямик через поле, они быстро устали, смех стал звучать все реже, а на карие глаза Кэрри навернулись слезы. К тому времени, когда они снова выбрались на дорогу, силы их были на исходе.

— Пошли назад, — предложила Кэрри.

— Нам это поле ни за что еще раз не перейти, — отозвалась Эдди.

— Тогда давайте зайдём в первый же дом, — сказала Кэрри.

— Первым будет дом сквайра Робинсона, — проговорила Эдди, вглядываясь в быстро сгущающуюся мглу. И она метнула на Кэрри лукавый взгляд, от которого та, несмотря на всю свою усталость и страх, густо покраснела.

— Ну да, ну да, — с мрачной иронией отозвалась Кэт, — конечно, давайте зайдём в дом сквайра Робинсона, отчего же нет? Они нас пригласят к чаю, а потом твой драгоценный Гарри отвезет нас в институт и передаст официальные извинения миссис Робинсон и просьбу снисходительно отнестись к нашему проступку. Нет уж, — с внезапным приливом энергии заключила Кэт, —

вы как хотите, а я вернусь тем же путем, каким ушла, — через окно — и никак иначе!

Затем она, как коршун, набросилась на Кэрри, которая явно собиралась усесться в сугроб и удариться в слезы, и решительно ее встряхнула: — Смотри еще не засни! Стойте, помолчите все. Что это?

Это был звон колокольчиков. Из темноты показались сани, в которых сидел всего один человек.

— Присядьте, девочки. Если это кто-нибудь знакомый, мы пропали.

Но страхи были напрасны — совершенно им незнакомый, но очень располагающий голос осведомился, не нужно ли им чем-нибудь помочь. Голос принадлежал человеку, закутанному в дорогую котиковую шубу, на голове у него была котиковая шапка, а лицо полузакрыто воротником из того же меха; видны были только длинные усы и живые темные глаза.

— Это сын Санта Клауса, — прошептала Эдди.

Приглушенно хихикая, девушки забрались в сани. К ним вернулось их прежнее веселое настроение.

— Куда вас отвезти? — спокойно спросил незнакомец.

Девушки торопливо посовещались шепотом, затем Кэт решительно сказала:

— В институт.

В гору они ехали молча, но когда перед ними замаячило длинное аскетическое здание, незнакомец вдруг натянул вожжи.

— Вы знаете дорогу лучше меня. Где вам лучше войти?

— Через заднее окно, — со сногсшибательной откровенностью выпалила Кэт.

— Ясно, — невозмутимо отозвался незнакомец и, выйдя из саней, снял с лошадей колокольчики.

— Так мы сможем подъехать совсем близко, — объяснил он.

— Он определенно сын Санта Клауса, — прошептала Эдди, — может, спросим, как поживает его батюшка?

— Тише, — цыкнула на нее Кэт, — по-моему, он ангел.

И с очаровательной женской непоследовательностью, которая, однако, была прекрасно понята ее товарками, добавила:

— А мы на что похожи — три страшилища!

Осторожно объехав забор, они наконец остановились у темной стены. Незнакомец помог пассажиркам выйти из саней. От снега еще исходил рассеянный свет, и, по очереди опираясь на его руку, каждая из его юных попут-

чиц чувствовала на себе внимательный, хотя и чрезвычайно почтительный взгляд. Сохраняя полную серьезность, он помог им открыть окно и затем скромно отошел к саям, чтобы не смущать их своим присутствием, пока они — не без труда и некоторого ущерба приличиям — забирались в окно. Затем он подошел ближе.

— Спасибо! Доброй ночи! — прошептали три голоса. Одна фигурка задержалась у окна. Незнакомец перегнулся через подоконник.

— Вы позволите мне зажечь здесь сигару? А то снаружи кто-нибудь может заметить огонь.

Свет спички весьма выгодно обрисовал Кэт в раме окна. Спичка медленно догорела у него в руке. Кэт лукаво усмехнулась. Эта проникательная молодая особа прекрасно разгадала его жалкую уловку. Недаром же она была первой ученицей в классе, и недаром обожающие ее родители три года платили за ее обучение!

На следующее утро метель прошла и солнце весело освещало восточную классную комнату, где шел урок декламации. Сидевшая у самого окна мисс Кэт вдруг театральным жестом прижала руку к сердцу и, изобразив страшное волнение, упала на плечо своей соседки Кэрри.

— Это он! — проговорила она трагическим шепотом.

— Кто? — простодушно спросила Кэрри, которая никогда не могла разобраться, говорит Кэт всерьез или шутит.

— Как кто! Тот человек, который спас нас вчера вечером. Он только что подъехал. Помолчи минутку, дай мне немного успокоиться. Ну вот, мне уже лучше, — сказала бессовестная лицемерка, с изнемогающим видом проведя рукой по лбу.

— Интересно, что ему здесь нужно? — с любопытством спросила Кэрри.

— Откуда мне знать? — ответила Кэт, вдруг впадая в мрачный цинизм. — Может, хочет определить в институт своих пятерых дочерей. А может, подучить свою молодую жену и предостеречь ее, чтоб она не была такая, как мы.

— Он вовсе не показался мне старым, и непохоже, чтобы он был женат, — задумчиво отозвалась Эдди.

— Это все притворство, несчастная, — презрительно воскликнула Кэт, — мужчины — ужасные обманщики! Видно, такая уж моя судьба!

— Но почему же, Кэт? — озабоченно возразила Кэрри.

— Тише, мисс Уокер что-то нам говорит, — смеясь остановила ее Кэт.

— Прошу внимания, — произнес медленный бесстрастный голос. — Мисс Кэрри Третерик просят пройти в приемную.

Тем временем мистер Джек Принс, как он представился достопочтенному мистеру Краммеру, вручив ему визитную карточку и разнообразные письма и рекомендации, расхаживал по довольно мрачному залу, официально именуемому «приемной» и известному среди воспитанниц как «чистилище». Его наблюдательный взор уже отметил разнообразные элементы строгой обстановки — от похожего на покрытую черным лаком огромную вафлю плоского парового радиатора, обогревавшего один конец комнаты, до монументального бюста доктора Краммера, безнадежно студившего другой; от молитвы «Отче наш», начертанной бывшим преподавателем чистописания с таким изобилием каллиграфических завитушек, что они в значительной степени умаляли действие сего серьезного сочинения на молодые умы, до трех видов Генуи с институтского холма, которые были запечатлены с натуры учителем рисования и которые никто никогда не узнавал; от двух раскрашенных текстов из Библии, выполненных готическим шрифтом в столь мрачно-холодном духе, что он замораживал всякий живой интерес, до большой фотографии выпускного класса, на которой даже самые хорошенькие девушки напоминали цветом лица эфиопок и, по-видимому, сидели друг у друга на головах и плечах; он рассеянно перелистал школьные проспекты, «Проповеди» доктора Краммера, «Поэмы» Генри Кирка Уайта, «Сборники псалмов», «Жизнь замечательных женщин», представил себе в своем весьма живом воображении, сколько в этом зале, наверно, произошло встреч и прощаний, и задумался, почему при всем том в нем не осталось ни следа человеческого тепла, — в общем, боюсь, что он уже почти забыл о цели своего визита, когда отворилась дверь и перед ним предстала Кэрри Третерик.

Хотя он узнал в ней одну из своих вчерашних пассажирок и она даже показалась ему красивее, чем прошлым вечером, он тем не менее ощутил какое-то беспричинное разочарование. У нее были пышные вьющиеся волосы цвета червонного золота, необыкновенно нежная кожа, напоминавшая лепестки цветов, и глаза цвета морской травы под водой. В общем, ее внешность не давала никаких поводов к разочарованию.

Хотя и не наделенная его способностью ощущать производимое впечатление, Кэрри почему-то тоже почувствовала неловкость. Перед ней был, как выразилось бы большинство представительниц ее пола, «приятный мужчина», то есть отвечающий обычным требованиям, предъявляемым к одежде, манерам и внешности. Но все же в нем явно чувствовалось что-то необычное: никого, хоть сколько-нибудь на него похожего, Кэрри еще не приходилось встречать, и поскольку оригинальность одних привлекает, а других отпугивает, он ей не особенно понравился.

— Я не смею надеяться, — непринужденно заговорил он, — что вы меня вспомните. Мы встречались одиннадцать лет тому назад, и вы тогда были совсем маленькой девочкой. Я даже не могу похвастаться, что между нами существовали хотя бы те дружеские отношения, которые возможны между шестилетним ребенком и двадцатидвухлетним молодым человеком. Я тогда не любил детей. Но я очень хорошо знал вашу мать. Когда она увезла вас в Сан-Франциско, я был редактором газеты «Эвеланш» в Фидлтауне.

— Вы хотите сказать, мою мачеху — она ведь не была моей родной матерью, — поспешно перебила его Кэрри. Мистер Принс бросил на нее испытующий взгляд.

— Да, я хочу сказать, вашу мачеху, — серьезно подтвердил он. — Я не имею удовольствия быть знакомым с вашей матушкой.

— Конечно, нет, *мама* вот уже двенадцать лет как не бывала в Калифорнии.

Нарочитое ударение на слове *мама* неприятно поразило мистера Принса.

— Поскольку я сейчас приехал к вам по поручению вашей мачехи, — продолжал он, слегка усмехнувшись, — прошу вас на минуту мысленно вернуться к событиям тех лет. После смерти вашего отца ваша мать — я хочу сказать, мачеха — признала, что по справедливости, а также по закону права на вас принадлежат вашей родной матери, первой жене мистера Третерика, и передала ей вас на воспитание, хотя она была к вам очень привязана и ей было совсем не легко с вами расстаться.

— Мачеха вышла замуж через месяц после смерти отца и тут же отослала меня домой, — вызывающе заявила Кэрри, слегка потрянув головой.

Мистер Принс улыбнулся столь располагающей и как будто даже сочувственной улыбкой, что Кэрри почувство-



вала к нему больше расположения, и продолжал, словно не заметив ее последних слов:

— Осуществив этот акт элементарной справедливости, ваша мачеха обязалась нести расходы по вашему воспитанию до тех пор, пока вам не исполнится восемнадцать лет, когда вам будет предложено самой выбрать, кто из них двоих будет вашей опекуной и с кем вы захотите жить. Как я понимаю, вы знаете об этом соглашении и оно даже было заключено с вашего согласия.

— Я тогда была совсем ребенком, — сказала Кэрри.

— Совершенно верно, — с той же улыбкой отозвался мистер Принс, — но, по-моему, его условия не были обременительными ни для вас, ни для вашей матушки и могут представить для вас затруднение разве что в тот момент, когда вам надо будет сделать окончательный выбор. Это должно произойти в день вашего восемнадцатилетия — то есть двадцатого числа сего месяца.

Кэрри молчала.

— Не думайте только, что я приехал затем, чтобы выслушать ваше решение — даже если вы его уже приняли. Я просто хочу сообщить вам, что ваша мачеха, миссис Старботтл, завтра приедет сюда и несколько дней проживет в гостинице. Если вы захотите ее увидеть, прежде чем принять окончательное решение, она будет очень рада с вами встретиться. Но она отнюдь не намерена как-нибудь влиять на ваш выбор.

— А мама знает о ее приезде? — торопливо спросила Кэрри.

— Не знаю, — с глубокой серьезностью ответил Принс. — Мне только известно, что, если вы захотите увидеться с миссис Старботтл, вам надо получить на это разрешение вашей матушки. Миссис Старботтл будет свято соблюдать этот пункт соглашения, заключенного десять лет назад. Но у нее очень слабое здоровье, и перемена места и деревенская тишина могут пойти ей на пользу.

Мистер Принс устремил на девушку свои живые, пронизательные глаза и, чуть ли не затаив дыхание, ждал ее ответа.

— Мама должна приехать сегодня или завтра, — поднимая на него глаза, сказала она.

— Вот как! — отозвался мистер Принс с ласковой усталой улыбкой.

— А полковник Старботтл тоже здесь? — помолчав, спросила Кэрри.

— Полковник Старботтл умер — ваша мачеха опять вдова.

— Умер,— повторила Кэрри.

— Да,— подтвердил мистер Принс,— вашей мачехе выпало на долю пережить все свои привязанности.

Кэрри не поняла, что он этим хотел сказать. В ответ на ее недоуменный взгляд мистер Принс ободряюще улыбнулся.

Вдруг Кэрри начала тихонько плакать.

Мистер Принс подошел и участливо к ней наклонился. Его глаза посветлели, а концы усов как-то странно опустились.

— Мне кажется,— проговорил он,— что вы все принимаете слишком близко к сердцу. У вас еще есть время подумать. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. Надеюсь, вы вчера не простудились?

Лицо Кэрри просияло улыбкой.

— Мы, наверно, показались вам ужасными чудачками. Извините, что мы доставили вам столько беспокойства.

— Вовсе нет. Возможно, что я и счел бы несколько предосудительным помогать трем молодым особам вылезать из школьного окна поздно вечером,— добавил он елейным тоном,— но я был искренне рад возможности помочь им влезть обратно.

В дверях раздался громкий звонок, и мистер Принс поднялся со словами:

— Советую вам не спешить и хорошенько подумать, прежде чем принять решение.

Но Кэрри прислушивалась к голосам, которые раздавались из прихожей. Через мгновение дверь распахнулась и служанка объявила:

— Миссис Третерик и мистер Робинсон!

Четырехчасовой экспресс только что негодуя возвестил, что его опять вынудили остановиться в Генуе, когда мистер Принс въехал в город и направил лошадь к гостинице. Он был утомлен и недоволен человечеством: проехав десяток миль мимо безликих деревенок, одиноких ферм и аляповатых вилл, против которых восставал его изысканный вкус, этот джентльмен пришел в весьма дурное расположение духа. Он предпочел бы даже не встречаться с немногословным хозяином гостиницы, но тот поймал его на дороге.

— В гостиной вас ждет дама,— сообщил он.

Мистер Принс взбежал по лестнице и вошел в гостиную. Навстречу ему бросилась миссис Старботтл.

Минувшие десять лет произвели в ней самые плачевные перемены. Она исхудала наполовину; округлые плечи стали острыми, пышная грудь — впалой, когда-то полные руки иссохли, и золотые браслеты чуть не соскользнули с ее истонченных запястий, когда ее длинные, худые пальцы судорожно сжали руки Джека. На ее щеках играл лихорадочный румянец; где-то во впадинах этих щек были похоронены знаменитые ямочки далекого прошлого, но их могилы были давно забыты; ее лучистые глаза все еще были красивы, хотя и запали глубоко в глазницах; рисунок ее рта еще был изящен, хотя губы чаще и больше прежнего приоткрывались над ее ровными зубами — даже когда она ничего не говорила, а только дышала. Ее золотистые волосы были по-прежнему пышны, только стали более шелковистыми, тонкими и воздушными, но даже их масса не могла скрыть углублений на пронизанных голубыми венами висках.

— Клара! — укоризненно сказал Джек.

— Прости меня, пожалуйста, Джек, — проговорила она, падая в кресло, но все еще не отпуская его руку, — прости меня, дорогой, но я не могла больше ждать. Я бы умерла, Джек, я бы не пережила еще день ожидания. Потерпи уж — осталось совсем недолго — позволь мне остаться. Может быть, я ее и не увижу, может быть, мне не придется с ней поговорить, но так отрадно сознавать, что наконец-то она близко, что я дышу одним воздухом с моей голубкой, — мне от одного этого уже лучше, честное слово, Джек. Ты ее сегодня видел? Как она выглядит? Что она сказала? Расскажи мне, Джек, расскажи мне все подробно. Она хорошенькая? Говорят, она хорошенькая! Она выросла? Ты ее узнал? Она придет, Джек? Может быть, она уже приходила? Может быть... — Она поднялась, дрожа от волнения, и смотрела на дверь. — Может быть, она здесь? Почему ты молчишь, Джек? Скажи мне правду!

Устремленные на нее проницательные глаза светились невыразимой нежностью, которую никто, пожалуй, кроме нее, не ожидал бы в них увидеть.

— Клара, — мягко заговорил он, — успокойся, пожалуйста. Ты вся дрожишь — ты слишком устала и переволновалась за дорогу. Да, я видел Кэрри — она здорова и очень хорошенькая. Больше я тебе пока ничего не скажу.

Его ласковая твердость, как всегда, оказала свое действие: она успокоилась и затихла. Поглаживая ее худую руку, он спросил:

— Кэрри тебе когда-нибудь писала?

— Два раза — благодарила за какие-то подарки. Так, обычные письма, какие их учат писать в школе, — добавила она, отвечая на вопрос в его глазах.

— А она знала о твоих затруднениях — о твоей бедности, о том, какие жертвы тебе приходилось приносить, чтобы платить за ее учение, о том, как тебе пришлось заложить свои платья и драгоценности, о том...

— Нет, нет, что ты! — торопливо воскликнула Клара, — откуда ей знать! У меня нет такого лютого врага, чтобы он ей все это рассказал.

— Но если бы она — или миссис Третерик — были об этом осведомлены? Если бы Кэрри знала, что ты бедна, и считала, что ты не сможешь как следует ее обеспечить, — это могло бы повлиять на ее решение. Девушки очень ценят положение, которое дают деньги. Может быть, у нее богатые подруги... или поклонники.

При этих словах у миссис Старботтл огорченно дрогнули брови.

— Но, Джек, — воскликнула она, хватая его за руку, — когда ты нашел меня в Сакраменто, больную и беспомощную, когда ты — господь бог тебе этого не забудет! — предложил отвезти меня на восток, ты сказал, что что-то знаешь, что у тебя есть какой-то план, который даст нам с Кэрри возможность жить безбедно.

— Да-да, — торопливо подтвердил Джек, — но сначала тебе нужно поправиться. А теперь, когда ты успокоилась, я расскажу тебе про свой визит в школу.

И мистер Джек Принс стал излагать содержание уже описанного мной интервью, столь искусно подбирая самые светлые краски, что мне становится стыдно за свое собственное сухое повествование. Не скрыв ни единого факта, не пропустив ни одной подробности, он тем не менее умудрился набросить на сей прозаический разговор покров поэтической дымки, окружить героиню романтическим ореолом, который, может быть, и не был целиком создан его воображением, но, боюсь, все же говорил о незаурядном даровании, придававшем десять лет тому назад газете «Эвеланш» такую поучительность и занимательность. И лишь заметив, как пылают щеки и вздымается грудь поглощенной его рассказом слушательницы, Принс почувствовал угрызения совести.

— Господи, помоги ей и прости мне мою ложь, — пробормотал он сквозь стиснутые зубы, — но не могу же я сказать ей правду.

Поздно вечером, склонив на подушку свою усталую голову, миссис Старботтл попыталась представить себе Кэрри мирно спящей в большом доме на холме, и сознание, что она так близко, согревало душу этой одинокой легковерной женщины. На самом же деле, Кэрри в это время сидела полураздетая на краю постели, надув свои хорошенькие губки и наматывая на палец золотистый локон, а перед ней, сверкая черными глазами и вскинув породистый нос, как разгневанное привидение, стояла завернутая в длинное белое покрывало мисс Кэт Ван Корлир. В этот вечер Кэрри поведала мисс Кэт свою историю и свои затруднения и убедилась, что та «ей вовсе не друг», поскольку Кэт принялась негодуяще обличать «неблагодарность» Кэрри и без всякого зазрения совести защищать притязания миссис Старботтл.

— Если хоть половина из того, что ты мне рассказала, правда, то твоя мать и эти Робинсоны не только сделали из тебя трусиху, но еще вбили тебе в голову дурацкие претензии. Подумаешь, положение в обществе! Послушайте, мисс! Наше семейство уходит корнями к первым поселенцам, не то что Третерики, но, если бы они поступили со мной подобным образом, а потом еще захотели, чтобы я отвернулась от своего лучшего друга, я бы сказала им, что я о них думаю.— При этих словах Кэт щелкнула пальцами, нахмурила черные брови и окинула комнату свирепым взглядом, словно выискивая в ней столь недостойного представителя семейства Ван Корлир.

— Ты потому так говоришь, что тебе понравился этот мистер Принс,— сказала Кэрри.

Тут мисс Кэт, как она позднее выразилась на низменном жаргоне тех лет, который проник даже в девственные стены института Краммера, «задала ей жару».

Сначала она, тряхнув головой, перебросила свои длинные черные волосы через одно плечо, затем, опустив один из концов покрывала, отчего оно стало напоминать тунику весталки, сделала к Кэрри несколько решительных шагов в нарочито классической манере.

— Если даже и так, то что из этого? Что из того, если я знаю цену настоящему джентльмену? Что из того, если я убеждена, что на тысячу шаблонных, посредственных, безликих дубликатов своих дедов, вроде мистера Гарри Робинсона, не найдется и одного настоящего, независимого и своеобразного джентльмена, как твой Принс! Ложитесь спать, мисс. Молите бога, чтобы ваше сердце исполнилось благодарности и раскаяния, и хвалите небо за то, что оно послало вам такого друга, как Кэт Ван Корлир.

И, оборвав на столь драматической ноте свой монолог, она величественно покинула сцену, однако тут же вернулась, белой молнией метнулась через комнату, поцеловала Кэрри в лоб и с той же быстротой удалилась.

Следующий день тянулся для Джека Принса невыносимо долго. В глубине души он был убежден, что Кэрри не придет, и ему стоило немалого труда скрывать эту убежденность от миссис Старботтл, делать вид, что он разделяет ее надежду. Пытаясь ее отвлечь, он предложил покататься в санях по окрестностям, но она боялась, как бы Кэрри не пришла в ее отсутствие; кроме того, он не мог не признать, что ее силы заметно сдавали. Когда он глядел в ее огромные, пугающие своей прозрачностью глаза, грустное сознание, которое он гнал от себя день за днем, возвращалось все настойчивее. Он начал сомневаться в правильности и разумности своих поступков, перебирая в уме весь свой разговор с Кэрри, и почти убедил себя, что он сам виноват в его неблагоприятном исходе. Но миссис Старботтл проявляла удивительное терпение и была полна надежды, заставляя его усомниться в справедливости своих выводов. Когда у нее хватало на это сил, она сидела, обложенная подушками, у окна, откуда ей была видна школа, а также вход в гостиницу. В остальное время она, лежа в постели, развешивала перед Джеком лучезарные перспективы будущего и рисовала ему план загородного домика, в котором они будут жить с Кэрри. Джек не мог понять, что она нашла в Генуе и почему хочет здесь поселиться, но обратил внимание, что картины будущего рисовались ей исключительно в мирных, идиллических тонах. Она считала, что скоро поправится, уверяла даже, что ей уже значительно лучше, но соглашалась, что окончательно окрепнет еще нескоро. Ее слабый голос, толкующий о выздоровлении, в конце концов выгонял Джека в бар, где он заказывал виски, которого не пил, зажигал сигары, которых не курил, разговаривал с незнакомыми людьми, не слыша, что они говорят, и вообще вел себя, как присуще вести себя нашему сильному полу в дни испытаний и сомнений.

К концу дня небо нахмурилось и поднялся резкий, леденящий ветер. С наступлением темноты пошел слабый снег. Миссис Старботтл была по-прежнему спокойна и полна надежды. Когда Джек перекатил ее кресло от окна к камину, она объяснила ему, что, поскольку идут последние дни полугодия, Кэрри, видимо, днем загружена занятиями и может уйти только вечером. Она почти весь вечер просидела у камина, расчесывая свои шелкови-



стые волосы и по мере сил прихорашиваясь перед предстоящим визитом.

— Не дай бог, девочка еще испугается, Джек, — извиняющимся голосом и с искрой бывшего кокетства сказала она.

К десяти часам Джек настолько устал от напряжения, что обрадовался, когда слуга доложил, что внизу его ждет доктор, который хочет с ним поговорить. Войдя в мрачную, плохо освещенную гостиную, он увидел у камина закутанную женскую фигуру. Решив, что произошла какая-то ошибка, он хотел уже было повернуться и выйти, когда знакомый голос, оставивший у него самые приятные воспоминания, произнес:

— Вы не ошиблись — я и есть доктор.

Незнакомка отбросила капюшон, открыв взору Принса блестящие черные волосы и смелые черные глаза Кэт Ван Корлир.

— Не задавайте вопросов. Я — доктор, и вот мой рецепт, — сказала она, указывая на всхлипывающую Кэрри, испуганно съежившуюся в углу. — Лекарство надо принять немедленно.

— Значит, миссис Третерик разрешила?

— Дождешься от нее — если я не ошибаюсь в чувствах этой достойной дамы, — вызывающе бросила Кэт.

— Как же вы тогда ушли? — серьезным голосом спросил Джек.

— Через окно.

Оставив Кэрри в объятиях ее мачехи, мистер Принс вернулся в гостиную.

— Ну и как? — спросила Кэт.

— Она останется ночевать — вы, надеюсь, тоже.

— Так как мне двадцатого не исполняется восемнадцать лет и я не становлюсь сама себе хозяйкой и так как у меня нет больной мачехи, то я не останусь.

— Тогда разрешите проводить вас и благополучно водворить в окно.

Час спустя, когда мистер Принс вернулся, выполнив свою миссию, Кэрри сидела на скамеечке у ног миссис Старботтл. Ее голова лежала на коленях мачехи: вдоволь наплакавшись, она уснула. Миссис Старботтл приложила палец к губам:

— Я же говорила, что она придет. Благослови тебя бог, Джек, и спокойной ночи.

На следующее утро к мистеру Принсу явились негодующая миссис Третерик, огорченный директор института преподобный Эйзе Краммер и сияющий респектабельно-

стью мистер Джоэль Робинсон-Старший. Встреча протекала весьма бурно и завершилась требованием немедленно вернуть Кэрри.

— Мы ни в коем случае не намерены мириться с этим вмешательством, — заявила миссис Третерик, модно одетая дама с невыразительным лицом. — До истечения срока нашего соглашения осталось еще несколько дней, и при создавшемся положении мы не считаем себя вправе освободить миссис Старботтл от налагаемых им обязательств.

— До окончания полугодия мы требуем от мисс Третерик безусловного соблюдения дисциплины и правил института, — вторил ей доктор Краммер.

— Вся эта затея имеет целью лишь повредить мисс Третерик и скомпрометировать ее в глазах общества, — добавил мистер Робинсон.

Напрасно мистер Принс говорил им, что здоровье миссис Старботтл быстро ухудшается, что она ничего не знала о задуманном Кэрри побеге, что девушкой, несомненно, руководили вполне естественные и простительные побуждения и что и он и миссис Старботтл готовы согласиться с ее решением, каково бы оно ни было. В конце концов он заявил тоном, исполненным необычайного спокойствия, хотя лицо его гневно вспыхнуло, а в глазах появился угрожающий блеск:

— И еще. В качестве душеприказчика покойного мистера Третерика я должен уведомить вас об одном обстоятельстве, которое дает мне полное основание отказываться от выполнения ваших требований. Через несколько месяцев после смерти мистера Третерика его слуга китаец сообщил нам, что он оставил завещание, которое и было обнаружено среди его бумаг. Ввиду того, что завещанное состояние — в основном земельная собственность, которая в то время почти ничего не стоила, — оценивалось в слишком незначительную сумму, душеприказчики мистера Третерика не стали вводить наследников во владение или даже доказывать законность завещания и вообще как-нибудь заявлять о его существовании. Однако за последние два-три года стоимость завещанной земли неизмеримо возросла. Условия завещания весьма просты и не могут быть оспорены. Все состояние мистера Третерика должно быть поделено поровну между Кэрри и ее мачехой при обязательном условии, что миссис Старботтл будет назначена ее опекуницей, возьмет на себя заботу о ее образовании и во всех остальных отношениях будет выступать *in loco parentis*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> В качестве родителей (*лат.*).

— Во сколько оценивается состояние? — осведомился мистер Робинсон.

— Точно сказать не могу, но примерно около полу-миллиона долларов, — ответил мистер Принс.

— В таком случае, как друг мисс Третерик, я должен признать ее поведение не только благородным, но и вполне разумным, — заявил мистер Робинсон.

— Я не считаю себя вправе оспаривать волю покойного мужа или как-либо препятствовать ее выполнению, — добавила миссис Третерик, и на этом интервью закончилось.

Когда Джек сообщил эту новость миссис Старботтл, она прижала его руку к лихорадочно горящим губам.

— Мое счастье и без того безмерно, Джек, но скажи: почему ты держал это в тайне от нее?

Джек улыбнулся и ничего не ответил.

В течение следующей недели все юридические формальности были выполнены, и Кэрри возвратилась под крыло своей мачехи. По просьбе миссис Старботтл Джек приобрел небольшой домик на окраине города, где они и поселились в ожидании весны и выздоровления миссис Старботтл. Однако весна в тот год запаздывала, а здоровье миссис Старботтл не улучшалось.

Но, переполненная счастьем, она не проявляла нетерпения. Ей нравилось наблюдать, как на деревьях за окном набухают почки — для жительницы Калифорнии это было непривычное зрелище, — и расспрашивать Кэрри, как называются эти деревья и когда они полностью распустятся. Она загадывала уже на это лето, которое почему-то упорно не наступало, долгие прогулки с Кэрри в тени деревьев, чьи серые прозрачные шеренги виднелись на вершине холма. Она даже собиралась написать о них стихи и само желание их писать считала свидетельством возвращающегося здоровья; у Кэрри или Джека, кажется, до сих пор сохранилась написанная ею песенка, такая радостная, немудрящая и чистая, точно ее навеял щебет малиновки за окном — как оно, возможно, и было на самом деле.

И вдруг небеса послали им такой мягкий день, исполненный такой удивительной нежности, мечтательной красоты и трепетания невидимых крыл, такой полноты пробуждающейся и радостной жизни, не подвластной ни че-

ловеку, ни закону, что домочадцы сочли возможным вынести миссис Старботтл в садик и положить ее в ярких лучах солнца, которое, подобно венчальному факелу, озаряло ликующие окна и двери домов. Там она и лежала на кушетке в благостной умиротворенности.

Сидевшая подле нее Кэрри задремала, устав радоваться солнцу и теплу, и исхудавшая рука миссис Старботтл лежала у нее на голове, словно благословляя ее. Вскоре миссис Старботтл подозвала к себе Джека.

— Кто это сейчас приходил? — слабым голосом спросила она.

— Мисс Ван Корлир, — ответил Джек не столько ее словам, сколько взгляду ее огромных, ввалившихся глаз.

— Джек, — сказала она, секунду помолчав, — посиди около меня немного, родной. Если я порой казалась тебе холодной, злой или ветреной, так это лишь потому, милый, что я слишком тебя любила и не хотела портить твою жизнь, связав ее со своей. Я всегда любила тебя, дорогой, даже тогда, когда казалась совсем тебя недостойной. Все это позади, но в последнее время у меня была мечта, глупая женская мечта, что ты найдешь *в ней* то, чего не хватало во мне, — она бросила любовный взгляд на спящую около нее девушку, — что ты сможешь полюбить ее, как любил меня. Но я вижу, что и этому не бывать, — так ведь, Джек? — И она вгляделась в него грустным испытующим взглядом. Джек пожал ей руку, но ничего не сказал. Помолчав несколько мгновений, она продолжала. — Может быть, ты и сделал правильный выбор. Она славная девушка, Джек, добрая девушка, только немного резкая.

И с этой последней вспышкой женской слабости ее обессиленный дух перестал бороться и угас навеки. Когда к ней подошли через несколько секунд, сидевшая у нее на груди птичка вспорхнула и улетела, а рука, которую они подняли с головы Кэрри, безжизненно упала на кушетку.

---

## Случай из жизни мистера Джона Окхерста

Он всегда считал, что в это дело вмешалась сама судьба. И правда, ничто так не противоречило его образу жизни, как прогулка в тот летний день по городской площади в семь часов утра. В это время года, да, пожалуй, и не только в это, в Сакраменто редко когда можно было увидеть его бледное лицо раньше двух часов дня. Потому-то, разбирая впоследствии этот случай в свете многих сюрпризов, которые преподносила ему жизнь, он со свойственной его профессии склонностью пофилософствовать и решил, что в это дело вмешалась судьба.

Все же я, как беспристрастный повествователь, считаю своим долгом сказать, что появление мистера Окхерста в том месте, о котором идет речь, объяснялось весьма просто. Ровно в половине седьмого, когда в банке было уже двадцать тысяч долларов, мистер Окхерст встал из-за игорного стола, уступив место надежному помощнику, и скромно удалился, не привлекая к себе взглядов молчаливых, сосредоточенных игроков, склонившихся над столом. Но, войдя в свою роскошную спальню на другом конце коридора, он несколько удивился, увидев, что солнце льется в незакрытое по недосмотру окно. Редкостная прелесть утра, а может быть, новизна какой-то мысли поразила его, и он не стал опускать оконную штору, а, взяв со стола шляпу и спустившись по отдельной лестнице, которая вела прямо к нему в номер, вышел на улицу.

Люди, ходившие по городу в этот ранний час, принадлежали к тому классу, которого мистер Окхерст совершенно не знал. Это были молочники и торговцы, разносившие свой товар, мелкие лавочники, открывавшие свои

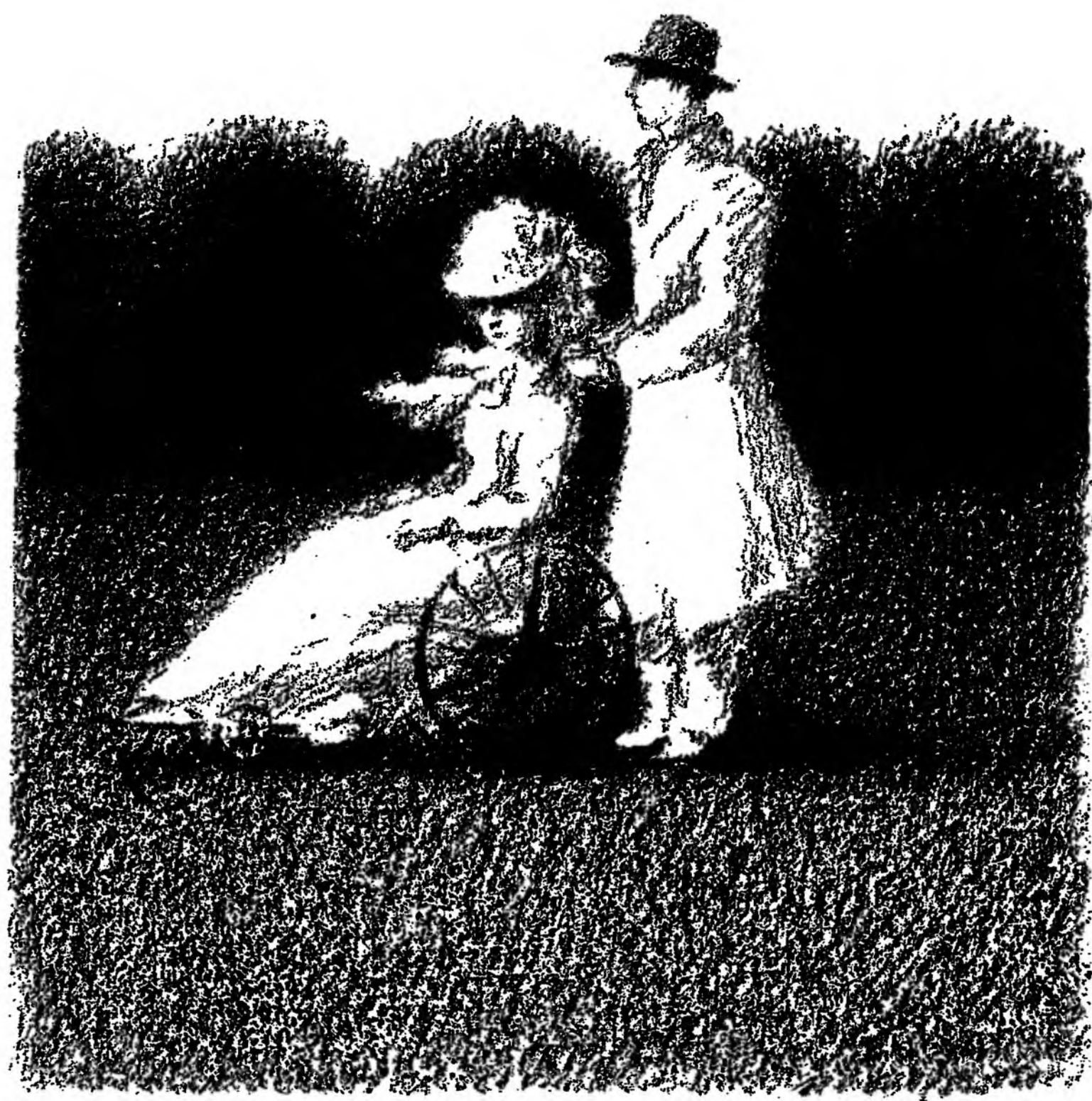
лавки, горничные, подметавшие ступеньки подъездов; изредка попадались и дети. Мистер Окхерст разглядывал их с любопытством, хоть и холодным, но лишенным той брезгливости, с которой он обычно посматривал на более привилегированных представителей рода человеческого из круга его знакомых. Я даже склонен думать, что ему вовсе не были неприятны восхищенные взгляды, которыми скромные женщины провожали его красивое лицо и фигуру, приметные даже в этой стране, где красивые мужчины не редкость. Этот прожженный авантюрист, гордившийся своим обособленным положением в обществе, вероятно, ответил бы ледяным равнодушием на внимание какой-нибудь изящной дамы, но восхищенный взгляд увязавшейся за ним одетой в лохмотья девчушки вызвал слабый румянец на его матово-бледном лице. В конце концов он отделался от нее, дав ей, однако, возможность убедиться в том, в чем рано или поздно убеждались многие из любвеобильных и проницательных представительниц женского пола, а именно: что мистер Окхерст — человек щедрый. Девочка заметила также то, чего, вероятно, до сих пор не замечала ни одна женщина: темные глаза этого прекрасного джентльмена на самом деле были серые со светло-карей искоркой.

Внимание мистера Окхерста привлек маленький садик перед белым коттеджем, стоявшим в переулке. В садике росли розы, гелиотроп и вербена — цветы, которые ему часто приходилось видеть собранными в букеты — форму весьма разорительную, хоть и более портативную. Но какой букет мог идти в сравнение с этой прелестью! Может быть, причиной тому была свежая роса, покрывавшая цветы, может, мистеру Окхерсту они нравились именно несорванными, кто знает! Во всяком случае, он оценил их не как будущее подношение очаровательной и высокоталантливой мисс Этелинде, выступавшей в варьете, по ее словам, исключительно ради мистера Окхерста; не как *douceur*<sup>1</sup> мисс Монморесси, с которой ему предстояло ужинать в тот вечер, — он восхищался ими совершенно бескорыстно, и, может быть, эти цветы были для него просто цветами. Полюбовавшись садиком, мистер Окхерст зашагал дальше, на площадь, увидел под тополем скамейку и, смахнув с нее пыль носовым платком, сел.

---

<sup>1</sup> Знак нежного внимания (*фр.*).





Утро было чудесное, и, прислушиваясь к шелесту листвы, к легкому шороху ветвей, можно было подумать, будто деревья возвращаются к жизни, со вздохом расправляя свои онемевшие члены. Сьерра, совсем однотонная на фоне неба, вздымалась в такой дали отсюда, в такой дали, что даже солнце, отчаявшись добраться до нее, с безрассудной расточительностью заливало светом окрестность, заставляя все кругом по контрасту переливаться и сверкать белизной в его лучах. В совершенно несвойственном ему порыве мистер Окхерст снял шляпу и, откинувшись на спинку скамьи, поднял лицо к небу. Стайка птиц, весьма критически посматривавших на него с ветвей над самой скамейкой, принялась горячо обсуждать возможность каких-либо недобрых намерений у этого человека. Видя, что он сидит тихо, двое-трое смельчаков стали прыгать у самых его ног, пока их не спугнул скрип колес, катившихся по усыпанной гравием дорожке.

Повернув голову в ту сторону, мистер Окхерст увидел человека, который медленно приближался к нему, толкая перед собой весьма странного вида экипаж с полулежащей в нем женщиной. Сам не зная почему, мистер Окхерст сейчас же подумал, что коляска эта — изобретение и собственноручная работа того, кто ее вез; на эту мысль его натолкнула отчасти необычность экипажа, отчасти сила и ловкость лежавшей на его спинке рабочей руки, а может быть, гордость и самодовольство, которое чувствовалось в том, как этот человек управлял своим изделием.

Потом мистер Окхерст увидел еще кое-что — лицо мужчины было ему знакомо. Безошибочная память на лица тех, кто представал перед ним на поле его деятельности, сразу же подсказала: «Фриско, салун «Полька». Програл недельный заработок. Кажется, долларов семьдесят; ставил на красное. Больше не появлялся». Однако спокойный взгляд и бесстрастное лицо мистера Окхерста не выдали этих мыслей, когда он посмотрел на незнакомца, а тот, напротив, вспыхнул, смутился и, невольно замедлив шаги, остановил коляску с ее очаровательной пассажиркой около Окхерста.

Учитывая ту роль, которую эта дама займет в моем правдивом повествовании, вряд ли будет справедливо давать ее портрет сейчас, если даже допустить, что такая задача мне под силу. В обществе высказывали на этот счет довольно противоречивые мнения. Покойный полковник Старботтл, из богатого опыта которого в отношениях

с прекрасным полом я и раньше черпал много полезных сведений, к сожалению, умалял ее очарование: «Калека, желтая, что твой лимон, а глаза красные, как у кролика. Совсем чахлая. Уж эти мне одухотворенные натуры! Кожка да кости!»

С другой стороны, представительницы ее пола удоставляли эту даму весьма лестных в своей пренебрежительности отзывов. Мисс Селестина Хауард, вторая прима-балерина варьете, в дальнейшем дала ей прозвище, построенное на аллитерации: «горбоносая гадюка». Мадемуазель Бримборьон, со своей стороны, припоминала, что она не раз говорила «мистеру Джеку»: «Эта женщина будет вас погубить».

Но мистер Окхерст, чьи впечатления нам важнее всего, увидел тогда перед собой только бледную, худенькую женщину с глубоко запавшими глазами, долгие страдания, одиночество и девическая застенчивость которой возвышали ее над сопутствовавшим ей человеком. Неиспорченность чувствовалась даже в складках ее свежего платья, в полных вкуса и изящества мелочах туалета, и мистер Окхерст почему-то решил, что фасон этого платья она придумала сама и сама сшила его, подобно тому как и коляска эта была, очевидно, работы сопровождавшего ее человека. Рука женщины, пожалуй, чересчур худая, но изящная, узкая в кисти и с тонкими пальцами, лежала на бортике коляски рядом с сильной рабочей рукой ее спутника.

Коляска наткнулась на какое-то препятствие, и мистер Окхерст встал, чтобы помочь. Пока они приподнимали колесо над обочиной тротуара, женщине пришлось опереться о его плечо, и на мгновение ее тонкая рука задержалась там, легкая и прохладная, как снежинка, и потом — так ему показалось, — как снежинка, растаяла. Наступило молчание, потом завязался разговор, и дама время от времени застенчиво вставляла в него словечко.

Оказалось, что они муж и жена. Что ревматизм лишил ее способности двигаться. Что последние два года она была прикована к постели, пока ее мужу — он мастер по столярному делу — не пришла в голову мысль сделать эту коляску. Он вывозит ее на прогулку каждое утро до работы — это у него единственные свободные часы, и рано утром на них не так... не так смотрят. Они обращались ко многим докторам, и все безуспешно. Им советовали ехать на серные воды, а это очень дорого. Мистер Декер — муж — скопил на поездку восемьдесят долларов, но

в Сан-Франциско его обокрали, мистер Декер такой беспечный! (Догадливому читателю, конечно, не нужно разъяснять, что все это рассказывает дама.) Больше им уже не удавалось скопить такую сумму, и они оставили мысль о поездке. Как это ужасно, когда у вас крадут деньги! Ведь правда?

Муж стоял багровый, но лицо мистера Окхерста сохраняло спокойствие и невозмутимость; с полной серьезностью подтвердив справедливость ее слов, он пошел рядом с коляской до того садика, который недавно так приглянулся ему. Здесь мистер Окхерст попросил их остановиться и, подойдя к домику, огорошил его владельца предложением неслыханно высокой платы за право нарвать цветов по своему выбору. Вернувшись вскоре с охапкой роз, гелиотропа и вербены, он бросил их на колени больной. Она с детским восторгом нагнулась над цветами, а мистер Окхерст воспользовался этим и отвел мужа в сторону.

— Может быть, — начал он тихо и без тени раздражения в голосе, — может быть, вы хорошо сделали, что солгали ей. Теперь скажите, что вор пойман и вы получили деньги обратно. — Мистер Окхерст незаметно сунул в широкую ладонь растерявшегося мистера Декера четыре золотых монеты по двадцати долларов каждая. — Так и скажите или выдумайте что-нибудь еще, только не говорите правды. Дайте слово, что не скажете!

Слово было дано. Мистер Окхерст спокойно вернулся к маленькой коляске. Больная все еще с увлечением перебирала цветы, и когда она взглянула на мистера Окхерста, ее блеклые щеки словно переняли у роз их яркие краски, а глаза — росистую свежесть. Но мистер Окхерст приподнял шляпу и, не дав времени поблагодарить себя, удалился.

К величайшему моему сожалению, я должен сказать, что мистер Декер не сдержал слова. В тот же вечер в простоте душевной и в порыве самопожертвования он, как все любящие мужья, возложил на семейный алтарь не только самого себя, но и своего друга и благодетеля. Однако справедливость требует добавить, что мистер Декер с жаром говорил о великодушии мистера Окхерста и, что очень характерно для людей его положения, восторгался загадочной славой игрока и присущим ему умением швырять деньги.

— А теперь, Элси, милочка, скажи, что ты прощаешь меня, — закончил мистер Декер, опускаясь на одно колено

рядом с кушеткой, на которой лежала жена. — Ведь я хотел сделать лучше. Ведь только ради тебя, дорогая, я рискнул тогда во Фриско всеми деньгами. Рассчитывал на большой выигрыш, думал, что хватит на поездку, да еще останется тебе на новое платье.

Миссис Декер улыбнулась и погладила мужа по руке.

— Прощаю, Джо, милый, — сказала она, все еще улыбаясь и устремив рассеянный взгляд на потолок. — Правда, тебя следовало бы высечь за ложь и за то, что ты заставил меня наговорить таких вещей, скверный мальчишка. Ну, хорошо, довольно об этом. Если ты будешь теперь паинькой и дашь мне эти розы, так и быть, я тебя прощаю.

Она взяла розы, поднесла к лицу и вскоре проговорила:

— Джо!

— Что, милочка?

— Ты думаешь, этот... мистер — как там его, Джек Окхерст, — вернул бы тебе деньги, не наговори я такого вздора?

— Да.

— Если бы он даже не видел меня?

Мистер Декер взглянул на жену. Розы закрывали ей все лицо, оставляя на виду только глаза, в которых поблескивал опасный огонек.

— Нет! Это все ты, Элси, только ради тебя он и решился на такой поступок.

— Ради несчастной калеки?

— Ради очаровательной, прелестной, хорошенькой Элси — моей маленькой женушки! Ну, разве он мог устоять?

Прижимая розы к лицу, миссис Декер другой рукой ласково обняла мужа за шею. Потом принялась бормотать сквозь цветы нечто чрезвычайно глупое: «Милый мой дурашка, Джо. Медвежонок мой косолапый». Но, право, будучи повествователем, строго придерживающимся одних лишь фактов, я не считаю нужным приводить здесь дальнейшие слова этой маленькой женщины и умолкаю из уважения к чувствам моих незамужних читательниц.

Тем не менее, выехав следующим утром на площадь, миссис Декер проявила легкую, но мало объяснимую нервозность и вскоре попросила мужа отвезти ее домой. Она чрезвычайно удивилась, встретив на обратном пути мистера Окхерста, и, не узнав его сразу, даже спросила мужа, правда ли, что это вчерашний незнакомец. Ее обращение



с ним представляло разительный контраст с дружеским приветствием, которым встретил его муж.

Мистер Окхерст не преминул заметить это. «Муж все ей рассказал, и она рассердилась на меня», — подумал он, роковым образом упуская из виду половину тех причин, на которых основывается поведение женщин, а эту ошибку совершают даже самые мудрые критики из мужского сословия.

Мистер Окхерст задержался около них только для того, чтобы спросить у мужа, где он работает, а потом с достоинством приподнял шляпу и, не взглянув на даму, удалился. Простодушного мастера изумила очаровательная непоследовательность жены, ибо после столь натянутой и неприятной встречи она вдруг пришла в хорошее расположение духа.

— А ты сурово с ним обошлась. Пожалуй, чересчур сурово, а, Элси? — сказал он укоризненно. — Как бы он не догадался, что я нарушил свое обещание.

— Да?.. Ты думаешь? — равнодушно проговорила Элси.

Мистер Декер обошел коляску и стал лицом к жене.

— Ты сейчас совсем как важная дама, Элси! Будто разъезжаешь по Бродвею в собственном экипаже, — сказал он. — И какая веселая да хорошенькая! Я тебя никогда такой не видел!

Через несколько дней владелец серных источников в Сан-Изабеле получил следующее письмо, написанное хорошо знакомым ему изящным почерком мистера Окхерста:

*«Дорогой Стив!*

*Я обдумал твое предложение купить пай Николса и решил согласиться. Но мне кажется, что затраты оправдают себя только в том случае, если ты позаботишься об удобствах, имея в виду самую чистую публику, то есть моих клиентов. Необходимо расширить главный корпус и построить еще два-три коттеджа. Посылаю тебе строителя, пусть сразу же принимается за работу. С ним едет его больная жена, отнесись к ним так, как если бы это был кто-нибудь из наших.*

*Возможно, что после скачек я сам к вам приеду посмотреть, как идут дела; но игры в этом сезоне вести не буду. Всегда готовый к услугам*

*Джон Окхерст».*



Критику вызвало только последнее сообщение.

— Я понимаю, — сказал собрат мистера Окхерста по профессии, мистер Гемлин, которому было показано письмо, — я понимаю, почему Джек выкладывает такие деньги на строительство — это дело верное и со временем даст хорошие барыши, если он будет наезжать сюда почаще. Но почему не вести игру в этом сезоне и упускать случай вернуть часть денег, пущенных в оборот, — вот это для меня загадка. Любопытно, — добавил он в глубоком раздумье, — что там у него на уме?

Последний сезон был весьма удачным для мистера Окхерста и, следовательно, весьма разорительным для нескольких членов законодательных органов, судей, полковников и некоторых других лиц, имеющих удовольствие, правда, быстротечное, пользоваться по ночам обществом мистера Окхерста. Несмотря на это, жизнь в Сакраменто стала для него теперь пресной. За последнее время он пристрастился к ранним прогулкам, и это казалось его друзьям мужского и женского пола настолько необычным и странным, что они сгорали от любопытства. Кое-кто из последних даже посылал за ним соглядатаев, но в результате слежки удалось выяснить лишь то, что мистер Окхерст приходит на площадь, садится ненадолго на одну и ту же скамью и, ни с кем не повидавшись, возвращается обратно. Таким образом, версия о причастности к этому делу женщины отпала сама собой. Несколько суеверных джентльменов одной с ним профессии считали, что мистер Окхерст проделывает все это «на счастье». Кое-кто попрактичнее уверял, будто он обдумывает там картежные комбинации.

После скачек в Мэрисвилле мистер Окхерст уехал в Сан-Франциско; потом вернулся обратно, но через несколько дней его уже видели в Сан-Хосе, Санта-Круце и Окленде. По словам тех, кто встречался с ним в этих местах, мистер Окхерст был чем-то обеспокоен и нервничал вопреки своей обычной флегматичности и выдержке. Полковник Старботтл, особенно подчеркивал тот факт, что в клубе в Сан-Франциско Джек отказался метать банк.

— Рука нетвердая, сэр, верьте моему слову, отвыкает от работы, пропади оно пропадом!

Из Сан-Хосе мистер Окхерст выехал по направлению к Орегону на лошадях, в дорогом экипаже, но, добрав-

шись до Стоктона, внезапно свернул в сторону и спустя четыре часа появился уже верхом в каньоне около сан-изабелских горячих серных источников.

Сан-Изабел лежал в очаровательной треугольной долине у подножия трех пологих гор, густо поросших сосняком, путаницей земляничных деревьев и манзанита. Сквозь листву виднелись примостившиеся у горных склонов строения и длинная веранда отеля; там и сям белели маленькие, словно игрушечные, коттеджи. Мистер Окхерст не принадлежал к числу любителей природы, но этот вид вызвал у него то же необычное и приятное ощущение, как и первая утренняя прогулка в Сакраменто. Навстречу ему стали попадаться коляски с нарядно одетыми женщинами, и в холодном калифорнийском пейзаже появилось что-то человечески теплое и яркое. Потом снова открылась вся длинная веранда отеля, блиставшая туалетами разодетых дам. Мистер Окхерст, будучи хорошим наездником калифорнийской выучки, подлетел к отелю галопом, круто осадил коня на расстоянии одного фута от веранды и преспокойно возник из облака пыли, скрывшего его в ту минуту, когда он спешил.

Какое бы волнение ни испытывал сейчас мистер Окхерст, обычная выдержка помогла ему, лишь только он ступил на веранду. Вооружившись многолетней привычкой, он встретил устремленные на него в упор взгляды с тем же холодным равнодушием, с каким всегда встречал плохо скрываемое презрение мужчин и пугливое восхищение женщин. Только один человек вышел к нему навстречу. Как ни странно, это был Дик Гамильтон, может быть, единственный из всех присутствующих, кто по своему рождению, воспитанию и положению в обществе мог удовлетворить самых придирчивых критиков. К счастью для Окхерста, Гамильтон был также крупным банкиром и вообще личностью весьма влиятельной.

— А вы знаете, с кем вы сейчас говорили? — с испуганным видом спросил его молодой Паркер.

— Да, — вызывающе ответил Гамильтон. — Это человек, которому на прошлой неделе вы проиграли тысячу долларов. Я же встречался с ним *только* в гостиных.

— Но ведь он, кажется, профессиональный игрок? — осведомилась младшая мисс Смит.

— Совершенно верно, — подтвердил Гамильтон, — но мне бы очень хотелось, милая барышня, чтобы все вели такую честную и открытую игру, как этот наш друг, и так же стойко сносили ее превратности.

К счастью, мистер Окхерст не слышал этого разговора, ибо он уже прогуливался по верхнему залу с видом безразличным, но в то же время настороженным. И вдруг позади него раздались чьи-то легкие шаги, знакомый голос назвал его по имени, и вся кровь прилила ему к сердцу. Мистер Окхерст обернулся — перед ним стояла она.

Но какая перемена! Если несколько страниц назад я не решался описать калеку с глубоко запавшими глазами, жену ремесленника, одетую не по моде, то что же мне делать теперь с изящной, статной и элегантной женщиной, в которую миссис Декер превратилась за эти два месяца? Клянусь честью, она была хороша собой.

Без сомнения, мы с вами, уважаемая сударыня, сразу бы обнаружили, что эти очаровательные ямочки не отвечают требованиям истинной красоты, и для лица, которое хочет казаться простодушно-веселым, обозначены слишком резко; что в еле заметных линиях около вырезанных ноздрей есть что-то жестокое и эгоистичное; что наивно-милый, удивленный взгляд может быть обращен и к тарелке супа и к рассыпающемуся в любезностях соседу за столом; что эти щечки загораются румянцем и бледнеют не из симпатии к вам, а лишь в ответ на ее собственные ощущения. Но ведь мы с вами, уважаемая сударыня, не влюблены в эту женщину, а мистер Окхерст влюблен. Боюсь, что бедняга даже в складках ее парижского туалета узрел ту же неиспорченность, которая сквозила когда-то в простеньком самодельном платье. А потом это восхитительное открытие, что она может ходить, что у нее очаровательные ножки в крохотных туфельках работы французского мастера, с огромными синими бантами, с клеймом на узенькой подошве: Rue такая-то, Paris.

Вспыхнув, он бросился ей навстречу, протянул ей руки. Но она заложила свои за спину, быстро огляделась по сторонам и стала перед мистером Окхерстом, посматривая на него не то лукаво, не то с дерзким восхищением, что совершенно не походило на ее прежнюю сдержанность.

— Я было не хотела подавать вам руку. Вы прошли по веранде и даже не заговорили со мной, а я побежала за вами, как, должно быть, случалось бегать не одной бедняжке.

Мистер Окхерст пробормотал, что она так изменилась!

— Тем более, вы должны были узнать меня. Я изменилась? А кто тому виной, сэр? Вы сотворили меня заново. Вы встретили беспомощную, больную, нищую калеку, у которой было одно-единственное платье, ею же самой сшитое, и вы дали ей жизнь, здоровье, силы и деньги. Все это дело ваших рук, и вы это знаете, сэр. Как вам нравится ваше собственное творение? — Она прихватила с обеих сторон подол платья и сделала шутливый реверанс. Потом, словно сжавившись над ним, протянула ему обе руки.

Я боюсь, что эти слова покажутся моим прекрасным читательницам бесстыдными и неженственными, но мистеру Окхерсту они понравились. И не потому, что он привык к откровенному восхищению женщин; то восхищение шло из-за театральных кулис, а не из монастыря, с которым он всегда мысленно связывал миссис Декер. Выслушав такие слова от пуританки, от недужной праведницы, все еще окруженной ореолом страданий, от женщины, которая держала у себя на туалетном столике Библию, три раза на дню посещала церковь и нежно любила своего мужа, — выслушав от нее такие слова, мистер Окхерст признал себя сраженным. Он все еще не выпускал ее рук, а она продолжала:

— Почему вы не приехали раньше? Что вы делали в Мэрисвилле, в Сан-Хосе, в Окленде? Видите, я следила за вами. Я узнала вас, когда вы ехали каньоном. Я прочла ваше письмо к Джозефу и стала ждать вас. Почему же вы мне не написали? Когда-нибудь еще напишете! Добрый вечер, мистер Гамильтон!

Она отняла у него свои руки, дав, однако, Гамильтону время сойти с лестницы и почти поравняться с ними обоими. Он с вежливой сдержанностью приподнял шляпу, дружески кивнул Окхерсту и прошел мимо. Когда Гамильтон удалился, миссис Декер подняла глаза на мистера Окхерста.

— Когда-нибудь я попрошу вас о большом одолжении!

Мистер Окхерст умолял сделать это сейчас же.

— Нет, сначала вы должны узнать меня поближе. А тогда я попрошу вас... убить этого человека.

Она рассмеялась — какой приятный, звенящий смех, какие ямочки на щеках, пожалуй, чуть резкие в уголках рта, какая невинность в этих карих глазках, какой очаровательный румянец, — и мистер Окхерст, смеявшийся редко, готов был тоже рассмеяться.

Словно ягненок предлагал волку совершить набег на соседнюю овчарню.

Как-то вечером, через несколько дней после этого разговора, миссис Декер вышла из круга своих горячих поклонников, извинилась, что покидает общество, и, со смехом отклонив предложение проводить себя, побежала с веранды к маленькому коттеджу по ту сторону дороги — одному из творений ее супруга. Возможно, что от спешки, непривычной для выздоравливающей, дыхание у нее было прерывистое и частое, и когда она входила в свой будуар, то раз или два прижала руку к груди. Она зажгла лампу и вздрогнула, увидев, что муж лежит на кушетке.

— Ты разгорячилась и чем-то взволнована, Элси? — сказал мистер Декер. — Ты плохо себя чувствуешь, дорогая?

Побледневшее лицо миссис Декер снова вспыхнуло.

— Нет, — ответила она. — Только здесь немножко болит, — и опять положила руку на корсаж.

— Чем я могу помочь тебе? — с нежной заботливостью спросил мистер Декер, вставая с кушетки.

— Сбегай в отель и принеси мне коньяку.

Мистер Декер побежал. Миссис Декер затворила дверь, заперла ее на задвижку и вынула из-за корсажа то, от чего у нее болела грудь. Это была сложенная вчетверо записочка, написанная, как мне ни грустно признать, рукой мистера Окхерста.

Миссис Декер впилась в его послание горящими глазами, щеки у нее пылали. Но вот на веранде слышались шаги. Она второпях сунула записку за корсаж и отперла дверь. Вошел муж; она поднесла рюмку к губам и сказала, что теперь ей стало легче.

— Ты опять пойдешь туда вечером? — робко спросил мистер Декер.

— Нет, — ответила миссис Декер, задумчиво опустив глаза.

— Я бы на твоём месте не ходил, — сказал мистер Декер со вздохом облегчения. После небольшой паузы он сел на кушетку, привлек к себе жену и заговорил:

— Знаешь, Элси, о чем я думал, когда ты вошла?

Миссис Декер запустила пальцы в его жесткую черную шевелюру и сказала, что понятия не имеет.

— Я думал о прежнем нашем житье-бытье, Элси; о тех денечках, когда я смастерил тебе коляску, сам возил тебя на прогулки и был и за лошадь и за кучера. Жили

мы тогда бедно, и ты болела, Элси, но разве нам с тобой было плохо? Теперь у нас и деньги завелись, и дом есть, и тебя не узнать. Можно даже сказать, голубчик, что ты теперь стала какая-то другая, будто совсем новая. В том-то и беда... Я мог смастерить тебе коляску; я мог выстроить тебе новый дом, Элси, а дальше — стоп. Ты теперь совсем другая, ты окрепла, похорошела, — новый человек, да и только. Но я-то тут ни при чем, Элси!

Он замолчал. Ласково приложив одну руку ему ко лбу, другую поднеся к своей груди, словно желая удостовериться, что прежняя боль все еще там, все еще не утихла, она проговорила нежно и успокаивающе:

— Нет, милый, всем этим я обязана тебе.

Мистер Декер грустно покачал головой.

— Нет, Элси. Была у меня такая возможность, да я ее упустил. Теперь дело сделано, и я тут ни при чем.

Миссис Декер устремила на мужа взор, исполненный простодушного удивления. Он нежно поцеловал ее и заговорил чуть веселее:

— Я вот еще о чем думал, Элси... Может быть, ты слишком часто видишься с этим мистером Гамильтоном? Ничего дурного тут нет ни с твоей, ни с его стороны. Но могут пойти разговоры. Ты ведь здесь одна-единственная, Элси, — сказал он, любовно глядя на жену, — о ком не сплетничают, чьи поступки не судят вкривь и вкось.

Миссис Декер была очень рада, что он заговорил об этом. Сама она тоже так думает, но ей не хочется быть невежливой с мистером Гамильтоном, он такой джентльмен — чего доброго, наживешь в нем опасного врага.

— Кроме того, он всегда обращался со мной, как с дамой своего круга, — горделиво добавила миссис Декер, вызвав этими словами ласковую улыбку мужа. — Но у меня есть один план. Мистер Гамильтон не останется здесь после моего отъезда. Что, если мне собраться на несколько дней в Сан-Франциско навестить маму. Он уедет отсюда до того, как я вернусь.

Мистер Декер пришел в восторг от такого замысла.

— Конечно, конечно, — сказал он, — завтра же и поезжай. Джек Окхерст тоже едет в Сан-Франциско, он о тебе позаботится в дороге.

Миссис Декер сочла, что это будет неблагоприятно.

— Мистер Окхерст наш друг, Джозеф, но ты ведь знаешь, какая у него репутация. — Она даже сомневалась, стоит ли ей уезжать в один день с ним, но мистер Декер поцелуем прогнал все ее сомнения. Она мило согласилась



с ним. Немногие женщины умели так очаровательно проявлять покорность, как миссис Декер.

В Сан-Франциско миссис Декер пробыла неделю. Она вернулась оттуда немного похудевшая и бледненькая. По ее словам, это объяснялось обилием впечатлений и тем, что ей пришлось много ходить.

— Меня по целым дням не бывало дома. Мама тебе это подтвердит, — говорила мужу миссис Декер. — И я всюду ходила одна. Я теперь стала такая самостоятельная! — весело добавила она. — Мне уже не нужно провожатых, Джо, я могу обходиться даже без тебя — вот такая я теперь храбрая!

Но поездка, по-видимому, не оправдала ее расчетов. Мистер Гамильтон никуда не уехал, он по-прежнему жил в Сан-Изабеле и в тот же вечер навестил их.

— У меня зародился один план, голубчик Джо, — сказала миссис Декер, когда их гость ушел. — У бедного мистера Окхерста такой скверный номер в отеле. Что, если ты предложишь ему перебраться к нам, когда он приедет из Сан-Франциско? Мы отдадим ему свободную комнату. Я надеюсь, — добавила она лукаво, — что мистер Гамильтон тогда не будет таким частым гостем у нас.

Муж рассмеялся, назвал ее маленькой кокеткой, потрепал по щечке и согласился.

— Удивительный народ эти женщины, — доверительно сказал он несколько дней спустя в одну из своих бесед с мистером Окхерстом. — У них нет своего плана, так они берут первый попавшийся и строят здание по собственному вкусу, совсем другое, чем было задумано. Но, черт побери, кто из нас поручится, что у них не пошли в ход наши масштабы и расчеты? Удивительное дело, правда?

На следующей неделе мистер Окхерст обосновался в коттедже Декеров. Все знали, что с мужем его связывают деловые отношения, а репутация жены была выше всяких подозрений. В самом деле, немногие могли похвалиться такой доброй славой. Миссис Декер считалась домоседкой, женщиной благоразумной и набожной. Живя в стране, где существа прекрасного пола пользуются большой свободой и независимостью, она не выезжала и не выходила на прогулки без мужа; в те дни, когда жаргонные словечки и двусмысленности были в таком ходу, речь ее отличалась сдержанностью и точностью выражений; несмотря на широко вошедшую в моду показную роскошь, она не носила ни бриллиантов, ни других драгоценностей; никогда не позволяла себе ни малейшей воль-

ности на людях, не поощряла распущенности, царившей в калифорнийском обществе; осуждала господствовавшие в те времена неверие и скептицизм в вопросах религии. Из всех, кто был в тот вечер в гостиной отеля, немногие, вероятно, забудут, какой достойный и внушительный отпор дала она мистеру Гамильтону, пустившемуся в рассуждения об одной недавно вышедшей книге, исполненной крайнего материализма, а кое у кого останется в памяти и недоуменная мина мистера Гамильтона, сменившаяся иронической серьезностью, когда он мало-помалу вежливо сдался в споре. И уж, во всяком случае, надолго запомнится все это мистеру Окхерсту, который с того вечера испытывал неловкость и раздражение в присутствии друга и — если только это слово можно применить к его характеру — даже побаивался мистера Гамильтона.

Именно в то время мистер Окхерст стал изменять своим привычкам. Его уже редко, а то и вовсе нельзя было встретить в игорных домах, в салунах, в обществе прежних друзей. На туалетном столике в Сакраменто накапливались груды розовых и белых записочек, написанных неровным почерком. В Сан-Франциско прошел слух, что мистер Окхерст страдает пороком сердца и врачи предписали ему полный покой. Он стал больше читать, подолгу гулял, распродал своих рысаков, посещал церковные службы.

В памяти у меня живо сохранилось его первое появление в церкви. Мистер Окхерст явился туда не вместе с Декерами и не сел на их скамью, а вошел, как только началась служба, и скромно занял место в одном из задних рядов. Тайнственным образом его присутствие стало немедленно известно молящимся, и некоторые любопытные прихожане настолько забылись, что стали оглядываться назад и словно обращали к нему те возгласы, которые полагаются по ходу богослужения.

Еще задолго до конца службы всем стало ясно, что слова «несчастные грешники» относятся не к кому иному, как к мистеру Окхерсту. Те же таинственные силы возымели действие и на проповедника, который не преминул намекнуть на профессию и образ жизни мистера Окхерста в своей проповеди об архитектуре Соломонова храма, и намеки эти были настолько прозрачны, хоть и притянуты за уши, что даже самый юный из нас исполнился негодования. Но, к счастью, все это прошло мимо ушей Джека, — по-моему, он вовсе их не слышал. Его красивое матово-бледное лицо — правда, несколько изнуренное и за-

думчивое — было непроницаемо. Только раз, во время пения гимна, когда в хоре голосов вдруг слышалось чье-то контральто, в темных глазах мистера Окхерста проскользнула тоскливая нежность, такая горячая и вместе с тем безнадежная, что те, кто наблюдал за ним, чуть не прослезились. Но наряду с этим я живо вспоминаю, как мистер Окхерст поднялся принять благословение, всем своим видом и наглухо застегнутым сюртуком напоминая дуэлянта в десяти шагах от противника. Когда служба кончилась, он удалился так же тихо, как и вошел, не услышав, к счастью, толков по поводу своего опрометчивого поступка. Его появление в церкви расценивалось всеми как дерзость, на которую он пошел просто ради озорства или, может быть, на пари. Некоторые считали, что причетник совершил оплошность, не выгнав этого человека, как только стало известно, кто он такой; один почтенный прихожанин заявил, что если нельзя водить сюда жену и дочь, не подвергая их таким дурным влияниям, то придется искать другую церковь. Кто-то приписал случай с мистером Окхерстом усилению неких радикальных тенденций, имевших место в англиканской церкви, — тенденций, кои, как это ни прискорбно, начинают, по-видимому, оказывать свое влияние и на самого пастора. Его преподобие Сойер, хрупкая, болезненная жена которого родила ему одиннадцать человек детей и пала жертвой честолюбивого замысла довести счет потомства до дюжины, утверждал, будто присутствие в церкви мистера Окхерста, славившегося своими бесчисленными любовными похождениями, оскорбляет память усопшей, чего он, будучи мужчиной, не потерпит.

Приблизительно в это же время, сопоставив себя с людьми самыми обычными, в обществе которых ему до сих пор почти не приходилось вращаться, мистер Окхерст понял, что в его лице, фигуре и манерах есть нечто такое, что выделяет его среди других и если не говорит прямо о его прежней профессии, то, во всяком случае, выдает в нем оригинала и настраивает на подозрительный лад. Под влиянием этой мысли он сбрил свои длинные шелковистые усы и взял себе за правило каждое утро прилизывать щеткой кудрявые волосы. Он зашел даже настолько далеко, что старался добиться некоторой небрежности в костюме и обул свои изящные маленькие ноги с высоким подъемом в тяжелые башмаки не по размеру. Рассказывают, будто он явился однажды к своему портному в Сакраменто и заказал костюм — «такой, как у

всех». Портной, прекрасно знавший, как трудно угодить на мистера Окхерста, не понял, что ему нужно.

— Мне нужно, — свирепо сказал мистер Окхерст, — что-нибудь *респектабельное*, понимаете, что-нибудь такое, что совсем не в моем вкусе.

Но как ни старался мистер Окхерст спрятать свою статную фигуру под простой, непритязательной одеждой, в его манерах, в посадке прекрасной головы, в мужественной красоте осанки, в абсолютно безупречном владении телом, в спокойствии, не столько выработанном, сколько дарованном ему самой природой, — во всем этом было что-то такое, что сразу выделяло его из тысячи, где бы и с кем бы он ни появлялся. Факт этот, должно быть, впервые предстал перед мистером Окхерстом со всей ясностью, когда он, ободренный советом и помощью мистера Гамильтона, а также и по собственной склонности стал маклером в Сан-Франциско. Еще до того, как слышались протесты против включения его в биржевой комитет — насколько я помню, особенно усердствовал Уот-Сэндерс, считавшийся изобретателем системы вытеснения мелких акционеров и бывший, по слухам, виновником финансового краха и самоубийства Бригса из Туолумны, — до того, как респектабельность официально восстала против беззакония, орлиный облик и повадки мистера Окхерста уже успели не только всполошить голубков, но привели в смятение и ястребов, круживших под ним со своей добычей.

— Черт его побери! Он способен и к нам протянуть свои когти! — сказал Джо Филдинг.

До закрытия короткого летнего сезона на серных водах в Сан-Изабеле оставалось несколько дней. Наиболее изысканная публика уже начинала понемногу разъезжаться, а те, кто еще не успел уехать, волей-неволей переходили в низший разряд. Мистер Окхерст был мрачен: кое-кто намекал, что даже прочно установившаяся репутация миссис Декер не спасла ее от сплетен, вызванных его присутствием здесь. К чести миссис Декер следует сказать, что все испытания последних недель она переносила с видом кроткой, бледнолицой мученицы и в своем обращении с клеветниками проявляла мягкость и всепрощающую доброту — качества натуры, которая ищет опору не в дешевой лести, а в высоком принципе и пренебрегает ради него благосклонностью общества.

— Обо мне и о мистере Окхерсте ходят сплетни, — сказала она одной своей приятельнице, — но господь бог и мой муж лучше всех могут ответить на эту клевету. Никто не посмеет сказать, что муж мой отвернулся от друга в трудную для него минуту только потому, что они поменялись местами: друг стал беден, а он богат.

Так в обществе впервые узнали, что Джек разорился; то, что Декеры приобрели за последнее время солидную недвижимость в Сан-Франциско, было уже известно.

Спустя несколько дней в Сан-Изабеле произошло событие, весьма неприятно нарушившее мир и благодать, всегда царившие в жизни курорта. Это случилось за обедом; все увидели, что мистер Окхерст и мистер Гамильтон, занимавшие отдельный столик, взволнованные чем-то, разом поднялись со своих мест. Выйдя в холл, они, словно по обоюдному согласию, свернули в маленькую буфетную, где в эту минуту никого не было, и притворили за собой дверь. Мистер Гамильтон посмотрел на своего друга и с полушутливой-полусерьезной улыбкой сказал:

— Если нам суждено поссориться, Джек Окхерст — это нам-то с вами! — не будем выставлять себя в смешном свете, давайте подождем более серьезного повода, чем эта...

Я не знаю, какой именно эпитет он хотел употребить. Конец фразы остался недоговоренным или же пропал втуне, ибо в эту минуту мистер Окхерст поднял стакан и выплеснул его содержимое в лицо Гамильтону.

Казалось, что эти два человека, стоявшие друг против друга, поменялись характерами. Мистер Окхерст дрожал от волнения: опуская стакан на стол, он еле держал его в руках. Мистер Гамильтон стоял, выпрямившись, капли вина стекали с его посеревшего лица. После короткого молчания он сказал ледяным тоном:

— Пусть будет так! Но помните: наша ссора началась здесь. Если я паду от вашей руки, вы не воспользуетесь этим, чтобы обелить *ее* в глазах общества; если же вы падете от моей, да не сочтут вас мучеником. Очень жалею, что так вышло, но ничего не поделаешь. Теперь чем скорее, тем лучше!

Он горделиво вскинул голову, прикрыл веками свои холодные стальные глаза, словно пряча рапиру в ножны, поклонился и спокойно вышел из комнаты.

Они сошлись спустя двенадцать часов в небольшой ложбине у дороги на Стоктон, в двух милях от Сан-Иза-

бела. Принимая из рук полковника Старботтла пистолет, мистер Окхерст сказал ему вполголоса:

— Каков бы ни был исход, я не вернусь в отель. У меня в номере оставлены мои распоряжения. Зайдите туда... — Голос его дрогнул; к великому изумлению секунданта, мистер Окхерст отвернулся, пряча набежавшие на глаза слезы.

— Сколько раз мне приходилось бывать с Джеком в таких переделках, — рассказывал потом полковник Старботтл, — и никогда он так не раскисал. А тут, клянусь богом, пока он не занял позиции, я готов был подумать, что у него душа в пятки ушла!

Выстрелы раздались почти одновременно. Правая рука мистера Окхерста повисла, и пистолет выпал бы из парализованных пальцев, если бы не его поразительное умение владеть своими нервами и мускулами; он не разжимал руки до тех пор, пока не ухитрился переложить пистолет в другую, не меняя позиции. Потом наступила тишина, казавшаяся нескончаемой; смутно различимые в сумерках фигуры приблизились к тому месту, где все еще лениво стлался дымок; потом прерывающийся хриплый голос полковника Старботтла у него над ухом:

— Тяжело ранен... легкое навывлет... удирайте!

Джек недоумевающе поднял на секунданта свои темные глаза, видимо, не слыша его; он словно вслушивался в чей-то другой, далекий голос. После минутного колебания он шагнул в ту сторону, где стояли люди. Потом снова остановился, увидев, что они расходятся, а навстречу ему спешит врач.

— Он хочет поговорить с вами. Я знаю, вам нельзя медлить, но, — врач понизил голос, — мой долг сказать, что у *него* времени совсем не осталось.

Выражение такой горькой безнадежности исказило обычно бесстрастное лицо мистера Окхерста, что врач отшатнулся от него.

— Вы ранены! — сказал он, взглянув на бессильно повисшую руку.

— Пустяки, царапина, — быстро проговорил Джек. Потом добавил с холодной усмешкой: — Мне сегодня не везет. Но пойдемте! Посмотрим, что ему нужно.

Шагая быстро, спеша что есть сил, он обогнал врача и в мгновение ока очутился возле умирающего, который, как почти все умирающие, лежал спокойно и тихо в кругу суесящихся людей. В лице мистера Окхерста такого



спокойствия не было, когда он опустился на колени и взял его за руку.

— Я хочу поговорить с этим джентльменом наедине,— сказал Гамильтон, и в его голосе слышались прежние повелительные нотки. Лишь только секунданты и врач отошли, он поднял глаза на Окхерста.— Мне нужно кое-что сказать вам, Джек.

Мистер Гамильтон был бледен, но все же не так, как мистер Окхерст, склонивший над ним свое лицо, полное муки, сомнений и предчувствия неминуемой беды,— лицо, столь усталое и жалкое в той жажде конца, которая чувствовалась в нем, что состраданием к этому человеку сквозь смертную истому проникся даже умирающий, и циническая усмешка замерла у него на губах.

— Простите меня, Джек, за то, что вам придется услышать,— прошептал он еле слышно.— Я говорю это не со зла, а просто потому, что сказать надо. Я бы не выполнил своего долга... я не могу умереть спокойно, пока вы не узнаете всего. Это скверная история, с какой бы стороны на нее ни посмотреть. Но теперь уже ничего не поделаешь. Мне следовало бы умереть от пули Декера, а не от вашей.

Джек вспыхнул и сделал движение, чтобы встать, но Гамильтон удержал его.

— Слушайте! У меня в кармане два письма. Возьмите их, вот они. Почерк вам знаком. Но дайте слово, что вы прочтете их только тогда, когда будете в полной безопасности. Дайте мне слово!

Джек безмолвствовал, он держал письма в руке, точно это были раскаленные угли.

— Дайте слово! — прошептал Гамильтон.

— Зачем? — холодно спросил Окхерст, отпуская руку своего друга.

— Затем,— с горькой улыбкой сказал умирающий,— затем, что, прочтя их, вы вернетесь сюда, где вас ждет... тюрьма... и... смерть!

Это были его последние слова. Он слабо пожал Джеку пальцы. Потом его рука разжалась, и он поник бездыханный.

Было уже около десяти часов вечера, и миссис Декер в томной позе лежала с книжкой на кушетке, в то время как ее муж спорил о политике в баре отеля.

Вечер стоял теплый, стеклянная дверь на балкон была приотворена. Вдруг миссис Декер услышала на балконе чьи-то шаги и, вздрогнув, подняла глаза от книжки. Вслед за тем дверь распахнулась, и в комнату вошел человек.

Миссис Декер с испуганным криком поднялась с кушетки.

— Боже мой, Джек, вы сошли с ума! Он вышел ненадолго, может вернуться каждую минуту. Приходите через час... завтра... в любое время, когда я выпровожу его отсюда, но сейчас уходите, милый, уходите!

Мистер Окхерст подошел к двери, запер ее на задвижку и, не говоря ни слова, повернулся к миссис Декер. Лицо у него было осунувшееся, правый рукав висел пустой, на забинтованной руке сквозь повязку проступала кровь.

И все же голос миссис Декер прозвучал твердо, когда она снова обратилась к нему:

— Джек, что произошло? Как вы очутились здесь?

Мистер Окхерст расстегнул сюртук и бросил к ее ногам два письма.

— Я пришел вернуть ваши послания к любовнику и убить вас... и себя,— сказал он так тихо, что слов его почти нельзя было разобрать.

Среди многих добродетелей этой достойнейшей женщины насчитывалось и беспримерное мужество. Миссис Декер не упала в обморок, даже не вскрикнула. Она медленно опустилась на кушетку, сложила руки на коленях и спокойно проговорила:

— Ну что ж, убейте!

Если б она отпрянула от него, проявила страх или раскаяние, попыталась прибегнуть к уверткам и объяснениям, мистер Окхерст счел бы все это доказательством ее виновности. Но ничто так не пленяет мужественную натуру, как мужество в других; только перед отчаянием склоняется отчаявшийся. Проницательность мистера Окхерста была не настолько остра, чтобы отличить мужество от нравственной чистоты. Даже ярость не помешала ему оценить бесстрашие больной женщины.

— Ну что ж, убейте! — повторила она с улыбкой. — Вы дали мне жизнь, здоровье, счастье, Джек. Вы дали мне любовь. Ну что ж, берите свои дары обратно. Убейте меня! Я готова.

Как и при первой встрече в отеле, она с бесконечной грацией и покорностью протянула ему руки. Джек поднял голову, как безумный, посмотрел ей в глаза, упал на колени и поднес край ее платья к своим дрожащим гу-

бам. Миссис Декер была слишком умна, чтобы не почувствовать себя победительницей, но в ней слишком сильна была женщина, чтобы она не захотела до конца вкусить сладость своей победы. Она поднялась с кушетки, словно не в силах сдержать гнев и чувство обиды, и величественным жестом указала на дверь. Мистер Окхерст тоже встал, бросил на нее один-единственный взгляд и, не сказав ни слова, ушел. Навсегда.

Оставшись одна, миссис Декер затворила балконную дверь, заперла ее на задвижку и, подойдя к камину, до тех пор держала оба письма над свечой, пока они не превратились в пепел.

Да не подумает читатель, что во время этой неприятной операции миссис Декер сохраняла полное спокойствие. Рука ее дрожала, а так как не все человеческое было ей чуждо, она в течение нескольких секунд (может быть, минут) чувствовала себя совсем скверно, и уголки ее нежного рта опустились. Вернувшегося мужа она встретила с неподдельной радостью и так доверчиво прильнула к его широкой груди, что простодушный малый был расстроган до слез.

— Я узнал сейчас ужасную новость, Элси, — сказал мистер Декер после взаимного обмена нежностями.

— Не хочу я слушать твои ужасные новости, милый, я сегодня плохо себя чувствую, — умоляющим голосом проговорила миссис Декер.

— Но это касается мистера Окхерста и Гамильтона.

— Ну, я прошу тебя!

Мистер Декер не мог устоять перед грацией этих молящих белоснежных рук, перед этими нежными губками и заключил ее в свои объятия.

Вдруг он спросил:

— Что это?

Мистер Декер показывал ей на грудь. В том месте, где мистер Окхерст коснулся ее белого платья, осталось пятнышко крови.

Ах, пустяки! Она хотела затворить окно и порезала себе палец; рама такая тугая! Если бы мистер Декер не забывал затворять ставни перед уходом, ничего бы не случилось. Это было сказано с такой неподдельной обидой и выразительностью, что мистер Декер был просто подавлен угрызениями совести. Но миссис Декер простила его с той грацией, о которой уже упоминалось на этих страницах, и теперь, с позволения читателя, мы оставим эту

нару, окруженную ореолом согласия и супружеского счастья, и вернемся к мистеру Окхерсту.

Впрочем, придется опустить две недели. По истечении этого времени мистер Окхерст появился в своем доме в Сакраменто и, как и встарь, занял обычное место за игорным столом.

— Как ваша рука, Джек? — неосторожно спросил его один игрок.

Вопрос сопровождался улыбкой, которая, однако, мгновенно исчезла, стоило только Джеку обратить свой спокойный взгляд на говорившего.

— Немного мешает сдавать, но стрелять я могу и левой.

Игра продолжалась в торжественной тишине, всегда отличавшей стол, за которым держал банк мистер Джон Окхерст.

---

# Человек со взморья

## ГЛАВА I

Он жил у реки, впадающей в огромный океан. От широкого речного устья его жилище отделяла лишь узкая полоска земли — прилив покрывал ее сверкающей пеленой воды, отлив оставлял на ней случайные дары суши и моря. Бревна, вывороченные прибрежные кусты, обломки кораблекрушений и расплюснутые морем бамбуковые корзинки из-под апельсинов, еще благоухающие утраченным грузом, лежали там длинными рядами, которые, накладываясь друг на друга, окаймляли берег причудливой бахромой. В самый полдень однообразное сверкание гладких песков нарушалось лишь тенью от крыла чайки да внезапной суматохой в стае зуйков, вдруг срывавшихся с места и серым вихрем уносившихся вдаль.

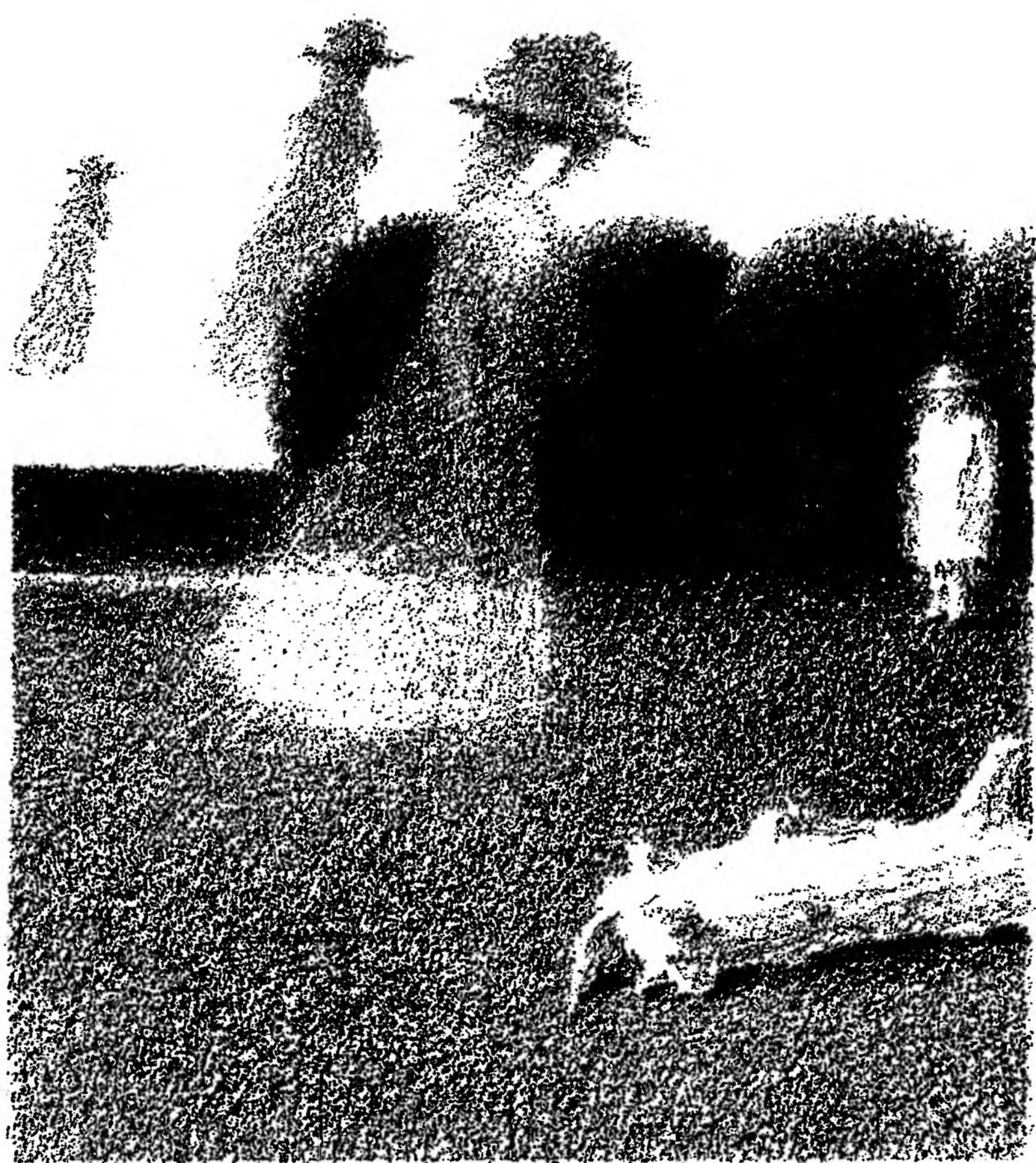
Целый год он прожил там в полном одиночестве. Хотя от большого поселка его отделяло всего несколько миль, никто за это время не вторгнулся в его уединение, и затворничество его оставалось непотревоженным. В любом другом обществе о нем стали бы судить да рядить, но старатели из Воровского Лагерь и торговцы из Тринидад-Хэд — сами по натуре одиночки и сумасброды — с глубоким безразличием относились к любым проявлениям сумасбродства или ереси, если те не затрагивали их собственных. И, конечно, вряд ли нашлась бы на свете более спокойная степень сумасбродства, чем у этого «отшельника», награди они его этим прозвищем. Но они и этого не сделали: возможно, по недостатку интереса или понимания. Торговцы, удовлетворявшие его скромные нужды, именовали его «Полковником», «Судьей» или «Хозяином». Всем остальным прозвище «Человек со взморья» казалось вполне подходящим определением. Никто не заинтересо-

вался его фамилией, занятиями, положением в обществе или его прошлым. Трудно сказать, порождалось ли это боязнью ответных расспросов, любопытства или глубоким безразличием, о котором было упомянуто выше.

Он мало походил на отшельника. Молодой еще человек, стройный, хорошо одетый, всегда выбритый, с негромким голосом и грустно-саркастической улыбкой, он был полной противоположностью традиционному представлению о пустынниках. Его жилище — по сути, переоборудованная рыбацья хижина, — отличаясь снаружи суровой простотой пограничных построек, внутри было сухим и уютным. Оно состояло всего из трех комнат — кухни, столовой и спальни.

Прожив там достаточно долго, он видел, как унылое однообразие одного времени года уступает место унылому однообразию следующего. Холодные северо-западные пассаты приносили ему яркие солнечные утра и сырые безмолвные ночи. Теплые юго-западные пассаты несли ему тучи, дожди и недолгое великолепие быстрорастущих трав и благоухание цветущих буков. Но зимой и летом, в засуху и в дожди с одной стороны всегда вздымались резкие силуэты гор в неизменном вечнозеленом уборе; с другой стороны всегда простирался безбрежный океан со столь же резко очерченным горизонтом и столь же неизменным цветом. Начало весенних и осенних приливов, смена пернатых соседей, следы тех или иных диких зверей на прибрежном песке и разноцветные флаги листвы на далеком лесистом склоне помогали ему различать медленно текущие месяцы. Летом, когда день начинал клониться к вечеру, солнце скрывалось в густом тумане, который, грозно надвигаясь на берег, в конце концов поглощал его, стирая грань между морем и небом, уединение «Человека со взморья» было полным. Сырая, непроницаемая мгла колыхалась над ним и вокруг него и, словно отрезая его от внешнего мира, оставалась единственной реальностью. И грохот бурунов неподалеку от его жилья казался лишь смутным, неопределенным гулом или эхом чего-то ушедшего навсегда. Каждое утро, когда лучи солнца разрывали туманную завесу, он просыпался изумленный и озадаченный, будто заново родившийся. Первое, гнетущее ощущение давно исчезло, и он в конце концов полюбил этого неуловимого духа, несущего забвение; ночью, когда облачные крылья простирались над хи-





жиной, он сидел один, но чувствовал себя в такой безопасности, какой никогда не знал раньше. Тогда, случилось, он оставлял дверь открытой и прислушивался, словно к шагам: что могло прийти к нему из этого смутного, неясного мира? Может быть, даже *она*... Этот странный затворник не был ни безумцем, ни мистиком. Ибо на самом деле он не был одинок. Ночью и днем, во сне и наяву, гулял ли он по берегу или сидел у очага, где пылали выброшенные на берег обломки, — перед ним всегда стояло лицо женщины: из-за нее он и жил здесь в одиночестве. Это ее лицо грезилось ему в утреннем солнечном свете; это ее белые руки вздымались над гребнями волн; это шелестело ее платье, когда морской ветер пригибал высокие береговые травы; это слышался ее нежный шепот, когда набегающие волны затихали в осоке и камышах. Она была везде и всегда, подобно небу, морю и песку. Вот почему, когда туман поглощал все вокруг, ему мнилось, что она стоит рядом с ним во мраке. Как-то, раз или два, благодатными ночами в середине лета, когда песок еще хранил жар полуденного солнца, туман дохнул на него теплом, и ему почудилось, что это — ее дыхание, и сладкие слезы навернулись на его глаза.

До появления туманов (он ведь приехал сюда зимой) покой и отраду приносил ему немеркнущий луч маяка на маленьком мысу недалеко от его жилья. Даже в самые непроглядные ночи, в жестокую бурю свет маяка твердил ему о вечном терпении и незыблемом постоянстве. Потом он обрел безгласного друга в дереве, принесенном рекой, — вырванное с корнями, оно беспомощно распростерлось на отмели, а к вечеру его унесло течение. Через несколько дней, плывя в лодке по реке, он опять увидел это дерево и узнал его по оставленному топором поселенца клейму, еще заметному на его стволе. Он не удивился, найдя это же дерево недель позже перед своим домом на песке, или тому, что наутро оно вновь отправилось в бесцельные скитания. Гонимое ветром или прибоем, но всегда нарушая его уединение, оно то плыло в устье реки, то носилось среди бурунов на отмели, однако он был твердо уверен, что рано или поздно оно вернется к своей якорной стоянке у его хижины.

Через три месяца одиночного заключения он был вынужден смириться с тем, что, хоть и на краткий срок, его уединение будет нарушаться присутствием человека. Оказалось, что он не мог обойтись без услуг себе подобных. Он был способен машинально и рассеянно вкушать свой

хлеб «в печали», если готовил этот хлеб кто-нибудь другой, но, стряпая сам, он соприкасался с самыми низменными сторонами жизни, и это так уязвляло его болезненную чувствительность, что он не мог взять в рот плоды собственных трудов. И так как пока еще он не желал себе гибели, то, когда перед ним встал выбор между голодной смертью и обществом людей, он выбрал последнее. Индианка, такая отвратительная, что почти утратила человеческий облик, в определенное время оказывала ему эти услуги. Если она не приходила, что случалось частенько, он не ел вовсе.

Таково было моральное и физическое состояние «Человека со взморья» на 1 января 1869 года.

Стоял ясный, тихий день, сменивший неделю дождей и ветра. У самого горизонта еще виднелось несколько белых пятнышек — арьергард бегущих полчищ минувшей бури, таких неясных, что их можно было принять за далекие паруса. На юге лениво белела мель, отделяя лагуну от открытого моря, и даже бурные волны Тихого океана накатывались на берег неторопливо и вяло. И карета, с трудом тащившаяся от поселка по низким песчаным дюнам, в конце концов остановилась в полумиле от жилья отшельника.

— Так что вылезать вам придется, — сказал кучер, придерживая усталых лошадей. — Дальше не проехать.

В недрах экипажа слышалось раздраженное восклицание, истерическое «Ах!», визгливый женский голос начал что-то доказывать, но кучера это не тронуло. Наконец из окошка высунулась мужская голова и принялась увещевать его:

— Послушайте, вы же подрядились довести нас до самого дома. Здесь еще по крайней мере миля!

— Да, около того, — отвечал кучер, хладнокровно скрещивая ноги на козлах.

— О чем тут говорить? Я не в силах идти по песку в такую жару, — быстро и повелительно заговорил женский голос и добавил с ужасом: — Жить в таком месте!

— Да это неслыханно!

— Это переходит все границы!

— Бог знает что такое!

Хотя голоса и свидетельствовали о разнице в возрасте и поле говоривших, они обладали удивительным сходством и все были равно раздражены.

— Так что мои лошадки дальше не пойдут, — пояснил возница, — и коли вам время дорого, лучше бы вы пешочком.

— Но этот мошенник не бросит нас тут? — пронзительно вознегодовал женский голос.

— Вы подождете, кучер, — уверенно проговорил мужской голос.

— А долго ждать-то?

Внутри засовещались. Из окна долетали фразы: «Он может выставить нас вон», «А вдруг весь вечер придется его уговаривать?», «Вздор! Потребуется не больше десяти минут!». Кучер тем временем развалился на козлах и зашвыстал в терпеливом презрении к горожанам, которые сами толком не знают, чего хотят и куда едут. Потом в окошко вновь высунулся мужчина и самодовольным тоном мудреца, отыскавшего самый разумный выход из затруднения, произнес:

— Не торопясь, поезжайте за нами и подождите нас там, а лошадей поставите в конюшню или в сарай.

Кучер разразился ироническим смехом.

— Ну да, как же! В конюшню или в сарай! Как бы не так! Может, я уж ослеп совсем, так вы бы, кто помоложе, и показали мне, где у Полковника конюшня либо сарай — будьте уж так добры! Тпру, чтоб вас! Тпру! Дайте же хоть поглядеть, где там конюшня, чтобы завести вас туда! — Последний насмешливый призыв был адресован лошадям, которые даже не шелохнулись.

Из кареты, кипя негодованием, вылез предыдущий оратор — полный, величавый и немолодой; за ним показались остальные — две дамы и джентльмен. Одна из дам если и не была молода, то одевалась молодо, и парижское платье облегло ее аристократические кости если не изящно, то, во всяком случае, по всем правилам искусства; молодая дама, по-видимому, ее дочь, была хрупкой, хорошенькой и сочетала римский нос и благородную худобу своей матери с пикантностью и шиком, что производило восхитительное впечатление. Джентльмен был молод, тощ, похож на свою матушку и сестру, но в остальном ничем не примечателен.

Все они, как один, повернулись туда, куда указывал кнут кучера. Их глазам представились лишь голые и мрачные очертания низкой хижины «Человека со взморья». Местность вокруг была совершенно пустынной, и взгляд задерживался лишь на метелках чахлых береговых трав.

Заметив полную беспомощность пассажиров, кучер смягчился и даже расщедрился на несколько советов.

— Вот что, — сказал он наконец, — может, и не ваша это вина, что вы знаете свою, значит, страну похуже, чем всякие там Европы; так вот, я, значит, съезжу к Робинсонам на реке, задам лошадкам корму, а потом спущусь вон с той горки да и подожду вас. Меня будет видеть от Полковника. — И, не дожидаясь ответа, он завернул лошадей к реке и укатил.

Как и раньше, в карете, приезжие раздраженно зароптали, но безуспешно. Затем начались взаимные обвинения и упреки:

— Это вы виноваты: надо было написать ему, и он бы встретил нас в поселке.

— Вы же хотели застать его врасплох!

— Ничего подобного!

— Вам прекрасно известно, что, напиши я, он сбежал бы от нас!

— Да-да, на край света!

— Но это и есть край света! — И так далее.

Однако было настолько ясно, что выход только один: надо идти вперед, — что даже в самый разгар пререканий они уже брели гуськом к далекой хижине, увязая по щиколотку в сыпучем песке и перемежая вздохами взаимные упреки, прервавшиеся лишь после возгласа пожилой дамы:

— Где же Мария?

— Ушла вперед! — проворчал молодой джентльмен таким несоразмерно глубоким басом, что казалось, будто он исходит от какого-то чревовещателя.

Подбавив перцу в общий разговор, Мария действительно устремилась вперед. Но — увы! — эта легконогая Камилла, подметя своим тренем изрядное количество песку, споткнулась о жесткий кустик травы и опустилась на землю — измученная и вне себя от злости. Когда остальные устало дотащились до нее, она покусала свои красные губы хищными белыми зубками и, причмокнув, как сытый, полный сил вампир, прошепелявила:

— Что у вас за вид! Точь-в-точь английские лавочки, которых мы видели на Риги; за свои три гинеи они желают все посмотреть и не снимают своего единственного приличного костюма!

И правда, вид этих экзотически разукрашенных двуногих, чьи прекрасные перышки уже испачкал песок и растрепал сырой морской ветер, совершенно не гармониро-



вал с суровой простотой неба, моря и берега. Несколько чаек с криком пронеслись над ними; спугнутая гагара заметалась с пронзительным воплем протеста и отчаянно вытянула ноги, явно передразнивая молодого джентльмена. Пожилая дама оценила справедливость мягкой дочерней критики и отплатила откровенностью за откровенность:

— Твоя юбка похожа бог знает на что, волосы растрепались, шляпка сбилась, а туфли... боже мой, Мария! Где твои туфли?

Мария выставила из-под юбки маленькую, обтянутую чулком ступню. Она была немыслимо узкой, с подъемом столь же патрициански изогнутым, как и нос ее обладательницы.

— Где-то между этим местом и каретой,— ответила она.— Пусть Дик сбегает и поищет, а заодно и твою брошку, мамочка. Он ведь у нас такой услужливый.

Мощный бас Дика недовольно загромыхал, но невзрачная его фигура вяло потащилась обратно и вернулась с потерянным котурном.

— Лучше уж я понесу их в руках, как рыночные торговки в Сомюре, потому что сейчас мы пойдем вброд,— заметила мисс Мария и даже забыла собственный страх, радостно созерцая ужас, в который пришла ее родительница, едва она указала на сверкающую полосу воды, медленно заливающую болотистую низину между ними и хижиной.

— Это прилив,— произнес пожилой джентльмен.— Если мы решили идти, надо торопиться. Позвольте, сударыня! — И прежде, чем изумленная матрона успела ответить, он подхватил ее на руки и галантно вошел с ней в воду. Нежная Мария кинула угрожающий взгляд на брата, который оказал ей подобную же услугу с явной неохотой. Однако эта ядовитая девица не спускала глаз с пожилого джентльмена впереди и, увидев его неожиданное и таинственное исчезновение по самые подмышки, решительно выбросилась из надежных объятий брата — поступок, немедленно низвергнувший его в воду,— и торопливо дошлепала до противоположного берега, после чего помогла пожилому джентльмену выбраться из ямы, куда он провалился, и вытащить свою мать, которая наподобие гигантской пестрой лилии беспомощно покачивалась на воде, удерживаемая вздувшимися юбками. Дик потерял гамашу. Через минуту все были в безопасности.



Пожилая дама не могла сдержать слез, Мария истерически смеялась, Дик смешивал басовые проклятия с отчетливым шумом прибоя. Румяное лицо пожилого джентльмена от соприкосновения с соленой водой стало белее мела, а его достоинство, по-видимому, было смыто той же водой; впрочем, он объяснял это тем, что, по его предположению, он чуть было не попал в зыбучие пески.

— Вполне возможно, — слышался негромкий голос позади. — Вам следовало бы пойти по дюнам на полмили ближе к устью.

Все разом обернулись. Это был «Человек со взморья». Вскочив на ноги, все, кроме одного, воскликнули хором:

— Джеймс!

— Мистер Норт! — сказал пожилой джентльмен и, вспомнив о былом достоинстве, застегнул сюртук, скрывая мокрую манишку.

Наступило молчание. «Человек со взморья» внимательно глядел на приезжих. Если они рассчитывали напомнить ему о соблазнах веселого, блестящего, чувственного мира, символом которого они были, они потерпели неудачу и знали об этом. Всегда взыскательные к внешнему виду других, они видели, что жалки и смешны и что хозяином положения оказался он. Пожилая дама снова залилась горькими слезами, Мария покраснела до ушей, а Дик с угрюмой тревогой уставился в землю.

— Вам лучше встать, — сказал «Человек со взморья», поразмыслив, — и добраться до хижины. Переодеться у меня не во что, но обсушиться вы сможете.

Все встали и снова сказали хором: «Джеймс!», — но в этот раз с явной попыткой припомнить какие-то слова или действия, придуманные заранее и спешно освеженные в памяти. Пожилая дама даже успела заломить руки и воскликнуть: «Вы не забыли нас, Джеймс! О Джеймс!», — молодой джентльмен начал грубовато: «Ну, Джим, дружище!», — тут же сбившись на сварливое бормотание; девица одарила его пронзительно-кокетливым взором, а пожилой джентльмен начал: «Мы бы хотели, мистер Норт...» — однако у них ничего не получилось.

Мистер Джеймс Норт, скрестив руки на груди, переводил взгляд с одного лица на другое.

— Я не часто вспоминал о вас эти двенадцать месяцев, — сказал он спокойно, — но не забыл вас. Идемте.

Они молча следовали за ним на расстоянии нескольких шагов. Эта краткая беседа вновь доказала его превосходство и независимость, против которых они восставали;

более того, когда они потерпели неудачу в первом совместном нападении, сварливая перебранка сменилась угрюмым недоверием друг к другу; уныло, по одному вошли они за Джеймсом Нортон в его дом. В очаге ярко пылал огонь; из ящиков и сундуков были устроены импровизированные сиденья, и пожилая дама, по правде говоря, весьма смахивающая на слишком нарядную куклу на шарнирах, расправив юбку, сушила оборки и слезы одновременно. Мисс Мария с одного взгляда оценила убогую обстановку хижины и устремила глаза на Джеймса Норта, а он безучастно стоял перед ними в мрачном и терпеливом ожидании.

— Ну, — начала пожилая дама повышенным тоном, — после всех неприятностей и хлопот, которые вы нам причинили, Джеймс, неужели вам нечего сказать? Представляете ли вы, что делаете? Какую вопиющую глупость вы затеяли? Что говорят о вас? А? О господи, да знаете ли вы, кто я такая?

— Вы жена моего покойного дяди, тетя Мэри, — спокойно ответил Джеймс. — Если я сделал глупость, это касается только меня. Если б меня беспокоило, что обо мне говорят, меня бы здесь не было. Если б я любил общество настолько, чтобы ценить его хорошее мнение, я не покинул бы его.

— Но, говорят, вы бежали от общества и тоскуете здесь в одиночестве по ничтожеству — по женщине, которая использовала вас в своих целях, как она использовала других, а потом бросала их...

— Женщина, — вмешался Дик, развалившийся на постели Джеймса в ожидании, пока высохнут его сапожки, — эта женщина, которая, как всем известно, никогда и не собиралась... — Здесь, однако, он встретил взгляд Джеймса Норта и, пробормотав что-то вроде: «Все это сущий идиотизм, чтобы говорить об этом», — снова умолк.

— Вам прекрасно известно, — продолжала миссис Норт, — что, пока мы и другие закрывали глаза на ваши более чем ясные отношения с этой женщиной, пока я сама уверяла других, что это простой флирт, и ради вашего же блага предотвращала скандал, — когда наступил кризис и она сама дала вам возможность разорвать ваши отношения, и никто ничего не узнал бы, и все винули бы только ее (а ведь к этому она давно привыкла), — вы, вы, Джеймс Норт, вы бежали, как дурак, и своей нелепой выходкой и сентиментальной чепухой позволили всем понять, как это было серьезно и как глубоко ранило вас! И теперь вы

здесь, один, в этом ужасном месте, куда можно добраться только по пояс в воде, а выбраться уж совсем неизвестно как! О, молчите! Я не хочу ничего слышать — неслыханная глупость!

Виновник этого взрыва не произнес ни слова, не сделал ни единого движения.

— Ваша тетушка возбуждена, — сказал пожилой джентльмен, — хотя мне думается, она не переоценивает то неудачное положение, которым вы обязаны этому странному капризу. Мне неизвестны причины, вызвавшие упомянутый шаг; знаю лишь, что общественное мнение полагает их неудовлетворительными. Вы еще молоды, перед вами будущее. Излишне упоминать, что ваше настоящее поведение может погубить все. Если вы рассчитываете подобным образом добиться какой-нибудь пользы, хотя бы ради вашего собственного удовлетворения...

— Как бы не так! Будто этим вообще можно чего-то добиться! — вставила миссис Норт.

— Может быть, ты думаешь, что она вернется? Но ведь такие женщины не возвращаются. Им нужна новизна. Да, ведь... — неожиданно начал Дик и так же неожиданно снова улегся на кровать.

— И это все, ради чего вы приехали? — спросил Джеймс, терпеливо выдержав паузу и переводя глаза с одного на другого.

— Все? — возопила миссис Норт. — Разве этого мало?

— Да, мало для того, чтобы я переменил свое решение или местожительство, — невозмутимо ответил Норт.

— И вы думаете продолжать эту глупость всю жизнь?

— Чтобы причину вашей смерти устанавливал следственный суд и о ней кричали газеты?

— И чтобы она прочитала эти душераздирающие подробности и узнала, что вы были верны, а она нет?

Эта последняя стрела была пущена нежной Марией, которая тут же досадливо прикусила губку, заметив, что отшельник даже бровью не повел.

— Мне кажется, говорить больше не о чем, — продолжал Норт спокойно. — Я готов поверить, что ваши намерения столь же похвальны, как ваше рвение. Но кончим на этом, — устало добавил он. — Прилив поднимается, и кучер машет вам с холма.

Его непоколебимая твердость казалась еще более очевидной благодаря вежливому, но глубокому безразличию к желаниям его гостей. Он повернулся к ним спиной, а они торопливо сгруппировались вокруг пожилого джентльме-

на, но и фразы: «Он не в своем уме», «Вы обязаны сделать это», «Это — явное безумие», «Посмотрите на его глаза!» — оставили его совершенно равнодушным.

— Разрешите, мистер Норт, еще одно слово, — сказал пожилой джентльмен, скрывая под напыщенностью свое смущение. — Может случиться, что ваше поведение представится умам более прозаическим, чем ваш собственный, результатом некоторого помрачения рассудка, допустим, временного, что вынудит ваших лучших друзей принять некоторые меры..

— Объявив меня сумасшедшим, — прервал его Джеймс Норт с легким нетерпением человека, которому больше хочется отделаться от докучливого собеседника, нежели подыскивать аргументы. — Я другого мнения. Вам, поверенному моей тетке, конечно, известно, что за последний год я передал бóльшую часть моего состояния ей и ее семейству, и, право, я совершенно убежден, что такой опытный юрист, как Эдмунд Картер, никогда не допустит, чтобы были приняты меры, которые лишат дарственную законной силы.

Мария разразилась таким злорадным смехом, что Джеймс Норт впервые с некоторым интересом посмотрел на нее. Она покраснела, но ответила ему другим взглядом, подобным сверканию штыка. Гости в сопровождении Джеймса Нортона медленно двинулись к дверям.

— Итак, это ваш окончательный ответ? — спросила миссис Норт, величественно задерживаясь на пороге.

— Простите? — немного рассеянно переспросил Норт.

— Ваш окончательный ответ?

— Да, конечно.

Разъяренная миссис Норт бросилась вон из комнаты, чем поставила Нортона в невыгодное положение. На прощание они могли атаковать его по очереди. Начал Дик:

— Брось упрямитесь! Ты ведь можешь дать объявление в газете относительно нее, а старуха не будет ничего иметь против, если ты будешь осторожен и станешь иногда показываться на люди!

Когда Дик, прихрамывая, вышел из комнаты, мистер Картер выразил уверенность, что (строго между ними) все это дело можно будет решить на месте, не ранив чувствительную натуру мистера Нортона.

— Поверьте, она, несомненно, ждет, что вы вернетесь. Я убежден, что она никогда не покидала Сан-Франциско. С этими женщинами никогда нельзя знать наверняка.

Равнодушно пропустив мимо ушей и эту заключительную фразу, Джеймс Норт наконец остался один — вернее, так ему казалось. Мария присоединилась к матери, но, когда они пересекли брод и песчаный холм скрыл остальных из виду, эта своенравная девица внезапно возникла перед ним.

— И вы не вернетесь? — спросила она прямо.

— Нет.

— Никогда?

— Не знаю.

— Скажите, что именно в некоторых женщинах внушает мужчинам такую любовь к ним?

— Любовь! — ответил Норт спокойно.

— Нет, не может быть, это не так!

Норт поглядел на холм, ощущая одну лишь скуку.

— Да-да, я уйду! Еще одну минутку, Джим! Я не хотела приезжать. Это они меня заставили. Прощайте.

Она подняла пылающее лицо и посмотрела ему прямо в глаза. Он наклонился и коснулся губами ее щеки, как было принято между родственниками в ту эпоху.

— Нет, не так, — сказала она сердито, сжимая его запястья длинными, тонкими пальцами, — поцелуйте меня не так, Джеймс Норт.

В печальных глазах мелькнул чуть заметный насмешливый огонек, и Норт прикоснулся губами к ее губам. Но Мария обхватила его шею, прижалась горящим лицом и губами к его лицу, к губам, к щекам, прильнула к каждому изгибу его горла и подбородка и... со смехом исчезла.

## ГЛАВА II

Если родственники Джеймса Норта и надеялись, что их посещение может воскресить в нем вопреки его воле хоть слабое желание снова посетить мир, который они олицетворяли, то эта надежда скоро угасла. Как бы ни отнесся отшельник к их приезду (а он был настолько поглощен своим несчастьем и так безразличен ко всему, что становилось между ним и его горем, что встретил противодействие с глубоким равнодушием), в результате он только еще более стал ценить одиночество, ограждавшее его от всех, и даже полюбил унылый берег и бесплодные пески, так враждебно встретившие гостей. Новое значение обрели для него рев волн, чест-

ное постоянство, таившееся в неизменном упорстве грубых, неистовых пассатов, и безмолвная преданность сверкающих песков, вероломных ко всем, кроме него. Мог ли он проявить неблагодарность к этим сторожевым псам, подстерегающим незваных пришельцев?

Если он не почувствовал горечи, пока его вновь и вновь убеждали в неверности женщины, которую он любил, то потому, что Норт всегда верил собственной интуиции больше, чем наблюдательности и опыту других. Никакие факты, доказывающие обратное, не могли поколебать его веры или неверия; подобно всем эгоистам, он принимал их за истину, управляемую высшей истиной, известной только ему. Простота его — другая сторона эгоизма — была столь совершенной, что не поддавалась обычным коварным уловкам, и таким образом он был недоступен опыту и знаниям, которые отличают не столь благородные натуры и делают их еще более изменчивыми.

Прогулки, охота или ужение рыбы — для удовлетворения скромных нужд — укрепляли его здоровье. Он никогда не был любителем примитивной свободы или жизни на природе; склонность к сидячей жизни и изысканные вкусы удерживали его от варварских крайностей. Он никогда не был заядлым охотником и теперь охотился без азарта. Об этом догадывались даже бессловесные существа, и порой, когда он угрюмо бродил по холмам, случилось, что олень или лось безбоязненно перебежали ему дорогу, а когда он лениво покачивался в челноке на мелководье, бывало, что стая диких гусей садилась на воду у его бесшумного весла. В этих занятиях подошла к концу вторая зима его одиночества, и тогда разразилась буря, вошедшая в историю здешних мест: ее помнят и до сих пор. Она с корнями выворачивала гигантские деревья на речном берегу, а с ними и крошечные ростки жизни, которые Норт бездумно пестовал.

Утром по временам налетали шквалы, ветер принимался дуть то с юга, то с запада с подозрительными затишьями, непохожими на ровный напор обычных юго-западных пассатов. Высоко над головой стремительно проносились развевающиеся гривы перистых облаков, увлекая за собой чаек и других береговых птиц; безостановочно пищали ржанки, стая пугливых перевозчиков примеривалась сесть на низкий конек крыши, а терпящая бедствие команда кроншнепов поспешила укрыться на вырванном с корнями дереве, которое устало качалось на отмели. К полудню летящие облака беспорядочно сгрудились



в сплошную массу, а потом внезапно слились в огромную непроницаемую пелену, затянувшую все небо. Море поседело, оно внезапно покрылось морщинами и сразу состарилось. В воздухе пронесся заунывный, неясный звук — скорее неразбериха многих звуков, похожих и на далекую ружейную стрельбу, и на резкий звон колокола, на тяжкий рев волн, треск деревьев и шелест листьев; звуки эти замирали прежде, чем можно было разобрать их. А потом задул сильный ветер. Он бушевал два часа подряд. К закату ветер усилился, и через полчаса наступила полная тьма; даже белые пески стали невидимыми, и море, и берег, и небо оказались во власти злобной, безжалостной силы.

Норт одиноко сидел в своей хижине у пылающего очага. Он уже не помнил о буре, — она лишь направила его мысли в привычное русло. Если раньше она возникала из клубящегося летнего тумана, то теперь ее принесла сюда на своих крыльях буря. Временами хижина содрогалась от порывов ветра, но он не замечал этого. За хижину он не страшился: из года в год ветер наваливал у ее стен кучи песка, служившие ей защитой. Каждый новый порыв ветра, казалось, еще тесней прижимал хижину к земле, а вихри песка колотили ее по крыше и окнам. Около полуночи внезапная мысль подняла его на ноги. А что, если и она тоже попала во власть этой неистовой ночи? Как помочь ей? И, может быть, сейчас, когда он празднично сидит здесь, она... Чу! Не выстрел ли это?.. Нет? Да, выстрел! Там стреляют.

Он торопливо отодвинул засов, но сильный ветер и песок, заваливший дверь, не дали ему выйти. С неизвестно откуда взявшейся силой он все-таки приоткрыл ее и протиснулся наружу, — тут ветер поднял его, как перышко, перевернул несколько раз, снова поднял и с размаху швырнул на кучу песка. Он не ушибся, но не мог шелохнуться и лежал, оглушенный многоголосым ревом бури, не в состоянии различить хоть одну знакомую ноту в этом хаосе звуков. Наконец он кое-как дополз до хижины и, заперев дверь, бросился на постель.

Он очнулся от беспокойного сна: ему снилась его кузина Мария. Она со сверхъестественным напряжением удерживала дверь, не пуская какую-то невидимую, неизвестную силу, которая завывала и билась снаружи, отчаянно кидаясь на хижину. Он видел гибкие, волнообразные движения Марии, когда она то уступала этой силе, то вновь налегала на дверь, обвиняясь вокруг тесаного двер-

ного косяка как-то гнусно и по-змеиному. Он проснулся от грохота бури и тяжкого удара, потрясшего весь дом сверху донизу. Он вскочил с кровати, и ноги его оказались в воде. При вспышке огня в очаге он увидел, что вода просачивается и капает из щелей между бревнами, а у очага разливается большой лужей. На ее поверхности лениво плавал клочок конверта. Что это, река вышла из берегов? Но он недолго оставался в неведении. Новый удар по крыше дома — и из дымохода в очаг обрушился ливень брызг, загасивший тлеющие угли и оставивший его в кромешной тьме. Несколько капель смочили его губы. Он почувствовал соленый вкус. Океан смел нанесенную рекой мель и добрался до него!

Мог ли он спастись? Нет! Хижина стояла на самой высокой точке отмели, и в болотистой низине, по которой еще недавно шли его гости, уже кипели буруны, а в устье реки за его спиной бушевал океан. Ему оставалось только ждать.

Однако отчаянность его положения придала этому своеобразному человеку силу и терпение. Инстинкт самосохранения еще жил в нем, но он не испытывал ни страха смерти, ни даже ее предчувствия; но если бы смерть и пришла, она просто разрешила бы все тревоги и избавила его от прошлого. Он думал о жестоких словах своей кузины, но та смерть, которая грозила ему, уничтожила бы и хижину и землю, на которой она стояла. Газетам не о чем будет писать, и на живых не ляжет никакой тени. То же чувство, которое помогло ему сохранить верность ей, подскажет ей, как он умер; а если нет — ну и что ж! И наивная, но твердая вера в судьбу позволила этому странному человеку ощупью добраться до постели и тут же уснуть. Буря все еще ревела. Волны снова перехлестнули через хижину, но ветер, несомненно, ослабевал, и наступал отлив.

Норт проснулся в полдень. Яркое светило солнце. Он лежал в приятной истоме, не зная, жив он или умер, но ощущая во всем теле невыразимое умиротворение — покой, какого он не знал с детства, и освобождение — он и сам не знал, от чего. Он заметил, что улыбается, однако его подушка была мокра от слез, еще блестевших у него на ресницах. Песок завалил дверь, и поэтому он выбрался через окно. По небу медленно плыло несколько тучек, осеняя море и берег, на которые снизошло великое благословение. Он едва узнал знакомый пейзаж: на реке образовалась новая мель — песчаная коса, которая пересекла

лагуну и болота, смыкалась с берегом и тропой на холме и словно приблизила его к людям. Все это наполнило его чисто детским восторгом, и, когда он увидел знакомое, вырванное с корнями дерево, ставшее теперь на вечный якорь у его хижины, он радостно побежал к нему.

Торчащие корни были опутаны цепкими морскими водорослями и длинными, гибкими, как змеи, стеблями морской репы. А между двумя переплетенными корнями застряла бамбуковая корзинка из-под апельсинов, почти не поврежденная. Когда он направился к ней, ему послышался странный крик, непохожий на все то, что доселе рождали бесплодные пески. Предположив, что какая-то неизвестная морская птица запуталась в водорослях, он подбежал к корзинке и заглянул внутрь. Там лежали перистые водоросли и морской мох. Он отбросил их прочь. Они скрывали не раненую птицу, а живого ребенка!

Вытащив его из сырых пеленок, Норт увидел, что ребенку всего семь — девять месяцев. Но как и когда дитя попало в корзинку и каким образом занесло эту колыбельку эльфа к его двери, он не знал; судя по всему, младенец лежал тут с раннего утра, потому что ничуть не замерз и его одежда почти высохла под горячим утренним солнцем. Всего несколько секунд потребовалось, чтобы завернуть ребенка в куртку, добежать с ним до хижины и с ужасом убедиться, что он не знает, что делать. Его ближайшим соседом был лесоруб Тринидад Джо, живший в трех милях вверх по реке. Норт смутно припомнил, что он как будто человек семейный. Страшнее всего было бездействие, и, чуть не уморив ребенка глотком виски из фляжки, он вытащил из болота челнок и поплыл со своей находкой по реке. За полчаса он добрался до хижины Тринидада Джо, увидел жалкие цветочки возле плетня и белье на веревке и понял, что воспоминания его относительно семейного положения Тринидада Джо были верны.

На его стук дверь отворилась, и он увидел чистую, просто убранную комнату и веселую, миловидную женщину лет двадцати пяти. С неожиданным для себя смущением Норт несвязно рассказал о том, как нашел ребенка, и объяснил причину своего визита. Он еще говорил, когда она каким-то особым женским движением взяла ребенка из его рук так, что он этого и не заметил, и расхохоталась до слез, едва он, задохнувшись, умолк. Норт тоже попробовал засмеяться, но не сумел.

Утерев простодушные голубые глаза и спрятав два ряда крепких белых зубов, женщина сказала:

— Послушайте! Вы, верно, тот тронутый, который живет один — там, на взморье, да?

Норт поспешно согласился со всем, что подразумевало это определение.

— И, значит, вы обзавелись ребеночком для компании? Ну и ну! — Казалось, вот-вот снова раздастся взрыв смеха, но она сказала, словно извиняясь за свое поведение: — Как я увидела, что вы шлепаете сюда по реке — это вы-то, такой пугливый, все равно что лось летом, — я и подумала: «Заболел, что ли?» Но чтоб младенец?.. Вот тебе на!

На мгновение Норт возненавидел ее. Женщина, которая в этой трогательной и даже трагической картине увидела одну только смешную сторону и смеялась над ним, — эта женщина принадлежала к сословию, с которым он никогда не имел ничего общего. Его не трогало возмущение людей одного с ним круга, и сарказмы кузины уязвили его гораздо меньше, чем озорной смех этой неграмотной женщины. И сдержанным тоном он указал на то, что ребенка следовало бы накормить.

— Он еще очень маленький, — добавил Норт, — и я думаю, ему нужно натуральное питание.

— А где его взять? — спросила женщина.

Джеймс Норт растерянно огляделся. Но ведь тут должен быть ребенок! Обязательно должен!

— Я думал, что у вас... — пробормотал он, чувствуя, что краснеет, — я... то есть... я...

Он умолк, потому что она хоть и зажала рот передником, но уже не могла удержать смеха, который так и рвался из нее. Отдышавшись, она сказала:

— Послушайте! Оно и понятно, что вас прозвали тронутым! Я дочка Тринидада Джо и незамужняя, а женщин в этом доме больше нет. Это вам всякий дурак скажет. И если вы мне растолкуете, откуда мог бы взяться у нас ребенок, я вам только спасибо скажу!

Сдержав ярость, Джеймс Норт вежливо извинился, сожалея о своем неведении, с учтивым поклоном хотел забрать ребенка. Но женщина прижала его к себе.

— Вот еще! — выпалила она. — Отдать вам эту бедняжку? Нет уж, сэр! Если хотите знать, молодой человек, ребенка можно накормить и не только этим вашим «натуральным питанием». Только отчего это он такой сонный?

Норт холодно сообщил, что дал ребенку виски в качестве лекарства.

— Да ну? Не такой уж вы тронутый, как посмотришь. Ладно, я возьму ребенка, а когда отец придет, мы посмотрим, что дальше делать.

Норт заколебался. Ему чрезвычайно не нравилась эта женщина, но другой не было, а ребенком надлежало заняться немедленно. Кроме того, ему пришло в голову, что довольно нелепо являться в первый раз с визитом к соседям только для того, чтобы навязать им найденныша. Заметив его сомнения, она сказала:

— Конечно, вы меня не знаете. Ну, так я Бесси Робинсон. Дочка Тринидада Джо Робинсона. Если вы что подумали, так вам за меня хоть отец поручится, хоть кто другой на реке.

— Уверю вас, мисс Робинсон, я боюсь только, что доставлю вам слишком много хлопот. Все ваши расходы, разумеется, будут...

— Молодой человек, — сказала Бесси Робинсон, резко поворачиваясь на каблуках и пронзая его взглядом из-под черных, слегка нахмуренных бровей, — коли разговор пошел о расходах, то лучше уж я сама приплачу вам за этого ребенка или совсем его брать не буду. Ну, да ведь я тоже плохо вас знаю, и ссориться нам ни к чему. Так что оставьте ребенка здесь и, если что решите, приезжайте сюда завтра, как солнце взойдет (прогулка-то вам не повредит!), и повидаетесь с ним да и с моим родителем заодно. Всего вам хорошего! — И, обвинив ребенка сильной, округлой рукой, она воинственно уперла в бок другую, с ямочкой на локте и величаво проплыла мимо Джеймса Норта в спальню, притворив за собой дверь.

Когда мистер Джеймс Норт добрался до своей хижинки, уже стемнело. Разведя огонь, он принялся расставлять опрокинутую мебель и выметать мусор, оставленный ночной бурей, и вдруг впервые он почувствовал себя одиноким. Он скучал не по ребенку. Он исполнил долг человека-колюбия и готов был исполнять его и впредь, но и сам ребенок и его будущее были ему неинтересны. Скорее, его радовало, что он избавился от него, — пожалуй, лучше было бы отдать его в другие руки, а впрочем, и она производила впечатление женщины расторопной. И тут он вспомнил, что с самого утра ни разу не подумал о женщине, которую любил. Это случилось впервые за год одиночества. И он взялся за работу, думая о ней и о своих горестях, пока слово «тронутый», связанное с его страданиями,

не всплыло в его памяти. «Тронутый»! Слово малоприятное. Оно означало нечто худшее, чем просто потерю рассудка, — то, что могло случиться с тупым простолюдином. Неужели люди смотрят на него сверху вниз как на полоумного, который недостоин ни дружбы, ни сочувствия, и такого незначительного и заурядного, что над ним неинтересно даже смеяться? Или это — лишь грубое толкование этой вульгарной девицы?

Тем не менее на следующее утро, как только «взошло солнце», Джеймс Норт оказался у хижины Тринидада Джо. Почтенный хозяин — долговязый и тощий, с типичными чертами сельского жителя Запада: плохим здоровьем, худобой и унынием — встретил его на берегу; по одежде его можно было принять и за моряка и за жителя пограничного поселка. Когда Норт снова рассказал ему о том, как он нашел ребенка, Тринидад Джо задумался.

— Небось, его для безопасности уложили в корзинку, — рассуждал он, — а его и смыло с одной из этих посудин, что ходят на Таити за апельсинами. А что он не из наших мест, — это уж точно.

— Но просто чудо, что он остался жив. Ведь он несколько часов пробыл в воде.

— Ну, эти бриги тут идут недалеко от берега, и, скажем, если он налетел на риф, так, значит, от тычка он прямо на мель и перелетел! А что он жив остался, так это уж всегда так, — продолжал Джо с жгучей иронией. — Коли здоровенный моряк шлепнулся бы той ночью с нок-рея, он запросто потонул бы у самого корабля, а ребенок, который и плавать-то не умеет, выплыл на берег, а сам знай спит себе, волны ему вместо люльки.

Норт немного успокоился, но, странно разочарованный тем, что не увидел Бесси, решил спросить, как чувствует себя ребенок.

— Лучше некуда, — слышался звонкий голос из окошка, и, поглядев вверх, Норт разглядел округлые руки, голубые глаза и белые зубы дочери хозяина дома. — Ну и ест же она — просто загляденье! Хоть и без «натурального питания». Ну, родитель! Расскажи-ка ты гостю, что мы с тобой порешили, и хватит попусту трепать языком.

— Ну, вот что, — промямлил Тринидад Джо, — Бесси твердит, значит, что вынянчит этого ребенка и все, значит, как положено. И хоть я ей и отец, скажу, что это она может. Но уж если Бесси что запало в голову, так подавай ей все целиком, на половину она не согласна.



— Правильно! Валяй дальше, родитель: что ни слово, так в самую точку! — с веселой прямоотой сказала мисс Робинсон.

— Ну, значит, мы вот как решили. Мы берем ребенка, а вы дадите нам такую бумагу, что, мол, отказываетесь от всяких на нее прав в нашу, значит, пользу. Ну, что скажете?

Сам не зная почему, мистер Норт решительно отказался.

— Вы что думаете, мы будем плохо за ней присматривать? — резко спросила мисс Бесси.

— Не в этом дело, — немного раздраженно отозвался Норт. — Прежде всего это не мой ребенок, и я не могу его отдать. Ведь вышло так, что он оставлен на мое попечение, будто сами родители передали мне его из рук в руки. Я считаю, что будет нехорошо, если сюда вмешаются еще чьи-то чужие руки.

Мисс Бесси исчезла из окна. Через секунду она появилась в дверях дома и, подойдя прямо к Норту, протянула ему вполне реальную руку.

— Ладно, — сказала она с искренним пожатием. — Не такой уж вы тронутый. Отец, он дело говорит! Отдать ее он не может, поэтому мы возьмем с ним ребенка напополам. Он будет отцом, а я матерью, покуда смерть нас не разлучит или пока не найдется настоящая семья. Ну, согласны?

И мистер Джеймс Норт согласился, обрадованный похвалой этой простой девушки больше, чем ожидал. А хочет ли он посмотреть на малютку? Да, конечно, и Тринидад Джо, который уже насмотрелся на малютку, и слышался о малютке, и качал ее на руках, и всю ночь только ею и занимался, решил посвятить часть своего драгоценного времени рубке леса и оставил их вдвоем.

Мистер Норт вынужден был признать, что малютка выглядит отлично. Кроме того, он с вежливым интересом выслушал утверждение, что глазки у нее карие, совсем как у него, и что у нее есть уже целых пять зубов, и что она очень крепкая для девочки предполагаемого возраста, — и все же мистер Норт не спешил уходить. Наконец, держа руку на дверной задвижке, он обернулся к Бесси и спросил:

— Можно задать вам странный вопрос, мисс Робинсон?

— Валяйте.

— Почему вы думали, что я... «тронутый»?

Честная мисс Робинсон склонилась над ребенком.

— Почему?

— Да, почему?

— Потому что вы и были тронутый.

— А!

— Но...

— Да...

— У вас это пройдет.

И под пустым предлогом, что нужно принести девочке поесть, она ретировалась на кухню, и, проходя мимо кухонного окна, мистер Норт с огромным удовлетворением обнаружил, что она сидит на стуле, накинув передник на голову, а сама так и трясется от смеха.

Следующие два-три дня он не посещал Робинсонов, погрузившись в воспоминания о прошлом. На третий день — нужно признать, не без усилия — он привел себя в привычное состояние тихой скорби. Буря и находка ребенка стали меркнуть в его памяти, как померк уже визит его родственников. Был мрачный, сырой день, и, когда раздался стук в дверь, он сидел у огня. Флора, под каким вечно юным именем была известна его престарелая прислужница-индианка, обычно извещала о своем появлении подражанием крику кроншнепа. Значит, это была не она. Ему почудился шелест платья за дверью, и он вскочил на ноги, смертельно бледный, с именем на устах. Но дверь распахнула нетерпеливая рука, и в комнату ворвалась Бесси Робинсон! С ребенком на руках!

С непонятным облегчением он предложил ей сесть. Она с любопытством взглянула на него своими правдивыми глазами.

— Чего испугались?

— Я не ждал вас. У меня ведь никто не бывает.

— Оно, конечно, так... Только вот, скажите, вы к докторам ходили?

Недоумевая, он, в свою очередь, осведомился:

— А что такое?

— А то, что вам придется встать и поехать за доктором. Девочка-то наша заболела. Мы докторов не зовем, мы в них не верим, да и ни к чему они нам, но родители этого вашего ребенка звали, небось. Так что вставайте-ка со стула и бегите за доктором.

Джеймс Норт посмотрел на мисс Робинсон и встал, хотя и с некоторым сомнением.

Мисс Робинсон заметила это.

— Я бы вас не потревожила и не стала бы трястись три мили на лошади, если б можно было кого другого послать. Но отец в Юреке, лес покупает, и я одна. Эй, куда же вы?

Норт уже схватил шляпу и открыл дверь.

— За доктором, — изумленно ответил он.

— Вы что же, собрались прогуляться шесть миль туда да шесть обратно?

— Конечно. У меня же нет лошади.

— Зато у меня есть, она там снаружи привязана. С виду она неказиста, но как выберется на дорогу, побежит не хуже всякой другой.

— Но вы... вы-то как вернетесь!

— А я и не собираюсь возвращаться, — сказала мисс Робинсон, подтаскивая стул к огню, чтобы согреть ноги, и снимая шляпу и платок. — Я побуду здесь, покуда вы не привезете доктора. Ну! Пошевеливайтесь!

Ей не пришлось повторять этого дважды. Через мгновение Джеймс Норт уже сидел в седле мисс Бесси (драгунском) и мчался по пескам. Две мысли преследовали его: первая — что он, «тронутый», готов принести себя в жертву насмешникам из поселка только оттого, что должен доставить доктора к больной сиротке, которую он опекает; вторая — что в его уединенную обитель вторглась незваная, рослая, неграмотная, но довольно хорошенькая женщина. Он никак не мог избавиться от этих мыслей, но к чести его надо сказать, что выполнил поручение с большим усердием, хотя и не вполне вразумительно, так что доктор во время быстрой скачки уловил только одно: что Норт спас тонувшую молодую замужнюю женщину и у нее только что родился ребенок.

Несколько слов Бесси вывели доктора из заблуждения, хотя в любом другом обществе они могли бы потребовать дальнейших разъяснений, но доктор Дюшен, старый армейский хирург, был готов ко всему и ничему не удивлялся.

— Ребенку, — сказал он, — грозило воспаление легких, сейчас опасности нет, но требуется тщательный уход и осторожность. Ни в коем случае не застудите его.

— Тогда все ясно, — решительно заявила Бесси и, заметив недоумение на лицах мужчин, снизила до объяснения: — Значит, вам придется съездить на кобыле к нам домой, подождать там до завтра, покуда мой старик вернется, а потом вы привезете мои вещи, потому что кому

же другому ходить за малышкой, пока ей не станет лучше? Так что я с ней и останусь.

— Сейчас ее, безусловно, нельзя выносить на улицу, — сказал доктор, с улыбкой поглядев на растерянного Норта. — Мисс Робинсон права. Я поеду с вами до тропы.

— Боюсь, — сказал Норт, чувствуя, что обязан что-то сказать, — вам здесь будет не очень удобно...

— Оно так, — ответила она просто, — но я же это знала.

Норт устало пошел к двери.

— Спокойной ночи, — сказала она вдруг, протягивая ему руку с мягкой улыбкой, какой он у нее раньше не замечал. — Спокойной ночи. Присмотрите там за отцом.

Доктор и Норт некоторое время ехали молча. Норт обдумывал один несомненный факт: он едет в гости и, в сущности, расстался со своей прежней жизнью, а думать о своем горе в чужом доме — значит кощунствовать.

— Мне кажется, — неожиданно сказал доктор, — вы не знакомы с типом женщин, который так превосходно воплощает мисс Бесси. Ваша жизнь, вероятно, протекала среди более образованных людей.

Норту показалось, что доктор хочет вывести его тайну, и, пропустив последнюю фразу мимо ушей, холодно, хотя и правдиво ответил, что никогда не встречал таких дочерей Запада, как Бесси.

— Вам не повезло, — заметил доктор. — Наверное, вы считаете ее грубой и неграмотной?

Мистер Норт ответил, что она, несомненно, очень добра, а остального он, право же, не заметил.

— Это не так, — резко сказал доктор, — впрочем, если бы вы сказали ей об этом, она не стала бы думать хуже о вас, так же, как и о себе. Говори она на языке греческих поселян, а не на местном диалекте и носи она *cestus*<sup>1</sup> вместо скверного корсета, вы бы поклялись, что перед вами богиня. Вам сюда. Спокойной ночи.

### ГЛАВА III

Джеймс Норт плохо спал эту ночь. Как распорядилась мисс Бесси, он занял ее спальню, потому что у них было всего две спальни, и «отец никогда не спит на простынях и вообще страшно неаккуратный».

---

<sup>1</sup> Пояс (греч.).

В комнате было чисто, но и только. Немногочисленные украшения были ужасны: две или три аляповатые литографии; рабочая шкатулка, отделанная ракушками; омерзительный букет из сухих листьев и мха; морская звезда да две китайских фарфоровых вазы, таких безобразных, что им можно было поклоняться, как буддийским идолам, — вот что нравилось прекрасной обитательнице комнаты и вот на чем, возможно, будет воспитываться девочка. Утром его встретил Джо, который, по обыкновению кисло отнесшись к намерениям дочери, предложил Норту остаться у него в доме, пока малютка не поправится. Но ждать пришлось долго; побывав у себя в хижине, Норт узнал, что девочке стало хуже, но, пока мисс Бесси случайно не проговорила, он даже не догадывался, что сама она всю ночь не сомкнула глаз. Прошла неделя, прежде чем он вернулся домой, и это была беспокойная неделя, но, впрочем, довольно приятная. Ибо ему немного льстило, что им командовала хорошая и красивая женщина, а мистер Джеймс Норт к этому времени был уже убежден в том и в другом. Раза два он ловил себя на том, что любит ее великолепной фигурой, вспоминая при этом похвалы доктора, а позже, соперничая с ней в откровенности, передал ей его слова.

— А вы что ответили? — спросила она.

— Ну, я засмеялся и... ничего не сказал.

И она ничего не сказала.

Через месяц после этого обмена откровенностями она спросила его, не может ли он переночевать у них.

— Понимаете, — сказала она, — в Юреке будут танцы, а я с прошлой весны и ногой не брыкнула. За мной заедет Хэнк Фишер — ну, и до утра я домой не вернусь!

— А как же девочка? — немного раздраженно спросил Норт.

— Ну, — сказала мисс Робинсон, поглядывая на него довольно воинственно, — небось, ничего с вами не делается, если вы приглядите за ней ночку. Отец не может, а если б и мог, от него толку мало. Как мать померла, он чуть было не отравил меня, вот так. Нет уж, молодой человек, не стану я просить Хэнка Фишера тащить девчонку в Юреку и обратно и портить ему удовольствие!

— Значит, я должен очистить дорогу мистеру Хэнку... Хэнку... Фишеру? — осведомился Норт с легким оттенком сарказма в голосе.

— Ну да! Делать-то вам все равно нечего, вы же сами знаете.

Норт отдал бы все на свете, лишь бы сослаться на какое-нибудь неотложное дело, но он знал, что Бесси права. Ему нечего было делать.

— А Фишеру, вероятно, есть? — спросил он.

— Еще бы! Он же будет приглядывать за мной!

С самого первого дня своего одиночества Джеймс Норт не проводил более неприятного вечера. Он почти ненавидел невольную причину своего нелепого положения, расхаживая с ней взад-вперед по комнате. «Неслыханная глупость», — начал было он, но, вспомнив, что цитирует излюбленное высказывание Марии Норт по поводу его собственного поведения, он смолк. Девочка плакала, тоскуя без приятных округлостей и пухлых рук своей нянюшки. Немзыкально подпевая про себя, Норт отчаянно плясал с ней на руках, а думал он при этом о других танцорах. «Конечно, — размышлял он, — она сказала этому своему поклоннику, что оставила ребенка с «тронутым», с «Человеком со взморья». А может быть, на меня теперь будет постоянный спрос, — еще бы, безвредный простак, умеющий нянчить детей! Матери, рыдая, будут призывать меня. И доктор в Юреке. Он обязательно придет, чтобы полюбоваться своей богиней и вместе с ней сокрушаться о бессердечии «Человека со взморья».

И в конце концов он небрежно спросил у Джо, кто бывает на танцах.

— Ну что ж, — начал Джо похоронным голосом, — придет, значит, вдова Хигсби с дочкой, и четыре дочки Стаббса, и потом, значит, Полли Добл с этим молодцом, который служит у Джонса, да жена Джонса. Потом француз Пит, и Виски Бен, и этот малый, что ухлопал Арчера — не помню, как его, — и еще парикмахер... как же этого мулатика звать? Канака, что ли? Ах, черт подери, забыл! — продолжал Джо тоскливо, — скоро и как меня звать позабуду... и еще...

— Достаточно, — остановил его Норт и, еле скрывая отвращение, встал и унес девочку в другую комнату подальше от имен, которые могли оскорбить ее аристократические ушки. На следующее утро он рассеянно приветствовал вернувшуюся с танцев Бесси и скоро ушел, поглощенный коварным планом, созревшим бессонной ночью в ее собственной спальне. Он был убежден, что выполнит свой долг перед неизвестными родителями девочки, если оградит ее от оскверняющего влияния парикмахера Канаки и главным образом Хэнка Фишера, и решил послать письмо своим родственникам, сообщить им о случившемся.



ся и попросить у них приюта для малютки и помощи, чтобы найти ее родителей. Он адресовал письмо кухне Марии, припомнив, как эта юная девица трагически прощалась с ним, и надеясь поэтому, что ее любвеобильное сердце раскроется для его протекже. Затем он вернулся к прежним привычкам отшельника и с неделю не был у Робинсонов. Кончилось это тем, что однажды утром к нему явился Тринидад Джо.

— Это все моя девчонка, мистер Норт,— сказал он, понурившись.— Толковал же я вам раньше, предупреждал вас, что если, значит, она вобьет себе какую дурь в голову, так нипочем ее оттуда не выбить. Учиться она вздумала: в школу-то почти что и не ходила, ну, правда, газетки мы почитываем. Вот она и говорит, чтоб вы поучили ее, все равно же вам нечего делать. Понятно, о чем я?

— Да,— ответил Норт,— разумеется.

— И она думает, что, может, вы гордый и вам не по нраву, что она даром возится с девчонкой, и вот она, значит, задумала, чтоб вы дали ей книжек для учения и обучили ее болтать по-модному, чтобы вы с ней, значит, были квиты.

— Передайте ей,— от всей души сказал Норт,— что я буду только рад помочь ей и все равно останусь вечным ее должником.

— По рукам, значит? — спросил сбитый с толку Джо, отчаянно стараясь свести тираду своего собеседника к трем простым и удобопонятным словам.

— По рукам! — весело ответил Норт.

И ему стало легче. Ибо его тревожило, что он скрыл от нее свое письмо, но теперь он мог расквитаться с ней, не роняя своего достоинства. И он сообщит ей о своем решении, рассчитывая, что честолюбие, побудившее Бесси стремиться к образованию, поможет ей согласиться с мотивами его поступка.

В тот же вечер он честно рассказал ей обо всем. Он не видел ее лица, но, когда она повернулась, голубые глаза были полны слез. Норт испытывал чисто мужской ужас перед слезными железами женщин, всегда готовыми к действию, но Бесси до сих пор никогда не плакала, и это что-то значило. Кроме того, она плакала так, как могла бы плакать богиня: она не сопела, не сморкалась, нос у нее не краснел, это было скорее нежное растворение, гармоническое таяние, и ему было приятно утешать

ее: подсесть поближе, ласково поглядеть на нее своими грустными глазами и пожать ее большую руку.

— Оно конечно,— промолвила она печально,— да мне было невдомек, что у вас есть родные, я думала, вы такой же одинокий, как я.

Вспомнив о Хэнке Фишере и о «мулатике», Джеймс Норт не мог не намекнуть, что родственники его — очень богатые светские люди и приезжали к нему прошлым летом. Воспоминание о том, как они себя вели, и о том, как он сам к ним отнесся, удержало его от дальнейших подробностей. Но мисс Бесси, любопытная, как и всякая женщина, не утерпела:

— Это их, что ли, Сэм Бейкер привозил?

— Да.

— В прошлом году?

— Да.

— И Сэм привел лошадей сюда, чтобы задать им корму?

— Как будто да.

— И это ваши родные?

— Да.

Мисс Робинсон склонилась над колыбелью и обняла спящую девочку своими сильными руками. Потом подняла на него глаза, сверкающие гневом сквозь еще не высохшие слезы, и раздельно сказала: «Так-не-видать-им-этого-ребенка!»

— Но почему?

— Ах, почему? Я их видела! Вот почему! И все тут! Эти расфуфыренные скелеты никогда не заменят бедняжке живых родителей! Нет, сэр!

— Полагаю, вы судите слишком поспешно, мисс Бесси,— забавляясь в душе, сказал Норт,— конечно, моя тетка с первого взгляда может и не понравиться; тем не менее у нее много друзей. Но я уверен, что вы не возражаете против моей кузины Марии — молодой барышни?

— Что? Эта сушеная каракатица, эта дохлятина — смотреть не на что, одни глаза?! Джеймс Норт, может, вы и дурак, как ваша старуха,— небось, это у вас семейное,— но только вы не дьявол, как эта девчонка! Нет — вот и весь сказ!

Так оно и случилось. Норт отправил второе письмо кузине Марии, сообщая, что ребенок уже пристроен. Довольная легкой победой, мисс Бесси стала милостивей обычного и на другой же день смиренно склонила свою прекрасную шею под ярмо учения и стала прилежной

ученицей. Джеймс Норт восхитился бы ее природной понятливостью, даже если бы он не был пристрастен к ней и не становился бы с каждым днем все пристрастнее. Если ему раньше нравилось выслушивать ее наставления, то теперь он испытывал еще более утонченное наслаждение от ее абсолютной веры в то, что в этой области он знает все и правильно укажет ей путь в неведомом океане знаний. Ему нравилось направлять ее руку, выводившую буквы, но, боюсь, он испытывал бы куда меньшее удовольствие от этого, будь ее интеллект заключен в менее прекрасную оболочку. Недели неслись стремительно, и, когда однажды утром она протянула ему букетик шпорника и маков, он впервые понял, что пришла весна.

Вот один примечательный факт, который более других свидетельствует о растущем образовании мисс Бесси. Однажды Норт полушутливо заметил, что никогда еще не видел ее обожателя мистера Хэнка Фишера. Мисс Бесси (зардевшись, но сохраняя спокойствие): «И никогда не увидите!» Норт (побледнев, но с жаром): «Почему?» Мисс Бесси (тихо): «Лучше не надо». Норт (решительно): «Я настаиваю». Бесси (сдаваясь): «Как мой учитель?» Норт (нерешительно, считая определение слишком узким): «Да-а-а!» Бесси: «И вы обещаете, что не станете больше говорить об этом?» Норт: «Никогда». Бесси (медленно): «Ну, так он сказал, что это ужасно неприлично, что я ночевала у вас в хижине». Норт (с неподдельным простодушием утонченной натуры): «Но почему?» Мисс Бесси (слегка задетая, но всецело преклоняющаяся перед этой натурой): «Тс-с! И не забудьте, что обещали!»

Эти новые отношения приносили им такую радость, что однажды мисс Бесси стала пенять Джеймсу Норту на то, что тот вынудил ее просить, чтобы он взял ее в ученицы.

— Вы же знали, какая я тогда была невежественная, — добавила она, и мистер Норт отплатил ей тем, что рассказал, как доктор говорил о ее независимости.

— Сказать правду, — заключил он, — я боялся, что вы отнесетесь к этому не так доброжелательно, как полагал он.

— Значит, вы считали меня такой же тщеславной, как вы сам! Кажется, у вас с доктором нашлось много что сказать друг другу.

— Наоборот, — засмеялся Норт, — мы больше ни о чем не говорили.

— И вы не смеялись надо мной?

Пожалуй, Норт мог бы и не брать ее за руку, опровергая это предположение, однако он поступил именно так.

Мисс Бесси, еще погруженная в размышления, как будто не заметила этого.

— Если бы не энтот... то есть, эфтот... нет, если бы не этот случай... и вы бы не нашли малышку... я бы никогда с вами не познакомилась, — сказала она задумчиво.

— Да, — ответил Норт ехидно, — зато вы бы до сих пор числили среди своих знакомых Хэнка Фишера.

Идеальных женщин не бывает. Мисс Бесси взглянула на него с внезапным — первым и последним — проблемным кокетства. Потом быстро наклонилась и поцеловала... девочку.

Джеймс Норт был простодушен, но вовсе не глуп. Он вернул поцелуй, но не через посредника.

На крыльце послышался шум. Они покраснели и рассмеялись. В комнату с газетой в руках вошел Джо.

— Это вы верно сказали, мистер Норт, чтобы аккуратно, значит, читать газеты. Бьюсь об заклад, тут вот написано насчет родителей нашей девчоночки.

С медлительностью тяжелодума Джо уселся за стол и прочел следующее сообщение в сан-францисском «Геральде»:

— «Теперь уже не подлежит сомнению, что разбитое судно, о котором сообщил «Эол», было американским бригом «Помпейр», направлявшимся к Та-

ити. Подтвердились самые мрачные предположения. Утонувшая женщина была опознана как прекрасная дочь Терп... Терп... Терпис...»

А, черт! Никак не одолеть...

— Дай-ка, папа, — дерзко сказала Бесси. — Ты же как-никак человек необразованный. Послушай свою грамотную дочку. — И, отвесив насмешливый поклон ново-явленному учителю, она стала посреди комнаты с газетой, сложенной наподобие книжки: точная карикатура на первую ученицу.

— Гм! Где это тут? А, вот:

«...прекрасная дочь Терпсихоры, чье имя в прошлом году упоминалось в связи с загадочным вели-

косветским скандалом, — талантливая, но несчастная Грей Чаттертон...»

Погодите, это еще не все!

«Тело ее ребенка, прелестной	ружено и, вероятно, было смыто	
полугодовалой девочки, не обна-	волнами за борт».	

Это же и есть наша малютка, мистер Норт. Отец! Господи, что это? Он сейчас упадет! Помоги ему, папа! Быстрее!

Она поспела на помощь раньше отца, подхватила Норта сильными руками и уложила в кровать, в которой он пролежал без сознания целые сутки. Потом началось воспаление мозга и бред, и доктор Дюшен телеграфировал его друзьям, однако через неделю на рассвете летнего дня и эта гроза миновала, как зимняя буря, и он очнулся, слабый, но спокойный. Бесси сидела рядом, и он был рад, что она одна.

— Бесси, дорогая, — слабо проговорил он, — когда мне станет лучше, я скажу вам кое-что.

— Я все знаю, Джем, — сказала она дрожащими губами, — я все слышала... нет, не от них, а от вас самого, когда вы бредили. Я рада, что узнала это именно от вас — даже тогда.

— Вы прощаете меня, Бесси?

Она поцеловала его в лоб и сказала, поспешно, с запинкой, будто испугавшись своего порыва:

— Да. Да.

— И вы останетесь матерью этому ребенку?

— Ее ребенку?

— Нет, дорогая, не ее ребенку, а моему!

Она вздрогнула, всхлипнула, а потом, обняв его, проговорила:

— Да.

И так как существовал лишь один путь к осуществлению этого священного обета, осенью они поженились.

---

## Святые с предгорий

Сколько они прожили здесь, никто не мог бы сказать точно. Первый обитатель поселка Скоропелка, некий Лоу (товарищи в шутку называли его «Бедным индейцем»), утверждал, что святые поселились здесь куда раньше него и их хижина в лесу уже стояла, когда он «пробился» на Норт-Форк. Но как бы то ни было, на празднике по случаю открытия Союзного канала они несомненно присутствовали — именно тогда они и получили почетные прозвища «папы и мамы Дауни», которые и сохранили до самого конца. Их, семенящих к палатке, где стояло угощение и напитки, радушно приветствовали старатели, или, говоря более изысканным слогом «Союзного вестника», «их посеребренные головы, их согбенные фигуры, так живо воскресившие в памяти каждого далекий и счастливый отчий дом и слова благословения, произнесенные родительскими устами в минуту прощания, перед тем как он оставил любимый кров и пустился на поиски Золотого Руна, таящегося среди гор Западного побережья, многих заставили прослезиться». По правде говоря, большинство участников празднества были круглыми сиротами, кое-кто не мог даже похвалиться законностью своего происхождения, некоторые совсем еще недавно наслаждались прелестью тюремной дисциплины, и уж почти все, покидая отчий дом, конечно, постарались обойтись без таких ненужных и тягостных формальностей, как родительское благословение, но эти очевидные и общеизвестные факты были лишь мимолетными облачками, ничуть не омрачившими блестящего слога вышеупомянутой газеты. С этого дня святые стали историческими достопримечательностями и в качестве таковых обрели все бесчисленные выгоды и преимущества, с подобным положением сопряженные.





Нет ничего удивительного в том, что эти двое — воплощение консерватизма и устойчивости во взглядах и образе жизни — прославились именно здесь, в округе, где почти все население было молодо, отважно и честолубиво. Они не только вызывали к себе почтение — само их присутствие уже служило отличным контрастом духу дерзкой предприимчивости и энергии, который царил в общине старателей. Всюду, где собирались люди, они были в центре внимания: они занимали лучшие места на всех собраниях, шли в первых рядах всех процессий, присутствовали на всех похоронах, столь частых в поселке, на всех свадьбах, случавшихся значительно реже, и даже крестили первого младенца, родившегося в Скороспелке. Когда в поселке происходили первые выборы, право первым подойти к урне получил папа Дауни — как всегда в таких торжественных случаях, он пустился в пространные воспоминания. «Первый раз голосовал я, — говорил папа Дауни, — за Эндрю Джексона<sup>1</sup>, тогда, ребятки, и папеньки-то ваши на божий свет еще появиться не успели! Хи-хи-хи! Давненько дело было, в году тридцать третьем, так, что ли? Запомятовал я, вот мама, она тогда, верно, в школу еще бегала, сказала бы вам точно. А у меня память уж никуда! Старый я стал, ребятки, и все ж приятно мне смотреть, как молодежь вперед шагает. А помню я первые эти свои выборы вот почему: там тогда судья Адамс был. Так он услышал, что я никогда прежде-то еще не голосовал, и дал мне золотой, а сам говорит — говорит мне, значит, судья Адамс: «Пусть этот золотой всегда напоминает вам день, когда вы впервые выполнили почетный долг каждого свободного гражданина». Так прямо и сказал! Ребятки вы мои! Уж до чего я вами горжусь! Да если б я мог сто голосов отдать за вас, я отдал бы их с радостью — так, чтобы каждому досталось!»

Само собой разумеется, достопамятное даяние судьи Адамса, теперь повторенное судьями, инспекторами, клерками, увеличилось раз в десять, и наш старик возвратился к маме Дауни с оттянутыми карманами. Поскольку оба соперника были абсолютно уверены в его голосе, в связи с чем даже предлагали ему свой экипаж, будет только честно признать, что и в щедрости они не уступали друг другу. Но папа Дауни пожелал пешком одолеть

---

<sup>1</sup> Э н д р ю Д ж е к с о н — президент США с 1829 по 1837 год.

расстояние в две мили до избирательного участка, послужить тем самым примером молодежи и попасть в конце концов на страницы калифорнийской газеты, которая, конечно, поспешила на все лады расхвалить «благодетельный климат предгорий, позволивший восьмидесятичетырехлетнему жителю поселка Скороспелка встать в шесть часов утра, подоить двух коров, пройти двенадцать миль до избирательного участка, а по возвращении наколоть до обеда меру дров». Газета, несомненно, кое-что преувеличила, однако то обстоятельство, что каждый приходивший к папе Дауни заставлял его у поленницы, которая не уменьшалась, хоть и не росла, — обстоятельство, видимо, порождаемое неутомимостью мамы Дауни, которая целыми днями пекла пироги, — придавало истории этой некоторое правдоподобие. Поленница папы Дауни стояла всегда как живой укор праздным и ленивым старателям.

— Старик-то колет дров видимо-невидимо! Как ни пройдешь мимо его домишка, он машет топором, аж щепки летят! Но ведь вот что чудно — поленница-то вроде меньше не становится, — сказал как-то Виски Дик соседу.

— Дурак ты, дурак набитый! — огрызнулся сосед. — Ты бы подумал чуток; идет, скажем, человек и видит: старичок в свои восемьдесят лет надрывается-работает, а бездельники вроде нас с тобой валяются тут же рядом пьяные. Ну, и человеку этому, понятно, не по себе станет, а теперь, если б выбрал он ночку да перебросил старичку через забор вязанку сосновых дров, кто бы его осудил за это? — Конечно, не сам рассказчик, именно так и поступивший, и не его пристыженный и полный раскаяния собеседник, проделавший то же самое на следующую же ночь.

Пироги и бисквиты, которые пекла старушка Дауни, примечательны были, как я думаю, не столько своими гастрономическими достоинствами, сколько тем духом кротости и великодушия, который они пробуждали. И можно даже сказать, что пироги эти питали не так желудок, как ростки благородства в сердцах старателей. Тем не менее ели их все, и каждый вспоминал при этом свое детство. «Берите, милые, берите, — приговаривала старушка, — уж до того мне приятно смотреть, как вы их кушаете! Сразу же бедняжка Сэмми на ум приходит... Сейчас, останься он в живых, он был бы таким же большим и сильным, как вы. Да вот подхватил чахотку в Пресном

Ручье. Все стоит он у меня перед глазами — а ведь уже сорок лет прошло, господи! — так и вижу, будто возвращается он с поля и прямо ко мне на кухню — и улыбается, когда я даю ему кусок бисквита или пирожок, улыбается так радостно, голубчик мой, совсем как вы. Господи боже мой, заболталась-то я! А ведь сколько воды с той поры утекло! И все же теперь я будто вторую жизнь начала, я вроде бы в вас теперь живу!»

Жена содержателя гостиницы, движимая низкой завистью, заметила однажды, что мама Дауни, верно, хотела сказать не «в вас живу», а «с вас», но, поскольку особа эта, пытаясь убедить всех в правильности своих домыслов, прибегнула к подсчету стоимости муки и специй, шедших на пироги мамы Дауни, поселок немедленно отверг ее теорию как чересчур уж сухую и меркантильную.

— К тому же, — прибавил Сай Перкинс, — если старушка в таком почтенном возрасте хочет честно заработать себе на пропитание, что ж тут дурного? Да если б вот твоей мамаше на старости лет пришлось за гроши пирожки печь, что бы ты тогда запел? А?

Вопрос этот возымел такой эффект, что тот, к кому он был обращен (кстати, матери у него не было), немедленно купил целых три пирожка.

О качестве этих пирогов речь зашла всего лишь однажды. Рассказывают, что молодой адвокат из Сан-Франциско, обедавший как-то в ресторане «Пальметто», вдруг с жестом явного недовольства и даже отвращения резко отодвинул от себя пирог мамы Дауни. В ту же секунду Виски Дик, находившийся под значительным влиянием излюбленного им тонизирующего средства, приблизился к столу приезжего и без всякого приглашения с его стороны взял себе стул и уселся напротив.

— Может быть, молодой человек, — начал он строго, — вам не нравятся пироги мамы Дауни?

Слегка удивленный, приезжий коротко ответил, что он вообще обычно «не ест теста».

— Молодой человек, — с торжественностью пьяного продолжал Дик. — Может быть, вы привыкли к разным там деликатесам? Может быть, вам и кусок в глотку не лезет, если его не француз какой-нибудь готовил? А вот мы у нас здесь в поселке говорим про такой пирог «хороший пирог», говорим «дельный пирог»!

Тогда адвокат еще раз заверил его, что просто не любит пироги, даже самые вкусные.

— Молодой человек, — продолжал Дик, не слушая его объяснений, — молодой человек, может, и у вас была когда-нибудь матушка, бедная старая мама, может, и она на склоне лет своих занялась пирогами. А вы — чего и ждать от такого-разэдакого эпикура, как вы! — огорчали старушку, нос воротили от ее пирогов и от нее. А она-то, бедная, качала вас, когда вы были маленьким, совсем крохотулечным. Вы вот, может, нос от нее воротили, мучили ее и в могилу свели до срока. А теперь, молодой человек, может, вы не обижайтесь, конечно, но, может быть, вы, прежде чем встанете из-за стола, все-таки скушаете этот пирог.

Адвокат вскочил, но дуло револьвера, шатавшегося в нетвердой руке Виски Дика, моментально заставило его вновь опуститься на стул. Он съел пирог; свое дело в суде поселка Скороспелка он также проиграл.

Скептицизм и старческая мнительность совершенно не были свойственны папе Дауни, наоборот — энергичская поступь века и все новшества вызывали у него ребяческий восторг. «В мое время, в двадцатые, значит, годы, чтобы конюшню построить, работали чуть ли не всю неделю, неделю, ребятки мои! Да как работали! Молодежь вроде меня — а я ведь тогда молодым был — со всей округи собиралась, а теперь вы, паршивцы эдакие, когда нам со старухой дом ладили, день всего и провозились. Что ж и нам, старикам, надо петь на новый лад? Так что ли? Да вот я вас!»

Он тряс седой головой и в притворном негодовании грозил «паршивцам» своим ореховым посохом. Присущий старости консерватизм проявлялся у папы Дауни лишь в одном: он постоянно упрекал старателей в расточительности.

— Подумать только, — говорил он, — не только меня с моей старухой — целую семью можно прокормить на деньги, которые вы, паршивцы, проматываете на одной вашей попойке. Проказники эдакие! Думаете, я не слышал, как вы швыряли доллары на сцену, когда там эта язычница-итальянка голосила? Так вот и уплывают денежки из Америки, цент за центом!

Всем бросалась в глаза чрезмерная бережливость, даже, пожалуй, скупость престарелой пары. Но когда словоохотливая мама Дауни проговорила, что большую часть сбережений, а также получаемых подарков и денежных



пожертвований папа Дауни отправляет на Восток их беспутному транжире-сыну, чью фотографию старик всегда носил при себе, папа Дауни даже как-то возвысился в глазах золотоискателей.

— Когда станешь писать своему развеселому сынку, — сказал Джо Робинсон, — пошли еще от меня вот это. Напиши, что я, дескать, ему кланяюсь, а ежели он думает, что умеет пускать деньги на ветер быстрее меня, то это мы еще посмотрим. А коли хочет узнать, что такое настоящая попойка, пусть приезжает сюда — здесь ребята его мигом под стол отправят!

Напрасно старик отказывался от столь сомнительного подарка — когда они наконец расстались, карманы старателя заметно похудели, а сам он казался менее пьяным, чем обычно. Естественно предположить, что папа Дауни был абсолютным трезвенником. Однако он нашел способ не оскорблять чувств старателей: он принимал их частые подношения, а затем растирался этим виски. «Прямо что тебе змеиный яд, — любил повторять он, — или настой аниса. Их ведь в этих местах днем с огнем не найти, а тут разотрешь этим виски старые свои косточки, и они вроде мягче становятся. И все же нет лекарства лучше чистой холодной водицы, отражающей, так сказать, божий лик в своем, значит, течении, да, видно, я и бедняжка мама потребили ее за свою жизнь слишком много — вот суставы и онемели!»

Слава семейства Дауни не ограничивалась лишь предгорьями. Бостонский священник доктор богословия преподобный Генри Гашингтон, предпринявший путешествие по Калифорнии, дабы излечиться от хронического бронхита, поместил в «Христианском следопыте» прочувствованный рассказ о своем посещении четы Дауни; в нем он увеличил возраст папы Дауни до ста двух лет и приписал благотворному влиянию престарелой пары все случаи обращения в истинную веру, когда-либо происходившие в поселке. Билл Смит, одаренный литературный наемник, разъезжавший по всей стране в качестве поверенного нескольких капиталистов, а также корреспондента четырех «единственных независимых американских газет», использовал папу Дауни как пример долголетия, порождаемого особенностями климата, как гарантию преимуществ простой, бесхитростной жизни и вкладов в золотой промысел, как рекламу Союзного прииска и, уж совсем непонятным образом, как доказательство существования по-



боочных лесных и рудных богатств предгорий, достойных внимания восточных капиталистов.

Вот так, удостоенные хвалы на страницах солидной прессы, окруженные всеобщей заботой, поддерживаемые денежными дарами своих сограждан, наши святые мирно и философски-созерцательно прожили около двух лет. Чтобы не смущать их постоянными подношениями — этим подобием милостыни (интересно, что большее смущение чувствовали не берущие, но подающие), папе Дауни выхлопотали должность почтмейстера поселка, причем получать и разносить письма граждан Соединенных Штатов ему словом и делом помогали сами старатели. Если некоторые письма и пропадали бесследно, это легко объяснялось недисциплинированностью помощников папы Дауни, а сами жители всегда с готовностью возмещали стоимость утерянного ценного письма или перевода с тем, чтобы «у старичка все счета были всегда в ажуре». К этим обязанностям у папы Дауни вскоре прибавились другие: хранителя благотворительных фондов масонов и Братства чудаков — старик достиг высоких степеней и в том и в другом обществе; а затем его сделали и распорядителем этих фондов. Но тут его привычка экономить, иными словами, скаредность, чуть не лишила папу Дауни ореола славы — количество и размер выдаваемых им вспомоществований нередко вызывали ропот нуждающихся Братьев. Им приходилось довольствоваться частными даяниями не облеченных властью Братьев и заверениями в том, что «старичок очень старается», что «он хочет как лучше» и что все они когда-нибудь еще спасибо скажут ему за эту его старательность и экономность. А некоторые вообще предпочитали страдать в гордом молчании, лишь бы только не выносить на суд толпы слабости старого Дауни.

Итак, с благословения папы и мамы Дауни жизнь в предгорьях текла спокойно и изобильно. Горы уступали старателям свои богатства, зимы были мягкими, засух не случалось, мир и довольство ласково правили в предгорьях Сьерры, посылая свои улыбки залитым солнцем вершинам холмов и склонам гор, поросшим овсюгом и маком. И если по соседним поселкам и распространилась суеверная молва, связывающая счастье, которое поселилось в Скороспелке, с папой и мамой Дауни, то она была настолько безвредна и фантастична, что сами старики не спешили, как мне кажется, полностью опровергнуть ее. Патриархальная величавость и радушие манер, с недавних

пор появившиеся в папе Дауни, а также значительное по- пышнение его белоснежных волос и бороды поддержива- ли эту поэтическую иллюзию, что же касается мамы Дау- ни, та с каждым днем все больше начинала походить на добрую фею-крестную из сказки. Один поселок, соперни- чавший со Скороспелкой, попытался было подражать столь доходному почитанию старости, для чего взял на пробу из сан-францисского Матросского Уголка престаре- лого матроса. Но незадачливая морская душа оказался че- ловеком с изрядно расшатанным здоровьем, имевшим к тому же слабость к крепким напиткам, в результате че- го вид у него далеко не всегда бывал вполне пристойным. В конце концов он, как удачно выразился один из его ра- зочарованных приемных внуков, «в неделю окочурился и даже не благословил никого».

Но превратностям жизни равно подвластны и стар и млад. Юный поселок Скороспелка и его святые вместе вскарабкались на вершину счастья и, естественно, должны были вместе спуститься оттуда. Новую полосу открыл приезд в поселок второй престарелой пары. Хозяйка го- стиницы «Независимость», чья неприязнь к святым так и не уменьшилась, не посчитавшись с расходами, выписа- ла к себе двоюродную бабушку с мужем, до этого в тече- ние уже нескольких лет наслаждавшихся покоем в бога- дельне Ист-Магайаса.

Они и вправду были очень стары. Каким чудом уда- лось их довести до места в целости и сохранности, для поселка осталось тайной. В некоторых отношениях их воспоминания и исторические реминисценции обладали большей познавательной ценностью. Старик — его звали Абнер Трикс — был солдатом в войну 1812 года, а его же- на, Абигайль, видела супругу Вашингтона. Кроме того, она умела петь псалмы, а он знал всю библию «от корки до корки». Было совершенно ясно, что толпа неопытных юнцов, падких на все новое и переменчивых, находит их общество более интересным.

Непонятно почему — из ревности, недоверия или по причине внезапно обуявшей их робости, но наши святые упорно не желали знакомиться с вновь прибывшей парой. Когда наконец речь прямо зашла об этом, папа Дауни, сказавшись больным, заперся у себя дома. В то воскре- сенье, когда супруги Трикс отправились в церковь, которой по совместительству служило здание школы на холме, триумф их партии несколько умерило то обстоятельство, что ни папы, ни мамы Дауни не оказалось на их привыч-

ном месте. «Держу пари, что Дауни еще покажут этим мощам, а сейчас они просто силы набирают», — заявил один даунист. К этому времени в поселке начался полный разброд и раскол: молодежь и новички склонялись на сторону Триксов, первые поселенцы стеной стояли за своих любимцев Дауни — они не только остались им верны, но, как и подобает рьяным приверженцам, постарались подкрепить свои личные чувства соответствующими принципами.

— Говорю вам, братцы, — заметил как-то Пресный Джо. — Если в поселке до того дошло, что птенцы желторотые верховодят, а старожилы, такие, как папа Дауни или все мы, уж и голоса подать не смеют, пора нам трогаться отсюда, да и папу Дауни с собой прихватить. Ведь они поговаривают, что время пришло порядок навести и сделать этот скелет, который старуха Декер сажает за стол, чтоб у постояльцев аппетит отбивать, почтмейстером вместо папы Дауни.

И действительно, можно было опасаться такого исхода. Вновь прибывшие, которые составляли теперь большинство, пользовались сильным влиянием благодаря богатствам, сосредоточенным в их руках и размещенным как в поселке, так и вне его. «Фриско уже полпоселка сожрал», — как горестно заметил однажды кто-то из даунистов. Сплотившиеся вокруг семейства Дауни верные друзья, как это всегда бывает с друзьями в несчастье, страдали сами и, как было замечено, даже внешне стали походить на своих любимцев.

И тут вдруг мама Дауни скончалась.

Этот неожиданный удар на несколько дней, казалось, собрал воедино разрозненный поселок: обе фракции кинулись к обездоленному папе Дауни со своими утешениями, выражениями сочувствия, предложениями помощи. Но он встретил их холодно. Слабый и покладистый восьмидесятилетний старец преобразился. Те, кто ожидал увидеть его сокрушенным горем, безутешно рыдающим, в ужасе попятились, встретив его суровый, холодный взгляд и услышав грозный голос, приказывающий «удалиться и оставить его наедине с покойницей». Даже самые близкие друзья не смогли тронуть его своими соболезнованиями, им пришлось довольствоваться сдержанным ответом папы Дауни, что и покойная жена его и он сам всегда были против показной пышности и не станут принимать от поселка никаких услуг, потому что всякие услуги теперь лишь углубят противоречия, которые Дау-

ни, сами того не желая, породили в поселке. Отказ от предложенной помощи! Это было так непохоже на папу Дауни, что причина могла быть только одна: внезапно обрушившееся несчастье помрачило его разум! И все же решительность папы Дауни произвела такое впечатление на поселок, что ему позволили самому обрядить покойницу и лишь несколько избранных из числа его ближайших соседей помогли отнести простой сосновый гроб из уединенной хижины в лесу на еще более уединенное кладбище на вершине холма. Когда неглубокая яма была засыпана землей, он даже их тут же попросил уйти, а сам скрылся у себя в хижине, и несколько дней его никто не видел. Было очевидно, что он лишился рассудка.

К этим невинным странностям его обитатели поселка отнеслись с чуткостью и деликатностью, поразительными в людях столь грубого воспитания. В дни внезапной и жестокой болезни его супруги сейф, где хранились вверенные заботам папы Дауни фонды различных благотворительных обществ, был взломан и ограблен. И хотя несомненно было, что все произошло из-за его небрежности и рассеянности, никто не позволил себе даже намекнуть на это обстоятельство из уважения к постигшему его несчастью. Когда же он вновь появился в поселке и ему осторожно рассказали о случившемся, добавив, что «ребята возместили всю сумму», взгляд, который он обратил на говорящего — пустой и недоумевающий, — слишком ясно показывал, что папа Дауни не помнит об этом ничего.

— Не докучайте ему, — сказал Виски Дик, вдруг преисполнившись поэтического вдохновения. — Разве вы не видите, что память его мертва и лежит в гробу вместе с мамой Дауни?

Возможно, говоря это, он был гораздо ближе к истине, чем предполагал.

Не сумев предоставить папе Дауни духовное утешение, старатели попытались отвлечь его от скорбных мыслей с помощью разного рода мирских забав. Например, они повели его на представление, которое давала в это время в городке странствующая труппа варьете. Виски Дик кратко изложил историю этого посещения следующим образом:

— Ну вошли мы, усадил я его в первый ряд, устроил удобно так, ребята его подперли, да только сидит он, молчит, слова не проронит, что твоя могила! И тут выходит эта танцовщица мисс Грейс Сомерсет и чуть начала ногами кренделя выделывать, как старик — провалился я на

этом месте — прямо задрожал, затрясся весь! Что ни говори, мужчина он и есть мужчина, до самых кончиков сапог! А сумасшедший он там или не сумасшедший — это тут ни при чем! Словом, с ним такое делалось, что под конец сама девица эта на него внимание обратила: как подпрыгнет вдруг и воздушный поцелуй ему шлет! Вот так, пальчиками!

Было ли это правдой или нет, но только на каждом последующем представлении в числе зрителей можно было видеть и папу Дауни. А день или два спустя выяснилось, что присутствовать в зрительном зале для него еще не есть предел мечтаний. Выяснилось это следующим образом. В салун «Магнолия», где у камелька собралась дружеская компания в то время, как снег и ветер бились в окна, вдруг ворвался Виски Дик, взволнованный, совершенно мокрый и буквально распираемый новостью, которую тут же и выложил:

— Ну, ребята, что я узнал! Если б сам собственными глазами не видал, так ни за что бы не поверил!

— Что, опять про духа? — пробурчал откуда-то из недр кресла Робинсон. — А то уж надоело!

— Про духа? — переспросил какой-то новичок.

— Ну да! Дух мамы Дауни. Стоит человеку набраться хорошенько да выйти на улицу под вечер, тут дух этот ему непременно встретится.

— Где?

— Известно где — как у них, у духов, положено: возле могилы на холме.

— Нет, ребята, какое там дух, — уверенно продолжал Дик, — где уж ему, духу! Серьезно, кроме шуток!

— Давай выкладывай! — нетерпеливо потребовал десятков голосов.

С мастерством прирожденного рассказчика Дик помолчал минутку, скромно и как бы в нерешительности, затем преувеличенно медленно начал:

— Так вот... Значит, было это... когда же это было? Час назад сидел я на представлении варьете. Ну вот, когда, значит, занавес опустился, я гляжу, как там Дауни. А его нет! Выхожу, спрашиваю ребят. «Минуту назад здесь был, — говорят они. — Наверно, домой ушел». Ну как я за него вроде отвечаю, я и принялся искать его. Выхожу в фойе и вдруг вижу: ход за сцену. И тут, странное дело, ребята, но прямо уверенность какую-то чувствую, что старик мой там. Я прямо туда — и правда: своими ушами

слышу его голос, будто просит он кого-то, умоляет, будто он...

— В любви объясняется! — перебил его нетерпеливый Робинсон.

— Во-во! Ты, как всегда, в самую точку попал! Только она отвечает: «Выкладывай деньги, а не то...» Дальше я не расслышал. А потом опять он вроде как уговаривает, а она вроде бы отбрыкивается и все же слушает его, ну знаете, по-женски так совсем... Прямо Ева и Змий. А потом она говорит: «Ну завтра посмотрим». А папа Дауни ей: «Ты меня не выдашь?» — Ну тут уж я не вытерпел, подкрался, и глянул туда, и, пропади я пропадом, вижу...

— Что? — разом завопили слушатели.

— Папу Дауни на коленях перед этой красоткой, танцовщицей Грейс Сомерсет! Так-то! И если правда, что дух мамы Дауни что-то зашевелился, то ему сейчас самое время покинуть кладбище да на минутку в Джексон-Холл заскочить! Вот вам и все!

— Послушайте, ребята! — начал Робинсон, поднимаясь. — По-моему, нехорошо будет, если мы разрушим счастье папы Дауни! Лично я против такого оборота дела не возражаю, если только она не облапошит старика и не натянет ему нос. Мы папе Дауни вместо опекунов, и потому я предлагаю разыскать сейчас эту даму и выяснить, честные ли у нее намерения. Ну а если они жениться затеяли, я считаю, мы им должны свадьбу устроить, да такую, чтоб не посрамила поселка! Правильно я говорю?

Разумеется, предложение это было принято с восторгом, и толпа старателей тут же отправилась выполнять принятую ими на себя деликатную миссию. Однако чем могли бы кончиться эти переговоры, Скороспелка так никогда и не узнала, потому что следующее же утро оглушило ее известием, рядом с которым все остальное померкло и было забыто.

Кто-то осквернил могилу мамы Дауни! Гроб нашли открытым, а в нем — отчеты и другие документы благотворительных обществ. Зато труп исчез. Более того, при ближайшем рассмотрении стало очевидно, что дряхлое тело почтенной старушки никогда в нем и не покоилось.

Папа Дауни пропал бесследно, как, разумеется, и ловкая Грейс Сомерсет.

Три дня Скороспелка находилась на грани помешательства. Жизнь замерла на приисках и заявках. У могилы почтенной половины папы Дауни собирались кучки людей, открытые рты зияли, как эта могила. Со времени



великого землетрясения 1852 года ничто так сильно, до самого основания, не потрясало поселок.

На третий день туда прибыл шериф Калавераса, человек спокойный, добродушный и задумчивый. Он принялся расхаживать по улице, подходя то к одной, то к другой взбудораженной группке и сообщая сведения, несколько отрывочные, но выразительно краткие и практически чрезвычайно ценные.

— Да, господа, вы правы. Миссис Дауни не умерла, просто потому, что никогда не существовала. Ее роль сыграл Джордж Ф. Фенвик из Сиднея, бывший каторжник. И, по слухам, неплохой актер. Дауни? Ах, да! Его настоящее имя Джем Фланиган. В 1852 году в Австралии он был антрепренером труппы варьете, где дебютировала мисс Сомерсет. Не напирайте, ребята, спокойно! Деньги? Деньги они, конечно, взяли с собой. Как поживаешь, Джо? Выглядишь ты прекрасно. Я думал повидаться с тобой, когда заседал суд. Ну, как у вас дела?

— Но тогда, значит, это были всего-навсего актеры? — зашумело сразу несколько голосов.

— Совершенно верно, — невозмутимо ответил шериф.

— И целых пять этаких-разэтаких лет им хлопал весь наш поселок! — с грустью заметил Виски Дик.

---

## Кто был мой спокойный друг

— Эй, приятель!

Голос был не громкий, но отчетливый и резкий. Я напрасно оглядывал узкую тропу, тонущую в сумерках. Никого в ольховнике впереди; никого на склоне ущелья сзади.

— Эй, эй!

На этот раз даже нетерпеливо. Если калифорниец так вас окликает, значит, у него есть к вам какое-то дело.

Я поднял голову и в тридцати футах надо мной, на выступе, впервые заметил другую тропу, параллельную той, по которой ехал я, и маленького человека на черной лошади, который глядел на меня сквозь поросль конского каштана.

Осторожный путешественник обязательно подумал бы тут о пяти многозначительных обстоятельствах. Первое — встреча произошла в местности пустынной и дикой, в стороне от обычных путей погонщиков и старателей. Второе — незнакомец превосходно знал дорогу, доказательством чему служил тот факт, что вторая тропа была неизвестна заурядному путешественнику. Третье — он был хорошо вооружен и экипирован. Четвертое — его конь был намного лучше моего. Пятое — любое подозрение или робость, являющиеся результатом размышления над вышеупомянутыми фактами, лучше держать при себе. Все это пронеслось в моей голове, пока я здоровался с ним.

— Табак есть? — спросил он.

Табак у меня был, и вместо ответа я показал ему кисет.

— Ладно, сейчас спущусь. Поезжайте вперед, и я встречу вас на спуске.

Спуск! Новое географическое открытие, такое же неожиданное, как и вторая тропа. Я много раз проезжал здесь, но не знал, как можно добраться с выступа на мою тропу. Однако я успел проехать только ярдов сто, как затрещали кусты, на тропу обрушился град камней, и мой новый друг очутился рядом со мной, проехав сквозь заросли по склону, по которому я не решился бы свести свою лошадь и под уздцы. Несомненно, он был превосходный наездник — еще один факт, который мне следовало запомнить.

Когда он поехал рядом со мной, я убедился, что он действительно ниже среднего роста, а в его внешности я не заметил ничего примечательного, кроме холодных, серых глаз.

— У вас прекрасная лошадь, — сказал я.

Он в это время набивал трубку из моего кисета и, удивленно подняв голову, сказал: «А как же!» — и стал попытки хивать трубкой с жадностью человека, давно лишенного этого удовольствия. Наконец, между двумя затяжками он спросил меня, откуда я еду.

— Из Легрейнджа.

Некоторое время он удивленно смотрел на меня, но я тут же добавил, что останавливался там только на несколько часов, и он сказал:

— Я-то считал, что знаю всех между Легрейнджем и Индейским ручьем, да только вот не могу припомнить ваше лицо и прозвание.

Не слишком огорченный, я ответил, улыбаясь, что не вижу в этом ничего странного, так как я живу по другую сторону Индейского ручья. Он воспринял мой отпор, если только почувствовал его, так спокойно, что я из простой вежливости поспешил спросить, откуда едет он.

— Из Легрейнджа.

— И едете в...

— Ну, это уж как сложатся дела, да и бабушка еще надвое сказала, прорвусь ли я сквозь сито.

Его рука, вероятно, бессознательно, легла на кожаную кобуру револьвера, словно намекая, что он вполне способен, если захочет, «прорваться сквозь сито»; потом он добавил:

— А пока я прикинул, что, пожалуй, поеду с вами.

В его словах не было ничего оскорбительного, если не считать фамильярности и, быть может, намека, что, хочу

я того или нет, он все равно поступит по-своему. И я только ответил, что, если наша совместная поездка продолжится и за Хэвитри-Хилл, ему придется одолжить мне свою лошадь. К моему удивлению, он спокойно ответил: «Идет», — добавив, что его лошадь в моем распоряжении — вся, когда она ему не нужна, и половина, когда нужна.

— Дик уже много раз возил на себе двоих, — продолжал он, — и сможет сделать это и теперь. Когда ваш мустанг выдохнется, я подвезу вас — места хватит.

При мысли, что я появлюсь перед ребятами Красной Лощины, сидя за спиной неизвестного человека, я не смог удержаться от улыбки. Но меня неприятно поразили слова, что Дику уже приходилось возить двоих. «А почему?» — но этот вопрос я оставил при себе. Мы поднимались по длинному скалистому отрогу, и тропа была так узка, что мы были вынуждены ехать медленно и гуськом, а поэтому разговаривать не могли, даже если бы он и склонен был удовлетворить мое любопытство.

Мы молча, с трудом продвигались вперед; конский каштан постепенно уступал место чемисалю; заходящее солнце, отраженное белыми скалами, слепило глаза. Сосновый бор внизу, в каньоне, курился от жары, а над ним лениво парили ястребы, иногда поднимаясь вровень с нами, так что на склон горы падала таинственная и исполинская тень от неторопливодвигающихся крыльев. Лошадь незнакомца была гораздо лучше моей, и он часто уезжал далеко вперед, пробуждая во мне надежду, что он совсем забудет обо мне или, устав ждать, ускачет своей дорогой. Но каждый раз он останавливался у какого-нибудь валуна или вдруг появлялся из зарослей чемисаля, где терпеливо стоял, ожидая меня. Я уже начал тихо его ненавидеть, когда вдруг, вновь очутившись рядом со мной, он выпрямился в седле и спросил, нравится ли мне Диккенс.

Спроси он мое мнение о Гексли или о Дарвине, я и то удивился бы меньше.

Решив, что он, вероятно, имеет в виду какую-нибудь местную знаменитость в Легрейндже, я нерешительно спросил:

— Вы говорите о...

— О Чарльзе Диккенсе. Вы ж его, конечно, читали? Какой из его романов вам больше нравится?

Этот вопрос привел меня в замешательство, но я ответил, что мне нравятся все его романы (что полностью соответствовало истине).

С горячностью, совсем не похожей на его обычную сдержанность, он схватил мою руку и сказал:

— Мне тоже, старина. Диккенс молодец. Уж он никогда не подведет.

После этого грубоватого вступления он пустился обсуждать достоинства романиста с таким знанием дела и таким искренним восхищением, что я был поражен. Он рассуждал не только о великолепном юморе Диккенса, но и о силе его чувств и о всепроникающей поэтичности его произведений. Я глядел на него с удивлением. До тех пор я считал себя неплохим знатоком и поклонником этого великого мастера, но красноречие незнакомца, уместность примеров и разнообразие цитат поразило меня. Правда, мысли его не всегда высказывались изящным языком и часто облекались в лохмотья жаргона тех лет и той эпохи, но никогда не были грубыми, а иногда просто поражали меня своей точностью и меткостью. Я даже как-то подобрел к нему и попытался выведать, что он знает о литературе, кроме Диккенса. Но напрасно. Он не знал никого, кроме нескольких лирических и чувствительных поэтов. Под влиянием собственных речей он и сам заметно подобрел: предложил поменяться со мной лошадьми, с профессиональной ловкостью поправил мое седло, перенес мой мешок на свою лошадь, настоял на том, чтобы я разделил с ним содержимое его фляги, и, заметив, что я не вооружен, навязал мне свой маленький, оправленный в серебро пистолет, на который, как он меня уверял, «можно положиться». Все эти любезные услуги, его благожелательность и интересная беседа отвлекли меня, и я не сразу заметил, что мы едем по незнакомым мне местам. Мы, несомненно, свернули на дорогу, которой я не знал. Я с раздражением сказал об этом своему спутнику. И манеры и речь его сразу же стали прежними:

— Ну, что одна дорога, что другая — не все ли равно? А чем вам эта не нравится?

Я с достоинством возразил, что предпочел бы ехать по старой тропе.

— Может, и предпочли бы. Но сейчас вы едете со мной. Эта самая тропа выведет вас прямо к Индейскому ручью, да так, что никто вас не заметит. Вы не бойтесь, я вас до места довезу.

Я почувствовал, что пора и мне поставить на своем. Я ответил твердо, но вежливо, что собираюсь переночевать у одного моего друга.

— Это где же?

Я колебался. Мой друг приехал из восточных штатов и здесь приобрел репутацию человека оригинального, утонченного и затворника. Мизантроп, с большими связями и большими средствами, он избрал уединенную, но живописную долину в Сьерре, где мог без помех отгородиться от мира. «Глухая долина» (или «Бостонское ранчо», как ее попросту называли) была местом, которое обычный старатель уважал и побаивался. Мистер Сильвестр, владелец ранчо, никогда не водил особой дружбы с «ребятами», но и никогда не вмешивался в их дела. Если уединение было его целью, то он достиг ее. Тем не менее в сгущающихся сумерках и на пустынной и неизвестной мне тропе я не решался назвать его имя незнакомцу, о котором так мало знал. Но мой таинственный спутник не оставил мне другого выхода.

— Послушайте, — неожиданно сказал он, — остановиться вам тут негде, кроме как на ранчо Сильвестра.

Мне пришлось согласиться с этим.

— Ну что же, — сказал незнакомец спокойно и с таким видом, будто оказывал мне одолжение, — я, пожалуй, могу остановиться там с вами. Это, конечно, крюк, и я потеряю время, ну да ничего.

Я быстро и настойчиво стал ему объяснять, что не настолько близок с мистером Сильвестром, чтобы являться к нему с незнакомым человеком, что он не похож на здешний народ, — короче, что он чужак, и прочее, и прочее.

К моему удивлению, мой спутник спокойно ответил:

— Все это пустяки. Я о нем слышал. А если вы боитесь, что везете кота в мешке, так положитесь на меня. Я все устрою сам.

Что я мог противопоставить спокойной уверенности этого человека? Я почувствовал, что краснею от злости и растерянности. Что скажет благовоспитанный Сильвестр? Что скажут девушки — я был тогда молодым и завоевал право посещать их гостиную своей сдержанной корректностью, свойством, для которого у «ребят» было другое, менее лестное название, — что скажут девушки о моем новом знакомом? Однако что я мог возразить? Ведь он брал всю ответственность на себя, а к тому же мне было немного стыдно своей растерянности.



Мы стали спускаться в Глухую долину. Внизу уже мерцали огни уединенного ранчо. И тут я повернулся к моему спутнику.

— Но вы забыли, что я даже не знаю вашего имени. Как я должен вас представить?

— Это верно, — сказал он задумчиво. — «Кирни» — вроде бы неплохая фамилия. И короткая и легко запоминается. И во Фриско есть улица — называется Кирни.

— Но... — начал я с досадой.

— Предоставьте все это мне, — перебил он меня с такой великолепной самоуверенностью, что мне оставалось только восхищаться. — Ну что такое фамилия? Человек — вот что важно. Если я, скажем, собираюсь прикончить человека по фамилии Джонс, а как его подстрелю, то на следственном суде узнают, что настоящая-то его фамилия Смит, мне же все равно, лишь бы это был тот самый человек.

Столь яркий пример не слишком меня ободрил, но мы уже приехали на ранчо. Залаляли собаки, и Сильвестр вышел на порог маленького домика, который построил с большим вкусом.

Я сдержанно представил мистера Кирни.

— Ну что же, пусть будет Кирни, для меня Кирни вполне подходит, — к моему ужасу и к очевидному изумлению Сильвестра, вполголоса заметил мнимый Кирни, а затем с полной невозмутимостью объявил, что должен сам присмотреть за своей лошастью. Когда он отошел на достаточное расстояние, я отвел недоумевающего Сильвестра в сторону.

— На дороге я подобрал... то есть меня подобрал на дороге тихий помешанный, фамилия которого не Кирни. Он вооружен до зубов и цитирует Диккенса. Если слушать его, ни в чем ему не возражать и во всем уступать, то, пожалуй, его можно не опасаться. Без сомнения, зрелище вашего беспомощного семейства, созерцание красоты и юности вашей дочери могут тронуть его и пробудить в нем добрые чувства. Да поможет вам бог и простите меня!

Я побежал наверх в маленькую комнатку, которую мой гостеприимный хозяин всегда, когда бы я ни приехал, предоставлял в мое распоряжение. Пока я умывался, снизу до меня доносился голос Сильвестра, ленивый и барственный, и голос моего таинственного знакомого, столь же невозмутимый, но несколько вульгарный.

Когда я спустился в гостиную, я был удивлен, увидев, что мнимый Кирни спокойно восседает на диване, кроткая Мэй Сильвестр, «Лилия Глухой долины», сидит рядом с ним и слушает его с благоговейным трепетом и искренним интересом, пока ее кузина Кэт, отъявленная кокетка, сидя по другую руку незнакомца, строит ему глазки с почти неподдельным восторгом.

— Кто ваш восхитительно-невозмутимый друг? — шепнула она мне за ужином. (Я, крайне изумленный и смущенный, сидел между Мэй Сильвестр, которая как замороженная ловила каждое его слово, и этой ветреной современной девушкой, которая пускала в ход все свои чары, чтобы хоть как-то привлечь к себе его внимание.) — Конечно, мы знаем, что его фамилия не Кирни. Как это романтично! Ну, разве он не милый? Кто он?

Я ответил с суровой иронией, что мне не известно, какой именно иноземный властелин путешествует сейчас инкогнито по калифорнийской Сьерре, но что, когда его королевскому высочеству заблагорассудится сообщить мне свое имя, я буду счастлив представить его по всем правилам.

— До тех пор, — добавил я, — боюсь, что знакомство это будет морганатическим.

— Вы просто ему завидуете! — заявила она дерзко. — Поглядите на Мэй: она просто очарована. И ее отец тоже.

И действительно, презрительный, уставший от жизни скептик Сильвестр глядел на незнакомца с мальчишеским интересом и восторгом, совершенно не вязавшимся с его характером. Но, право же, я не мог усмотреть в этом человеке ничего, кроме того, что уже известно читателю, и, думаю, всякий благоразумный человек со мной согласится.

В середине захватывающего рассказа, героем которого был сам «Кирни», о чем сразу же догадались его прекрасные слушательницы, он внезапно остановился.

— Наверное, какие-то старатели едут по мосту вниз, — объяснил Сильвестр. — Продолжайте же!

— А может, это моя лошадь балует, — ответил Кирни. — Не привыкла она жить по конюшням.

Бог знает, какой восхитительный и романтический намек крылся в этих простых словах, но девушки, когда он бесцеремонно вышел из-за стола, переглянулись и порозовели.

— Какой милый! — воскликнула Кэт с волнением. — И какой остроумный!

— Остроумный! — с вызовом ответила нежная Мэй. — Остроумный, моя дорогая? Разве ты не видела, что сердце его разрывается от сострадания! Остроумный! Ведь когда он рассказывал об этой бедной мексиканке, которую повесили, я видела, как слезы показались на его глазах. Остроумный!

— Слезы! — засмеялся скептик Сильвестр. — Слезы, беспричинные слезы! Глупенькие девочки, этот человек умудрен жизненным опытом, он философ, спокойный, наблюдательный и скромный.

«Скромный»! Неужели Сильвестр был пьян или незнакомец подбросил в его стакан «дурманной травки»? Он вернулся раньше, чем я успел разгадать эту загадку, и невозмутимо закончил свой рассказ. Обнаружив, что меня забыли ради человека, которого я даже не сразу решился представить моим друзьям, я рано ушел к себе и два часа спустя был вынужден выслушивать через тонкие перегородки похвалы, которые девушки в соседней комнате расточали новому гостю, болтая перед сном.

В полночь топот копыт и звон шпор у ворот разбудили меня. Разговор между моим хозяином и таинственными посетителями велся так тихо, что я не мог понять, о чем они говорят. Когда кавалькада отъехала, я высунулся из окна:

— Что случилось?

— Ничего, — хладнокровно ответил Сильвестр. — Просто еще одно из тех шутовских убийств, столь обычных для здешних краев. Сегодня утром в Легрейндже Чероки Джек кого-то застрелил, и теперь шериф Калавераса со своими людьми гонится за ним. Я ему сказал, что никого, кроме вас и вашего друга, не видел. Кстати, надеюсь, что этот проклятый шум не разбудил его. Бедняга, кажется, нуждается в отдыхе.

В последнем я не сомневался. Тем не менее я тихонько вошел в его комнату. Она была пуста. Полагаю, он опередил шерифа Калавераса часа на два.

---

# Великая дедвудская тайна

## ЧАСТЬ I

На телеграфе поселка Коттонвуд — округ Туоламна, Калифорния, — становилось темно. Помещение телеграфа — похожий на ящик закуток — отделялось от зала «Гостиницы рудокопов» лишь тонкой перегородкой, и коттонвудский телеграфист, он же продавец газет и рассыльный, закрыв свое окошечко, томился у газетного прилавка перед уходом домой. На улице, в меркнувшем свете декабрьского дня, с крыши веранды струйками стекал первый в этом сезоне унылый дождь. Долгие часы безделья были для телеграфиста не в новинку, и все же его быстро одолела скука.

По полу веранды глухо застучали облепленные грязью сапоги — появление двух посетителей сулило кратковременное развлечение. Он узнал двух почтенных граждан Коттонвуда. Их вид был очень деловым. Один из посетителей подошел к столу, написал телеграмму и с молчаливым вопросом показал ее товарищу.

— Вроде то, что надо, — подтвердил тот.

— Я ведь подумал, что лучше бы дать его доподлинные слова.

— Правильно.

Первый повернулся к телеграфисту.

— Ты скоро ее отправишь?

Телеграфист профессиональным взглядом оценил адрес и длину текста.

— Сразу же, — живо ответил он.

— А дойдет когда?

— Сегодня вечером. Но доставят ее только завтра.

— Отправь ее побыстрее да передай, что за доставку приплачена лишняя двадцатка.

Привыкший к щедрым приплатам за скорость, телеграфист ответил, что вместе с текстом сообщит об их предложении на телеграф Сан-Франциско. Затем он взял телеграмму, прочитал ее и... перечитал. Он сделал это с обычным профессиональным безразличием — на своем веку ему приходилось передавать немало куда более загадочных и таинственных посланий, и все же, прочитав такое, он в недоумении поглядел на клиента. Сей джентльмен, известный склонностью к внезапным вспышкам гнева и револьвера, встретил его взгляд несколько нетерпеливо. Телеграфист прибегнул к хитрости. Притворившись, будто не разбирает текста, он вынудил клиента прочесть написанное вслух во избежание ошибки и даже предложил внести поправки якобы для ясности, а на самом деле, чтобы выудить еще какие-нибудь сведения. Однако клиент ничего не пожелал изменить. Телеграфист неуверенно подошел к аппарату.

— Тут, надеюсь, ошибки не выйдет? — добавил он полувопросительно. — Она адресована Райтбоди, бостонскому богачу, которого все знают. Другого-то нет?

— Адрес правильный, — холодно ответил первый клиент.

— А я и не слыхал, что старик вкладывал денежки в наших краях, — закинул удочку телеграфист, все еще мешкая у аппарата.

— И я тоже, — последовал маловразумительный ответ.

Несколько секунд слышался лишь треск, пока телеграфист работал ключом с обычным в таких случаях выражением лица: словно поверял секрет довольно неотзывчивому слушателю, который предпочитает, чтобы слушали его самого. Оба клиента стояли рядом, следя за его движениями со столь же обычным благоговением непосвященных. Когда он кончил, оба положили перед ним по золотому. Убирая деньги, телеграфист не удержался от вопроса:

— Старик-то, видно, помер в одночасье? Сам и написать не успел?

— Помер, как таким и положено, — прозвучал обескураживающий ответ.

Но телеграфист не давал сбить себя с толку.

— Если придет ответ... — начал он.

— Ответа не будет, — невозмутимо объявил клиент.

— Почему?

— Потому как пославший телеграмму — уже покойник.

- Но телеграмму-то подписали вы оба?

- Только как свидетели. А? — обратился первый клиент к своему спутнику.

- Только как свидетели... — подтвердил второй.

Телеграфист пожал плечами. Когда все было закончено, первый клиент явно почувствовал облегчение. Он кивнул телеграфисту и направился в буфет, по-видимому, ища общества ближних. Когда оба поставили на стол пустые рюмки, первый посетитель весело обругал тяжелые времена и погоду, как видно, полностью выкинув из головы недавние хлопоты, и вместе с приятелем неторопливо вышел на улицу. На углу они остановились.

— Так, стало быть, это дело сделано, — проговорил первый, очевидно, чтобы избежать невольного замешательства при прощании.

— Это верно, — подтвердил приятель и пожал ему руку.

Они разошлись. Порывистый ветер промчался меж сосен, провода над их головой вздохнули, как эолова арфа, и дождь и тьма снова неспешно окутали Коттонвуд.

Телеграмма слегка задержалась в Сан-Франциско, полчаса полежала в Чикаго, но ей пришлось к тому же пересечь несколько часовых поясов, и ночной телеграфист принял ее в Бостоне уже после полуночи. Но, снабженная мандатом сан-францисского телеграфа об оплаченной доставке, она была тут же вручена курьеру, который поспешил с ней по заснеженным темным улицам, между высокими домами с наглухо закрытыми ставнями, без единого лучика света, к чопорной площади с покрытыми снегом статуями, придававшими ей призрачный вид. Он поднялся по широким ступеням строгого особняка и повернул бронзовый звонок, который где-то в глубине недоступных покоев после настороженной раздумчивой паузы холодно возвестил о том, что у дверей ждет кто-то чужой, как и положено чужому.

Несмотря на поздний час, из окон пробивался свет, не настолько яркий, чтобы обрадовать посыльного вестью о веселье в этих стенах, но все же свидетельствующий о каком-то затянувшемся чинном празднестве. Мрачный слуга, приняв телеграмму и расписавшись в получении ее с таким скорбным видом, словно заверял последнее волеизъявление и завещание, почтительно остановился у дверей гостиной. Из ее плотно задернутых порттьерами глубин доносились звуки размеренной ораторской речи, из-



редка прерываемой катаральным покашливанием уроженца Новой Англии — единственное проявление не до конца подавленных потребностей природы. В этот вечер хозяева принимали у себя несколько именитых персон, и в эти минуты, по крылатому выражению одного из гостей, «история страны» отклонивалась, облекая прощание в более или менее памятные и оригинальные фразы. Иные из этих афоризмов были интересны, другие остроумны, некоторые глубокомысленны, но все без исключения преподносились как щедрый дар хозяину дома. Иные из них были заготовлены давно и как визитная карточка уже представляли гостя в других домах.

Когда последний гость откланялся и укатил последний экипаж, слуга осмелился уведомить о телеграмме своего хозяина, который стоял на ковре перед камином с усталым видом человека, добродетельно выполнившего свой долг. Он взял телеграмму, распечатал ее, прочитал и сказал:

— По-видимому, тут какая-то ошибка. Это не мне, Уотерс. Позовите посыльного.

Уотерс, не сомневаясь, что посыльный давно ушел, все же послушно направился к двери, но хозяин внезапно остановил его:

— Впрочем, пока не важно.

— Что-нибудь серьезное, Уильям? — спросила миссис Райтбоди с томной супружеской тревогой.

— Нет. Ничего. В моем кабинете есть огонь?

— Да. Но перед уходом не можешь ли ты уделить мне минуту-другую?

Мистер Райтбоди несколько нетерпеливо повернулся к супруге. В небрежной позе она откинулась на диване, ее прическа слегка растрепалась, платье приоткрыло туфлю. Вполне вероятно, что миссис Райтбоди обладала прекрасными формами, но даже и это декольтированное платье создавало впечатление, что она покрыта фланелевой броней и что она блистает красотой ровно настолько, насколько это совместимо со строгими требованиями медицины.

— Миссис Марвин сообщила мне сегодня вечером, что ее сын питает к нашей Элис самые глубокие чувства, и если я не возражаю, мистер Марвин будет рад говорить с тобой сразу же.

Казалось, эта новость не привлекла рассеянного внимания мистера Райтбоди, а, напротив, усилила его нетерпение. Он торопливо ответил, что об этом они поговорят

завтра, и затем отчасти в отместку и отчасти из желания переменить тему добавил:

— Право же. Джеймсу следует лучше следить за за-слонками и термометром. Сегодня в гостиной было выше двадцати одного градуса, а отдушина вентилятора оставалась закрытой.

— Но ведь в этом углу сидел профессор Эммон, а у него ужасно чувствительные железы.

— Он должен был бы знать мнение доктора Дайера Дойта, что систематическое и постоянное пребывание на сквозняке лишь укрепляет слизистую оболочку, тогда как неподвижный воздух, достигнув температуры свыше восемнадцати градусов, неизбежно...

— Боюсь, Уильям,— прервала миссис Райтбоди, с женской ловкостью поворачивая разговор так, чтобы ее супругу расхотелось развивать избранную им же тему,— боюсь, многие еще не сумели оценить замену пунша и мороженого бульоном. Я заметила, как мистер Спонди от него отказался и, по-моему, был разочарован. Фибрин и солод в ликерных рюмках тоже остались нетронутыми.

— А ведь каждые полпорции содержат такое же количество питательных веществ, что и фунт наполовину переваренной говядины. Спонди меня просто поражает,— огорчился мистер Райтбоди.— Истощая свой мозг и нервную энергию ревностным служением музе, он все же предпочитает разбавленный ароматизированный алкоголь с примесью углекислого газа. Даже миссис Фарингуэй согласилась со мной, что резкое понижение температуры желудка посредством введения моро...

— Однако на последнем заседании нашего благотворительного общества она съела лимонное мороженое и спросила меня, известно ли мне, что низшие животные отказываются от пищи при температуре выше восемнадцати градусов.

Мистер Райтбоди снова нетерпеливо направился к двери. Миссис Райтбоди окинула его пытливым взглядом.

— Надеюсь, ты не будешь сейчас работать? Доктор Кеплер только что сказал мне, что при твоих церебральных симптомах длительное мозговое напряжение противопоказано.

— Мне нужно просмотреть кое-какие бумаги,— коротко ответил мистер Райтбоди, удаляясь в библиотеку.

Это было богато обставленное помещение, отличавшееся удручающей мрачностью, вполне симптоматичной для унылой диспепсии, свирепствовавшей в искусстве тех лет. Кое-где были расставлены антикварные вещицы,

столь же уродливые, сколь редкостные. Бронзовые и мраморные статуэтки и гипсовые отливки — все нуждались в пояснениях и таким образом давали пищу для беседы и возможность владельцу блеснуть эрудицией перед слушателями. Сувениры, приобретенные во время путешествий, были обязательно связаны с какой-нибудь историей, а каждая безделушка обладала длинной родословной, но среди всех этих вещей не нашлось бы ни одной, которая стоила бы внимания сама по себе. Всюду и во всем подчеркивалось превосходство над ними их хозяина. И вполне естественно, что никто в этой комнате не хотел задерживаться; слуги избегали заходить туда, и ни один ребенок никогда там не играл.

Мистер Райтбоди повернул газовый рожок, достал из бюро с аккуратно пронумерованными ящиками пачку писем и начал их внимательно просматривать. Все они поблекли, всем время придало почтенный вид. Однако в своей первоначальной яркости некоторые из них были всего лишь пустячными записками и никак не вязались с представлением о корреспондентах мистера Райтбоди. И все же этот джентльмен несколько минут внимательно перечитывал именно их, время от времени сверяясь с телеграммой, которую держал в руке... Внезапно в дверь постучали. Мистер Райтбоди вздрогнул, почти бессознательно сунул письмо на место, положил телеграмму текстом вниз и лишь тогда резко сказал:

— Э-э... Кто там? Войдите!

— Прости, пожалуйста, папа, — сказала очень хорошенькая девушка, войдя в комнату, не обнаружив ни малейшего признака смущения или страха и тотчас опускаясь на стул, словно была тут частой гостьей. — Но зная, что ты в такой поздний час не работаешь, я решила, что ты не занят. Я иду спать.

Она была настолько хороша собой и вместе с тем настолько не сознавала этого или, быть может, настолько осознанно игнорировала данное обстоятельство, что невольно заставляла посмотреть на себя еще раз, и более внимательно. Правда, это позволяло лишь убедиться в ее красоте и обнаружить, что ее темные глаза очень женственны, яркий цвет лица говорит о здоровье, а великолепно очерченные губы достаточно полны, чтобы становиться страстными или капризными, хотя их обычное выражение не предполагало ни склонности к капризам, ни женской слабости, ни страстей.

Застигнутый врасплох, мистер Райтбоди, как это бывает, заговорил о том, о чем не хотел говорить.

— Я полагаю, нам следует побеседовать завтра... — он запнулся, — о тебе и мистере Марвине. Миссис Марвин уже сообщила твоей матери о намерениях своего сына.

Мисс Элис подняла на него свои ясные глаза, без недоумения, но и без особой радости, и румянец на ее круглых щечках был вызван скорее решимостью, нежели смущением.

— Да, он сказал мне, — ответила она просто.

— В настоящее время, — продолжал мистер Райтбоди, все еще неловко, — я не вижу возражений против этого союза.

Мисс Элис широко раскрыла свои круглые глаза.

— Но, папа, мне казалось, что все давным-давно решено. Мама знала, ты знал. Вы же все обсудили в июле.

— Да, да, — ответил ее отец, беспокойно перебирая свои бумаги, — то есть... словом... мы поговорим об этом завтра.

Мистер Райтбоди намеревался сообщить дочери эту новость с должной серьезностью и торжественностью, в приличествующих случаю четко сформулированных фразах и с подобающими сентенциями, но почувствовал, что просто не в состоянии этого сделать теперь.

— Я доволен, Элис, — сказал он затем, — что ты выбросила из головы прежние причуды и капризы. Как видишь, мы были правы.

— Если уж вообще выходить замуж, папа, то мистер Марвин во всех отношениях подходящая партия.

Мистер Райтбоди пристально посмотрел на дочь. Он не заметил ни тени раздражения или горечи на ее лице.

Оно было так же спокойно, как и чувство, которое она только что выразила.

— Мистер Марвин... — начал он.

— Я знаю мистера Марвина, — прервала его мисс Элис, — и он обещал мне, что я буду продолжать занятия так же, как и раньше. Я кончу вместе с моим классом, и если захочу, то через два года после свадьбы смогу работать.

— Через два года? — удивленно спросил мистер Райтбоди.

— Да. Видишь ли, если у нас будет ребенок, к этому времени я как раз кончу его кормить.

Мистер Райтбоди смотрел на плоть от своей плоти, на эту прелестную осязаемую плоть, но перед разумом от его разума он смешался и кротко ответил:

— Да, конечно. Побеседуем обо всем этом завтра.

Мисс Элис поднялась. Что-то в свободном, непринужденном взмахе рук, которые она, подавив зевок, опустила на изящные бедра, побудило его добавить, правда, столь же рассеянно и нетерпеливо:

— Я вижу, ты продолжаешь оздоровительные упражнения...

— Да, папа. Но я перестала носить фланелевое белье. Просто не понимаю, как мама его терпит. Зато я ношу закрытые платья, а кожу закаляю прохладными ваннами. Взгляни-ка! — сказала она и с детской непосредственностью расстегнула две-три пуговицы, показав отцу снежной белизны шею. — Я теперь не боюсь простуды.

Мистер Райтбоди наклонился и с подобием отцовской добродушной усмешки поцеловал ее в лоб.

— Уже поздно, Элли, — сказал он наставительно, но не категорическим тоном. — Пора спать.

— Я спала днем целых три часа, — ответила мисс Элис с ослепительной улыбкой. — Чтобы выдержать этот вечер. Спокойной ночи, папа. Так, значит, завтра.

— Завтра, — повторил мистер Райтбоди, все еще не сводя с нее рассеянного взгляда. — Спокойной ночи.

Мисс Элис упорхнула из библиотеки, возможно, с чуть более легким сердцем именно оттого, что рассталась с отцом в одну из редчайших минут, когда он поддался столь нелогичной человеческой слабости. И, пожалуй, было хорошо, что бедняжка сохранила все последующие годы именно это воспоминание о нем, когда, боюсь, и его методы, и его наставления, и все, чем он старался заполнить детство дочери, исчезло из ее памяти.

После ухода Элис мистер Райтбоди снова принялся просматривать старые письма. Это занятие так поглотило его, что он даже не услышал шагов миссис Райтбоди на лестнице, когда она шла в свою спальню, ни того, что она остановилась на площадке, чтобы сквозь застекленную половину двери взглянуть на своего супруга, подле которого на столе лежали письма и распечатанная телеграмма. Помедли миссис Райтбоди хоть мгновение, и она увидела бы, как муж ее поднялся и подошел к дивану с видом взволнованным и растерянным, так что даже не сразу решился прилечь, хотя был бледен и явно близок к обмороку. Помедли миссис Райтбоди хоть немного, и она увидела бы, как с отчаянным усилием он вновь поднялся, шатаясь, добрался до стола, с трудом, почти ощупью, собрал листки писем, убрал пачку на место, запер бюро, а затем, почти теряя сознание, подержал над газовым рожком телеграмму, пока она не сгорела. Ибо, задержись миссис

Райтбоди до этого мгновения, она бы тут же кинулась на помощь супругу, когда он, совершив задуманное, вдруг зашатался, тщетно попытался дотянуть руку до звонка и рухнул ничком на диван.

Но, увы, ни рука провидения, ни чья-либо случайная рука не поднялись спасти его или приостановить ход этого рассказа. И когда полчаса спустя миссис Райтбоди, несколько обеспокоенная и чрезвычайно возмущенная нарушением предписаний доктора, появилась на пороге, мистер Райтбоди лежал на диване бездыханный.

Среди переполоха, топота ног, вторжения посторонних, беготни взад-вперед, а более всего в стихии порывов и чувств, не проявлявшихся в доме при жизни его хозяина, миссис Райтбоди тщила вернуть исчезнувшую жизнь, но напрасно. Светило медицины, поднятое с постели в столь неурочный час, узрело лишь наглядное доказательство своей теории, изложенной год тому назад. Мистер Райтбоди умер — никакого сомнения, никакой таинственности, — умер, как положено порядочному человеку, по законам логики, что и было засвидетельствовано высшим медицинским авторитетом.

Но даже в этом смятении миссис Райтбоди все же послала слугу на почту за копией телеграммы, полученной мистером Райтбоди и нигде не обнаруженной после его смерти.

В уединении своей комнаты, совсем одна она прочитала следующее:

КОПИЯ  
МИСТЕРУ АДАМСУ РАЙТБОДИ, БОСТОН, МАССАЧУСЕТС.  
ДЖОШУА СИЛСБИ СКОРОПОСТИЖНО ПОМЕР СЕГОДНЯ УТРОМ.  
ЕГО ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА, ЧТОБЫ ВЫ ПОМНИЛИ О СВЯЩЕННОЙ  
КЛЯТВЕ, ДАННОЙ ВАМИ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД.

(Подпись) Семьдесят четвертый

Семьдесят пятый

В доме скорби среди соболезнований тех, кто приходил взглянуть на едва остывшие черты их покойного друга, миссис Райтбоди все же послала другую телеграмму. Она была адресована в Коттонвуд «Семьдесят четвертому и семьдесят пятому». Через несколько часов был получен следующий загадочный ответ:

«КОНОКРАДА ПО ИМЕНИ ДЖОШ СИЛСБИ ЛИНЧЕВАЛ ВЧЕРА  
УТРОМ КОТТОНВУДСКИЙ КОМИТЕТ БДИТЕЛЬНЫХ».

## ЧАСТЬ II

Весна 1874 года задержалась в калифорнийских горах. Настолько, что некие приезжие с востока, слишком рано отважившиеся отправиться в Йосемитскую долину, в одно прекрасное майское утро попали в снеж-



ный буран на открытых всем ветрам отрогах Эль Капитана. В каньоне Верхнего Морседа натиск ветра был столь неистов, что даже такая благовоспитанная дама, как миссис Райтбоди, была вынуждена ухватиться за шею своего проводника, чтобы усидеть в седле, а мисс Элис, презревшая мужскую помощь, прелестным ворохом упала на заснеженный склон ущелья. Миссис Райтбоди испустила отчаянный вопль, мисс Элис что-то в ярости пробормотала себе под нос, но на ноги вскочила в полном молчании.

— Я же тебе говорила, — возмущенно зашептала миссис Райтбоди, когда дочь добралась до нее, — я тебя предупреждала, Элис, чтобы... чтобы...

— Чтобы что? — резко перебила мисс Элис.

— Чтобы ты захватила теплые рейтузы и сапожки, — вполголоса продолжала укорять свою дочь миссис Райтбоди, чуть поотстав от проводников.

Мисс Элис презрительно пожала своими очаровательными плечиками, пропустив замечание матери мимо ушей, и только сердито заметила:

— Тебя же предупреждали, что в это время года не следует спускаться в долину.

Миссис Райтбоди недовольно подняла глаза на свою дочь.

— Ты знаешь, как я жажду поскорее узнать, кто этот таинственный корреспондент твоего отца. Ты просто бессердечна.

— Ну, а если ты найдешь его, что тогда? — спросила мисс Элис.

— Что тогда?

— Вот именно. Я уверена, что телеграмма окажется обыкновенным деловым шифром, и все эти поиски ты предприняла зря.

— Элис! Но ведь тебе самой в тот вечер поведение отца показалось очень странным. Разве ты забыла?

Элис об этом помнила, но по какой-то своей чисто женской логике не пожелала хоть с чем-то согласиться в минуту, когда воспоминание о недавнем полете в снег было еще слишком свежо.

— А эта женщина, кто бы она ни была... — продолжала миссис Райтбоди.

— Откуда тебе известно, что тут замешана женщина? — прервала ее мисс Элис, боюсь, из чистого духа противоречия.

— Откуда... мне... известно... что тут замешана женщина? — медленно проговорила миссис Райтбоди, совсем обессилев от необходимости пробираться по снегу и от негодования, вызванного столь нелепым вопросом.

Тут проводник поспешил к ней на помощь, и разговор прервался. Путешественникам предстояло разрешить нелегкую задачу.

До единственного пристанища на этом пути — до хижины торговца, устроившего у себя нечто вроде гостиницы, — оставалось всего полмили, но тропа тут огибала скалистый утес и проходила почти по самому краю каньона. Туда вел крутой спуск ярдов сто в длину, и проводники на минуту остановились посоветоваться, хладнокровно игнорируя и панические вопросы миссис Райтбоди и почти оскорбительную независимость ее дочери. Старший проводник был русобородый толстый весельчак, младший — с черной бородкой, стройный и угрюмый.

— Коли ты уломаешь молодую мисс бостонку спуститься у тебя на спине, то маменьку я как-нибудь стащу, — донеслось до возмущенного слуха миссис Райтбоди предложение ее личного телохранителя.

— Спускайте маменьку, но если дочка вздумает прокатиться в одиночку, на меня не рассчитывайте, — загадочно ответил молодой проводник.

Мисс Элис услышала оба эти высказывания, и не успели проводники вернуться к ним, как отважная девушка погнала лошадь вниз по крутой тропе.

Увы! В этот миг на нее обрушился снежный вихрь. Лошадь поскользнулась, всадница дернула не за тот повод, и вот, несмотря на все мужественные попытки подняться, и лошадь и всадница постыднейшим образом заскользили к скалистому обрыву. Миссис Райтбоди вскрикнула. Поднявшись из хаоса снежных комьев и льда, мисс Элис повернулась к молодому проводнику, и ее раскрасневшееся лицо стало еще более сердитым, потому что на его лице она заметила тень раздражения.

— Не двигайтесь. Возьмите лас, обвяжитесь под мышками, а другой конец бросьте мне, — спокойно сказал он.

— А что такое «лас»? Это лассо? — брезгливо осведомилась мисс Элис.

— Да, сударыня.

— Так бы и говорили!

— О, Элис! — с упреком вставила миссис Райтбоди, чью талию надежно обнимала рука ее спутника.

Мисс Элис, не удостоив ее ответом, накинула петлю лассо себе на плечи и дала ей соскользнуть до стройной

тали. Затем она попыталась подбросить конец лассо до проводника. Плачевная неудача! При первом броске она чуть не слетела в пропасть, при втором конец лассо без толку ударился о скалистый обрыв, при третьем зацепился за колючий куст в двадцати футах под проводником. Рука мисс Элис беспомощно повисла, и, поняв этот сигнал о безоговорочной капитуляции, молодой человек кинулся вниз по склону, добрался до куста, секунду висел над пропастью, закрепил лассо и начал подтягивать свой очаровательный груз. Впрочем, мисс Элис помогала ему, как могла, и карабкалась на четвереньках по скале. Однако, очутившись в двух-трех футах от своего спасителя, она вспомнила о своем достоинстве, выпрямилась и всей тяжестью повисла на веревке. Проводник дернул изо всех сил, что привело к прискорбным последствиям: она почти угодила в его объятия. При этом ее умный лоб столкнулся с его носом и, — я должен с сожалением добавить, повествуя о столь романтической ситуации, — из этого украшения на лице героя хлынула кровь. Мисс Элис немедленно набрала горсть снега и прижала ее к раненому носу.

— Поднимите правую руку! — властно приказала она. Он неохотно повиновался.

— Это сжимает артерию.

Ни один человек не способен изречь героическую фразу, когда хорошенькая женщина прижимает снег к его носу и губам, как не способен и принять героическую позу, когда его рука вытянута вверх, как палка. Но, как только рот проводника наконец освободился от снега, он сказал полусердито, полуизвиняясь:

— Конечно, нечего было ждать, что девушка сумеет что-то бросить дальше двух шагов.

— Почему? — резко спросила мисс Элис.

— Потому что... э-э... потому что у них нет опыта, — вымолвил он, запинаясь.

— Глупости! Все дело в ключице! Я женщина, и поэтому ключица у меня меньше, и это мешает мне размахнуться как следует. Поняли? — Она слегка расправила плечи, и ее темные глаза гневно сверкнули. — Опыт! Вот еще! Девушка может научиться всему, что умеет юноша.

У ее слушателя досада сменилась тревогой. Он отвел глаза и посмотрел вверх. Старший проводник ушел вперед за лошадью мисс Элис, которая, освободившись от всадницы, пробиралась через сугробы к тропе. Миссис Райтбоди нигде не было видно. А они по-прежнему стояли на двадцать футов ниже тропы.

Наступила неловкая пауза.

— Ну как, поднять вас наверх тем же способом? — спросил молодой проводник.

Мисс Элис поглядела на его нос, не зная, что ответить.

— Или обопретесь на мою руку? — сердито добавил он, теряя терпение.

К его удивлению, мисс Элис взяла его за руку, и они стали взбираться по склону вместе.

Подъем был труден и опасен. Раза два мисс Элис поскользнулась на гладком камне, скрытом снегом, и в душе очень обрадовалась, когда ее спутник, не доверяя слабой женской хватке, обнял ее за талию своей сильной рукой. Нельзя сказать, чтобы он был не деликатен, но мисс Элис с досадой решила, что несколько раз он воспользовался своей силой слишком уж грубо. Однако в следующее мгновение она вряд ли призналась себе в том, что обратила на это внимание. Однако сомнения не вызывало одно: он в самом деле был очень угрюм.

Преодолев последний откос, молодые люди наконец выбрались на тропу, но при этом мисс Элис ударилась плечом о торчащий камень и вскрикнула от боли, впервые проявив женскую слабость. Проводник тотчас остановился.

— Я вам сделал больно?

Она подняла свои каштановые ресницы, чуть увлажненные страданием, посмотрела ему в глаза и опустила свои, сама не зная, почему. А ведь лицо у него было доброе, несмотря на мрачное выражение, и к тому же красивое, хотя небритое и обветренное. Глаза мисс Элис еще никогда не смотрели так близко в глаза другого мужчины, если не считать ее жениха; но даже в тех глазах ей никогда не случалось прочитать так много. Она легонько высвободила руку, вовсе не оттого, что вспомнила про жениха, а скорее потому, что ей хотелось подумать о столь необычайном открытии, и она вдруг почувствовала что-то вроде испуга.

Да и молодой проводник был смущен не менее. Прошло всего несколько дней с тех пор, как он согласился сопровождать эту молодую девушку по предложению своего старшего товарища, который, будучи давним корреспондентом ее отца, стал, естественно, главным телохранителем семейства Райтбоди. Нанятый как обычный проводник, молодой человек приступил к выполнению своих обязанностей с тем рыцарским воодушевлением, с которым каждый средний калифорниец всегда готов услужить представительницам прекрасного пола, столь

немногочисленным в здешних местах. Но иллюзии его вскоре рассеялись, и он повел себя с угрюмой деловитостью, тем самым подвергаясь меньшей опасности. И лишь когда случай взывал к его мужественности или выдавал ее женскую слабость, молодой проводник забывал о своем уязвленном самолюбии.

Теперь он с мрачным видом шагал вперед, старательно прокладывая для нее путь к дальнему каньону, где их ожидали миссис Райтбоди и ее друг. Мисс Элис заговорила первой. В бездорожье неведомой страны страстей первой путь прокладывает женщина.

— Вы отлично знаете эти места. Вероятно, вы живете здесь давно?

— Да.

— Вы родились здесь или нет?

Долгая пауза.

— Я слышала, вас называют «Станисло Джо». Конечно, это не настоящее ваше имя? (Кстати сказать, мисс Элис его вообще никак не называла, обычно предваряя какую-нибудь просьбу небрежным: «О, будьте добры, мистер... э-э», — считая, что для человека его положения этого вполне достаточно.)

— Нет.

Мисс Элис (*трусая за ним и крича ему прямо в ухо*): Как вы сказали, вас зовут?

Он (*упрямо*): Не знаю.

И все же, когда они после получасовой схватки с бурным добрались до хижины, мисс Элис обратилась к мистеру Райдеру — спутнику ее матери.

— Как зовут человека, который ведет мою лошадь?

— Станисло Джо, — ответил мистер Райдер.

— Только и всего?

— Нет. Иногда его называют Джо Станисло.

Мисс Элис (*насмешливо*): Очевидно, у вас тут принято, чтобы молодых девиц сопровождали джентльмены, скрывающие свое настоящее имя?

Мистер Райдер (*крайне озадаченный*): Да что вы, мисс Элис! А я-то думал, что вы такая девушка, которая всегда сумеет...

Мисс Элис (*с голубиным смирением*): Оставим это, прошу вас!

Хижина показалась путешественницам не слишком удобным приютом, но когда миссис Райтбоди негодуя пожаловалась на это обстоятельство, благодушный мистер Райдер объявил ей, что, собственно, гостиница годится для жилья только летом, потому что сколочена из до-

сок, крытых парусиной и обклеенных обоями, да к тому же осенью ее частично разбирают.

— Вы бы там замерзли, — добавил он.

Однако мисс Элис заметила, что они оба ушли туда со своими трубками, после того, как приготовили дамам ужин с помощью индианки, которая не иначе как выросла из-под земли при появлении путешественников и столь же таинственно исчезла.

Еще прежде чем все уснули, в небе зажглись звезды, а утром яркое, ничем не заслоненное солнце с почтилетней силой било в лишенное ставен окно хижины и, будто подсмеиваясь, выставляло напоказ все ее убогое убранство: две-три грязные, наполовину вытертые полости из бизоньих шкур, медвежьей шкуру, несколько подозрительного вида одеял, ружья и седла, дощатые столы и бочки. Линялая ситцевая занавеска закрывала стену возле очага, но материя до того почернела от дыма и времени, что и женское любопытство не решилось нарушить ее тайну.

Миссис Райтбоди была в отличном настроении и сообщила дочери, что наконец нашла след неизвестного корреспондента покойного супруга.

— Семьдесят четвертый и Семьдесят пятый — это два члена комитета бдительных, дорогая, и мистер Райдер поможет нам их разыскать.

— Мистер Райдер! — с презрительным недоумением воскликнула мисс Элис.

— Элис, — сказала миссис Райтбоди, со странной поспешностью беря его под защиту. — Ты вредишь себе, ты вредишь мне своим высокомерием. Мистер Райдер — друг твоего отца и чрезвычайно сведущий джентльмен. Разумеется, я не сообщила ему о моих подозрениях. Но он поможет мне узнать то, что я должна и желаю знать. Ты могла бы обходиться с ним любезнее, во всяком случае, немножко лучше, чем с его слугой, твоим провожатым. Мистер Райдер — джентльмен, а не наемный проводник.

Мисс Элис вдруг насторожилась. И вскоре нарушила молчание вопросом:

— Почему ты не хочешь навести справки про Силсби... того, кто умер... или был повешен?

— Дитя, — промолвила миссис Райтбоди. — Разве ты не понимаешь, что никакого Силсби вообще не было или же он был доверенным лицом этой особы?..

Стук в дверь, возвестивший о прибытии мистера Райдера и Станисло Джо с лошадьми, прервал речь миссис Райтбоди. Пока привязывали поклажу, миссис Райтбоди



на минутку вышла для конфиденциальной беседы с мистером Райдером и, к великому неудовольствию юной девицы, оставила ее наедине со Станисло Джо. Настроение у мисс Элис было скверное, но она почувствовала, что все же надо что-то сказать.

— Вероятно, летом в гостинице можно найти помещение и получше этого? — начала она.

— Да.

— Значит, хижина не составляет ее части?

— Нет, сударыня.

— Кто же здесь живет?

— Я.

— П-прошу прощения, — запинаясь, проговорила мисс Элис. — Я думала, вы живете в том месте, где мы наняли... где мы с вами встретились... в этом... в этом... Извините, я...

— Я не профессиональный проводник, но время сейчас тяжелое, с харчами трудно, вот я и взял работенку.

«Харчи»! «Работенка»! А «работенка» — это она сама!

Что бы сказал Генри Марвин? Это его почти убило бы. Она и сама слегка испугалась и шагнула к двери.

— Одну минутку, мисс.

Молодая девушка остановилась в нерешительности. Он говорил угрюмо и в то же время с почти трогательной обидой. Любопытство взяло верх над благоразумием, и она вернулась обратно.

— В то утро, — торопливо начал он, — когда мы спустились в долину, вы меня дважды поддели.

— Я? Поддела вас? — повторила ошеломленная Элис.

— Да. Иными словами, вы меня опровергли. Один раз, когда объявили, что скалы вулканического происхождения, другой раз, когда сорвали цветок и утверждали, будто это мак. Я смолчал, мое дело маленькое, но пока вы там разглагольствовали, я бы мог вас как следует посадить...

— Я вас не понимаю, — надменно сказала Элис.

— Я бы мог вас загнать в ловушку при всех, но мне только хочется, чтобы вы знали, что я прав, а вот и книги для доказательства.

Он отдернул ветхую ситцевую занавеску и открыл взору мисс Элис полку с толстыми книгами, достал два увесистых тома — «Ботанику» и «Геологию», нервно полистав их, отыскал нужные страницы и вложил обе книги в протянутые руки мисс Элис.

— Я вовсе не намеревалась... — начала она отчасти высокомерно, отчасти смущенно.

Он прервал ее:

— Так я прав, мисс?

— Полагаю, что да, раз вы так утверждаете.

— Вот и все, сударыня. Благодарю.

И прежде чем она успела произнести хоть слово, он ушел. Она увидела своего проводника снова, только когда он привел ее лошадь. Миссис Райтбоди и Райдер уже ждали ее. Мисс Элис заметила, что лошади Станисло Джо нигде нет.

— Разве вы не едете с нами? — спросила она.

— Нет, сударыня.

— Вот как!

Мисс Элис понимала, что произносит пустые, ничего не значащие слова, но других у нее в эту минуту не нашлось. Зато она сумела кое-что сделать. До сих пор она всякий раз отвергала его помощь, усаживаясь в седло. Теперь она его ждала. Когда он приблизился, мисс Элис улыбнулась и выставила маленькую ножку. Он тотчас наклонился, она поставила ножку ему на ладонь, упруго подскочила, и одну дивную минуту Станисло Джо держал ее в объятиях. В следующий миг она была в седле, но за эти краткие шестьдесят секунд она успела произнести одну-единственную фразу, но значившую неизмеримо много:

— Надеюсь, вы меня простите!

Он что-то проговорил в ответ и быстро отвернулся, словно не хотел, чтобы она увидела его лицо.

Мисс Элис поскакала вперед с улыбкой на устах, но когда она догнала свою мать, глаза ее прятались под полями надвинутой шляпы. Лицо ее зарделось.

### ЧАСТЬ III

Мистер Райдер сдержал слово. Два дня спустя он появился в гостиной миссис Райтбоди в стоктоновской гостинице «Кристополис» и уведомил ее о том, что свиделся с таинственными отправителями телеграммы и они ждут сейчас в конторе гостиницы. Далее мистер Райдер сообщил ей о поставленном ими условии: они не хотят открывать свои настоящие имена и собираются представиться ей как «Семьдесят четвертый» и «Семьдесят пятый», те, кто подписал телеграмму ныне покойному мистеру Райтбоди.

Сперва миссис Райтбоди запротестовала, но мистер Райдер заверил ее, что иначе они вообще откажутся говорить с ней, и она в конце концов согласилась.

— Вы увидите, сударыня, они люди честные, хоть малость грубоваты. Если вам угодно, я могу остаться. Хотя, если бы вам это нужно было, так вы уполномочили бы меня действовать по доверенности, а не отмахали бы целых три тысячи миль самолично.

Миссис Райтбоди полагала, что ей лучше встретиться с ними одной.

— Хорошо, сударыня. Я буду тут за дверью, неподалеку, случись вдруг у вас в горле запершит да нападёт приступ сильного кашля, я вроде бы случайно загляну, спрошу, не надобно ли капель. Договорились? — И, чрезвычайно игриво подмигнув ей и фамильярнейшим образом слегка хлопнув ее по плечу, что могло заставить покойного мистера Райтбоди разнести свой склеп, он удалился.

Раздался удивительно робкий, неуверенный стук, и в комнату вошли два человека, чей рост, могучее телосложение и неотесанность как-то нелепо не соответствовали этому боязливому царапанью в дверь.

Один впереди, другой за ним следом дошли они до середины комнаты, предстали перед миссис Райтбоди, ответили на ее глубокий реверанс могучим рукопожатием, придвинули два стула и уселись напротив нее.

— Я полагаю, что имею удовольствие говорить с... — начала миссис Райтбоди.

Человек, сидевший прямо напротив нее, вопросительно покосился на товарища.

Тот кивнул и представился:

— Семьдесят четвертый.

— Семьдесят пятый, — тут же подхватил первый.

Мисс Райтбоди помолчала в некотором замешательстве.

— Я послала за вами, — начала она снова, — чтобы несколько подробнее выяснить обстоятельства, при которых вы, господа, послали телеграмму моему покойному мужу.

— Обстоятельства, — неторопливо начал Семьдесят четвертый, искоса глянув на товарища, — они, стало быть... закрутились в таком виде... Повесили мы в Дедвуде одного человека, по имени Джош Силсби. За конокрадство. Коли я говорю «мы», стало быть, и от имени этого самого Семьдесят пятого, который тут сидит, а еще от имени семидесяти трех джентльменов нашей округи. Джоша Силсби мы повесили по верным, очень даже верным уликам. Перед тем как его вздернуть, этот вот Семь-

десять пятый спрашивает его, как положено, может, он чего хочет сказать, или, может, у него есть к нам какая просьба. Силсби повернулся вот к этому самому Семьдесят пятому...

Тут рассказчик внезапно умолк и поглядел на своего товарища.

— Тут он, значит, и говорит, — подхватил Семьдесят пятый. — Он, значит, так говорит: «Можно, — говорит, — мне написать письмо?» А я ему: «Ничего не выйдет, старина. Времени нет». Тогда он спрашивает: «А можно мне послать телеграмму?» А я ему: «Валяй». Он и говорит, доподлинные его слова: «Шлите Адаму Райтбоди в Бостон. Скажите, чтобы помнил нашу священную клятву, данную тридцать лет назад».

— Нашу священную клятву, данную тридцать лет назад, — повторил Семьдесят четвертый. — Доподлинные его слова.

— Какая же это была клятва? — живо спросила миссис Райтбоди.

Семьдесят четвертый глянул на Семьдесят пятого, оба поднялись и отошли в угол, где состоялось совещание, неторопливое, но очень тихое, после чего они вернулись и снова сели.

— Мы так понимаем, — сказал Семьдесят четвертый негромко, но решительно, — что вам известно, какая клятва.

Миссис Райтбоди разом потеряла терпение и правдивость.

— Разумеется, известно, — поспешно проговорила она. — Но неужели вы хотите сказать, что убили беднягу, даже не дав ему возможности объяснить, в чем дело?

Семьдесят четвертый и Семьдесят пятый снова не спеша поднялись, а когда вернулись и уселись, Семьдесят пятый, в котором под воздействием некоего едва уловимого магнетизма миссис Райтбоди распознала главенствующую силу, мрачно изрек:

— Мы, стало быть, желаем заявить насчет убийства, что мы с Семьдесят четвертым за него отвечаем одинаково. А еще мы представляем семьдесят трех джентльменов нашей округи. И готовы держать ответ, а также отстаивать нашу правду нынче и в любое время перед любым или любыми, кого выставят против нас. И еще, стало быть, заявляем, что слово наше верное и тут в Калифорнии и в любой части всех штатов.

— И еще в Канаде... — присовокупил Семьдесят четвертый.

— И еще в Канаде... А через океан плыть мы не согласны или податься в какие-нибудь заморские страны, разве что по крайней нужде. А насчет выбора оружия так это пускай ваш хозяин решает, а как вы дамы и имеете интерес, так шлите хоть кого, чтобы действовал от вашего хозяина. Дайте объявление в любой газете Сакраменто либо игральную карту, а то и просто листок к дереву приколите вблизи от Дедвуда и напишите, что, мол, пускай Семьдесят четвертый и Семьдесят пятый свидятся с вашим хозяином либо полномочным — и мы сразу будем тут как тут.

Миссис Райтбоди немного испугалась и совсем отчаялась, но она поняла свою ошибку.

— Ничего подобного я не имела в виду, — сказала она поспешно. — Я просто надеялась, что вы можете сообщить мне еще какие-нибудь подробности об этой вашей беседе с Джошем Силсби, и что, быть может, вы могли бы рассказать мне... — смелая, блестящая мысль осенила миссис Райтбоди, — рассказать мне еще что-нибудь про нее.

Посетители воззрились друг на друга.

— Полагаю, ваш комитет не станет возражать, если вы сообщите мне сведения о ней, — сказала миссис Райтбоди, сгорая от нетерпения.

Снова тихое совещание в углу и возвращение на место.

— Мы желаем сказать, что у нас возражений нет.

Сердце миссис Райтбоди учащенно забилося. Ее смелость сослужила ей добрую службу. Но она понимала, что следует соблюдать осторожность.

— Не можете ли вы сказать мне, насколько мистер Райтбоди, мой покойный муж, был в ней заинтересован?

На этот раз миссис Райтбоди показалось, что миновала целая вечность, прежде чем ее гости вернулись на свои места после торжественного совещания в углу. Она видела и слышала, что эта их дискуссия была куда оживленнее предыдущих. Однако она была несколько обескуражена, когда, усевшись, Семьдесят четвертый медленно проговорил:

— Мы хотим сказать, что не можем сказать, сколько...

— А вы не думаете, что эта «священная клятва» между мистером Райтбоди и мистером Силсби касалась ее?

— Пожалуй, что и так...

Миссис Райтбоди, покрасневшая, возбужденная, была готова отдать все на свете, лишь бы ее дочь могла услышать это безоговорочное подтверждение ее теории.

Но даже и теперь, когда тайна должна была вот-вот раскрыться, она волновалась и чувствовала себя неуверенно.

— Она сейчас здесь?

— Она в Туоламне, — ответил Семьдесят четвертый.

— Только теперь за ней лучше смотрят, — добавил Семьдесят пятый.

— Вот как! Значит, мистер Силсби ее похитил?

— Да, сударыня, поговаривали, будто она сама убежала. Но доказать не доказано. И потом не водилось за ней этаким привычки.

Миссис Райтбоди как бы невзначай спросила:

— Конечно, она хороша собой?

Глаза обоих мужчин загорелись.

— Насчет этого будьте спокойны! — выразительно сказал Семьдесят четвертый.

— Да вы бы в нее просто влюбились! — подхватил Семьдесят пятый.

Миссис Райтбоди про себя усомнилась в этом, но прежде чем она успела задать следующий вопрос, гости снова удалились на совещание. Когда они вернулись, в их тоне и манерах стало чуть больше теплоты и доверия, и Семьдесят пятый высказал свои мысли с большей откровенностью.

— Мы хотим сказать, сударыня, коли обмозговать это дело со всех сторон да без скопидомства, раз уж вы имеете интерес, и мистер Райтбоди имел интерес и, по всему виду, его облапошил и сбил Силсби, так мы, стало быть, согласны выслушать ваше предложение, как вы есть дама и имеете интерес.

— Понимаю, — быстро сказала миссис Райтбоди. — И вы представите мне все документы?

Мужчины снова отправились на совещание.

— Мы хотим сказать, сударыня, что, наверное, у нее есть все бумаги, только...

— Я должна их получить, вы понимаете, — прервала миссис Райтбоди. — За любую цену!

— Вот мы и думали сказать, сударыня, — степенно продолжал Семьдесят пятый, — коли все взять в расчет, и раз уж вы дама, так куда ни шло, берите ее себе с бумагами, родословной и гарантией за тысячу двести долларов!

Говорят, будто миссис Райтбоди задала еще один вопрос, после чего упала в обморок. Однако доподлинно известно, что на другой день весь Дедвуд знал о том, как миссис Райтбоди призналась комитету бдительных, что ее



супруг, прославленный бостонский миллионер, страстно желавший завладеть знаменитой гнедой кобылой Эбнера Спрингера, подговорил беднягу Джоша Силсби ее украсть. А когда дело провалилось, вдова умершего бостонского миллионера лично вступила в переговоры с владельцами кобылы.

Так это было или нет, но мисс Элис, вернувшись к вечеру домой, застала мать с жестокой головной болью.

— Мы уедем отсюда с первым же пароходом, — томно протянула миссис Райтбоди. — Мистер Райдер обещал сопровождать нас.

— Но мама...

— Здешний климат хвалят совершенно незаслуженно. Он уже сказался на моих нервах. А для тебя, Элис, здесь нет подходящего общества, и мистер Марвин, естественно, недоволен тем, что мы так долго не возвращаемся.

Мисс Элис чуть покраснела.

— А твои поиски, мама?

— Я их прекратила.

— А я нет, — тихо сказала Элис. — Ты помнишь моего проводника в Йосемите — Станисло Джо? Так вот, этот Станисло Джо... как ты думаешь, кто он?

Миссис Райтбоди осталась томно равнодушной.

— Станисло Джо — сын Джоша Силсби.

От удивления миссис Райтбоди села прямо.

— Но, мама, он ничего не знает о том, что известно нам. Отец обращался с ним постыднейшим образом и бросил его на произвол судьбы много лет тому назад. А когда Силсби повесили, бедняжка, чтобы избежать позора, переименовал имя.

— Но если он ничего не знает о клятве своего отца, то что тут интересного?

— Ничего. Просто я подумала, что это, быть может, могло бы к чему-нибудь привести.

У миссис Райтбоди зародились подозрения насчет этого «чего-нибудь», и она резко спросила:

— Позволь, но как ты все это узнала? Ты ни словом не обмолвилась об этом в долине.

— Но я ничего не знала до сегодняшнего дня, — ответила мисс Элис, отходя к окну. — Просто... он случайно приехал сюда и все мне рассказал.

Если друзей миссис Райтбоди поразило ее необычайное и неожиданное паломничество в Калифорнию, предпринятое столь поспешно после кончины супруга, они были поражены еще более, узнав год спустя, что она помолвлена с неким мистером Райдером, скудные сведения о котором сводились лишь к тому, что он уроженец Калифорнии и состоял в переписке с ее мужем. Было достоверно известно, что он богат и, должно быть, не авантюрист, — по слухам, у него была репутация человека отважного и мужественного, но даже поклонников своеобразного юмора мистера Райдера чрезвычайно шокировали его грамматика и жаргонные выражения. Говорили, будто мистер Марвин после единственной встречи со своим будущим тестем вернулся домой в таком негодовании, что его помолвка с мисс Элис расстроилась. История с кражей лошади в более или менее искаженном виде усердно рассказывалась теми, кто утверждал, что не верит ни единому слову. И только одно лицо в семействе Райтбоди, и, кстати, новое лицо, спасло их от полного ostracism. Это был приемный сын будущего главы дома — молодой мистер Райдер, чьи образованность, манеры и элегантность настолько пленили Бостон, что он стал очередной сенсацией. Многим казалось, что, живя под одним кровом с таким интересным молодым человеком, мисс Элис должна будет предать забвению все свои мечты о приобретении профессии, но общество его жалело, и строились всевозможные планы, которые должны были помешать ему уронить себя, породнившись с семейством Райтбоди.

В зимний вечер, когда со смерти мистера Райтбоди прошло ровно два года, в его библиотеке горел свет. Но в кресле покойного сидел мистер Райдер-младший, приемный сын будущего главы этого дома, а напротив него стояла мисс Элис, устремив свои черные глаза на стол.

— За этим что-то кроется, поверь мне, Джо. Ты никогда не слышал, чтобы твой отец упоминал о моем?

— Никогда.

— Но ты же говоришь, что он окончил колледж и происходил из хорошей семьи. В юности у него, наверное, было много друзей.

— Элис, — мрачно сказал молодой человек. — Когда я чего-нибудь добьюсь в жизни, смою пятно с моего имени и смогу снова с честью носить его перед людьми, перед тобой, Элис, вот тогда настанет время вспоминать прошлое. А до тех пор...

Однако Элис стояла на своем.

— Я помню, — продолжала она, почти не обратив внимания на его слова, — когда я вошла сюда в тот вечер, папа читал какое-то письмо и казался расстроенным.

— Письмо?

— Да. Но, — добавила она со вздохом, — когда мы нашли отца уже без сознания, письма при нем не было. Должно быть, он его уничтожил.

— Вы пробовали искать его в бумагах? Письмо, быть может, даст ключ к разгадке.

Молодой человек взглянул на бюро, Элис поняла его и сказала.

— Нет-нет! Там хранились только деловые бумаги, в безукоризненном порядке, — ты ведь знаешь, как он был методичен в своих привычках, — а также деловые и частные письма.

— Посмотрим их, — предложил молодой человек, поднимаясь.

Они выдвигали ящик за ящиком и перебирали пачку за пачкой писем и деловых бумаг, которые лежали аккуратными стопками. Вдруг Элис вскрикнула от неожиданности и достала со дна ящика старинный нож слоновой кости для разрезания бумаги.

— Он тоже пропал после смерти отца, и его нигде не могли найти. Как видно, отец положил его туда по ошибке. Вот этот ящик... — взволнованно показала она.

Эта находка говорила о многом. Но в глубине ящика лежало множество старых писем без наклеек, но сложенных аккуратно пачками. Внезапно Джо перестал вынимать их.

— Положи все обратно, Элис, — сказал он. — Скорее.

— Почему?

— Некоторые из этих писем... я узнал почерк отца.

— Тем более я должна их прочесть, — властно сказала девушка. — Часть возьми ты, а часть возьму я, так мы быстрее справимся.

В ее голосе звучали решимость и независимость, которые он научился уважать. Он взял письма, и они вместе стали их просматривать. Это были старые письма студенческих времен, наполненные юношескими мечтами, увлечениями, надеждами и утопическими теориями, и, боюсь,

молодые люди не узнали своих отцов в мертвом прахе былого. Они хранили мрачное молчание, но вдруг Элис ахнула и закрыла лицо руками. Джо тотчас очутился рядом с ней.

— Ничего, ничего, Джо. Но, пожалуйста, не читай этого письма. О, как странно, как невероятно!

Однако после недолгой полушутливой борьбы Джо все же завладел письмом. Потом он прочитал вслух строки, написанные его отцом тридцать лет назад.

*«Благодарю тебя, дорогой друг, за все, что ты пишешь о моей жене и сыне. Благодарю тебя за напоминание о нашей юношеской клятве. Я знаю, мой сын ее выполнит, если будет любить тех, кого любит его отец, и если даже ты женишься еще нескоро. Я счастлив за тебя, за нас обоих, что это мальчик. Да пошлет тебе бог, дорогой Адамс, хорошую жену и дочь, которая сделает моего сына таким же счастливым».*

Джо Силсби отвел взгляд от письма, взял в ладони улыбающееся и заплаканное лицо Элис, поцеловал ее в лоб и со слезами на своих печальных глазах произнес: «Аминь!»

\*

Я склонен полагать, что бывшие знакомые миссис Райтбоди сказали то же самое, когда год спустя мисс Элис сочеталась браком с молодым адвокатом, уже завоевавшим уважение и популярность, хотя, по слухам, он был сыном осужденного конокрада. Кое-кто помнил калифорнийскую историю и усмотрел в этом событии ее подтверждение, однако большинство считало, что мисс Элис заслужила такой брак за свое поведение по отношению к мистеру Марвину, а поскольку сама мисс Элис весело смотрела на это именно так, то не вижу, почему бы мне и не считать конец моего рассказа очень счастливым.

---

# Флип

## ГЛАВА I

Чуть пониже вершины, опушенной карликовыми елями, там, где красная лента дороги на Лос Гатос, словно причудливо изломанный след шутихи, круто уходит вверх по склону, чтобы растаять потом в синей дымке Береговых Хребтов, лежит окруженная скалами терраса. Взгляд с тоскливой надеждой устремляется к ней при каждом повороте раскаленной дороги; на всем протяжении пышущего жаром, трепещущего в знойном мареве склона, сквозь завесу пыли, медленный скрип неторопливых колес, монотонный плач усталых рессор и приглушенный стук копыт, утопающих в глубокой пыли, она манит путника, обещая зеленую прохладу и благодатную тишину. К обетованному уголку нетерпеливо обращаются измученные загорелые лица и тех, кто трясется на империале почтовой кареты, и тех, кто правит медлительными упряжками; тех, кто укрылся под ослепительно белой парусиновой крышей фургонов, прозванных «горными шхунами», и тех, кто покачивается в жарких седлах на обессилевших, потных лошадях. Но надежда оказывается тщетной, а обещание обманом.

Достигнув террасы, путник вдруг обнаруживает, что она вобрала в себя, по-видимому, не только весь зной соседних долин, но к тому же еще пышет жаром из какого-то своего, невидимого глазу огнедышащего кратера. И все же люди и животные испытывают тут не изнеможение и слабость, а внезапный прилив сил. Горячий воздух густо напоен смолистыми испарениями. Терпкие ароматы пчелиного листа, лавра, хвои, можжевельника, микромерии, душистого чубучника и разных неизвестных и неизученных пока что ароматических трав, сгущаясь и дистиллируясь в реторте зноя, пьянят и околдовывают каждого, кто их вдыхает. Они обжигают его, подхлесты-

вают, будоражат, дурманят. Говорят, что под их влиянием даже самые заезженные клячи становились буйными и неукротимыми, а усталые возчики и погонщики мулов, истощившие во время подъема в гору все свои запасы богохульств, вдохнув пламенной смеси, вновь обретали вдохновение и обогащали свой словарь дотоле несслыханными и поистине поразительными образчиками брани. Существует предание, что некий кучер почтовой кареты, большой любитель спиртного, излил свои восторги в краткой фразе: «Джин с имбирем». Это удачное определение, подсказанное кучеру нежной привязанностью к вышеупомянутому напитку, стало с тех пор названием чаши.

Вот и все, что рассказывали люди об этом удивительном приюте ароматов. И суждение это, как большинство человеческих суждений, не отличалось основательностью и глубиной. К тому же терраса была расположена не так уж близко от вершины и от придорожной гостиницы, и, если верить слухам, никто еще покуда не проникал в ее дебри. Там не ступала нога охотника и старателя, и даже землемеры обошли ее стороной. Завершить ее исследование выпало на долю мистера Ланса Гарриота. Причины, побудившие его к этому, были просты. Он прибыл туда под почтовой каретой, крепко вцепившись в колесную ось. Он решил избрать этот рискованный способ передвижения в глухую ночь, когда карета медленно проезжала через заросли, где он прятался от монтерейского шерифа и его помощников. Он не стал представляться остальным пассажирам: те уже знали его как игрока, головореза и авантюриста; предстать же перед ними в новом своем качестве — человека, только что убившего во время ссоры собрата-игрока и за это разыскиваемого властями, — он считал неразумным. Перед одним из поворотов, где за карету цеплялись ветки елей, Ланс соскользнул с оси и несколько мгновений лежал неподвижно: еле заметный холмик пыли на изборожденной колеями дороге. Потом на четвереньках, скорее похожий на зверя, чем на человека, он уполз в сырой, туманный подлесок. Там он притаился, пока побрякивание упряжи и звуки голосов не замерли вдали. Сторонний наблюдатель вряд ли сумел бы догадаться, что представляет собой эта бесформенная груда тряпья. Вымазанное глиной, засыпанное пылью лицо превратилось в уродливую красную маску; руки в длинных обтрепанных рукавах казались обрубками. Когда он встал, пошатываясь, как пьяный, и сломя голову бросился





в чашу, за ним потянулось облако пыли и на сучьях деревьев оставались клочки его изодранной, обветшалой одежды. Дважды он падал, но, взвинченный и подхлестнутый возбуждающими ароматами, вставал и продолжал свой путь.

Постепенно жара спадала, и хотя воздух был по-прежнему неподвижен, Лансу, который в изнеможении прислонился к небольшому деревцу, вдруг показалось, что немного поодаль листья трепещут и поблескивают, будто ими играет легкий ветерок. Потом глухую тишину нарушил слабый, похожий на вздох шорох, и он понял, что скоро выйдет из чащи. Новый звук, нарушивший безмолвие, был нежнее и более мелодичен — звонкое журчание воды! Еще один шаг, и его нога замерла на краю небольшого бочажка, укрытого под пологом ветвей. Крохотный ручеек, который можно было бы перегородить рукой, каким-то чудом сохранившись, струился по сухому красному руслу, тоненькой струйкой стекал в яму и, наполнив ее до краев, сочился дальше. Здесь в свое время нежилась пятнистая форель, и здесь решил искупаться Ланс Гарриот. Ни секунды не раздумывая и не снимая одежды, он погрузился в воду, но так осторожно, что, казалось, он боится расплескать хоть каплю. Вот голова его скрылась за краем ямы, и вокруг вновь воцарилось безлюдье. Лишь два предмета — револьвер и кисет — остались на краю бочажка.

Прошло несколько минут. Отважная голубая сойка села на берег и клюнула кисет. Но ее тут же прогнала земляная белка, которая попыталась утащить кисет к себе в нору, но, в свою очередь, отступила перед рыжей белкой, чье внимание, однако, поделилось между кисетом и револьвером, который она разглядывала с шаловливым любопытством. Потом послышался плеск, невнятное мычание. Непрошенные гости кинулись врассыпную, и над краем ямы возникла голова мистера Ланса Гарриота. Он был неузнаваем. Казалось, процесс омовения не только очистил от грязи и его тело и необременительные тиковые одежды, но к тому же еще способствовал моральному его очищению, смыв все темные пятна и зловещие следы его былых преступлений и дурной славы. Его лицо, хотя и поцарапанное в некоторых местах, стало круглым, розовым и сияло неудержимым добродушием и юношеской беспечностью. Большие голубые глаза смотрели на мир с детским удивлением и бездумностью. Весь

мокрый и еще не отдышавшись, он лениво облокотился о край канавы и с увлеченностью мальчишки принялся наблюдать за маневрами земляной белки, которая вновь, набравшись мужества, опасливо подкрадывалась к кисету. И если раньше бы знакомые не признали Ланса Гарриота в уродливом грязном оборванце, то еще меньше можно было заподозрить в этом белокуром фавне убийцу, стоящего вне закона. А когда, тряхнув рукавом, он осыпал дождем мелких брызг перепуганную белку и выпрыгнул на берег, можно было подумать, что он явился сюда отдохнуть на лоне природы, а не скрывается от преследования.

Теперь уже не было сомнений, что с запада дует легкий ветерок. Ланс поглядел туда, ему почудилось, что чаща там становится светлее, и он, не раздумывая, отправился в ту сторону, хотя подлесок там разросся особенно густо. Лес и в самом деле редел с каждым шагом; между ветвями, а потом и между листьями замелькали ярко-голубые просветы. Зная, что сейчас он где-то неподалеку от вершины, Ланс остановился, нащупал револьвер и осторожно раздвинул ветки.

Яркий свет полуденного солнца сперва ослепил его. Но, немного привыкнув, он обнаружил, что стоит на открытом западном склоне — западные склоны Береговых Хребтов обычно почти безлесны. За его спиной тянулась душистая чаща, загораживая от него и вершину и проезжую дорогу, которая сбегала с террасы в долину, вонзаясь в нее, словно молния с раздвоенным концом. Отсюда можно было, оставаясь незамеченным, следить за всеми подступами к его убежищу. Но Ланса это, кажется, не заботило. Он первым делом сбросил лохмотья, в которые превратилась его куртка, потом налил и закурил трубку и растянулся на припеке, как будто вознамерившись отбелить рубаху, а заодно и кожу под немилосердными лучами солнца. Покуривая трубку, он небрежно просматривал вытащенный из кисета обрывок газеты, и когда какое-то место показалось ему забавным, он вполголоса перечел его для воображаемого слушателя, с размаху хлопая себя по колену, дабы подчеркнуть самые смешные места.

Потом он задремал, должно быть, разомлев от усталости и купания, — Ланс почувствовал себя совсем как после паровой бани, когда начал кататься по сухой траве и обсыхать на припеке. Разбудил его звук голосов. Они доносились издалека, были невнятные и не приближались. Ланс подкатился к краю поросшего травой крутого склона.

Внизу оказалась еще одна терраса, или плато, за ней темнела буро-зеленая чаща, над которой торчали там и сям остроконечные шлемы сосен. Нигде не видно было признаков человеческого жилья. А между тем, судя по голосам, люди занимались здесь каким-то незамысловатым делом, и Ланс отчетливо слышал звон посуды и звяканье кухонной утвари. По-видимому, разговаривали старик и девушка — отрывисто и вяло, как обычно разговаривают люди, живущие под одной кровлей. Их голоса, подчеркивая пустынность здешних мест, все же не навевали грусти, они казались таинственными, но не внушали страха, а окружающее необозримое безлюдье придавало им выразительность, хотя скорей всего тема разговора была самой прозаической и обыденной. Впервые за все время Ланс вздохнул: он догадался, что там собираются обедать.

При всей своей беспечности Ланс все же не рискнул разгуливать при свете дня открыто. Пока он ограничился тем, что попробовал определить, откуда именно доносятся голоса. Но добраться до этого места можно было, по-видимому, только с проезжей дороги. «Зажгут же они к вечеру свечку или разведут огонь», — рассудил Ланс и, утешившись этим соображением, вновь растянулся на траве. Немного погодя он начал забавляться, подбрасывая вверх серебряные монетки. Но тут его внимание привлекла к себе одна из вершин, резко выделявшаяся на фоне безоблачного неба. Что-то белое и маленькое, не больше серебряной монетки в его руке, появилось в небольшой седловине. На его глазах пятнышко начало расти и заполнило всю седловину. Еще немного, и оно закрыло зубчатый гребень горы. Густая, ослепительно белая масса переливала через край, затапливая одно за другим перевалы и ущелья. Ланс догадался, что это морской туман и, стало быть, не более двадцати миль отделяют его от океана... от свободы! Солнце, уже склонявшееся к западу, спряталось в мягких объятиях тумана. Внезапно потянуло холодком. Ланс вздрогнул, встал и, чтобы согреться, снова поспешил в напоенную ароматами чащу. Теплый, душистый воздух подействовал на него как снотворное: Ланса так разморило, что ему уже не хотелось есть; он уснул. Когда он проснулся, было уже темно. Ланс стал ощупью пробираться сквозь чащу. Над его головой сверкало несколько звездочек, но чуть поодаль и внизу все было скрыто мягкой, белой, волнистой пеленой тумана. За нею прятался и тот огонек, который мог бы указать ему жилье человека. Идти вслепую было безумием; оставалось только ждать до утра. И так как это соответствовало его извечному стре-



млению к праздности, он вновь забрался в ямку, которая служила ему ложем, и уснул. Какие мрачные порождения нечистой совести и страха тревожили его, лежащего в глубокой мгле и тишине и отгороженного от ближних призрачной пеленой тумана? Чей дух промелькнул перед ним, чьи очертания медленно возникли из непроглядной черноты леса? Да ничьи. Тихо погружаясь в мглу, он не без сожаления вспомнил о нескольких галетах, которые обронил, закусывая в дороге, небрежный пассажир. Но это воспоминание томило его недолго, и вскоре он уснул глубоким, сладким, безмятежным сном младенца.

## ГЛАВА II

Он проснулся, все еще одурманенный лесными запахами. Самым первым его побуждением было сделать то, что делают все молодые животные, — он сорвал несколько свежих листиков микромерии, стебель которой вился по его мшистой подушке, съел их, ощутил во рту кисловатый вкус, и ему показалось, что мучивший его голод утих. Еще не проснувшись как следует, он лениво разглядывал солнечный зайчик, дрожавший в густых ветвях над его головой. Потом опять задремал. Сквозь дремоту он уловил какое-то слабое движение среди сухих листьев неподалеку от его ложбинки. Казалось, кто-то подкрадывается к его револьверу, который, поблескивая, лежал на земле. Настойчивость его вчерашнего вороватого знакомого позабавила Ланса, и он затаил дыхание. Шорох не умолкал, но теперь уже было ясно, что подкрадывается к нему нечто длинное и извивающееся. Внезапно взгляд его застыл, сон как рукой сняло. Нет, не змея — рука человека шарилась в густом мху, стараясь схватить револьвер. Ланс отчетливо рассмотрел эту руку — маленькую и веснушчатую. В тот же миг он крепко схватил ее, вскочил на ноги и заставил подняться упирающуюся молодую девушку.

— Пустите, — сказала она, не столько напуганная, сколько смущенная.

Ланс посмотрел на нее. Гибкая и худенькая, как мальчишка, она казалась не старше пятнадцати лет. Ее покрасневшее лицо и обнаженную шею усеивало множество мелких коричневых веснушек, похожих на сгоревшие порошинки. Веснушчатыми казались даже большие серые глаза, во всяком случае, и радужная оболочка и зрачки были усыпаны крохотными, как молотый ямай-

ский перец, точечками. Еще удивительнее были ее волосы, цветом напоминавшие рыжеватую шкуру олененка, но с множеством более светлых прядей разных оттенков, а на макушке совершенно белокурые, словно выгоревшие на солнце. Она явно выросла из своего платья, сшитого еще во времена ее детства, — из-под короткой юбки виднелись смугловатые, усыпанные веснушками стройные ноги, в штопаных чулках, которые тоже уже стали ей малы. Пальцы Ланса, крепко державшие ее за тонкое запястье, скользнули к ладони, и он с добродушной шутливостью легонько отбросил ее руку.

Девушка не тронулась с места, но продолжала смотреть на него все так же смущенно и сердито.

— Ни капельки я не испугалась, — сказала она. — Не убегу, не бойтесь.

— Рад это слышать, — с нескрываемым удовольствием ответил Ланс, — а зачем тебе понадобился мой револьвер?

Она снова вспыхнула и промолчала. Потом начала ковырять ногой землю под деревом и наконец произнесла, доверительно обращаясь к этой ноге:

— Хотела схватить его раньше вас.

— Вот как? А почему?

— Сами знаете.

Каждый зуб, обнаженный Лансом в широкой ухмылке, свидетельствовал о том, что он отлично знает. Но он скромно промолчал.

— Я ж не знала, зачем вы тут прячетесь, — добавила она, на этот раз адресуясь к дереву, — и потом... — девушка украдкой покосилась на него из-под белесых ресниц, — я тогда еще не видела вашего лица.

В этом тонком комплименте впервые дало себя почувствовать лукавство, свойственное ее полу. Беспечное лицо авантюриста даже залила краска, и на какое-то мгновение он смешался. Он кашлянул.

— Так, значит, ты хотела зацепить мой револьвер и вдруг увидела мою руку?

Она кивнула. Потом подобрала сломанную ветку орешника, заложила ее за спину, ухватилась загорелыми обнаженными руками за концы, прижала к пояснице и выгнулась, расправив грудь и напрягая мускулы рук. Очевидно, предполагалось, что таким манером она продемонстрирует и полную непринужденность и силу своих бицепсов.

— Возьми, если хочешь, — сказал Ланс, протягивая ей револьвер.

— Не видела я их, что ли, — сказала девушка, благоразумно уклоняясь как от оружия, так и от связанных с ним соблазнов. — У отца есть такой, а брат был в два раза меньше меня, когда разгуливал с двумя пистолетами.

Она сделала паузу, чтобы посмотреть, какое впечатление произвела на собеседника воинственность ее близких. Но Ланс, посмеиваясь, разглядывал ее и молчал. Тогда она отрывисто спросила:

— Вы зачем траву ели?

— Траву? — переспросил он.

— Ну, вот эту. — Она указала на микромерию.

Ланс засмеялся.

— Я хотел есть. Послушай, — добавил он весело, подбрасывая вверх несколько серебряных монет, — как ты думаешь, хватит тебе этого, чтобы принести мне завтрак и что-нибудь купить себе на остальные?

С полузастенчивым любопытством девушка уставилась на деньги и на говорившего.

— Отец, пожалуй, мог бы вам чего-нибудь дать, если бы захотел, хотя вообще-то он бродяг не любит с тех пор, как они утащили наших кур. Но вы все же попытайтесь.

— Нет, ты уж лучше принеси мне сюда.

Девушка отступила на шаг, потупила глаза и с улыбкой, в которой застенчивость чарующе сочеталась с дерзостью, произнесла:

— Вы, значит, скрываетесь, так, что ли?

— Именно так. Ты, я вижу, догадливая, — беспечно рассмеялся Ланс.

— Но вы ведь не из шайки Маккарти... верно?

Мистер Ланс Гарриот с добродетельной гордостью чистосердечно заверил ее, что не принадлежит к банде, снискавшей себе под этим названием печальную известность в горах.

— И не из тех охотников за курами, которые очистили курятник Гендерсона? Мы таких тут не жалуем.

— Нет, не из тех, — бодро ответил Ланс.

— И это не вы забили до смерти свою жену в Санта-Кларе?

Ланс с негодованием отверг этот поклеп. Ему случилось обижать только чужих жен, да и то не прибегая к побоям.

Девушка еще немного поколебалась, потом решительно выпалила:

— Ну ладно, тогда пошли, что ли.

— Куда? — спросил Ланс.



— На ферму,— просто ответила она.

— Так значит, ты не хочешь принести мне сюда еду?

— А зачем? Вы там поедите.

Ланс замялся.

— Говорю вам, не беспокойтесь,— добавила девушка.— С отцом я все улажу.

— Ну, а если я все же предпочту остаться здесь? — не уступал Ланс, отлично понимая, что теперь просто дразнит ее.

— Так оставайтесь,— холодно ответила она,— только у папаши-то преимущие права на этот лес.

— Преимущественные,— подсказал Ланс.

— Преимущие или там премогущественные,— это уж как хотите,— высокомерно продолжала девушка,— только раз он в этом лесу хозяин, то вы его что там, что тут можете встретить. Как пить дать, в любой момент нагрянет.

Должно быть, она уловила насмешливый огонек в глазах Ланса, так как снова потупила свои и нахмурилась смущенно и сердито.

— Ну, будь по-твоему, пошли,— весело сказал Ланс, протягивая ей руку.

Но она не взяла его руки, хотя и покосилась на нее исподлобья, как лошадка, готовая отпрянуть.

— Сперва отдайте револьвер,— сказала она.

С напускной шутливостью он протянул ей револьвер. Она взяла его без тени улыбки и вскинула на плечо, как ружье. Нужно ли говорить, что этот жест, достойный героини или ребенка, привел Ланса в невиданный восторг.

— Вы идите впереди,— распорядилась она.

Широко усмехнувшись, он поспешно повиновался.

— Я у тебя вроде как под конвоем, а? — заметил он.

— Ступайте и не дурачьтесь,— ответила девушка.

Они двинулись в путь. На какую-то секунду у него мелькнула мысль забавы ради броситься наутек, «чтобы взглянуть, что она станет делать», но он тут же передумал. «Чего доброго, еще прихлопнет первым же выстрелом», — с одобрением подумал он.

Когда они вышли на открытую часть склона, Ланс в нерешимости остановился.

— Вот сюда,— сказала девушка, указывая в сторону вершины, то есть в направлении, прямо противоположном долине, откуда накануне доносились голоса, в одном из которых Ланс признал теперь голос своей новой знакомой. Они зашагали по опушке, потом внезапно свернули

на тропинку, которая спускалась к ведущему в долину оврагу.

— А для чего вы ходите кружным путем? — полюбопытствовал Ланс.

— Мы-то ходим не так, — значительно ответила девушка. — Здесь есть дорога покороче.

— Где же?

— Уж где-то есть, — уклончиво ответила она.

— Как тебя зовут? — спросил Ланс, когда, спустившись с крутого склона, они оказались на дне оврага.

— Флип.

— Как?

— Флип.

— Да я спрашиваю, как зовут, — имя, а не фамилию.

— Флип.

— Флип! Ах да, уменьшительное от Фелипа.

— Никакая не Фелипа, а Флип, — отрезала она и замолчала.

— А мое имя ты не спрашиваешь, — заметил Ланс.

Девушка не удостоила его ответом.

— Разве ты не хочешь знать, как меня зовут?

— Может, отец захочет. Ему и соврете.

Этот откровенный ответ на время удовлетворил покладистого убийцу. Он продолжал свой путь в безмолвном восхищении.

— Только смотрите, говорите то же, что и я! — решила вдруг предостеречь его Флип.

Неожиданно тропинка круто повернула, и они снова вошли в каньон. Ланс глянул вверх и обнаружил, что они находятся сейчас почти под самой лавровой чащей. Судя по сваленным деревьям и сосновым пням, они шли теперь через вырубку.

— А чем же занимается здесь твой отец? — в конце концов не выдержал он.

Флип продолжала шагать, молча помахивая револьвером. Ланс повторил вопрос.

— Древесный уголь выжигает и делает алмазы, — ответила она, искоса на него поглядывая.

— Алмазы? — повторил за нею Ланс.

Флип кивнула.

— И много он их делает? — небрежно бросил он.

— Да порядком. Только они некрупные, — ответила она и опять покосилась в его сторону.

— Ах, некрупные? — серьезно переспросил он.

Тем временем они подошли к невысокой ограде, за которой немедленно послышалось хлопанье крыльев

и кудахтанье кур, явно обрадованных появлением хозяйки этого уединенного лесного уголка. Владения Флип не производили внушительного впечатления. Чуть поодаль под деревом стояла печь; седло, уздечка и кое-какая домашняя утварь свидетельствовали о том, что это и есть «ферма».

Как большинство участков, расчищенных пионерами, она являла собой примитивный и беспорядочный налет на природу, после которого на поле битвы воцаряется мерзость запустения. Поваленные деревья, вытоптанные кусты, изломанные ветки, развороченная земля казались еще ужаснее из-за нелепого соседства с обломками цивилизации: пустыми жестянками, битыми бутылками, старыми шляпами, башмаками без подметок, изодранными чулками и, наконец, проволочным кринолином, который, свисая с дерева, достойно увенчивал эту гротескную картину. Самое дикое ущелье, непроходимая чаща, дремучая глушь не производят такого мрачного и унылого впечатления, как первый след, оставленный человеком. На всем этом бивуаке, разбитом на долгие времена, глаз радовала лишь сама хижина. Сложенная из полуцилиндрических полос сосновой коры и крытая тем же материалом, она была довольно живописна в своей безыскусственности. Однако, судя по смущенному объяснению Флип, сославшейся на то, что сосновая кора в их деле «без пользы», такую хижину построили из соображений скорее экономического, чем эстетического свойства.

— Отец, наверное, еще в лесу, — добавила она, остановившись перед открытой дверью. «Э-эй, отец!» Ее голос, чистый и звонкий, казалось, заполнил весь длинный каньон и эхом отразился от лесистого верхнего плато. Монотонные удары топора внезапно прекратились, и откуда-то из глубины густого сосняка чей-то голос откликнулся: «Флип!» В течение некоторого времени было слышно лишь невнятное бормотание да треск валежника под спотыкающимися шагами, после чего из-за деревьев вынырнул «отец».

Если бы Ланс случайно встретился с ним в чаще леса, то ни за что не смог бы угадать, кто он — монгол, индеец или эфиоп. Сугубо выборочное и к тому же поверхностное омовение лица и рук, которое он совершал, окончив жечь древесный уголь, постепенно придало его коже бледно-серый грифельный оттенок, а в тех местах, куда вода не достигала, виднелась темная кайма. Он был похож на усталого негра-певца. Темные ободки вокруг глаз напоминали оправу очков, лишенных стекол, и еще боль-

ше усиливали его сходство с обезьяной, возникшее благодаря нелепому виду его седой шевелюры, которую он, казалось, судорожно и многократно пытался перекрасить. Не обращая ни малейшего внимания на Ланса, он обрушил все свое ворчливое возмущение только на дочь.

— Ну, что еще стряслось? Отрываешь меня от работы за час до полудня. Лопни мои глаза, не успеешь толком взяться за работу, как начинается: «Отец! Э-эй, отец!»

К несказанному удовольствию Ланса, девушка встретила эту бурю с предельным равнодушием, а когда отповедь отца перешла в нечленораздельное и, как показалось Лансу, довольно робкое бормотание, она холодно сказала:

— Лучше брось топор да собери вот для него завтрак и харчей на дорогу. Он из Сан-Франциско и приехал к нам удить форель. Отстал от своих, потерял удочку и все прочее снаряжение, а ночевать ему пришлось в чаще «Джин с имбирем».

— Вот-вот, всегда что-нибудь этакое! — взвизгнул старик, хлопая себя по ноге в порыве бессильной ярости и по-прежнему не глядя на Ланса. — Какого, спрашивается, рожна он не пошел в эту треклятую гостиницу на вершине? За каким дьяволом...

Однако тут старик перехватил взгляд больших веснушчатых глаз, в упор глядевших на него, испуганно мигнул и умоляюще захныкал:

— Ну послушай, Флип, ведь обидно же мне, старику, что ты тащишь к нам на ферму всяких бродяг, да беглых, да моряков, потерпевших крушение, бесприютных вдов и буйных сумасшедших. Вот хоть вы скажите, мистер, — вдруг впервые за все время обратился он к Лансу, однако с таким видом, словно тот уже принимал участие в разговоре. — Вот скажите вы по совести, как джентльмен и как человек беспристрастный, справедливое ли это дело?

Ланс не успел ответить, как его опередила Флип.

— Вот то-то и оно! Не думаешь ли ты, что такая важная персона и джентльмен к тому же заявится в гостиницу в таких лохмотьях? Думаешь, охота ему, чтобы над ним смеялись его товарищи? Да он и носу-то никуда не высунет с нашей фермы, пока не приведет себя в приличный вид. Как бы не так! Не городи вздора, отец!

Старик сдался. Он поплелся к пеньку, ослабевшей рукой волоча за собою топор, и уселся там, рукавом утирая лоб, отчего последний приобрел сходство с грифельной доской, с которой частично стерта сложная задача. Потом тоскливо посмотрел на Ланса.

— Само собой,— заговорил он с тяжким вздохом,— что у вас нет ни гроша денег. Само собой, вы спрятали где-то под камнем бумажник и в нем пятьдесят долларов, а теперь не можете его сыскать. Само собой,— подхватил он, заметив, что Ланс сунул руку в карман,— у вас есть только чек на сто долларов на банк Уэлса, Фарго и К<sup>о</sup> и вы хотели бы получить у меня сдачу.

Как ни забавляла Ланса эта сцена, но безграничное восхищение, которое вызывала в нем Флип, поглотило все остальные чувства. Не сводя глаз с девушки, он коротко заверил старика, что заплатит за все, что ему потребуется. Наблюдательная девушка заметила, что он сказал это отнюдь не тем непринужденным и беспечным тоном, каким разговаривал с ней, и подумала, не рассердился ли он. Действительно, как только Ланс оказался в обществе мужчины, взгляд его стал менее открытым и беззаботным. Кое-какие предвестники раздражения, которое, вспыхнув, могло толкнуть и на убийство, уже давали себя знать. Но одного-единственного слова или жеста Флип было достаточно, чтобы его успокоить, и когда с помощью не перестававшего ворчать отца девушка приготовила довольно скудный и незамысловатый завтрак, Ланс спросил старика об алмазах. Тот сверкнул глазами.

— А откуда вам известно, что я их делаю, алмазы-то? — осведомился он с каким-то робким вызовом, чем несколько напомнил свою дочь.

— Слышал во Фриско,— непринужденно солгал Ланс, бросая взгляд на девушку.

— Я думаю, они там малость струхнули, золотых дел мастера-то,— хмыкнул старик,— но камешки их нынче уж подешевеют. Древесный уголь — вот и все затраты. А они вам говорили, как я это открыл?

Ланс был не прочь ответить утвердительно и тем избавить себя от рассказа старика, но ему захотелось узнать, до какой степени Флип разделяет отцовские заблуждения.

— Так вот, года два тому назад жег я в яме уголь. И хотя бревна тлели там, дымились и горели чуть не месяц, угля получилось на ломаный грош. И все же, лопни мои глаза, а жарница в этой яме была самая что ни на есть страшнейшая и непомерная; в сотне ярдов от нее, бывало, и остановиться-то нельзя, за три мили, на дороге по ту сторону горы, и то чувствовалось. Случалось, по ночам мы с Флип хватали одеяла да выбирались из каньона ночевать куда-нибудь подальше, а задняя стена нашей лачуги съезжилась вся, вот как эта грудинка. Сущее пекло, да

и все тут. Вы, может, думаете, это я развел такой огонь? Вы, может, скажете, просто горели себе бревна и из-за этого и получился такой жар?

— Разумеется, — ответил Ланс, стараясь заглянуть в глаза Флип, которая упорно избегала его взгляда.

— Вот и соврали! Это жара шла из самого нутра земли, ее тянуло, как из камина или печки, и из-за нее и получился этакий огонь. А когда через месяц там все остыло и я принялся чистить яму, в земле оказалась дырка, и из нее бил ключ высотой по пояс, горячей, словно кипяток, воды. А в самой середине я нашел вот это.

Тут с интуицией умелого рассказчика он встал, вытащил из-под постели замшевый мешочек и высыпал на стол его содержимое. Там оказался небольшой осколок горного хрусталя, наполовину сплавившийся, с обуглившимся кусочком сосновой древесины. Это было так ясно и очевидно, что самый темный лесоруб или поселенец с первого взгляда догадался бы, что представляет собой камешек. Ланс поднял на Флип смеющийся взгляд.

— Вода помешала... из-за нее они и остудились раньше времени, — горячо заговорила девушка. Но тут же осеклась и, вспыхнув, отвернулась.

— Вот-вот, в самую точку, — подхватил старик. — Уж Флип-то знает, она у меня умница.

Ни слова не отвечая, Ланс только смерил его холодным, жестким взглядом и без церемоний поднялся с места. Старик схватил его за куртку.

— Вот так оно и получилось, поняли? Уголь превратился в алмаз. Только не до конца. А почему? Да потому, что мало прокалился. Вы, может, думаете, на том дело и кончилось? Как бы не так. У меня есть теперь другая яма в лесу, и вот уже полгода я жгу там бревна. Ей, конечно, далеко до той старой, огонь-то в ней самый что ни на есть простой, обычный. Но я его поддерживаю. Прodelал там дырку и заглядываю каждые четыре часа. Как время подойдет, я тут как тут. Поняли вы, какой я человек? Да-а. Дэвид Фэрли — старик не промах.

— Именно так, — сухо ответил Ланс. — Ну, а сейчас, мистер Фэрли, если бы вы дали мне какой-нибудь сюртук или куртку, чтобы я смог пробраться сквозь туман на монтерейской дороге, то я не стал бы отвлекать вас от вашей ямы с алмазами. — И он бросил на стол пригоршню серебра.

— Есть у меня куртка из оленьей шкуры, — сказал старик, — один вакеро отдал мне ее за бутылку виски.



— Я думаю, она ему не подойдет, — с сомнением проговорила Флип, вытаскивая изношенную и рваную вышитую мексиканскую куртку. Но Лансу она подошла, так как оказалась теплой, и к тому же ему неожиданно захотелось поступить наперекор Флип. Он надел ее, холодно кивнул старику, небрежно — Флип и направился к выходу.

— Если вам нужно к монтерейской дороге, я могу вам показать короткий путь, — с застенчивой учтивостью вдруг сказала девушка.

Чадолюбивый Фэрли застонал.

— Вот полюбуйте-ка, пропади пропадом и ферма и куры, лишь бы ей только пошляться с чужим человеком. Как бы не так!

Ланс вскипел, но не успел произнести ни слова, как заговорила Флип:

— Ты же сам знаешь, отец, что тропинка наша совсем неприметная; помнишь, как полицейский выслеживал в наших краях француза Пта, а тропинки найти не смог и обошел вокруг всего каньона. Не вышло бы того вот и с ним. Что, как он заблудится да сюда же и вернется?

Эта устрашающая перспектива заставила умолкнуть старика, и Флип вышла с Лансом из хижины. Некоторое время они шли молча. Неожиданно Ланс обратился к девушке.

— Ты ведь не веришь в эту чушь об алмазах? — резко спросил он.

Флип ускорила шаги, словно желая уклониться от ответа.

— Да неужто старикан успел начинить твой черепок всем этим мусором? — продолжал Ланс, в раздражении переходя на жаргон.

— Ну, а вам что за забота, верю я или не верю? — ответила девушка, перепрыгивая с камня на камень (они переходили в это время через русло высохшего ручья).

— И, конечно, с тех пор, как вы тут поселились, ты провожаешь всех бродяг и отщепенцев и нянчишься с ними, — не скрывая злости, продолжал Ланс. — Сколько человек ты провела этой дорогой?

— Год назад ирландцы из Брода гнались за одним китайцем, а он спрятался в чаще и боялся выйти, так что чуть не помер там с голоду. Пришлось мне силком его отсюда вытащить да проводить в горы, — на дорогу он нипочем не хотел возвращаться. А с тех пор, кроме вас, никого не было.

— И ты думаешь, это прилично девушке вроде тебя ходить с таким отребьем и якшаться с разной швалью? — сказал Ланс.

Флип вдруг остановилась.

— Послушайте! Если вы будете пилить меня, как папаша, я лучше вернусь.

Нелепость этого сравнения подействовала на Ланса сильнее, чем сознание собственной неблагодарности. Он поспешил уверить Флип, что просто пошутил.

Помирившись, они опять разговорились, и Ланс настолько забыл про собственную особу, что даже стал спрашивать девушку кой о каких событиях ее жизни, не имевших к нему прямого отношения. Мать девушки умерла в прериях, когда Флип была грудным ребенком, а брат убежал из дому в возрасте двенадцати лет. Флип не сомневалась, что они когда-нибудь встретятся, ждала, что он случайно забредет в каньон.

— Так вот почему ты так хлопчешь о бродягах, — сказал Ланс. — Думаешь наткнуться на него?

— Что ж, — серьезно ответила Флип, — и поэтому и не только поэтому; кто-то из них может потом встретить брата и отплатить ему добром.

— Я, например? — полюбопытствовал Ланс.

— Да, и вы. Вы ведь помогли бы ему, правда?

— Разумеется! — воскликнул Ланс с такой горячностью, что сам испугался своего порыва. — Ты только не связывайся с разным сбродом.

И уже с досадой, понимая, что ревнует, он спросил девушку, возвращались ли когда-нибудь ее подопечные.

— Никогда, — ответила Флип. — Стало быть, — просто-душно добавила она, — моя помощь пошла им на пользу и я им больше не понадобилась. Верно?

— Да, — угрюмо согласился Ланс. — А есть у тебя такие друзья, что тебя навещают?

— Только почтмейстер из Брода.

— Почтмейстер?

— Ага, он надумал на мне жениться, если я стану взрослой к тому году.

— А сама ты что надумала? — без улыбки спросил Ланс.

В ответ на это Флип несколько раз кокетливо пожала плечами, потом забежала вперед, схватила горсть мелких камешков и швырнула их в сторону леса, после чего, обернувшись, наградила Ланса самым пленительным и дразнящим взглядом веснушчатых влажных глаз, какой только можно себе представить.

— Что-нибудь да надумала.

Тем временем они дошли до того места, где им надо было расставаться.

— Вот смотрите-ка,— сказала Флип, указывая на чуть заметную тропку, которая, ответвляясь от дорожки, казалось, без следа исчезала в кустарнике всего через какую-нибудь дюжину ярдов от своего начала,— по ней вы и пойдете. Там, дальше, она станет позаметней и пошире, но на первых порах вам надо смотреть в оба и приглядеться к ней как следует, пока не спустится туман. Прощайте.

— Прощай.

Ланс взял ее за руку и притянул к себе. От нее все еще веяло запахами чащи, и разгоряченному воображению молодого человека в тот миг представилось, что она воплощает собой пьянящий аромат ее родных лесов. Полусутя-полусерьезно он попытался поцеловать ее. Сперва она отчаянно сопротивлялась, но в самый последний момент уступила и даже чуть заметно ответила ему. Ланс весь затрепетал, почувствовав еле ощутимый жар ее поцелуя. Не помня себя, он провожал глазами ее гибкую фигурку, исчезающую в пестрой мгле леса, потом решительно повернулся и зашагал по тропинке к видневшемуся вдалеке хребту. Острым взглядом схватывая на ходу ее еле заметные вехи, он двигался без промедлений и вскоре был уже далеко.

Что до Флип, то она не спешила. Скрывшись в лесу, она пробралась к нависавшему над каньоном краю террасы и оттуда следила за Лансом, который то исчезал, то снова появлялся из темных впадин неровного склона. Вот он достиг гребня, и в ту же минуту туман перевалил через вершину, окутал его и скрыл от ее взгляда. Флип вздохнула, встала и старательно подтянула чулки, поставив на пенек сперва одну, затем другую ногу. Потом одернула юбку, попытавшись восстановить близость, существовавшую прежде между подолом юбки и верхним краем чулок, снова вздохнула и пошла домой.

### ГЛАВА III

Полгода морские туманы изо дня в день наведывались на Монтерейское побережье, полгода белые полчища их шли каждодневно на приступ, всякий раз переваливая через гребень горы, но поутру с такой же неизменностью отступали под ударами нацеленных на них,

словно копья, лучей восходящего солнца. Полгода белая пелена, укрывшая в своих складках Ланса Гарриота, возвращалась без него, ибо нашему симпатичному изгнаннику больше не нужно было прятаться и скрываться. Стремительная волна преследования откатилась, выбросив его на поверхность, и уже на следующий день опала и расплескалась. Не прошло и недели, как следственный суд установил, что имело место не умышленное убийство, а всего лишь что-то вроде дуэли между двумя вооруженными и в равной степени беспутными людьми.

Найдя надежное пристанище в одном из небольших прибрежных городков, Ланс опротестовал решение первого суда присяжных, вынесенное без всякого следствия, и добился, чтобы разбор его дела был перенесен в другой округ. Судья, заседавший в непосредственном соседстве с безмятежными водами Тихого океана, счел решение самочинного и удаленного от побережья суда поспешным и опрометчивым. Ланса выпустили на поруки.

Почтмейстер Рыбачьего Брода, только что получивший почту из Сан-Франциско, теперь внимательно ее разглядывал. Она состояла из пяти писем и двух посылок, из которых три письма и две посылки были адресованы Флип. Это поразительное обстоятельство, имевшее место уже не в первый раз за последние полгода, в должной мере возбуждало любопытство обитателей Брода. Но так как за письмами и за посылками Флип никогда не заходила лично, а присылала кого-нибудь из тех нецивилизованных существ, которые служили ей в качестве лазутчиков и пажей, и так как сама она редко показывалась в Броде и на дороге, их любопытство так и не было удовлетворено. А к разочарованию, овладевшему почтмейстером, человеком весьма пожилым, примешивались и сердечные муки. Он посмотрел на письма и посылки, потом на часы; было еще рано — к полудню он вернется. Он снова поглядел на адреса. Да, они написаны той же рукой, что и предыдущие. Решено: эту почту доставит он. Чувствительная, поэтическая сторона его миссии была деликатно обозначена посредством бледно-голубого галстука, чистой рубашки и мешочка с имбирными пряниками, которые Флип обожала сверх меры.

На ферму Фэрли добирались по большой дороге, но там, где она проходила под чащей «Джин с имбирем», благоразумный всадник предпочитал спешиться и, оставив там лошадь, отправлялся пешком по тропинке. Именно там почтмейстер вдруг заметил на опушке какую-то изящно одетую женщину; она шла медленно, спокойно

и непринужденно, чуть придерживая юбки затянутой в перчатку рукой и лениво помахивая хлыстиком для верховой езды, который держала в другой. «Уж не приехали сюда на пикник какая-нибудь компания из Монтерея или Санта-Крус?» — подумал почтмейстер. Во всяком случае, зрелище было столь необычным, что он не удержался от соблазна и направился к незнакомке. Внезапно она углубилась в лес и исчезла из вида. Однако, памятуя, что ему надо повидаться с Флип, да к тому еще начиная выбиваться из сил на крутом склоне, почтмейстер счел за благо пойти своей дорогой. Солнце стояло уже почти в зените, когда он свернул в каньон и завидел вдали кровлю из сосновой коры. Почти в ту же секунду навстречу ему вынырнула Флип, вся покрасневшая и запыхавшаяся.

— Это вы принесли мне, — сказала она, указывая на мешок с письмами и посылками.

Ошеломленный почтмейстер машинально отдал ей свою ношу, но тотчас спохватился и пожалел о своем промахе.

— Они оплачены, — заметив его колебания, добавила Флип.

— Так-то оно так, — пролепетал чиновник, сообразив, что лишился последней возможности познакомиться с содержимым посылок. — Но я подумал, раз это ценные посылки, то вы, может, захотите проверить, все ли на месте, пока не дали мне расписку.

— Обойдется, — холодно ответила Флип. — А если там чего не хватит, я дам вам знать.

Девушка явно собиралась удалиться вместе с вещами, и почтмейстер поспешил переменить тему.

— Мы уж бог знает сколько времени лишены удовольствия видеть вас у себя в Броде, — начал он с шутливой галантностью. — Кое-кто болтает, что вы водите компанию с таким малым, как Биджа Браун, и мните себя слишком важной персоной для Брода.

Биджа Браун был местный мясник, который раз в неделю, проезжая по дороге, неизменно делал порядочный и совершенно бесполезный крюк, дабы заглянуть в каньон и справиться, не будет ли «заказов», что истолковывалось, как проявление неразделенной страсти к молодой хозяйке фермы.

Флип высокомерно промолчала.

— Потом я подумал, не обзавелись ли вы новыми друзьями, — продолжал он. — Сдается мне, что на вершине разбили сейчас лагерь какие-то горожане. Я повстречал здесь девушку, такую модницу и щеголиху, что чудо.

Бездна элегантности, оборочки там всякие и бантики. Право же, совсем в моем вкусе. Я просто таю, когда вижу таких девушек, — добавил почтмейстер, после чего, не сомневаясь, что возбудил ревность Флип, окинул взглядом ее изношенное холщовое платье и вдруг встретил устремленный на него пристальный взгляд.

— Странно, что я ее еще не видела, — невозмутимо заметила она и взвалила на плечи мешок, не проявляя ни малейшего желания поблагодарить почтмейстера за его не предусмотренную службой любезность.

— Но вы еще можете встретить ее на опушке леса «Джин с имбирем», — жалобно произнес он, хватаясь за последнюю надежду задержать Флип, — если прогуляетесь туда вместе со мной.

На это Флип, не говоря ни слова, направилась к хижине, а почтмейстер смиренно последовал за ней, что-то бормоча о своем горячем желании «заглянуть на минутку, чтобы перекинуться словечком со стариком».

Убедившись, что новый спутник дочери не нуждается в какой-либо денежной или материальной помощи, чадолюбивый Фэрли настолько смягчился, что вступил с почтмейстером в доверительную и ворчливую беседу, а Флип, воспользовавшись этим обстоятельством, тихонько улизнула. Как большинство бесхарактерных людей, Фэрли обладал скверной привычкой незаметно для себя преувеличивать во время разговора всякие мелкие обстоятельства, благодаря чему почтмейстер вскоре уверился, что мясник рьяно и неотступно домогается благосклонности Флип. Причем чиновнику даже не пришло в голову, что нелепо отправлять по почте письма и посылки, если их можно просто привезти с собой. Наоборот, это показалось ему самым изощренным проявлением коварства. Терзаемый ревностью и равнодушием Флип, он «счел своим долгом» (трусливая мстительность любит прикрываться благовидными предлогами) выдать девушку.

Но Флип ни о чем подобном не подозревала. Выскокив из хижины, она кинулась в лес; мешок по-прежнему болтался у нее за спиной, как ранец. Вскоре она сошла с тропинки и с безошибочным чутьем животного двинулась напрямик сквозь кусты; она то ловко карабкалась на недоступные кручи, то, перепархивая подобно птице с ветки на ветку, спускалась с головокружительной высоты. Вот она выбралась на тропинку, там, где впечатлительный почтмейстер увидел очаровательную незнакомку. Убедившись, что за ней никто не следит, девушка приня-



лась пробираться сквозь чащу к бочажку, который послужил в свое время ванной Лансу Гарриоту.

Судя по некоторым признакам, уголок этот бывал нередко посещаем и впоследствии, а когда Флип, осторожно сдвинув в сторону куски коры и хворост, принялась вытаскивать из трещины в скале аккуратно сложенные наряды, то всякий без труда бы догадался, что она превратила это место в своего рода лесной будуар. Флип открыла посылку; там оказалась небольшая изящная накидка из желтого китайского крепа. В мгновение ока Флип набросила ее на плечи и поспешила к зарослям. Там она принялась разгуливать перед одним из деревьев. На первый взгляд дерево не отличалось от других, но, всмотревшись повнимательней, можно было заметить, что в развилку между ветвями вставлен большой кусок самого обыкновенного оконного стекла. Стекло было поставлено под таким хитроумным углом по отношению к темной чаще, что превращалось в смутное, призрачное зеркало, и в нем отражалась не только фигура разгуливающей перед ним девушки, но и сверкающий великолепием золотисто-зеленый склон и дальние очертания Береговых Хребтов.

Прогулка перед деревом, несомненно, была лишь прелюдией к более серьезному смотру. Вернувшись к бочажку, девушка извлекла из тайника большой кусок желтого мыла и несколько ярдов грубой бумажной материи. Положив то и другое на краю овражка, она еще раз потихонечку пробралась на опушку, чтобы убедиться, что она здесь одна. Уверившись, что никто не нарушил уединенности ее приюта, девушка вернулась к бочажку и стала раздеваться. За ней последовал легкий ветерок и стал что-то нашептывать окружающим деревьям. Казалось, ее сестры, нимфы и наяды, разбуженные ветерком, сплели шелестящие пальцы и повели вокруг нее неспешный тихий хоровод трепещущих солнечных бликов и теней, искрящихся брызг, затейливого переплетения веток, который целомудренно прикрыл ее, спасая от дерзких взглядов какого-нибудь лесного божества или забредшего в чащу пастуха. А в святилище слышался серебристый смех и плеск воды да временами мелькала гибкая рука или нога, и солнечный луч на миг озарял ослепительно белое плечо или строгую юную грудь.

Когда девушка вновь раздвинула листву и вышла на поляну, она была неузнаваема. Флип превратилась в ту самую незнакомку, которая повстречалась почтмейстеру, — стройную, гибкую, грациозную молодую женщину в элегантном наряде. Это была все та же Флип, но длинная

юбка и облегающее модное платье сделали ее выше. Она осталась такой же веснушчатой, но желтый цвет ее туалета так удачно подчеркивал пикантность усыпанного коричневыми точечками лица и глаз, сообщал им такую яркость и глубину, что она казалась зримым воплощением пряного лесного аромата. Не берусь утверждать, что суждения неведомой нам портнихи были безупречны и что ее заказчик, мистер Ланс Гарриот, обладал утонченным вкусом, достаточно и того, что результат их трудов был живописен и едва ли более сумбурен и ярок, чем тот убор, в который сама Весна нарядила в свое время увядший ныне склон, где сидела Флип. Призрачное зеркало на верхушке дерева поймало и удержало ее облик, а с ним небо, зеленую листву, солнечный свет и всю прелесть горного склона; ветер ласково играл ее волосами и яркими лентами цыганской шляпки. Вдруг она вздрогнула и затаила дыхание. С тропинки, пролежавшей далеко внизу, донесся какой-то неясный звук, который ни за что не различил бы менее чуткий слух. Девушка быстро вскочила и скрылась в лесу.

Прошло десять минут. Солнце клонилось к западу; белый туман уже переползал через гребень горы. На лесной опушке появилась Золушка в своем старом холщовом платье. Часы пробили — чары развеялись. Когда девушка скрылась за поворотом тропинки, ветер сбросил с дерева даже волшебное зеркало, и оно стало простым куском стекла.

#### ГЛАВА IV

События наложили удивительный отпечаток на физиономию угольщика Фэрли. Усиленное напряжение мысли побуждало его то и дело потирать лоб, в результате чего над бровями у него появилось светлое и совершенно круглое пятно, а окружающая темная кайма соответственно еще сильнее сгустилась. И чело это встретило Флип укоризной обманутого товарища, грозным гневом возмущенного родителя, и все это в присутствии постороннего — почтмейстера!

— Нечего сказать, хорошенькое дело — получать тайком всякие посылки да письма, — начал старик.

Флип метнула испепеляющий взгляд на почтмейстера, отчего тот сразу обмяк, и съежился, и, промямлив, что ему, «пожалуй, пора», поднялся с места. Но тут старик, который рассчитывал на его моральную поддержку да

к тому же начинал злиться на подстрекателя за то, что тот втянул его в ссору с дочерью, которой он боялся, решительно запротестовал.

— А ну-ка сядьте! Вы что, не понимаете, что вы свидетель? — истерически взвизгнул он.

Эта фраза его погубила.

— Свидетель? — высокомерно повторила Флип.

— Да, свидетель. Он отдавал тебе письма и свертки.

— А кому они были присланы? — спросила Флип.

— Вам, — неохотно выдавил из себя почтмейстер, — вам, кому же еще?

— Может, ты считаешь, что они твои? — произнесла она, поворачиваясь к отцу.

— Нет, — откликнулся тот.

— Или ваши? — резко бросила она почтмейстеру.

— Нет, — ответил почтмейстер.

— Ну, что ж, — холодно сказала Флип, — коли они не ваши, а отец вон тоже говорит, что они не его, стало быть, и разговаривать больше не о чем.

— Да, пожалуй, что и так, — согласился старик, беззастенчиво предавая своего союзника.

— Почему же, если все так просто, она не скажет нам, кто присылает их и что в них есть? — спросил почтмейстер.

— Верно, верно, — подхватил отец, — почему ты не скажешь нам, Флип?

Не отвечая на вопрос прямо, Флип неожиданно накинулась на старика:

— Ты, видно, забыл уже, какой ты поднимал шум да крик, когда на ферму приходили всякие бездомные бродяги и я им помогала, чем могла. Так, может, хватит уж плясать вот под его дудку и разыгрывать из себя дурака только потому, что кто-то взял да и прислал нам в благодарность подарки.

— Да разве это я, Флип? — жалобно сказал старик, бросая в то же время яростный взгляд на изумленного почтмейстера. — Я ни при чем. Я всегда говорил: мол, как аукнется, так и откликнется. Беда только, что наши власти больно много себе позволяют. Некоторым чиновникам надо бы стать поскромней перед выборами.

— А не лучше ли, — продолжала Флип, обращаясь к отцу и даже не глядя в сторону поверженного посетителя, — а не лучше ли тебе разузнать, зачем повадился один такой чиновник на нашу ферму? Уж не зарится ли он на какую девушку вроде меня, или не хочет ли разнюхать насчет алмазов? Навряд ли он разъезжает по всей округе

да узнает, кто пишет все те письма, что приходят в почтовую контору.

Почтмейстер, очевидно, не принял в расчет ни неустойчивый характер старика, ни ту ловкость, с которой дочь умела пользоваться отцовской слабостью. Он никак не ожидал, что Флип так смело и дерзко перейдет в наступление, и сейчас, увидев, что оба ее выстрела достигли цели и старый угольщик поднимается, трясаясь от гнева, почтмейстер, не раздумывая, кинулся бежать. Старик с бранью последовал было за ним, но его удержала Флип.

Как ни жестока была судьба к изгнанному поклоннику, напоследок она ему все же улыбнулась. Возле леса «Джин с имбирем» почтмейстер подобрал письмо, которое выпало из кармана Флип. Он узнал почерк и без малейших угрызений совести погрузился в чтение. Письмо не было похоже на любовное послание — во всяком случае, сам он такого не написал бы; ни адреса, ни имени отправителя там тоже не оказалось. И все-таки он с жадностью читал:

*«Пожалуй, тебе и в самом деле не стоит нарядиться ради бездельников в Броде и бродяг, которые шатаются около вашей фермы. Вот подожди, я скоро приеду, и ты покажешься мне во всей красе. Я пока не называю срока, перед началом дождей трудно сказать наверняка. Знаю только, что теперь уже недолго. Не забывай, что ты мне обещала, и держись подальше от разного сброда. И не будь такой щедрой. Я и в самом деле послал тебе две шляпы. Просто начисто забыл о первой, но это вовсе не резон, чтобы дарить десятидолларовую шляпку негритянке, у которой заболел грудной младенец. Он и без шляпы обошелся бы. Забыл спросить, носят ли юбку отдельно, нужно будет поскорей узнать у портнихи, но мне кажется, что, кроме юбки и жакета, надо надевать что-то еще; во всяком случае, тут так носят. Не представляю, как бы ты ухитрилась утаить от старика фортепьяно, он, конечно, узнает и поднимет бучу. Я уже обещал тебе, что буду с ним помягче. Не забывай и ты своих обещаний. Рад, что ты делаешь успехи в стрельбе. Жестянки — отличная мишень для расстояния в пятнадцать футов, но ты должна тренироваться и по движущейся цели. Да, забыл тебе сказать, что я напал на след твоего старшего брата. След трехлетней давности, твой братец жил тогда в Аризоне. Приятель, который рассказывал мне о нем, не очень-то распространяется о том, что он в ту пору делал, но мне кажется, они не скучали. Если он только жив, я разыщу*

*его, можешь быть спокойна. Микромерия и полынь прибыли в полной сохранности — они пахнут тобой. Послушай, Флип, помнишь ли ты, что было в самом-самом конце, когда мы попрощались на тропинке? Но если я когда-нибудь узнаю, что ты позволила еще кому-то поцеловать...»*

Тут праведное негодование почтмейстера прорвалось, наконец, наружу, и он отшвырнул письмо с яростной бранью. Из всего прочитанного он понял лишь две вещи: что у Флип был когда-то брат, который куда-то исчез, и что у нее есть возлюбленный, который вот-вот явится сюда.

Трудно сказать, насколько подробно Флип познакомила отца с содержанием этого и всех предыдущих писем. Если она о чем и умолчала, то, вероятно, только о таких вещах, которые имели отношение к тайне самого Ланса, а о них она едва ли много знала. Во всем, что касалось ее собственных дел, девушка была сдержанна, но откровенна, хотя и неизменно сохраняла свойственное ей застенчивое упорство. Несмотря на свою безраздельную власть над стариком, она верховодила им с весьма смущенным видом, добивалась своего, не поднимая ни глаз, ни голоса, и, одерживая самые блестящие победы, казалось, была подавлена стыдом. Она могла прекратить любой спор, стоило ей только забормотать себе что-то под нос или попросту застенчиво махнуть рукой.

Когда Фэрли узнал о странных отношениях между его дочерью и каким-то неизвестным человеком, о том, что они обмениваются подарками, посвящают друг друга в свои тайны, его стало тревожить смутное подозрение, что он плохо исполнял свой родительский долг. И, как всякое безвольное существо, он начал с того, что проникся неприязнью к причине своих мучений. Он произносил длинные сварливые монологи о том, что алмазы не изготовить, если разные нахалы суют нос в это деликатное дело; клеймил неискренность и скрытность, подрывающие основы изготовления угля; поминал соглядатаев и змиев, пригретых в семейном кругу, и обличал бунтарскую сущность тайных совещаний, на которых обходятся без седовласого отца. И хотя слова или взгляда Флип обычно бывало достаточно, чтобы тут же оборвать его филиппики, они звучали все же достаточно грозно. Со временем они сменились притворным самоуничижением и покаянными речами. «Что это тебе вдруг вздумалось спрашивать старика? — говаривал он, когда они обсуждали, сколько заказать грудинки. — У молодой девицы должны, конечно,

быть свои советчики». Убыль муки в бочонке тоже служила поводом, чтобы надеть личину смирения: «Если ты еще ни с кем не списалась насчет муки, так, может, хоть узнаешь у какого-нибудь бродяги, что он думает о муке из Санта-Круса, только, ради бога, не спрашивай старика». Стоило Флип вступить в разговор с мясником, как старый Фэрли демонстративно удалялся, выражая надежду, что он не посягнул на их секреты.

Все это случалось не так уж часто, чтобы встревожить Флип, но она замечала и другое: подобные вспышки сопровождались у отца несвойственной ему серьезностью. Он с настороженным вниманием следил за дочерью: то возвращался раньше времени с работы, то медлил уходить по утрам. То вдруг, охваченный каким-то лихорадочным волнением, которое он неумело пытался замаскировать небрежным тоном добряка папаши, дарил ей бесполезные, нелепые подарки — меховую шапку в сентябре или ботинки на два размера больше, чем нужно. «Гляди-ка, что я нынче подцепил для тебя в Броде», — шутливо бросал он и отступал в сторону, чтобы полюбоваться произведенным эффектом. Он чуть было не взял для нее напрокат дешевую фисгармонию, но вдруг с удивлением обнаружил, что Флип не умеет играть.

Весть о том, что отыскался след его давным-давно исчезнувшего сына, оставила его равнодушным, но спустя некоторое время старик, казалось, стал относиться к этой новости, как к чему-то само собой разумеющемуся и давно желанному, — вот тогда уже ему не придется заботиться о выборе компании для Флип. «Коли будет рядом с тобой твоя плоть и кровь, так ты уж само собой не станешь болтаться с чужаками». Боюсь, что этот расцвет родительских чувств наступил слишком поздно для того, чтобы произвести впечатление на Флип, которая всю жизнь росла заброшенной и повзрослела раньше времени, так как отец не желал о ней заботиться. Но девушка была незлобива, и теперь, видя его искренность, стала больше бывать с ним, и даже навещала его в священном уединении «алмазной ямы», где с отсутствующим видом слушала, как он неистово поносит все находящееся за пределами его закопченной лаборатории. Это несвойственное прежде девушке терпеливое равнодушие было не единственной переменной в ее характере; Флип не развлекалась больше переодеваниями, она спрятала самые драгоценные из своих нарядов, и лесной будуар пустовал. Иногда она прогуливалась по склону, чаще всего по той тропинке, по которой она привела Ланса на ферму. Раза два девушка наве-



щала то место, где они расстались, и каждый раз возвращалась притихшая, потупив взгляд, с горящими щеками. Должно быть, эти прогулки и пробуждающаяся женственность оставили какой-то след в ее глазах, след, заставивший еще сильнее заплыть сердца двух ее поклонников, почтмейстера и мясника. Так, сама того не зная, Флип стала знаменитой.

Наслушавшись необыкновенных рассказов о ее чарах, в каньон стали забредать посторонние. Нетрудно догадаться, как отнесся к этому старый Фэрли. Ланс и мечтать не мог о лучшем страже. И те, кто прослышал о спрятанной в горах жемчужине, с изумлением обнаружили, что она ревностно охраняется.

## ГЛАВА V

Долгое жаркое лето было на исходе. Ветер подхватывал его пыльные останки и рассыпал их по тропам и по дороге. Они ломались сухими травами на склонах и лугах. Уносились — днем в клубах дыма, ночью в пламени лесных пожаров. С каждым днем редели полчища туманов, осаждающих Береговые Хребты, и в конце концов растаяли без следа. Северо-западный ветер сменился юго-западным. Соленое дыхание моря долетало до самой вершины. И вот однажды безмятежное, неизменное небо тронула легкая тень облачков, и оно стало тревожным. Следующее утро узрело измененный лик небес, иные леса, совсем другие очертания — гребни гор исчезли, сместились расстояния. Шел дождь!

Так продолжалось четыре недели, и лишь изредка прорывался на землю солнечный луч или проглядывал в небе ярко-голубой островок. А потом разразилась буря. Сосны и секвойи на вершине горы весь день качались под свирепыми порывами ветра. По временам неистовые наскоки бури, казалось, отметали в сторону завесу ливня, который потоками обрушивался на склон. Безвестные, невидимые глазу ручейки внезапно затопили тропинки, пруды стали озерами, ручьи — реками. Вода с ревом ринулась и в те укромные лесистые ложбины, куда не проникал шум бури; даже жалкая струйка, пересекавшая знакомый нам уголок в чаще «Джин с имбирем», превратилась в настоящий водопад.

Буря рано прогнала Фэрли с его поста. Когда же он увидел, как поперек тропинки рухнуло большое дерево, а протекавший рядом скудный ручеек внезапно вышел из

берегов, он еще больше ускорил шаги. И все же старый Фэрли не избежал еще одной и даже горшей неприятности — он встретил человека. По грязной накидке, которая развевалась и трепыхалась на ветру, по длинным нечесаным волосам, закрывавшим лицо и глаза, по дико нахлобученному капору он догадался, что перед ним одна из постоянных нарушительниц его границ — какая-то индианка.

— Пошла прочь! Чтоб твоего духу здесь не было, слышишь? — заверещал старик, но тут внезапный порыв ветра заткнул ему рот и отшвырнул старого Фэрли на ореховый куст.

— Моя много-много хворый, — объяснила скво, дрожа и кутаясь в грязную шаль.

— Ты у меня не так еще захвораешь, коли будешь вертеться возле фермы, — продолжал Фэрли, наступая на нее.

— Моя надо к бледнолицый девушка. Бледнолицый девушка даст моя много-много харчей, — ответила скво, не двигаясь с места.

«Это уж верно», — со вздохом подумал старик. И тут же у него мелькнула новая мысль.

— А ты не несешь ли ей каких подарков? — вкрадчиво спросил он. — Каких-нибудь хороших вещей для бедной бледнолицей девушки? — выпытывал он.

— Моя нашел в лесу много-много запас орехов и ягод, — ответила скво.

— Само собой, само собой, а как же! — взвизгнул Фэрли. — Нашла запас всего в двух милях отсюда, а за то, чтобы принести, сдерешь полдоллара наличными.

— Моя покажет, где лежит запас бледнолицый девушка, — ответила индианка, указывая рукой в сторону леса. — Честный слово.

Тут мистеру Фэрли пришла в голову еще одна блестящая мысль. Но прежде надо было кое-что обдумать. Под проливным дождем Фэрли и скво поспешно зашагали к ферме и вскоре добрались до скотного двора. Тщетно дрожащая аборигенка, прижимая к своей плоской квадратной груди туго спеленутого младенца, бросала то-скливые взгляды на хижину; старик оттеснил ее к забору. Осторожно подбирая слова, он сообщил ей о своем коварном плане — нанять ее, дабы она присматривала за фермой и в особенности за молодой хозяйкой, «чтоб ни один бродяга, кроме тебя самой, сюда и носу не показывал, и тогда будут тебе и харчи и ром». Многократно и веско повторяя на разные лады свое предложение, он под

конец, по-видимому, добился успеха — скво возбужденно закивала и повторила последнее слово: «ром». «Сейчас», — добавила она. Старик замялся, но индианка уже была посвящена в его тайну. С тяжким вздохом он пообещал ей выдать часть горячительного вперед и повел ее к хижине.

Спасаясь от натиска бури, Флип так старательно заперла дверь, что ей не сразу удалось отодвинуть засов, и старик вышел из себя и начал браниться. Не успела девушка приоткрыть дверь, как он поспешно проскользнул в дом, таща за собой скво и окидывая подозрительным взглядом убогую комнату, служившую им гостиной. Флип, очевидно, только что писала; на дощатом столе все еще стояла маленькая чернильница, хотя бумагу девушка успела спрятать. Скво сразу же села на корточки возле очага, сложенного из необожженного кирпича, протянула к огню своего младенца и предоставила старику Фэрли самому отрекомендовать ее молодой хозяйке. Флип с рассеянным, холодным безразличием разглядывала индианку. Единственное, что привлекло ее внимание, была замызганная юбка и мятый шейный платок старой скво. Когда-то обе эти вещи принадлежали ей самой, но Флип давно уже перестала их носить и бросила в чаше.

— Снова секреты, — захныкал старый Фэрли, который украдкой продолжал наблюдать за дочкой. — Снова секреты, само собой, само собой, а как же! От старика отца секреты завелись. Родная плоть и кровь, а замышляет темные дела. Ну, что ж, валяй, валяй. Я тебе не помеха.

Флип промолчала. Она даже утратила интерес и к своему старому платью. Возможно, что оно заинтересовало ее только потому, что пробудило какое-то воспоминание.

— Жаль тебе, что ли, для бедняжки каплю виски? — раздраженно осведомился отец. — Прежде ты была порасторопней.

Покуда Флип доставала из угла большую плетеную бутыл, Фэрли воспользовался случаем и, лягнув скво ногой, нелепыми гримасами и жестами принялся втолковывать ей, что при Флип не следует упоминать о сделке. Флип налила виски в жестяную кружку и протянула ее скво.

— Не худо было бы, — снова заговорил Фэрли, обращаясь к дочери, но глядя на скво, — если бы эта скво обходила как дозором весь наш лесной участок да приглядывала за моей новой ямой, что подле земляничных деревьев, а ты будешь давать ей вдоволь харчей и спиртного. Да ты слушаешь ли, Флип? Или у тебя опять секреты на уме? Что с тобой творится?

Если его дочь о чем-то замечталась, то это были светлые мечты. В ее чарующих глазах зажегся странный огонек, казалось, они вспыхнули, как вспыхивают внезапным румянцем щеки. О возбуждении, охватившем девушку, можно было догадаться скорее по округлившемуся очертанию щек, чем по цвету лица, — он не стал ярче, и только веснушки засверкали, как крохотные блески. Флип потупила глаза и немного ссутулилась, зато голос ее остался прежним — тихим, ясным, задумчивым голоском.

— Большая сосна возле алмазной ямы свалилась поперек ручья и загородила его наглухо. Вода так быстро поднимается, что, верно, уже залила твой огонь.

Старик охнул и вскочил.

— Так какого же дьявола ты молчала до сих пор? — пронзительно взвизгнул он, хватая топор и устремляясь к выходу.

— Ты же не давал мне рта открыть, — сказала Флип и впервые за все время подняла глаза.

Яростно выругавшись, Фэрли прошмыгнул мимо дочери и бросился в лес. Не успел он выйти, как Флип приотворила дверь и заперла ее на засов. В то же мгновение скво вскочила на ноги, сбросила свою длинную гриву не только с глаз, но и вообще с головы, отшвырнула в сторону шаль и одеяло, и Флип увидела прямые плечи Ланса Гарриота! Девушка стояла, прислонившись к дверям, и не двигалась; но, поднимаясь на ноги, молодой человек уронил спеленутого младенца, который скатился с его колен прямо в огонь. Флип вскрикнула и бросилась к очагу, но Ланс перехватил ее, одной рукой обняв за талию, а другой выхватил из пламени узел.

— Не тревожься, — сказал он беспечно, — это всего лишь...

— Что? — спросила Флип, стараясь вырваться.

— Мой сюртук и брюки.

Флип засмеялась, и Ланс настолько осмелел, что попытался поцеловать ее. Девушка уклонилась, зарывшись лицом ему в жилет, и напомнила:

— А отец?

— Он ведь пошел оттаскивать какое-то дерево, — возразил Ланс.

Флип ответила ему красноречивым молчанием.

— А-а, понятно, — рассмеялся он. — Ты все придумала, чтобы от него отделаться. О, что это ты? — воскликнул он, когда девушка высвободилась из его объятий.

— Почему ты пришел в таком виде? — спросила она, указывая на парик и одеяло.

— Чтоб посмотреть, узнаешь ли ты меня,— ответил он.

— Нет.— Флип потупила глаза.— Чтобы тебя не узнали все остальные. Ты снова прячешься.

— Да, прячусь,— сказал Ланс. И, не давая ей заговорить, добавил: — Но это все та же старая история.

— Ты ведь писал мне из Монтерея, что с этим все кончено? — допытывалась Флип.

— Так бы оно и было,— ответил он угрюмо,— да вот какой-то пес из ваших мест никак не уймется и приняхивается к старому следу. Но я узнаю, кто это, и тогда... — Он вдруг остановился, и в его застывшем взгляде сверкнула такая самозабвенная ненависть, что девушка почувствовала страх. Безотчетно она положила руку ему на плечо. Он схватил ее в свои, и выражение его лица переменялось.

— Я так соскучился, что не мог больше ждать, и приехал, несмотря ни на что,— продолжал он.— Сперва я думал, что буду шататься здесь, пока не улучу случая поговорить с тобой, но вдруг наткнулся на старика. Он меня не узнал и сам же сыграл мне на руку. Представь себе, хочет нанять меня за выпивку и харчи, чтобы я караулил тебя и ферму.— И он со смаком пересказал ей содержание их беседы.— Раз уж на него напала такая подозрительность,— добавил он,— так мне, пожалуй, стоит и впредь разыгрывать комедию. Обидно только, что вместо того, чтобы сидеть у огонька и любоваться на свою Флип в модном платье, мне придется шнырять в мокрых кустах, облачившись вот в эти твои обноски, которые я подобрал в лесу на нашем месте.

— Так, значит, ты приехал, только чтобы увидеть меня? — спросила Флип.

— Да.

— Только за этим?

— Да.

Флип потупилась. Ланс хотел обнять ее обеими руками, но маленькая ручка девушки упорно отстраняла его.

— Слушай же,— сказала она наконец, так и не поднимая глаз, а обращаясь, по всей видимости, к этой дерзкой руке,— когда придет отец, я устрою так, что он пошлет тебя к алмазной яме. Это совсем близко; там тепло и...

— Что?

— Я вскоре к тебе забегу. А пока довольно. Ах, ну зачем ты не пришел в своем виде... как... словом, как белый?

— Но ведь тогда,— перебил ее Ланс,— старик без разговоров отправил бы меня на вершину. В эту пору уж не разыграешь заблудившегося рыболова.

— Ты же мог застрять в Броде из-за разлива, глупый,— сказала девушка.— Как она.— При всей туманности последней фразы Ланс догадался, что речь шла о почтовой карете.

— Да, но тогда меня смогли бы выследить. И вот что, Флип.— Он вдруг выпрямился и приподнял голову девушки так, что ее лицо было прямо перед его глазами.— Я больше не хочу, чтобы ты лгала из-за меня. Это нехорошо.

— Ну что ж. Не ходи к яме, и я к тебе не приду.

— Флип!

— А вот и отец вернулся. Ну, скорее!

Последнюю просьбу Ланс предпочел истолковать по-своему. Маленькая ручка девушки, уже не сопротивляясь, покорно лежала на его плече. Он приблизил к себе сияющее смуглое лицо Флип, ощутил ее душистое дыхание на своих губах, щеках, горячих веках и повлажневших глазах, поцеловал ее, торопливо набросил на себя парик и одеяло и быстро сел у очага, рассмеявшись звенящим смехом юности и первой, чистой страсти. Флип отошла к окну и глядела, как ветер раскачивает сосны.

— Что-то его не слышно,— с робким смешком заметил Ланс.

— Да,— смиренно подтвердила Флип, прижимаясь к влажному стеклу пылающей щекой.— Я, наверное, ошиблась.— Она глядела не на Ланса, а в другую сторону, но стоило ему пошевелинуться, как она вздрогнула и вся устремилась к нему, как игла компаса к северу.— А ты и в самом деле,— добавила она,— ты в самом деле хочешь, чтобы я к тебе пришла?

— В самом ли деле, Флип?

— Постой! — остановила его девушка, видя, что Ланс, не ограничиваясь этим укоризненным и изумленным восклицанием, уже готов для большей убедительности броситься к ней и снова заключить ее в объятия.— Постой! Сейчас он, кажется, и вправду идет.

И в самом деле в комнату ввалился Фэрли, на редкость мокрый, на редкость грязный, с на редкость чистым лицом и ругаясь, как никогда раньше. Оказалось, что дерево действительно свалилось поперек ручья, но вода не только не залила яму, а, наоборот, отхлынула прочь, так что возле алмазной ямы даже образовался новый сток. И это мог бы заметить любой человек, чей разум не по-



мрачен перепиской с незнакомыми людьми и не ослаблен постоянно выдаваемым пренебрежением к умственным способностям собственного родителя. И, разумеется, подобный безрассудный эгоизм мог привести только к тому, что родителю «вступило в руки и в ноги», средствами от какового недуга являются оподельдок для наружного употребления и виски для внутреннего. Закончив эту речь, мистер Фэрли с детским простодушием и редкостным проворством тут же оголил обе свои ноги, которые оказались совершенно различного цвета, и стал безмолвно ждать, чтобы дочь их растерла. Флип машинально принялась за дело, и ее руки сами собой выполняли знакомую работу. Свирепых взглядов и яростной жестикуляции закутанного в одеяло Ланса Флип попросту не поняла, к тому же теперь ей проще было сказать отцу то, что она собиралась.

— Сегодня ночью ты ни за что не сможешь караулить возле алмазной ямы, папаша, — заметила она. — Пошли-ка туда лучше скво. А я покажу ей, что надо делать.

Но, к огорчению Флип, ее отец вдруг воспротивился.

— А если у меня есть для нее другое дело? — возразил он. — А если и у меня завелись секреты... э? — многозначительно добавил он и с видом заговорщика подтолкнул Ланса локтем, что отнюдь не уменьшило злости молодого человека. — Нет уж, пусть она покамест отдохнет. А придет время, ей найдется, что караулить.

Флип промолчала. Ланс, усмиренный одним-единственным взглядом, который украдкой бросила на него девушка, не сводил с нее восхищенных глаз. По окнам барабанил дождь, его брызги время от времени с шипением падали в огонь сквозь широкую трубу очага; и мистер Дэвид Фэрли, несколько успокоенный принятым вовнутрь виски, почувствовал новый прилив красноречия. Под ласковым воздействием спиртного дух непоследовательности и сумасбродства, обычно руководивший всеми поступками старика, разыграл в нем с новой силой.

— В такой вечер, как нынче, — заговорил он, устраиваясь поуютней на полу у очага, — ты бы могла нацепить те новые тряпки и побрякушки, что присылает тебе этот сморчок из Сакраменто, и показаться старику отцу. А если ты считаешь, что твоя собственная плоть и кровь не заслужила такого внимания, так поступи по-христиански и сделай это для бедной скво.

Быть может, в тайниках его души шевельнулось тщеславное отцовское желание показать жалкой аборигенке, сколь драгоценное сокровище ей предстоит охранять.

Флип бросила вопросительный взгляд на Ланса, тот незаметно кивнул, и она тут же выскользнула из комнаты. Девушка не стала уделять внимание всяким мелочам туалета, и не прошло и минуты, как она появилась на пороге уже переодетая; входя в комнату, она застегивала пуговицы у ворота, потом остановилась у окна и с целомудренной простотой подтянула чулок. Необычность ситуации усилила ее всегдашнюю застенчивость — девушка играла черными и золотыми бусинками красивого ожерелья, недавно присланного Лансом, как самый настоящий ребенок. Заметив, что на одной из туфель расстегнута пряжка, скво воспользовалась случаем, чтобы выразить свою преданность и восторг, а Ланс воспользовался тем же случаем, чтобы в тени очага поцеловать украдкой маленькую ножку. После чего Флип не то всхлипнула, не то засмеялась и тут же села, невзирая на родительские увещевания.

— Если ты не перестанешь хихикать и вертеться, словно ты индейский младенец, так лучше уж скинь эти тряпки, — брюзгливо распорядился отец.

Однако напускная суровость не могла скрыть его тщеславного удовольствия, а искреннее восхищение индианки было ему тем приятнее, что к этому жалкому, по его мнению, и слабоумному существу он не испытывал ни малейшей ревности. Уж она-то не могла отнять у него Флип! Разболтавшись под влиянием винных паров, он высказал свое глубокое презрение к тем, кому вздумалось бы затеять нечто подобное. Как только дочка вышла, чтобы переодеться в домашнее платье, он доверительно зашептал Лансу:

— Ты, небось, думаешь, что ей все это подарили? Флип ничего такого не болтала? Чего доброго, и сама так думает. Как бы не так! Это все образцы от разных портных и ювелиров, а присылает их один хвастун из Сакраменто, чтобы завербовать в наших краях покупателей. Само собой, мне придется за них заплатить. И тот хвастун, конечно, на это и рассчитывает. А я, само собой, не откажусь. Так нечего делать вид, что он их дарит. Теперь еще и сам сюда собрался, чтобы совсем вскружить голову девочке! Но уж старик такого не допустит.

Поглощенный вымышленными обидами, старый Фэрли, к счастью, не замечал, как сверкают под тусклыми прядями волос глаза Ланса. Но старик видел перед собой только созданный его воображением образ и продолжал свое:

— Вот потому я и хочу, чтоб ты ее покараулила. Не спускай с нее глаз, покуда мой сынок — он собирается

к нам в гости — не приедет сюда, а уж он-то отвадит этого галантерейщика из Сакраменто. Мне бы только перехватить его, пока Флип с ним не увиделась. Ты чего это? Ну и ну! Лопни мои глаза, если индейская карга не наклюкалась.

К счастью, тут в комнату вернулась Флип и, бросившись к очагу, между отцом и разъяренным Лансом, украдкой нашла и предостерегающе пожала его руку. Легкое прикосновение ее руки тут же отрезвило молодого человека, но умной девушке было достаточно мгновения, чтобы с внезапным ужасом осознать всю необузданность нрава ее возлюбленного. В ее душе шевельнулась жалость, а с ней пришло чувство ответственности и смутное ожидание беды. Робкий цветок ее сердца не успел раскрыться, как на него повеяло холодом надвигающейся тени. Охваченная страхом перед какой-то неизвестной ей опасностью, девушка была в нерешимости. В любую минуту с крепко стиснутых, бледных губ Ланса могло сорваться неосторожное слово; и в то же время его внезапный уход грозил не только тем, что пробудил бы подозрение в душе отца, — гораздо больше девушку мучило предчувствие чего-то таинственного и ужасного, что подстерегало Ланса за пределами их дома. Оно чудилось ей в яростном вое ветра, налетавшего на сикоморы у их хижины; ей казалось, что она улавливает его в грохоте дождя, барабанившего по крыше и окнам, в бурном реве стремительных горных потоков, раздававшемся у самых их ног. Вдруг она кинулась к окну, прижалась лицом к стеклу и сквозь сумятицу ветвей и сучьев, которые раскачивались и метались на ветру, разглядела, что по верхней тропе, мерцая, движутся огоньки факелов. И сразу поняла: оно!

В ту же секунду она обрела хладнокровие.

— Папаша, — заговорила она своим обычным тоном, — какие-то люди с факелами идут к алмазной яме. Наверно, бродяги. Я возьму скво и схожу посмотрю.

И не успел старик подняться на ноги, как она вытащила Ланса на дорогу.

## ГЛАВА VI

Ветер яростно обрушился на них, отшвырнул ярдов на десять от хижины, захлопнул у них за спиной дверь, и широкая полоса света, вырвавшаяся было вслед за ними, тут же исчезла, оставив их в темноте.

Укрывшись за земляничным деревом, Ланс притянул к себе девушку, укутал ее одеялом и почувствовал, как она на миг прильнула к нему, дрожа, будто испуганный зверек.

— Ну,— спросил он весело,— а что теперь?

Флип взяла себя в руки.

— Раз мы вышли из дому, ты в безопасности. Но скажи, ты ждал их сегодня?

— В любое время,— пожал плечами Ланс.

— Тише! — предупредила его девушка. — Они идут сюда.

Четыре мерцающих огонька вскоре вытянулись цепочкой. Те, кто их нес, нашли тропу, и теперь приближались. Флип тяжело вздохнула. Ланс крепче прижал ее к себе и снова ощутил исходивший от нее нежный и пряный аромат. Он не вспоминал ни о буре, которая бесновалась вокруг, ни о таинственном недруге, вот-вот готовом его настигнуть, пока Флип не потянула его за рукав и не сказала со смешком:

— Да ведь это Кеннеди и Биджа!

— А кто такие Кеннеди и Биджа? — угрюмо спросил Ланс.

— Кеннеди — почтмейстер, а Биджа — мясник.

— Что им понадобилось?

— Я,— застенчиво ответила Флип.

— Ты?

— Ну, конечно, давай убежим!

Флип чуть не силой потащила его в какой-то овраг, смело и безошибочно выбирая дорогу. Не только голоса, но и завывание бури вдруг стало тише; от едкого дыма горящего сырого дерева у Ланса запершило во рту и защило глаза. Вот внизу что-то слабо замерцало, казалось, какой-то зловещий исполинский глаз то загорался, то гас, то тускнел, то подмигивал, когда порывы ветра долетали и туда.

— Яма,— шепнула Флип. — Идем на ту сторону, там безопасно,— добавила она и потянула его за собой. Осторожно обойдя вокруг гигантского глаза, они устроились в маленькой пещерке внизу оврага, усыпанной опилками и кусками коры. Здесь было тепло, приятно пахло древесиной. Однако влюбленные сочли необходимым вернуться в свое единственное одеяло. Глаз, помаргивая, смотрел на них, а иногда вдруг судорожно вспыхивал, и, словно напуганные этим зловещим взглядом, они еще теснее прижимались друг к другу.

— Флип!

— Да?

— Зачем с ними пришли еще двое? Тоже из-за тебя?

— Наверное, — ответила она без тени кокетства. — К нам часто заглядывают незнакомые люди.

— Тебе, может быть, хочется пойти домой, к ним?

— А ты хочешь, чтобы я ушла?

Он не ответил и поцеловал ее. Но ему по-прежнему было не по себе.

— Похоже, что я сбежал от них, верно? — допытывался он.

— Нет, — возразила Флип. — Они ведь думают, что ты скво, и все тут. Им нужна я.

Ланса что-то кольнуло. В нем нарастало совершенно незнакомое ему и неприятное чувство: впервые в жизни его мучили раскаяние и стыд.

— Вернусь-ка я да погляжу, что там делается, — проговорил он и встал.

Флип не ответила. Она думала. Уверенная, что пришельцы разыскивают только ее, она не сомневалась, что они не обратят внимания на Ланса, если он явится к ним в одиночку. К тому же, зная его вспыльчивость, Флип предпочитала не встречаться при нем с гостями.

— Ну, хорошо, — согласилась она. — Отцу скажи, что с алмазной ямой что-то неладно и я покамест караулю здесь.

— А где ты будешь?

— Подойду к хижине и подожду его. Если он не сможет от них отвязаться и они пойдут с ним к яме, мы с тобой встретимся на этом месте. И вообще я устрою так, что отец сперва задержится у ямы.

Она взяла его за руку и повела к хижине на этот раз совсем другой дорогой. Ланс с удивлением увидел светящееся окошко у сарая всего в какой-нибудь сотне ярдов от себя.

— В дом войди через черный ход у сарая. В комнату постарайся не заходить и держись в тени. В доме не разговаривай, просто оклихни отца или помани его. И не забудь, — она засмеялась, — что он приставил тебя следить за мной. А волосы опусти на глаза вот так.

И она поцеловала его, как почти всегда делают женщины, когда что-нибудь поправляют в туалете мужчины; потом она отступила назад и скрылась во мраке бурной ночи.

Поведение Ланса после ухода Флип никак не вязалось с его женским обликом. Задрав грязную юбку, он вытащил из-за голенища длинный охотничий нож. Затем до-

стал из-за пазухи револьвер и, бесшумно поворачивая барабан, проверил, заряжен ли он. Потом неслышными шагами подкрался к хижине и встал. Густую темноту прорезал только тонкий луч света, пробивавшийся из-под плохо пригнутой двери. Говорил один из гостей. Лансу показалось, что ему знаком этот голос, в котором звучало злобное упоение и торжество.

Вот он услышал имя — свое имя! — и в гневе схватился за щеколду. Еще миг, и он распахнул бы дверь, но говоривший произнес другое имя, и рука Ланса безвольно повисла, а кровь отхлынула от щек. Он отпрянул от двери, чувствуя, как ослабели его ноги, и быстро провел рукой по лбу, потом с отчаянием и злостью заставил себя опомниться и, опустившись на колени у порога, прильнул к щели разгоряченным лбом.

— Знаю ли я Ланса Гарриота? — спрашивал голос. — Знаю ли я этого мерзавца? А разве не я шел за ним по пятам год назад, пока он не скрылся в кустарнике в трех милях от Брода? И разве не потеряли мы его след в тот самый день, когда он зашел на эту ферму и его переправили отсюда в Монтерей? Кто, как не он, убил Арканзасца Боба, или Боба Ридли, как его называли в Соноре? А кто такой Боб Ридли, а? Кто? Эх, ты, безмозглый старый дурень, да ведь это был Боб Фэрли — твой сын! — Старик заворчал что-то, сердито и невнятно.

— Э, да что ты там мелешь! — перебил его тот, кто говорил первым. — Кому-кому, а мне-то лучше знать. Вот посмотри на карточки. Я их нашел на убитом. Гляди, гляди. Вот ты, а вот твоя дочка. Может, скажешь — нет? Может, не веришь, что он мне сам и рассказал, что он твой сын? Он мне рассказывал про то, как он от тебя удрал, и про то, что ты живешь в горах и делаешь из древесного угля золото или уж не знаю что. Он не велел никому рассказывать об этом, и я понял так, что я один только о нем и знаю. А когда я вдруг узнал, что человек, который убил его — Ланс Гарриот, — прятался на вашей ферме, а теперь рассылает повсюду шпионов, чтобы разведать всю подноготную о твоём сыне, водит тебя за нос и пытается погубить твою дочь, как перед этим убил твоего сына, я сразу понял, что и он все знает.

— Ложь!

Дверь с грохотом распахнулась, и все увидели искаженное гневом лицо, наполовину скрытое под длинными, черными прядями, которые свивались, словно змеи вокруг головы Медузы. Раздался крик ужаса. Трое людей опрометью кинулись к двери и выскочили вон. А тот, кто



разговаривал со стариком, бросился к своему ружью, стоявшему у очага. Но он не успел до него добраться, как сверкнула ослепительная вспышка, грянул выстрел.

Его швырнуло на очаг, и он упал лицом в огонь, который зашипел от брызнувшей на него крови, а Ланс Гарриот с дымящимся револьвером в руке быстро прошел мимо него к двери. Испуганные голоса раздавались уже в отдалении, все слабее становился треск сучьев. Ланс повернулся к единственному из всей компании, кто остался в комнате и был жив, к старому Фэрли.

Однако и его можно было принять за мертвеца: он сидел застывший, окаменевший, безучастно уставившись неподвижным взглядом на лежащее у очага тело. Перед ним на столе валялось несколько скверных фотографий, на одной, несомненно, был запечатлен он сам в какую-то отдаленную эпоху, на другой можно было разглядеть маленькую девочку, в которой Ланс узнал Флип.

— Скажите,— хрипло заговорил Ланс, кладя на стол дрожащую руку,— это правда, что Боб Ридли ваш сын?

— Мой сын,— повторил старик каким-то странным, тусклым голосом, по-прежнему не отводя глаз от покойника,— мой сын... вот... здесь! — И он указал на мертвеца.— Тссс! Разве он вам не сказал? Разве вы не слышали? Убит... убит... застрелен!

— Замолчите! Вы что, с ума сошли? — дрожа, перебил его Ланс.— Это же вовсе не Боб Ридли, это негодяй, трус и лгун, который получил по заслугам. Послушайте! Если ваш сын и в самом деле был Боб Ридли, то, клянусь богом, я этого не знал ни сейчас, ни... тогда. Вы слышите? Ну, отвечайте же! Вы верите мне? Говорите. Говорите же!

Он почти с угрозой взял старика за плечо. Фэрли медленно поднял голову. Ланс в ужасе попятился. Безвольные губы старика кривила слабая, жалкая улыбка, глаза же, те глаза, где в прежние времена гнезился брюзгливый и подозрительный дух, зияли пустотой; освещавшие их слабые проблески разума погасли навсегда.

Ланс подошел к двери и постоял немного у порога, глядя в ночную темноту. Когда он снова повернулся к огню, лицо его было так же бледно, как лицо покойника, лежавшего на очаге; потухшие глаза говорили, что он побежден, и даже его походка стала медленной и неуверенной. Он подошел к столу.

— Послушай, старик,— заговорил он со странной усмешкой, и в голосе его вдруг зазвучала безмерная уста-

лость человека, у которого нет сил жить, — ты мне позволишь забрать это, ладно? — И он взял фотографию Флип.

Старик закивал головой.

— Спасибо, — сказал Ланс.

Он направился к двери, потом остановился и вернулся.

— Прощай, старик, — сказал он, протягивая руку.

Фэрли взял ее, улыбаясь, как ребенок.

— Умер, — тихо проговорил старик, держа Ланса за руку и указывая на очаг.

— Да, — ответил Ланс, и на его побелевшем лице мелькнуло слабое подобие улыбки. — Ты жалеешь всех, кто умер, верно?

Фэрли снова кивнул. Ланс посмотрел на него почти таким же отрешенным взглядом, каким глядел и сам Фэрли, тряхнул головой и пошел вон из хижины. Возле дверей он задержался и аккуратно, с несколько даже нарочитой тщательностью положил револьвер на стул. Но, оказавшись за порогом, Ланс воспользовался светом, падавшим из открытых дверей, чтоб осмотреть замок маленького пистолета, который вынул из кармана. Потом он старательно затворил дверь и той же медленной, нерешительной походкой побрел в темноту.

Он мечтал об одном: найти какое-нибудь уединенное место, где не раздадутся шаги человека и где он сможет найти покой, уснуть, уйти в небытие, в забвение, а главное, где он сам будет забыт. Он видел такие уголки — наверно, их было немало, — где находили кости людей, которые покинули землю, не оставив по себе никакой другой памяти. Он и сам сможет найти такое место, надо только держать себя в руках да еще быть поосторожней, ведь ее маленькие ножки доберутся куда угодно, а она ни за что не должна больше видеть его, ни живого, ни мертвого. Так он раздумывал, бредя в крошечном мраке бурной ночи, и вдруг услышал у самого уха:

— Ланс, как долго тебя не было!

Оставшись один, старик снова безучастно уставился на труп, как вдруг могучий порыв ветра, точно лавина, обрушился на хижину, ворвался в комнату сквозь щель плохо пригнанной двери и через трубу, разметал по полу тлеющие угольки и золу, и комната тотчас наполнилась огнем и едким дымом. Фэрли жалобно вскрикнул, вскочил движимый внезапно пробудившимся воспоминанием, бросился к постели, стал торопливо под ней шарить и, нащупав наконец кожаный мешочек с бесценным осколком

хрустала, опрометью ринулся вон. Новое потрясение вывело его из состояния апатии, и им снова безраздельно завладела его давнишняя мания — алмазы, а все остальное было забыто. Исчезли даже те смутные обрывки воспоминаний о событиях этой ночи, которые еще хранило его помраченное сознание: история его сына, Ланс, переодетый индианкой, убийство; единственное, что для него существовало, — было ночное дежурство у каменной ямы. Давнюю привычку не смогли побороть ни ночной мрак, ни ярость бури; через поваленные деревья и потоки воды старик упорно ковылял к своей цели и наконец добрался до нее. Приветливо мерцающий огонь вдруг тревожно затрепетал. Фэрли показалось, что он слышит голоса; да ведь здесь кто-то был — вот следы на опилках! Охваченный подозрением, Фэрли с яростным криком подбежал к яме и подскочил к ближайшей отдушине. Его больному воображению тут же представилось, что кто-то хозяйничал здесь, что его тайна раскрыта, плод неустанных трудов украден. С нечеловеческой силой он принялся расшвыривать во все стороны наполовину сгоревшие поленья, и от раскаленных углей стали подниматься смертоносные газы. Свирепые порывы ветра, время от времени врываясь в овраг, отгоняли их прочь от ямы, а иногда безумец, повинувшись безотчетному инстинкту, ничком падал на землю, зарываясь ртом и носом в сырую кору и опилки. Но вот вспышка ярости миновала, и он опять застыл в той безучастной созерцательной позе, в какой нередко сживал у своего лесного тигля. Так он и встретил зарю.

Заря пришла, когда утихла буря, когда в смятенном, развороченном небе стали появляться голубые промоины, и звезды, едва заблестев, стали блекнуть и наконец потонули в этих лазурных озерах, а озера расплылись в моря; а моря слились в безбрежный океан, но он уже не был лазурным, он весь переливался алым и опаловым. Заря пришла и медленно приподняла туманную завесу утра, вершины сосен и утесов вырывали из нее клочья, но она все поднималась, поднималась. Заря пришла, и изумрудной зеленью засверкала трава, брильянтами вспыхнули росинки, зашумели пробудившиеся леса, на дорогах и тропках слышались голоса людей.

Звук их замер у ямы, и старику показалось, что его о чем-то спрашивают. Он подошел, приложив палец к губам, и сделал предостерегающий жест. Когда несколько человек спустились к нему, он поманил их за собой, бормоча несвязно, но настойчиво:

— Мой мальчик, мой сын Роберт... вернулся... наконец-то вернулся... и Флип тут... оба... вот здесь, глядите...

Он подвел их к крохотной пещерке, выдолбленной в крутом склоне, остановился и вдруг сдернул одеяло. Флип и Ланс лежали рядом, держась за руки, мертвые, уже окоченевшие.

— Задохнулись!

Люди со страхом посмотрели на развороченную и еще дымящуюся яму.

— Нет, уснули, — ответил старик. — Спят! Вот так же они лежали рядышком, когда были еще малышами. Что вы мне толкуете? Разве я не узнаю свою плоть и кровь? Вот так, вот так! Вот так, мои хорошие!

Он наклонился и поцеловал их. Потом бережно накрыл одеялом, распрямился и тихо сказал:

— Спите спокойно!

---

## Находка в Сверкающей Звезде

Дождь кончился только под утро, когда рассеялась серая предрассветная мгла, и поселок Сверкающая Звезда проснулся с ощущением необычной чистоты; к тому же ливень размыл кучи мусора, громоздившиеся перед дверями хижин, и обнажил множество утерянных ножей, жестяных кружек и прочей мелкой лагерьной утвари. В Сверкающей Звезде еще бытовала легенда, как некий старатель, имевший привычку вставать спозаранку, подобрал прямо на проезжей дороге увесистый самородок, с которого дождь смыл грязь и глину, так что он засиял первозданным блеском. Быть может, именно этим объясняется, что все любители рано вставать в этой местности приобретают особую сосредоточенность и в период дождей почти никогда не поднимают глаз к небу, то покрытому тучами, то промытому до цвета бледного индиго.

В это утро Кэсс Бэрд вскочил с постели чуть свет, хотя ни о каких находках он даже не помышлял. Просто-напросто крыша в его лачуге дала течь — а как же не протекать крыше у такого незначительного и легкомысленного хозяина? И он проснулся в четыре утра на затопленной койке и под мокрым одеялом. Он попробовал развести огонь, чтобы просушить белье, но отсыревшие дрова только шипели, и оставалось одно — обратиться за помощью к какому-нибудь хозяйственному соседу. Такой сосед жил напротив. Мистер Кэссиус уже переходил дорогу, но вдруг остановился. Что-то блеснуло в бурой луже у его ног. Не иначе как золото! И как ни странно, это был не бесформенный кусок руды, только что извлеченный из тигля природы, а настоящее ювелирное изделие — обыкновенное, гладкое золотое кольцо. Присмотревшись, Кэсс увидел надпись: *«Кэсу от Мэй»*.







Большинство золотоискателей суеверно, и Кэсс был таким же, как все. «Кэссу»! Это же его собственное имя! Он примерил кольцо. Оно влезло только на мизинец. Несомненно, это было кольцо с женской руки. Он поглядел на дорогу — нигде ни души. Лужицы на рыжей дороге уже начинали поблескивать и розоветь в лучах восходящего солнца, но он не обнаружил никаких следов владелицы драгоценной находки. Женщин в лагере не было, а из мужчин — Кэсс это отлично знал — такого кольца не носил никто. Совпадение же имен, если вспомнить, что имя-то у него довольно редкое, несомненно, должно было послужить поводом для бесконечных шуточек; его товарищи не терпели сентиментальных сувениров. Кэсс опустил блестящую безделку в карман и задумчиво побрел домой.

Часа через два, когда по дороге двинулась длинная и беспорядочная процессия золотоискателей, которые каждый день шли этим путем к ущелью Сверкающей Звезды, где мыли золото, Кэсс попробовал расспросить товарищей.

— Ты случаем не обронил чего-нибудь вчера на дороге? — осторожно выпытывал он.

— Я выронил бумажник с ценными бумагами всего тысяч на пятьдесят или шестьдесят, — небрежно отозвался Питер Драмонд. — Пустяки, конечно, но там были еще собственноручные письма иностранных монархов — ценности никакой, но дороги, как память. Если кто мне вернет письма, деньги пусть забирает себе... Я ведь не жадный, — со скучающим видом пояснил он.

Такую явную ложь золотоискатели пропустили мимо ушей и невозмутимо продолжали свой путь.

— Ну, а ты? — спросил Кэсс еще одного.

— А как же! Спустил Джеку Гемлину всю наличность — мы вчера в Уингдэме резались в покер, — задумчиво ответил тот. — Только уж эти денежки теперь с земли не подберешь!

Кэсс ничего так и не добился, кроме грубоватых шуток, и ему пришлось объясниться начистоту — он рассказал приятелям про свою находку и показал кольцо. Было высказано немало догадок, но только одна из них пришлась по вкусу честной компании в ее унылом утреннем настроении. (Это уныние объяснялось тяжестью в желудке, остающейся после жареной свинины и оладий, к тому же плохо прожеванных.) Итак, все согласились с тем, что

кольцо обронил какой-нибудь грабитель с большой дороги, возвращавшийся с добычей в свое логово.

— На твоём месте, — сказал Драмонд мрачно, — я бы не стал похваться этим кольцом перед таким сборищем. Мне случалось видеть, как качаются на деревьях люди получше тебя, хотя члены комитета бдительных не нашли у них в кармане даже такой малости.

— Да и о том, что ты шляешься ни свет, ни заря по дорогам, тоже лучше помалкивать, — прибавил ещё более мрачный пессимист. — Присяжным это может не понравиться.

Тут они все уныло разошлись, а простодушный Кэсс так и застыл с кольцом в руке, чувствуя, что уже навлек на себя самые черные подозрения своих товарищей — вряд ли нужно объяснять, что именно этого они и добивались.

Когда Кэсс нашёл в луже кольцо, он счёл это счастливым предзнаменованием, но оно тем не менее не принесло удачи ни ему, ни его товарищам. Золотоискатели ежедневно промывали песок, но получали в награду за труд лишь скудные крохи, и это усугубляло ироническую мрачность жителей Сверкающей Звезды. Впрочем, если Кэсс и не извлек материальной выгоды из своей находки, кольцо все же расшевелило его вялое воображение; конечно, это — сомнительное и ненадежное лекарство от вялости и тоски, однако благодаря ему Кэсс как-то поднимался над однообразной рутинной неряшливой и беспечной жизни, которую он не без удовольствия влачил в старательском поселке. Он помнил мудрое предостережение товарищей и только ночью, юркнув под одеяло, доставал золотой ободок, осторожно надевал его на мизинец, и спалось ему тогда, по его словам, «куда как хорошо». Не могу сказать, вызывало ли оно какие-нибудь приятные сны или видения в те тихие и девственно-холодные весенние ночи, когда даже луна и большие планеты теряются в льдисто-синей, как сталь, небесной тверди. Достаточно и того, что суеверная привязанность к кольцу пробудила в душе Кэсса мечты и надежды, смягчавшие прежний мрачный фатализм. Но эти мечты не сделали его прилежней, и доля Кэсса в совместных трудах лагеря оставалась ничтожной. К тому же они заставили его замкнуться в себе, что вначале даже принесло свои плоды, но из-за этого он лишился возможности черпать из кладе-

зя той суровой практической мудрости, которая лежала в основе всех ворчливых суждений его товарищей.

— Провалиться мне на этом месте, если Кэсс не свихнулся из-за своего колечка, — заявил один резонер. — Носит его под рубашкой на веревочке.

А время шло, не дожидаясь, чтобы люди раскрыли тайну кольца. Горячее июньское солнце и буйные ночные ветры нагорий высушили бурые лужи на проезжей дороге в Сверкающей Звезде. Недолговечные травы, быстро выросшие на том месте, где были лужи, столь же быстро поблекли, а шоколадного цвета земля растрескалась от жары. Следы весны становились все более смутными и неопределенными, а потом и совсем исчезли, засыпанные тончайшей летней пылью.

В одну из своих долгих и бесцельных прогулок Кэсс углубился в густые заросли каштана и орешника и, сам того не ожидая, вышел на большую дорогу, которая вела к Броду Краснокожего Вождя. Он увидел зловещую тучу пыли, скрывшую даль, и сообразил, что здесь только что промчалась почтовая карета. Он уже стал до такой степени суеверным, что в любом, самом незначительном и обычном происшествии искал какой-то связи с тайной кольца и все ждал, что вдруг на нее прольется свет. Он машинально шарил взглядом по земле, словно надеялся, что какая-нибудь новая находка докажет, насколько он был прав в своих ожиданиях. И вот тут-то, прямо против того места, где он вышел из чащи на дорогу, перед его рассеянным взглядом возникла совсем молоденькая всадница, так неожиданно, будто она появилась из-под земли.

— Подите сюда! Пожалуйста, поскорее!

Кэсс было замер от удивления, а потом неуверенно направился к девушке.

— Я услышала, что кто-то идет через кусты, и подождала, — объяснила девушка. — Быстрее! Это просто ужасно!

Однако вопреки ее словам Кэсс заметил, что в ее возбужденной скороговорке совершенно не чувствуется ни испуга, ни даже тревоги, а во взгляде, устремленном на него, он не прочел ничего, кроме интереса и любопытства.

— Вот тут, на этом самом месте, — продолжала она, — я въехала в кусты, чтобы срезать хлыст для лошади, и смотрите сами, — она быстро двинулась вперед, указывая дорогу. — Да глядите же! Видите, что я нашла!

Место, куда она его привела, находилось всего футах в тридцати от дороги. Кэсс не увидел ничего, кроме си-

ротливо валявшейся в траве мужской шляпы с высокой тульей. Это был цилиндр, новенький, блестящий, самой последней моды. Вызывающе элегантный и вместе с тем нелепый и беспомощный, он казался даже не просто смешным, хотя бы потому, что никак не вязался с пейзажем, не мог войти в него. И это так поразило Кэсса, что он застыл на месте, тревожно глядя на странный предмет.

— Да вы не туда смотрите, — нетерпеливо вскричала девушка. — Вот тут...

Кэсс посмотрел в ту сторону, куда она указывала хлыстом. Ему показалось, что там на земле валяется скомканная куртка, но тут же он заметил, что из распластанного рукава высовывается бледная, застывшая, бессильно сжатая в кулак рука; а дальше нелепо изогнутое и почти скрытое травой лежало нечто, что можно было бы принять за скинутые брюки, если бы не пара грубых башмаков, носки которых торчали вверх. Мертвец! Он был так явно, так ощутимо мертв, что жизнь, казалось, покинула даже его одежду; так уныло бессилён, ничтожен и осквернен одеждой, что и обнаженный труп на столе в анатомическом театре показался бы в сравнении не столь оскорбительным для человеческого достоинства. Запрокинутая голова провалилась в нору суслика, но бледное лицо и закрытые глаза были не так безнадежно мертвы, как эта гнусная одежда. К тому же вторая рука, лежавшая на вздутом животе, вызвала неуместную и чудовищную мысль, что этот человек свалился и отсыпается после дружеской попойки.

— До чего он мерзок, — сказала девушка. — Но отчего он умер?

Хладнокровие и любопытство девушки подействовали на Кэсса, и, преодолевая отвращение, он осторожно приподнял голову мертвеца. Синеватая дырочка на правом виске и несколько коричневых, похожих на разбрызганную краску, пятен на лбу, на спутанных волосах и на воротнике — вот все, что они увидели.

— Поверните-ка его, — потребовала девушка, когда Кэсс хотел уже опустить голову мертвеца. — Может, есть еще одна рана?..

Кэсс смутно припомнил, что в странах с более старой цивилизацией существуют определенные правила, которые принято соблюдать, когда находят мертвое тело, и не стал производить дальнейшего следствия.

— Вам бы лучше уехать, мисс, не то вас, того гляди, вызовут свидетельницей в суд. А я отправлюсь в Брод

Краснокожего Вождя — надо сообщить об этом следственному судье.

— Я поеду с вами, — заявила она. — Это ведь так интересно! Отчего ж мне и не быть свидетельницей? А хотите, — добавила она, не обращая внимания на удивленный взгляд Кэсса, — я подожду вас здесь...

— Но, видите ли... Не принято, чтобы молодые девушки... — начал было Кэсс, но она капризно перебила его:

— Это же я его нашла!

Право первооткрывателя священно для всех, кто ищет золото, и Кэсс не устоял перед ее доводом.

— Кто здесь следственный судья?

— Джо Хорнсби.

— Высокий, хромой? Тот, которого чуть не задрал гризли?

— Он самый...

— Ну, если так, то я сама поеду и привезу его через полчаса. Ждите!

— Но, мисс.

— Нечего спорить... Я еще такого, как здесь, никогда не видела и хочу досмотреть все до конца.

— А вы знакомы с Хорнсби? — спросил Кэсс, чувствуя невольное раздражение.

— Нет, но не беспокойтесь, я его привезу. — И она повернула лошадь к дороге.

Перед лицом этого олицетворения энергии Кэсс позабыл о мертвеце.

— А вы давно в наших краях, мисс? — спросил он.

— Около двух недель, — лаконично ответила она. — Ну, до скорого свидания! Кстати, поищите вокруг, может, найдете пистолет или еще что-нибудь, хотя надежды мало: я здесь дважды все обшарила.

Взвилось облачко пыли — это лошадь выбралась на дорогу и загарцевала. Но всадница легко справилась с ней, раздался мерный топот копыт, и девушка умчалась.

Не прошло и пяти минут, как Кэсс уже раскаивался, что не отправился с ней: ему вовсе не улыбалось ждать в таком жутком месте. Впрочем, вокруг не было ничего зловещего; яркое и надежное солнце Калифорнии рассеивало любую крадущуюся тень, рожденную воображением или колыханием ветвей. Один раз, когда поднялся ветер, пустой цилиндр вдруг покатился по земле, но это было скорее смешно, потому что казалось, будто он просто свалился с головы пьяного. Кэсс попробовал поискать, нет ли чего на земле, но безуспешно и начал терять тер-

пение. Как он проклинал себя за то, что согласился остаться! Он с удовольствием и сейчас удрал бы отсюда, и его удержал только стыд. Хорошее настроение не вернулось к нему даже к концу нудного получаса, когда на пыльном горизонте появились фигуры двух всадников, в которых он узнал Хорнсби и девушку.

Тут раздражение усилилось, так как ему показалось, что на него не обращают никакого внимания, — во всяком случае, Хорнсби только небрежно кивнул ему. С помощью девушки, чья живость и энергия явно приводили его в восторг, следственный судья перевернул труп и приступил к подробному осмотру. Он вывернул и тщательно обыскал карманы покойника. Несколько золотых монет, серебряный карандашик, нож, табакерка, вот и все. Ни малейшей возможности установить личность убитого. Девушка, стоя на коленях, с напряженным интересом следила за тем, что делает представитель власти, и вдруг радостно воскликнула:

— Здесь что-то есть! Выпало из-под его рубашки. Взгляните!

Большим и указательным пальцами она держала сложенный обрывок пожелтевшей газеты. Ее глаза сияли.

— Развернуть? Можно?

— Да.

— Это колечко, — сказала она. — Похоже на обручальное. На нем надпись. Вот: *«Кэссу от Мэй»*.

Кэсс подался вперед.

— Это мое кольцо, — запинаясь, сказал он. — Я его обронил. Оно тут ни при чем, — прибавил он, краснея под взглядами девушки и следователя. — Оно мое. Отдайте!

Но Хорнсби отстранил протянутую руку.

— Ну, нет! — многозначительно произнес он.

— Но ведь оно мое, — настаивал Кэсс; уже не сконфуженный тем, что его тайна разоблачена, но возмущенный и сердитый. — Я нашел это кольцо с полгода назад на дороге. Я... я его подобрал.

— Ловко, — мрачно заметил Хорнсби. — А на нем, значит, заранее была сделана надпись с вашим именем... Так, что ли?

— Это старая история, — сказал Кэсс, краснея под насмешливым и в то же время испытующим взглядом девушки. — Вся Сверкающая Звезда знает, что я нашел его.

— Значит, вам нетрудно будет это доказать, — хладнокровно ответил следственный судья. — Но в данный момент нашли его мы, и оно будет приобщено к делу до разбирательства.



Кэсс пожал плечами. Продолжать спор не стоило: это поставило бы его в еще более смешное положение в глазах девушки. Он повернулся и ушел, оставив свое сокровище в руках Хорнсби.

Разбирательство состоялось дня через два и было кратким и исчерпывающим. Личность покойного установить не удалось; за недостатком данных нельзя было решить, убийство это или самоубийство; никаких улик против возможного убийцы или убийц обнаружено не было. Но разбирательство вызвало большой интерес и наделало много шума благодаря главной свидетельнице — молоденькой и очень красивой девушке.

«Тело было обнаружено только благодаря	смелости, настойчивости и уму мисс Портер», —
--	---

писал «Вестник Краснокожего Вождя».

Все присутствующие на суде невольно поддались очарованию этой прелестной молодой девушки.

«Мисс Портер лишь недавно приехала в наши края, но мы надеемся, что она станет постоянным жителем и почетным членом нашего	общества, чтобы всегда служить примером для всех слабовольных и сентиментальных представителей так называемого сильного пола».
--	--

Отпустив этот весьма прозрачный намек в адрес Кэсса Бэрда, «Вестник» продолжал:

«Некоторый интерес вызвало маленькое обручальное кольцо, найденное на теле убитого, в котором сначала усмотрели возможный ключ к тайне. Однако из свидетельских показаний явствует, что кольцо это является собственностью некоего мистера Кэсса Бэрда, жителя Сверкающей Звезды, который появился на месте происшествия уже после того, как мисс Портер обнаружила труп. Мистер Кэсс Бэрд утверждает, что выронил кольцо, когда переворачивал тело несчастного. Чувствительность и смущение джентльмена,	предъявившего претензии на кольцо, всех позабавили и удивили, так же как всеобщий дух солидарности жителей Сверкающей Звезды. Из показаний нашего воздыхателя, этого Стрефона <sup>1</sup> предгорий, выяснилось, однако, что этот знак любви был попросту найден им в луже на большой дороге за полгода до интересующих нас событий, а потому следственный судья благоразумно передал его на хранение судебным властям до обнаружения законного владельца».
---	--

Вот каким образом 13 сентября 186... года сокровище, найденное в Сверкающей Звезде, ускользнуло из рук того, кто его нашел.

<sup>1</sup> Влюбленный пастух из поэмы Ф. Сиднея «Аркадия».

Осенью тайна внезапно раскрылась. Канак Джо был схвачен за конокрадство, но с благородным чистосердечием признался и в более славном преступлении, а именно в убийстве. Скорый и правый суд, который вершили над конокрадом, по обычаям тех краев, был внезапно приостановлен: ведь жертвой убийства был не кто иной, как таинственный незнакомец. Импровизированный судья и присяжные не совладали со своим любопытством.

— Это был честный бой, — гордо заявил обвиняемый, польщенный всеобщим вниманием, — а победил тот, кто быстрее схватился за оружие. Накануне вечером мы малость повздорили за картами в Лагранже: у меня четыре туза, и у него четыре туза, понимаете? Мы, конечно, тут же сцепились, но нас растащили, и что же нам оставалось, как не стрелять без предупреждения? Он ушел из Лагранжа на заре, а я двинулся напрямик через каштановую рощу и на дороге возле Краснокожего Вождя так прямо на него и напоролся. Я прицелился, как только увидел его, и сразу окликнул. Он с лошади — прыг и спрятался за нее, а сам за кобуру хватается, но кобыла встала на дыбы и стала пятиться, а он с ней — тут в кустах, тогда я его и достал пулей.

— И кобылу его забрал? — поинтересовался судья.

— Надо же было убраться оттуда, — скромно ответил игрок.

Из дальнейших расспросов выяснилось, что Джо ничего не знает о покойнике — даже его имени. В Лагранже он был чужаком.

Погода в тот день стояла ветреная, но в поселке кипели еще более бурные споры из-за непривычной задержки правосудия. Особенно жаркую перепалку вызвало предложение сначала повесить Джо за конокрадство, а потом предать суду за убийство, но другие настаивали на компромиссе: рассматривать убийство лишь как одно из доказательств конокрадства. Из Краснокожего Вождя на помощь явилась целая толпа, среди которой был сам следственный судья.

Кэсс Бэрд не участвовал в этой истории — она напоминала ему о его собственных недавних неприятностях — и отправился бродить с киркой, лотком и котомкой подальше от лагеря. Это снаряжение, как я уже предупреждал читателя, служит оправданием всякой бессмысленной трате времени и прикрывается не менее бессмысленным названием «старательство». После трехчасовой прогулки он добрался до проезжей дороги на Краснокожего Вождя, почти скрытой непроглядными тучами пыли, подни-

мавшимися над ней при каждом порыве ветра, дувшего с гор. Место показалось Кэссу знакомым, но свежие ямки невядалеке от дороги с кучами земли возле каждой свидетельствовали, что тут с тех пор побывал какой-то старатель. Пока Кэсс рылся в памяти, пыль внезапно улеглась, и он сообразил, что находится на том самом месте, где произошло убийство. Он вздрогнул: после суда он не был здесь ни разу. Чтобы восстановить всю картину, не хватало только бездыханного тела и живой, энергичной девушки, составлявшей такой разительный контраст ему. Мертвеца действительно не было, но, оглянувшись, Кэсс увидел в нескольких шагах от себя мисс Портер верхом на той же лошади и такую же деловитую и наблюдательную, как в то утро, когда они познакомились. Его охватило суеверное волнение, и в нем проснулась прежняя враждебность.

Она небрежно кивнула ему:

— Я приехала сюда, чтобы освежить все это в памяти,— сказала она.— Мистер Хорнсби считает, что меня могут вызвать в Сверкающую Звезду и потребовать, чтобы я повторила свои показания.

Кэсс почему-то ударил киркой по дерну и ничего не ответил.

— А вы зачем здесь? — спросила она.

— Я пошел на разведку и случайно забрел сюда...

— Значит, это вы рыли здесь ямы?

— Нет,— сказал Кэсс, еле скрывая раздражение.— Только дурак или новичок станет рыть в таком месте...— Он умолк, почувствовав, что сказал грубость, и добавил угрюмо: — Понимаете, никто здесь копать не станет.

Девушка рассмеялась, и над волевым подбородком сверкнули ослепительно белые зубы. Кэсс отвернулся.

— А, по-вашему, старатели не знают, что надо копать там, где пролита человеческая кровь?

Кэсс насторожился, услышав про новую примету, но глаз не поднял.

— Никогда такого не слыхал,— насупившись, отрезал он.

— И вы называете себя калифорнийским старателем?

— Да.

Мисс Портер не могла не заметить, как грубо и неохотно он ей отвечает. Она взглянула на него, слегка покраснела и, взяв поводья, сказала:

— Вы совсем не похожи на других старателей, которых я встречала.

— И вы не похожи ни на одну из девушек с востока, которых я встречал.

— Что вы хотите этим сказать? — спросила она, сдерживая лошадь.

— То, что сказал, — упрямо отозвался он. Хоть этот ответ и был вполне разумным, Кэсс, однако, почувствовал, что его никак нельзя назвать галантным и достойным мужчины. Он хотел было объясниться, но мисс Портер ускочила прежде, чем он раскрыл рот.

Он снова встретился с ней в тот же вечер. Судебный процесс был внезапно прерван, потому что явился шериф из Калавераса с отрядом, вырвал Джо из лап самочинного судилища Сверкающей Звезды и увез на юг, чтобы он предстал перед лицом правосудия, которое вершат более законные, хотя и не столь решительные судьи. Но к тому времени уже успели огласить протоколы следственного суда, так что история с кольцом снова всплыла на свет. Говорят, что подсудимый недоверчиво усмехнулся и пожелал взглянуть на таинственную находку. Ему показали кольцо. Он, возможно, стоял в тени своей будущей виселицы — скорее всего для этого воспользовались бы одной из сосен, осенявших бильярдную, где шел суд, — и все же подсудимый разразился таким искренним и чистосердечным смехом, что заразил и судью и присяжных. Когда тишина была восстановлена, судья потребовал объяснений. Вместо ответа слышалось только сдержанное хихиканье подсудимого.

— Может, кольцо это раньше принадлежало вам? — строго спросил судья, а присяжные и публика наострили уши и заранее заулыбались в предвкушении ответа. Но подсудимый же только посмотрел по сторонам, и глаза его засверкали злобным блеском.

— Говори, Джо, не стесняйся, — громким шепотом сказал один из присяжных, человек добродушный и смѣшливый, — покаяйся, мы окажем тебе снисхождение.

— Подсудимый, учтите, что ваша жизнь в опасности, — заявил судья с прежним достоинством. — Вы отказываетесь отвечать?

Джо небрежно закинул руку на спинку стула с таким видом (далее я цитирую вдохновенного очевидца), «будто душа его преисполнена христианской надежды, а на руках комбинация из четырех тузов», и сказал:

— Меня же обвиняют не в краже кольца, которое и нашел-то не я, а другой, если, конечно, верить его словам, и, значит, это кольцо никакого отношения к делу не имеет.

Но тут в бильярдную ворвался шериф из Калавераса, и тайна осталась нераскрытой.

В Сверкающей Звезде могли бы заранее предсказать, какое действие окажет эта новая насмешка на чувствительную душу Кэсса, если бы только они считались с такими свойствами души, как чувствительность. Он утратил былое добродушие и доверчивость, которая некогда толкнула его на откровенность, и постепенно ожесточился. Сначала он притворялся, будто сам посмеивается над своей рухнувшей мечтой, а горькое юношеское разочарование затаил глубоко в сердце; но, ополчившись на собственные чувства, он одновременно ополчился и на своих товарищей. На какое-то время он даже впал у них в немилость. Люди не терпят, когда человек, служивший мишенью для их шуток, вдруг уклоняется от этой роли. Тот, над которым смеются, всегда пользуется известным благожелательством, но горе ему, если он потребует, чтобы с ним обращались серьезно и с уважением, — пощады пусть не ждет.

Так обстояли дела в тот вечер, когда Кэсс Бэрд, признанный виновным в неприкрытой сентиментальности да еще в непоследовательности, занял место в почтовой карете и отправился в Брод Краснокожего Вождя. Обычно он садился рядом с кучером, но на этот раз изменил своей привычке, потому что на козлах сидели мисс Портер и Хорнсби. Ни девушка, ни следственный судья не заметили Кэсса, и юноше это доставило какое-то мрачное удовлетворение; воспользовавшись тем, что больше пассажиров не было, он развалился на заднем сиденье и погрузился в горестные размышления. Он твердо решил покинуть Сверкающую Звезду, всерьез посвятить себя наживанию денег и вернуться к своим товарищам в новом обличье — циничного, насмешливого богача и повергнуть их в полное смятение. Бедняга Кэсс еще не понимал, что преуспеть он может, только преодолев свое прошлое. Большая часть его детства прошла среди золотоискателей, и он еще недостаточно повзрослел, чтобы знать, что успех и удача не измеряются мерками этих людей. Луна освещала темную внутренность кареты слабым, поэтическим сиянием. Плавное колыхание экипажа, который, пусть на одни сутки, но все же увозил его прочь, одиночество и тишина, бесконечные просторы за окнами, полные скрытых возможностей, — все это наделяло кольцо, хоть и осмеянное, не менее могучей силой, чем кольца Гигеса<sup>1</sup>. Кэсс

---

<sup>1</sup> Кольцо Гигеса делало того, кто его надевал, невидимым.

грезил с открытыми глазами. Но внезапный толчок заставил его очнуться от грез. Карета остановилась. С козел доносилось два мужских голоса, один умоляющий, другой урезонивающий. Кэсс машинально потянулся к карману, где носил пистолет.

— Благодарю вас, но я требую, чтобы мне дали сойти.

Кэсс узнал голос мисс Портер. Затем последовал обмен торопливыми и приглушенными репликами между Хорнсби и кучером. Наконец послышался хриплый голос кучера:

— Если барышня желает ехать внутри, пусть едет.

Мисс Портер прыгнула с козел. Хорнсби бросился за ней.

— Одну минуточку, мисс.— Он говорил сконфуженно, но не без грубоватой развязности.— Вы меня не поняли... Это недоразумение, ведь я только хотел...

Мисс Портер уже вскочила в карету.

Хорнсби ухватился за ручку дверцы. Мисс Портер крепко держала ее изнутри. Произошла некоторая борьба.

Для мальчишеского воображения Кэсса все это было лишь продолжением его грез. Но он очнулся от них мужчиной.

— Вы не хотите, чтобы он ехал тут? — спросил он и сам не узнал своего голоса.

— Нет!

Кэсс вцепился в руку Хорнсби, как молодой тигр. Увы, чего стоит рыцарственность, если ей противостоит грубая сила! Кэсс только и сделал, что распахнул дверь, вопреки мудрой тактике мисс Портер, обладавшей, боюсь, и более развитой мускулатурой, чем он; затем он с дикой яростью вцепился в горло мистеру Хорнсби и не отпускал его, спокойно дожидаясь конца. Зато с самого первого приступа ему удалось оттеснить Хорнсби на дорогу, залитую лунным светом.

— Эй, кто-нибудь, поддержите вожжи! — Это был голос «Горца Чарли», кучера. Этот необыкновенно прямолинейный человек соскочил с козел и разнял дерущихся.

— Вы едете внутри? — спросил Чарли у Кэсса. Кэсс не успел ответить, как из окна раздался голос мисс Портер:

— Да, внутри.

Чарли немедленно втолкнул Кэсса в карету.

— А вы, — обратился он к Хорнсби, — купили место наверху. Ну-ка, полезайте, не то плохо будет.

Вероятно, Чарли так же быстро водворил мистера



Хорнсби на его место, потому что через секунду карета уже катила по дороге.

Между тем Кэсс, водворенный внутрь насильственно, сначала уселся на колени мисс Портер, затем попробовал добраться до среднего сиденья, но как раз тут карета дернулась, и он навалился ей на плечо и сбил шляпку; все это отнюдь не напоминало исполненную достоинства сдержанность, которую Кэсс заранее решил напустить на себя. А мисс Портер уже пришла в хорошее настроение.

— Ну и грубиян же он! — сказала она, завязывая ленты шляпки под своим волевым подбородком и разглаживая полотняную накидку.

Кэсс хотел притвориться, будто уже все позабыл.

— Кто грубиян?.. Ах, да, конечно... — рассеянно сказал он.

— Мне, в сущности, следовало бы поблагодарить вас, — улыбаясь, сказала она, — но, право же, я не пустила бы его, если б вы не втянули его руку в окошко. Посмотрите, я вам сейчас покажу. Держите ручку дверцы. А я крепко держу запор. Видите, вы не можете повернуть ручку.

Она действительно крепко держала запор. Рука у нее была сильная и все же нежная; их пальцы соприкоснулись — совсем белые в лунном свете. Кэсс ничего не ответил, но тихо опустился на сиденье со странным ощущением в пальцах, которые дотронулись до ее руки. Он сидел в темном углу и, поскольку она не могла его видеть, решил временно отказаться от благородной сдержанности и рассмотреть лицо своей спутницы. Ему пришло в голову, что он ни разу еще не видел ее как следует. Оказывается, она вовсе не такая высокая. Глаза не очень большие, но с поволокой, бархатные и чуть выпуклые. Нос самый обыкновенный, кожа тусклая, чуть побледнее около углов рта, на носу из-за веснушек, мелких, как перец. Рот очерчен твердо, но алые губы кажутся влажными, как и ее глаза. Она отодвинулась в угол, а руку продела в свисающую сверху ременную петлю, и ее фигура, изящная, несмотря на свою пышность, плавно покачивалась в такт движению кареты. А потом она и вовсе позабыла, что в темный угол напротив забился другой пассажир, и, закинув слегка голову, соскользнула чуть пониже, а ножки в красивых туфлях непринужденно положила на среднее сиденье. В этой позе она была удивительно мила.

Прошло минут пять. Она глядела на луну. Кэсс Бэрд уже чувствовал, что его исполненная достоинства сдержанность смахивает на неуклюжую застенчивость, и решил сменить ее на холодную вежливость.

— Надеюсь, мисс, вы не слишком испугались этого... этого... — начал он.

— Я? — Она выпрямилась, бросила удивленный взгляд в темный угол и снова устроилась в прежней позе. — Господи, конечно, нет...

Прошло еще пять минут. Она, очевидно, совсем забыла о его присутствии. Это уже было похоже на грубость. Он снова решил укрыться за щитом сдержанности. Но теперь к ней примешивалась легкая обида.

И все же, до чего лунный свет смягчает ее черты! Даже квадратный подбородок как будто утратил выражение волевой и деловой практичности, которое было так неприятно Кэссу и словно служило жестоким укором его собственной слабости. А эти влажные с поволокой глаза, как они блестят! Но влажный блеск, кажется, сосредоточился в уголках глаз и вдруг соскользнул — кап! — и стекает по щеке... Не может быть!.. Неужели она плачет?..

Сердце Кэсса растаяло. Он шевельнулся. Но мисс Портер высунулась в окно, и, когда через секунду заняла прежнее положение, глаза у нее были сухие.

— Когда много ездешь, с кем только не сталкиваешься, — заявил Кэсс с философской жизнерадостностью (так ему по крайней мере казалось).

— Может, и так. Но я-то этого не замечала. До сих пор никто со мной груб не был. А я еще вот такая маленькая была, а уже ездила по всей стране и с самыми разными людьми. И всегда, всегда поступала, как находила нужным, и никаких неприятностей. Я всегда делаю, что хочу. А почему бы и нет? Другим это, может, не нравится. А мне нравится. Я люблю, чтобы было интересно. Я хочу увидеть все, на что стоит посмотреть. Не понимаю, почему я должна таскать за собой провожатого только потому, что я девушка, и я не понимаю, почему я не могу делать того, что делает каждый мужчина, если в этом нет ничего дурного. Согласны вы со мной? Может, да, а может, нет. Может, вам нравятся барышни, которые вечно сидят дома и бездельничают, бренчат на фортепьяно и читают романы... Может, вы считаете, что раз я всего этого не люблю и не притворяюсь, будто люблю, то я бог знает кто!

Она говорила резко и вызывающе, так явно отвечая Кэссу на все его невысказанные упреки, что он нисколько не удивился, когда она заговорила напрямик.

— Я знаю, вам очень не понравилось, что я поехала за следственным судьей, за этим Хорнсби, после того как мы нашли труп.

— Зато это понравилось Хорнсби, — язвительно вставил Кэсс.

— На что вы намекаете? — резко спросила она.

— Вы, как будто, были с ним в дружбе, пока...

— Пока он не оскорбил меня, вот только что, при вас... Вы об этом?

— Пока он не решил, — запинаясь, произнес Кэсс, — что раз вы... не так... вы понимаете... если вы не так осмотрительны, как другие девушки, то ему можно позволить себе кое-какие вольности.

— И только потому, что я осмелилась проехать с ним вдвоем целую милю, чтобы узнать, какие вещи случаются в жизни, и попробовала быть полезной вместо того, чтобы гулять по Главной улице и глазеть на витрины.

— ...сияя красотой, — перебил Кэсс. Но эта беспомощная, совсем несвойственная Кэссу попытка сказать комплимент встретила внезапный отпор.

Мисс Портер выпрямилась и посмотрела в окно.

— Вам хочется, чтобы остаток пути я прошла пешком?

— Что вы! — вскричал Кэсс, покраснев до ушей и чувствуя себя последним наглецом.

— В таком случае больше не говорите ничего подобного.

Наступило неловкое молчание.

— Как жаль, что я не мужчина, — сказала она вдруг вполне искренне и даже с горечью.

Кэсс Бэрд был слишком молод и не умудрен опытом и еще не успел заметить, что подобные жалобы вырываются из уст тех женщин, у которых меньше всего оснований сетовать на свою принадлежность к слабому полу; если бы не выговор, который ему только что сделали, он, несомненно, горячо запротестовал бы — как всегда протестуют мужчины, если подобное желание выражают нежные, розовые губки, хотя, как ни странно, они предпочитают помалкивать, когда в их присутствии мужеподобная старая дева начинает восхвалять женщин. Я уверен, впрочем, что мисс Портер была вполне искренна, потому что через секунду она продолжала, слегка надув губки:

— А ведь я бегала смотреть на все пожары в Сакраменто. Когда мне не было еще десяти. Я видела, как сгорел театр. И никто меня тогда за это не осуждал.

Кэсс не удержался и спросил, а как смотрят родители на ее мальчишеские вкусы. Ответ последовал характерный для нее, хоть и не совсем удовлетворительный:

— Как смотрят? Пусть только попробуют что-нибудь сказать!

Карета миновала крутой поворот, и лунный свет со свойственным ему непостоянством покинул мисс Портер и разыскал на переднем сиденье Кэсса. Он заиграл на шелковистых усах юноши и на его длинных ресницах, а попутно смягчил загар на его щеках.

— Что у вас с шеей? — внезапно спросила девушка.

Кэсс скосил глаза на грудь и густо покраснел, заметив, что ворот его шикарной матросской рубахи разорван. Однако в прорехе виднелась не только белая и нежная, почти девическая кожа; вся рубаха спереди была выпачкана в крови, сочившейся из небольшой ранки на плече. Кэсс вспомнил, что во время драки с Хорнсби он почувствовал боль в этом месте.

У девушки заблестели глаза.

— Я перевяжу вас, — живо сказала она. — Не возражайте. Я умею делать перевязки. Идите сюда... Нет, сидите. Я сама подойду к вам.

И она подошла, перешагнув через среднюю скамейку, и опустилась рядом с ним. Снова он ощутил прикосновение ее волшебных пальцев и почувствовал ее дыхание на своей груди, когда она нагнулась к нему.

— Это пустяки, — сказал он поспешно, выведенный из равновесия не столько раной, сколько лечением.

— Дайте мне свою фляжку, — приказала она, не обращая внимания на его слова. Он почувствовал щиплющую боль, когда она промывала ранку спиртом, и пришел в себя.

— Ну вот, — продолжала она, накладывая на его плечо импровизированную повязку из своего платка и компресс из его галстука. — А теперь застегните куртку, не то простудитесь.

Она настояла, чтобы он дал ей самой застегнуть на нем куртку; женщины, конечно, ценят мужскую силу, но еще больше они любят прийти на помощь мужчине в его слабости. И все же после этого она смущенно отодвинулась от Кэсса и сама удивилась своему смущению: откуда оно могло взяться — ведь кожа у него тоньше, прикосновения нежнее, одежда чище и — хотя этого не следовало бы говорить — его дыхание пахнет куда приятнее, чем у большинства мужчин, в обществе которых она оказывалась благодаря своим мальчишеским привычкам, чем даже у ее собственного отца. Подумав, она решила, что даже ее мать не источает такого явного благоухания. Помолчав, мисс Портер спросила:

— Что вы намерены делать с Хорнсби?

Кэсс еще не успел об этом подумать. Вспышка недолговечного гнева ушла в прошлое вместе с причиной, ее породившей. Кэсс ничуть не боялся своего противника, но был бы рад никогда с ним больше не встречаться. Он сказал только:

— Это будет зависеть от него.

— О, вы больше о нем никогда не услышите, — уверенно заявила она. — А все же вам не мешало бы поразвить мускулы. Они у вас, как у девочки... — Но тут она смутилась и прикусила язык.

— Как мне поступить с вашим платком? — спросил бедный Кэсс, которому не терпелось переменить тему.

— Если хотите, оставьте его себе. Только не показывайте его каждому встречному, как то кольцо. — Заметив, как он огорчился, она поспешила добавить: — Конечно, это пустяки. Будь кольцо вам дорого, вы не стали бы показывать его и болтать. Разве нет?

От этих слов ему стало легче: должно быть, так оно и есть, только раньше это как-то не приходило ему в голову.

— А вы действительно его нашли? — спросила мисс Портер серьезно. — Скажите честно, нашли?

— Да.

— И у вас нет никакой знакомой Мэй?

— Насколько мне известно, нет, — засмеялся Кэсс, втайне обрадованный этим вопросом.

Но мисс Портер недоверчиво посмотрела на него, потом вскочила и забралась обратно на свое старое место.

— Знаете что, лучше все-таки верните мне мой платок.

Кэсс начал расстегивать куртку.

— Нет, нет, не смейте! вы простудитесь насмерть! — вскричала девушка.

И Кэсс, чтобы избежать смертельной простуды, снова застегнул куртку, сохранив платок и затаив в душе радость.

Они примолкли, и вскоре карета, подпрыгивая и дребезжа, начала спускаться по склону к Броду Краснокожего Вождя. Они проехали — от огонька к огоньку — мимо беспорядочно разбросанных домов Главной улицы. Мисс Портер не стала дожидаться, чтобы Кэсс помог ей выйти, и при свете, падавшем из окон соседних домов, под гул оживленных голосов соскочила с подножки, опередив Чарли, который еще только слезал с высоких козел. Они обменялись несколькими невнятными фразами.

— Можете на меня положиться, мисс, — сказал Чарли, а мисс Портер обернулась с дружеской улыбкой к Кэссу, весело протянула ему руку, мягко ответила на его пожатие и тут же исчезла.

Через несколько дней Чарли заметил Кэсса на повороте у поселка Сверкающая Звезда и, остановив карету, вручил ему маленький сверток.

— Мисс Портер велела передать это вам... Молчите и слушайте. Это то самое чертово кольцо, о котором трубили во всех газетах. Она выманила его у олуха Бумпойнтера, нашего судьи. А мой совет — выкиньте это кольцо на дорогу, пусть его кто угодно поднимет и тоже на нем свихнется. Вот и все!

— А она ничего больше не сказала? — нетерпеливо спросил Кэсс и небрежно сунул в карман вновь обретенное сокровище.

— Ах, да... Вспомнил. Она просила, чтобы я не допустил драки между вами с Хорнсби. Так вот, не задевайте его, а я уж присмотрю, чтобы он не задел вас.

И, многозначительно подмигнув, Чарли стегнул лошадей и уехал.

Кэсс развернул сверток. Кроме кольца, там ничего не оказалось. Другое дело, если б туда была вложена записка с приветом или хоть с шуткой, но так Кэсс воспринял это как обиду. Значит, она считает его сумасшедшим? Или думает, что он все еще оплакивает потерю кольца, и решила вознаградить его таким способом за ту небольшую услугу, что он ей оказал? В первую минуту он едва не последовал совету Чарли швырнуть этот символ безумия и общего презрения прямо в пыль горной дороги. И в довершение всего она еще упросила Чарли защитить его от Хорнсби! Он сейчас же пойдет домой и немедленно отправит ей обратно платок, который она ему подарила. Но его мстительный порыв был охлажден далеко не романтическими соображениями: хотя в это самое утро в тишине своей одинокой лачуги он и выстирал этот платок, но выгладить его было нечем, а посылать пересушенную и неглаженую тряпку нельзя.

Два или три дня, а может, неделю, а может, даже две, Кэсс терзался воспоминанием об этой обиде. Потом весть о том, что суд штата оправдал Канака Джо, напомнил лагерью о кольце, и вновь остряки принялись отпускать шуточки. Однако интерес к этой истории быстро угас; дела поселка Сверкающая Звезда шли все хуже и хуже; в горах выпал ранний снег, промывка на берегу реки не принесла ничего, кроме расходов, — при таких обстоятель-



ствах не было уже места грубоватому и своеобразному юмору, который расцветчивал ушедшую молодость этих людей и былые дни процветания. Прииск Сверкающая Звезда, пользуясь их собственным мрачным жаргоном, «вышел в тираж». Не истощился, не был выработан, не опустел, а вылетел в трубу за один год рискованных спекуляций.

Кэсс мужественно сражался с неудачами и даже удостоился скупой похвалы товарищей. Более того, он сам в душе хвалил себя, потому что окреп, стал сильнее, обрел здоровье, волю и веру в себя. Он сумел использовать свое живое воображение ради практических целей и даже кое-что открыл, к большому удивлению своих более опытных, но чересчур консервативных товарищей. Но ни открытия, сделанные Кэссом, ни его труды не могли быть немедленно обращены в наличные; между тем Сверкающая Звезда, которая ежедневно поглощала столько-то фунтов свинины и муки, к сожалению, не производила их ежедневного эквивалента в золоте. Сверкающая Звезда лишилась кредита. Сверкающая Звезда голодала, опускалась, ходила в лохмотьях. Сверкающая Звезда угасала.

Кэсс разделял общие неудачи, но, кроме того, у него были и собственные беды. Он твердо решил забыть и мисс Портер и все, что было связано со злосчастным кольцом, но, на беду, именно мисс Портер никак не поддавалась забвению; ее гибкая фигура, озаренная неверным лунным светом, представала перед ним в его убогой лачуге, ее голос вливался в журчание реки, когда он промывал на берегу песок, а во сне он видел ее глаза и снова чувствовал прикосновение ее пальцев. Отчасти по этой причине, отчасти потому, что его одежда совсем истрепалась, Кэсс избегал бывать в Броде Краснокожего Вождя и других местах, где мог ее встретить. Но, несмотря на все предосторожности, он однажды увидел ее в коляске, одетой в такое нарядное и модное платье, что спрятался за придорожной ивой, лишь бы она проехала мимо, не заметив его. Он поглядел на свою одежду, выпачканную красной глиной, на свои руки, загрубевшие и покрытые черными трещинами, и на минуту почти возненавидел ее. Его товарищи почти никогда не упоминали о ней в своих разговорах, очевидно, бессознательно оберегая его от искушения, которое могло положить конец его спартанским зарокам! Но время от времени ему все же приходилось слышать, что ее видели то на званом вечере, то на балу, и, видимо, ей нравились эти легкомысленные развлечения, хотя на словах она и осуждала их. Однажды

в субботу утром — дело было ранней весной — он возвращался из соседнего города после безуспешной попытки уговорить местного богача вложить капитал в разработки Сверкающей Звезды. Он размышлял о тупости этого богача — разве можно по одежде и внешнему виду одного человека судить о будущем поселка, переживающего тяжкое время? — и у него так разболелись ноги, что он воспользовался приглашением владельца догнавшей его повозки и забрался в нее. Медлительная повозка, громыхая, проезжала мимо новой церкви на окраине города в ту самую минуту, когда служба кончилась и прихожане начали расходиться. Спрыгнуть и удрать Кэсс все равно бы не успел, а попросить своего нового друга подхлестнуть лошадь он не решился. Мучаясь сознанием, что он небрит и оборван, Кэсс упорно смотрел вниз на дорогу. И вдруг кто-то окликнул его по имени, и от этого голоса он обомлел. Это была мисс Портер, чарующее видение в шелку и кружевах, с пасхальным букетом в белой ручке, — и все же она почти бежала рядом с повозкой с прежней своей смелостью и независимостью. Возчик, пораженный при виде этой элегантности, остановил лошадь, а она, задыхаясь, крикнула:

— Зачем вы заставили меня бежать так долго, и почему вы даже не оглянулись?

Кэсс пробормотал, что он ее не видел, и схватил газету, чтобы прикрыть заплаты на коленях.

— И вы не нарочно смотрели в сторону?

— Вовсе нет, — ответил Кэсс.

— Почему вы ни разу не появлялись в Краснокожем Вожде? Почему ничего не ответили, когда я послала вам кольцо? — быстро спросила она.

— Но вы послали только кольцо и ничего больше, — сказал, краснея, Кэсс и покосился на возчика.

— Так на это же и надо было ответить, дурень!

Кэсс недоумевающе смотрел на нее. Возчик улыбнулся. Мисс Портер глядела на повозку.

— Какая милая повозочка! Мне хотелось бы прокатиться в ней. — И она лукаво оглянулась на прихожан, которые, сгорая от любопытства, мешкали на дороге. — Можно?

Кэсс решительно воспротивился этому. В повозке грязно, да это, должно быть, и для здоровья вредно, ей будет неудобно, а к тому же ему ехать недалеко, и она только испортит платье...

— Ну конечно, — не без горечи сказала она. — Мое платье следует поберечь! И... что еще вам не нравится?

— Людям это может показаться странным, и они решат, что это я пригласил вас.

— А на самом деле я сама напрашиваюсь. Ну, спасибо. До свидания...

Она помахала рукой и отошла от повозки. Кэсс пожертвовал бы всем на свете, лишь бы вернуть ее, но не сделал для этого ни одного движения, и повозка покатила дальше в хмуром молчании. На первом перекрестке Кэсс сошел.

— Спасибо, — сказал он вознице.

— Не стоит благодарности, — ответил этот джентльмен и, с любопытством поглядев на Кэсса, прибавил: — Только следующий раз, когда такая девушка будет проситься, чтобы я ее покатал, я не стану считаться со всякими слюнтяями. Прощайте, молодой человек. И не выходите на улицу в поздний час. А то вас того и гляди похитит какая-нибудь девица, и что тогда скажет ваша мамаша!

После этого нашему герою оставалось только принять гордый вид и удалиться. Но его терзала мысль, что эффект несколько портила большая заплатка на брюках, которая начала свою жизнь мучным мешком и по иронии судьбы еще хранила надпись «высший сорт, экстра».

Лето принесло Сверкающей Звезде тепло, радостные ожидания и цветы, если не процветание. Дни стали длиннее, и природа вошла в более тесное соприкосновение с людьми, воскресив в них надежду и вытеснив уныние, порожденное зимним одиночеством. К тому же привлечь в эти пустынные горы нужный капитал было гораздо легче теперь, чем в дни, когда разлившиеся реки нельзя перейти вброд, а все тропы засыпаны снегом. И вот однажды в тихий, безмятежный вечер, когда Кэсс курил на пороге своей мрачной лачуги, он вдруг с изумлением увидел перед собой десяток старателей. Шествие возглавлял Питер Драмонд, размахивая на ходу газетой, как победным стягом.

— Эй, Кэсс, старина, ну и повезло же! — задыхаясь, крикнул он, остановившись перед Кэссом и отталкивая нетерпеливых товарищей.

— Кому повезло? — спросил Кэсс, и в голосе его прозвучало сомнение.

— Тебе! Теперь ты на коне! Будешь грести деньги лопатой! Бывает же, чтобы так пофартило человеку! Да слушай же!

Он развернул газету и раздражающе медленно прочел:

«Нашедшего простое золотое кольцо с надписью «Кэссу от Мэй», подобранное, по слухам, на дороге недалеко от поселка Сверкающая Звезда 4 марта 186... года, просят обратиться в банкирскую контору «Букхем и сыновья», Сакраменто, Уай-

стрит, 1007, где он получит личное вознаграждение за возвращение кольца, либо за сообщение фактов, относящихся к этой находке, либо же за точное описание местности, где оно было найдено».

Кэсс в ярости вскочил и в упор посмотрел на своих товарищей.

— Нет, нет! — запротестовали они наперебой. — Это истинная правда... Ей-богу! Мы не шутим, Кэсс!..

— На, сам прочти в газете... Вот «Юнион», Сакраменто, вчерашний номер. Можешь убедиться. — И Драмонд сунул ему истрепанную газету. — Подумай только, — прибавил он, — как тебе дьявольски повезло. Даже самого кольца с тебя не требуют. Если эта старая сова Бумпойнтер откажется вернуть его, ты все равно получишь награду.

— И никто не должен являться, кроме нашего кольца, — перебил его другой. — Так сказано в газете... Если Канак Джо, например, вздумает явиться, или Бумпойнтер, они останутся с носом.

— Это тебя требуют, Кэсс, — прибавил третий, — сказано все так ясно, будто твое имя пропечатали...

Кэсс, соблюдая интересы мисс Портер и свои собственные, ни разу не обмолвился о том, что кольцо вернулось к нему; несомненно, помалкивал и Чарли. И сейчас нельзя было открыть этот секрет, и поэтому он был рад, что кольцо утратило первенствующее значение во всем этом таинственном деле. Но в чем заключалась тайна, и почему кольцо оказалось на втором плане, а он сам на первом? Почему так настойчиво разыскивали того, кто нашел кольцо?

— Дело ясно, — сказал Драмонд, как бы отвечая на мысли Кэсса. — Девушка — это, конечно, девушка — прочла всю историю про кольцо в газетах и вроде как влюбилась в тебя. И не важно, кто был тот Кэсс, даже если он и сейчас есть, потому что она уже от него отделалась, можешь не сомневаться.

— Так ему и надо, чтоб не терял кольцо своей девушки! А ведь он еще и скрыть это хотел, — заявил кто-то.

— А у нее сердце растаяло, когда она слышала, как ты держишься за это кольцо, чего возвышеннее! — сказал Драмонд, совершенно позабыв, какие шуточки он отпускал раньше, издеваясь над такой возвышенностью чувств.

Теперь каждый человек в поселке считал, что Сверкающая Звезда выпестовала истинного рыцаря и такое благородство будет теперь вознаграждено звонкой монетой. Никто не сомневался, что «она» дочь того самого банкира, в чью контору вызывают Кэсса, и, разумеется, счастливый отец не сможет не выручить Сверкающую Звезду. А даже если банкир ей не родственник, разве он упустит счастливую возможность вложить капитал в прииск, где земля родит обручальные кольца и, как выразился Джим Фокьер, «людей, которые умеют их хранить». Именно Джим, уроженец Виргинии, отвел Кэсса в сторону и сделал ему следующее великодушное предложение: «Если ты с этой девушкой каши не сваришь — на что тебе хромоножка да еще рыжая! — Тут следует упомянуть, что Сверкающая Звезда без всяких оснований приписывала именно такие малособлазнительные свойства таинственной незнакомке, которая дала объявление. — Так вот, если так получится, познакомь с ней меня. Ты можешь ей шепнуть, что я вместе с тобой молился на это кольцо и по воскресеньям просил, чтобы ты дал мне его поносить... Если у меня с ней получится, ты не сомневайся, я тебя возьму в долю».

Теперь предстояло разрешить серьезную трудность и приодеть Кэсса для поездки — ведь теперь он был как бы полномочным представителем Сверкающей Звезды. Нечего и говорить, что в одежде Кэсса можно было бы ухаживать разве что за босоногой пастушкой, тогда как незнакомка, несомненно, принадлежала к более почтенному кругу.

— А может, даже хорошо, если он явится в таком виде, — предположил Фокьер. — Пусть думают, что он все на свете позабыл от любви.

Кэсс горячо против этого возражал, и его поддержала вся молодежь. В конце концов в Краснокожем Вожде были куплены, разумеется, в кредит, после предъявления газеты, белые брюки, красная рубашка, широкий черный шелковый шарф и панама. Холостяк Драмонд ради такого случая одолжил Кэссу массивное обручальное кольцо, чтобы оно послужило тонким намеком, а в последний момент Фокьер заколол шарф огромной булавкой из золотоносного кварца.

— Она вроде как свидетельствует о богатстве наших мест, и старику (старшему компаньону банковской конторы «Букхем и сыновья») незачем знать, что я выиграл ее в покер во Фриско, — объяснил Фокьер. — Если у тебя не

выйдет с девицей, ты мне верни булавку, и я сам надену ее, когда стану пытаться счастье.

На расходы Кэссу вручили сорок долларов, и весь поселок пошел провожать его до перекрестка, где он должен был дожидаться почтовой кареты, которая и увезла его в Сакраменто под напутственные вопли и револьверную стрельбу.

Нечего и говорить, что Кэсс не разделял нелепых надежд своих товарищей и безоговорочно отвергал все их матримониальные планы. Он держался спокойно, не спорил, но действовать собирался по собственному разумению. Однако эта ситуация была чревата заманчивыми неожиданностями, и хотя он давно отказался от своих романтических грез, ему было приятно, что они могли стать действительностью. Кроме того, ему доставляла удовольствие и мысль о том, как мисс Портер, узнав про все это, пожалеет, что не сумела вовремя оценить его чувства. А вдруг он действительно оказался предметом страсти какой-то богачки? Тут-то он и докажет мисс Портер, что ради нее способен на любые жертвы. Он сидел в полном одиночестве на империале и обдумывал каждое слово воображаемого разговора с ней, как это часто и с таким удовольствием делают мечтательные люди, причем сам разговор никогда не бывает похож на то, чем он был в замысле. «Дражайшая мисс Портер,— мысленно говорил Кэсс, обращаясь к спине кучера,— если я оставался верным мечте моей юности, хотя не было никакой надежды, что она сбудется, неужели вы думаете, что ради богатства я способен изменить моей единственной настоящей любви, которая пришла ей на смену?» Незаметно промелькнул целый час, истраченный на сочинение и заучивание этой красноречивой тирады, но от непрерывного и быстрого ее повторения в нее незаметно вкрадывались кое-какие на первый взгляд не слишком существенные изменения, и вскоре Кэсс с не меньшим пылом повторял: «Если я способен изменить мечте... и прочее и прочее, то неужели вы думаете, что я останусь верным любви?» К тому же мисс Портер слыла богатой, а незнакомка могла оказаться бедной, и тогда заготовленная речь утратила бы всякий смысл.

Банкирская контора «Букхем и сыновья» выглядела отнюдь не таинственно. В ней царил дух практицизма и деловитости; она была как-то вся распахнута и прозрачна, как стекло; никто не решился бы оставить здесь свою тайну, потому что она неизбежно пошла бы гулять по всем конторам. У Кэсса появилось неприятное ощущение, что



он сам, и вся эта история, и его сокровище совершенно неуместны в этом храме денег и наживы, где увядают все мечты. В смущении он неуклюже держал в вытянутой руке конверт с кольцом и газетной вырезкой, словно протягивая пропуск в это святилище; ближайший клерк взял у него конверт, заглянул внутрь, вынул кольцо, вернул все Кэссу, и отрывисто сказал: «Не сюда, молодой человек. Обратитесь по соседству», — и тотчас обратился к следующему посетителю.

Кэсс вышел за дверь, обнаружил по соседству лавку закладчика и вернулся обратно, слегка покраснев и с опасным огоньком в глазах.

— Я пришел по объявлению, — начал он снова.

Клерк бросил беглый взгляд на шарф и булавку Кэсса.

— Поздно, — отрезал он. — Место занято еще вчера.

Кэсс побледнел, как полотно. Однако ему на помощь пришло нажитое в Сверкающей Звезде умение не лазить за ответом в карман.

— Если вы о своем месте, — сказал он невозмутимо, — так оно вам широковато! Еще с десяток тут уместится. А я пришел вот по этому объявлению. Если самого Букхема здесь сейчас нет, извольте вызвать кого-нибудь из его сыновей, только взрослого, не младенца.

Объявление и смешки стоявших вокруг посетителей оказали свое действие. Нагловатый клерк пошел в соседнюю комнату и, вернувшись, проводил Кэсса в приемную банкира. Сердце Кэсса вновь упало, едва он очутился лицом к лицу со смуглым седым господином; всем своим существом, голосом, манерами, чертами лица и костюмом этот человек представлял полную противоположность Кэссу с его кольцом и романтическими фантазиями. Юноша сообщил о своем деле и показал кольцо. Банкир еле взглянул на кольцо и нетерпеливо сказал:

— Ну, а где ваши документы?..

— Мои документы?

— Да... Что-нибудь, что могло бы послужить удостоверением вашей личности... Вы сказали, что вас зовут Кэсс Бэрд. Так! А чем вы можете это доказать? Откуда мне знать, кто вы...

Чувствительному человеку нельзя нанести большей обиды, чем потребовав у него удостоверение личности, заподозрив, что он выдает себя за кого-то другого. Кэссу показалось унижительным, что ему не поверили на слово, и он растерялся, потому что не мог сейчас ничего привести в подтверждение истины. Банкир смотрел на него внимательно, но не без доброжелательства.

— Ну что ж, — сказал он наконец, — это, в сущности, не мое дело. Если моя клиентка удовлетворится тем, что вы ей сообщите, прекрасно. Думаю, что она удовлетворится. Мое дело — вас предупредить. Я вас спросил об удостоверении личности, чтобы оградить ее от всякого рода самозванцев. Но вы на такого не похожи. Вот ее визитная карточка. До свидания.

«Мисс Мортимер».

Значит, она не дочь банкира! Первая из иллюзий Сверкающей Звезды рухнула. Однако заботливость, с какой банкир оберегал ее от мошенников, указывала на то, что эта женщина состоятельная. Кэсс уже думать позабыл об ее молодости и красоте.

Идти ему пришлось недалеко. С бьющимся сердцем он позвонил у дверей солидно выглядевшего дома и был приглашен в гостиную. Инстинктивно он почувствовал, что эта комната служит лишь временным обиталищем, — в ней было неуловимое нечто, присущее дорогим гостиницам и пансионам, а когда дверь отворилась и в комнату вошла высокая женщина в трауре, он окончательно убедился в том, что гостиная и ее хозяйка мало соответствуют друг другу. Она пригласила его сесть с улыбкой одновременно и привычно фамильярной и натянуто чопорной.

Мисс Мортимер была все еще молода, красива, все еще хорошо одета и все еще привлекательна. С первой до последней минуты Кэсса не покидало чувство, что она отлично о нем осведомлена. Это избавило его от необходимости «удостоверять свою личность», но вместе с тем ставило его в несколько невыгодное положение. И он еще острее почувствовал, как он молод и как ему не хватает опыта.

— Надеюсь, вы не усомнитесь, — сказала она, — что я хочу расспросить вас только, чтобы успокоить свое сердце, других целей у меня нет. — Тут она печально улыбнулась. — Иначе я потребовала бы законного следствия и вас расспрашивали бы люди более хладнокровные, чем я, и меньше меня заинтересованные в этом деле. Но мне кажется — нет, я чувствую, что вам можно довериться. Быть может, мы, женщины, неразумны, что так слепо доверяем своей интуиции, а когда вы узнаете мою историю, у вас могут появиться веские доводы против этой нашей слабости, но я не ошиблась, когда подумала, что вы тоже, — опять грустная улыбка — ...что вы тоже разделяете мою веру в интуицию? — Она умолкла, плотно сжала губы, стиснула руки на коленях и снова заговорила: — Итак, вы нашли это кольцо на дороге месяца за три до... до...

ведь вы понимаете, о чем я говорю?.. До того, как был обнаружен убитый...

— Да.

— Вы полагали, что кольцо обронил случайный прохожий?

— Да, я так думаю... во всяком случае, оно не принадлежало никому из жителей нашего поселка.

— Вы нашли его около самого своего дома или подальше на дороге?

— Около дома.

— А вы уверены в этом? — И она так печально и нежно улыбнулась, что Кэсс почему-то покраснел.

— Я живу почти у самой дороги, — пояснил он.

— А! И вы уверены, что там больше ничего не было — письма или конверта?

— Ничего.

— И вы сберегли это кольцо из-за странного совпадения имен?

— Да.

— И это единственная причина?

— Да, единственная... — Но Кэсс почувствовал, что его щеки запылали.

— Простите, я еще раз задам вопрос, на который вы уже ответили, но это так для меня важно! На суде пробовали доказать, что кольцо было найдено... на теле этого несчастного. Но вы утверждаете, что это не так.

— Могу поклясться.

— О боже... какой негодяй! — Она поспешно встала, подошла к окну, затем вернулась к Кэссу, и, когда она заговорила, ее голос дрожал от волнения: — Я знаю, что могу вам довериться. Кольцо это было когда-то моим.

Помолчав, она продолжала:

— Много лет назад я подарила это кольцо одному человеку, но он бессердечно обманул меня; с тех пор жизнь этого человека стала бесчестьем и позором для всех, кто его знал; человек, который был когда-то джентльменом, стал товарищем воров и разбойников и пал так низко, что его сообщники, когда он погиб насильственной смертью — предав и этих своих друзей, — отrekliсь от него, и он был похоронен в безымянной могиле. Вот чей труп вы нашли.

Кэсс вскочил:

— Как его звали?

— Кэсс, как вас, но это фамилия. Он был Генри Кэсс... — Провидение, видно, не случайно отдало кольцо в ваши руки, — продолжала она после минутного молча-

ния.— Но вас, наверное, интересует, почему мне важно знать, где вы нашли кольцо: на нем или на дороге. Ну что ж, я объясню. Я слышала, и это одна из моих горчайших обид, что этот человек хвастался этим кольцом, а потом проиграл его в карты одному из своих собутыльников.

— Канаку Джо! — воскликнул Кэсс, живо припомнив, как Джо хохотал на суде.

— Да, ему. Вы понимаете: если бы кольцо нашли на нем, я могла бы поверить, что в душе он еще хранил уважение к женщине, которую обездолил. Я женщина, пусть глупая, но поймите, что вы навсегда разбили эту мою надежду.

— Зачем же вы меня разыскивали? — спросил Кэсс, тронутый ее горем.

— Чтоб узнать всю правду, — резко сказала она. — Разве вы не понимаете, что такая женщина, как я, должна сама и раз навсегда во всем разобраться. И вы можете мне помочь. Я ведь искала вас не для того, чтобы жаловаться вам на свою судьбу. Я хочу сама там побывать. Вы покажете мне место, где нашли кольцо, и то, где нашли труп, и то, где он похоронен. Но это надо сделать втайне, чтобы ни одна душа об этом не знала.

Кэсс колебался. Он подумал о своих товарищах и о том, что все их надежды лопнули, как мыльный пузырь. Как скрыть от них ее тайну?

— Если вам нужны деньги, не стесняйтесь. Вы потратите на меня время, и я должна вас за это вознаградить. Поймите меня правильно. Я передала тысячу долларов в контору Букхема в награду за кольцо. Сумма будет удвоена, если вы мне поможете и в моем предприятии.

Это меняло дело. Он проводит ее до этого места, а товарищам скажет, например, что она прежде, чем выплатить вознаграждение, потребовала, чтобы он в доказательство своих слов показал ей, где все это произошло. А деньгами он с ними честно поделится. И Кэсс решительно сказал:

— Хорошо, я отведу вас туда.

Она схватила его руки, поднесла их к своим губам и улыбнулась. Горестное выражение сразу исчезло с ее лица, а в темных глазах сверкнул такой кокетливый и насмешливый огонек, что впечатлительный Кэсс вышел на улицу в полном смятении. Он пробовал представить себе, что подумала бы по этому поводу мисс Портер. Но ведь он возвращается к ней богатым человеком — с тысячей долларов в кармане. Так стоит ли помнить, что его несколько связывает обещание, данное красивой женщине,

чья история так печальна? В тот же вечер он не без удовольствия помог мисс Мортимер сесть в почтовую карету, и воспоминания о другой поездке с другой женщиной не помешали ему время от времени утешать свою спутницу, потому что он считал это своим долгом. Они договорились, что она остановится в гостинице Брода Краснокожего Вождя, а он переночует у себя, в Сверкающей Звезде, и зайдет за ней около полудня, когда можно будет побывать там, где ей хотелось, не привлекая к себе внимания. Ночная тьма рано сменилась серой мглой, но когда карета остановилась в Броде Краснокожего Вождя, лампы буфета и обеденного зала гостиницы еще соперничали с занимавшейся зарей. Кэсс соскочил первым, передал мисс Мортимер заботам хозяйки гостиницы и вернулся в карету. Воздух внутри, где дремали пассажиры, был затхлый и спертый. На империале оставалось еще одно место, и Кэсс, поднявшись туда, уселся рядом с каким-то существом, с ног до головы укутанным в шали и пледы. Бесформенная фигура слегка вздрогнула и, повернувшись к Кэссу, сухо произнесла:

— Доброе утро.

Это была мисс Портер.

— Вы давно здесь? — запинаясь, пробормотал Кэсс.

— Всю ночь.

В эту минуту он отдал бы все на свете, лишь бы ускользнуть от мисс Портер. Он готов был соскочить на ходу, лишь бы не объяснять ей, почему он так смущен, его угнетало, что он не может скрыть своего смущения, хотя смущаться, по его мнению, не было никаких оснований. И тут же он поступил, как все неопытные и нервные люди, попавшие в такое положение: он сломя голову пустился в объяснения, разболтал ей все секреты и тут же в замешательстве умолк, чувствуя, что его оправдания не достигли цели.

— Так это и есть ваша Мэй? — подвела итог юная девица и слегка пожалала красивыми плечами.

Кэсс уже готов был повторить свой рассказ с начала до конца.

— Не надо, — перебила она. — Это совсем не интересно и не оригинально. И вы ей поверили?

— Конечно, — возмущенно ответил Кэсс.

— И прекрасно. А теперь не мешайте, я хочу спать.

Кэсс еще кипел от гнева, но чувствовал себя так неловко, что больше даже не пробовал с ней заговорить. Когда карета остановилась в Сверкающей Звезде, мисс Портер небрежно его спросила:

— А на когда назначено ваше сентиментальное паломничество?

— Я должен зайти за ней ровно в час, — холодно ответил Кэсс.

Он сдержал слово. Своих нетерпеливых товарищей он успокоил, обещав богатство в будущем и показав вполне реальное вознаграждение, которое уже получил.

Окольной дорогой, которую никто, кроме него, не знал, он привел мисс Мортимер к своему дому. На ее увядающем лице сейчас от волнения горел яркий румянец.

— Это произошло именно здесь? — спросила она.

— Да, вот здесь я поднял кольцо.

— А где найден убитый?

— Это случилось позже. Вон в той стороне. За каштановой рощей, у поворота на дороге ближе к Краснокожему Вождю.

— Значит, чтобы попасть с дороги, по которой мы шли, к тому... к тому месту, надо обязательно повернуть здесь? И все так ходят? — спросила она. И, рассмеявшись каким-то странным смехом, дотронулась до его руки своими длинными, холодными пальцами. — Другого пути нет?

— Да.

— Пойдемте туда.

Кэсс ускорил шаги, чтобы поскорее добраться до леса и не попасться кому-нибудь на глаза.

— Вы уже здесь ходили, — сказала она. — Вот здесь как будто тропинка.

— Может, я сам ее протоптал. Это самый короткий путь к каштановой роще.

— А на тропинке вы больше ничего не находили?

— Ведь я же вам говорил, что, кроме кольца, я ничего не подбирал.

— Ах, в самом деле. — И она обворожительно улыбнулась. — Ведь вы поэтому и удивились находке. Я позабыла.

Через полчаса они добрались до каштановой рощи. По пути мисс Мортимер искала приметы, чтобы легче запомнить, как они шли. Когда перешли через дорогу и Кэсс указал место, где лежал труп, она тревожно оглянулась.

— Вы уверены, что нас никто не видит?

— Вполне.

— Вы не сочтете меня безумной, если я попрошу вас подождать меня здесь, пока я схожу туда, — и она показала на зловещую чащу перед ним, — схожу одна. — Она была бледна, как полотно.



После разговора с мисс Портер Кэсс довольно холодно поглядывал на свою спутницу, но тут сердце его смягчилось:

— Идите. Я вас подожду здесь.

Прошло пять минут. Она не возвращалась. А вдруг эта бедняжка решила покончить с собой на том месте, где погиб предавший ее возлюбленный? Но тревога Кэсса быстро рассеялась, потому что он услышал в зарослях шуршание юбок.

— Я уже начал беспокоиться,— громко произнес он.

— И с полным основанием,— отозвался чей-то голос. Он вздрогнул. Это была мисс Портер; она выбежала из чащи.

— Посмотрите,— сказала она,— вон там человек на дороге. Он выслеживает вас с тех пор, как вы ушли из дому. Знаете, кто это?

— Нет, не знаю.

— Тогда слушайте. Это трехпалый Дик, один из сбежавших грабителей. Я знаю его.

— Пойдем скорее, предупредим ее,— поспешно сказал Кэсс.

Мисс Портер положила ему руку на плечо.

— Не думаю, чтобы ваша дама вас за это поблагодарила,— сухо сказала она.— Не лучше ли будет сначала посмотреть, что она там делает.

Совершенно ошарашенный Кэсс покорно пошел за мисс Портер, подчинившись ее властной твердости. Она пробиралась сквозь заросли, как кошка. Внезапно она остановилась.

— Глядите,— злорадно шепнула она.— Вот ваша скорбная Мэй, вот как она оплакивает своего возлюбленного.

Кэсс увидел, что женщина, которая только что покинула его, стоит на коленях прямо в траве и длинными, тонкими пальцами, словно ведьма, роет землю. Он успел заметить хищное выражение ее лица и тревожные взгляды, которые она то и дело бросала в ту сторону, где оставила его, но тут раздался треск веток и к ней подскочил человек — тот самый, что стоял на дороге.

— Беги,— сказал он.— Беги что есть духу. За тобой следят.

— Да это дурачок Бэрд,— презрительно ответила она.

— Не Бэрд, другой, он в повозке. Скорей. Дура, ты ведь теперь знаешь место, придешь в другой раз. А сейчас уноси ноги! — И он силой увлек ее в заросли. Едва кусты

успели сомкнуться за ними, как мисс Портер подбежала к месту, где только что рыла землю эта женщина.

— Глядите! — торжествующе крикнула она. — Глядите же!

Кэсс поглядел и опустился на колени рядом с ней.

— Ради этого стоило пожертвовать тысячу долларов, — язвительно сказала мисс Портер. — Но вам следует вернуть их. Непременно.

Кэсс онемел.

— Но вы как догадались? — наконец выдавил он из себя.

— Я сразу заподозрила, что дело нечисто; вдруг вас стала разыскивать женщина, а ведь вы же такой простак!

Кэсс нахмурился и встал.

— Ну, хоть сейчас обойдитесь без глупостей, а лучше сбегайте и приведите мою лошадь и повозку — они возле холма. Но кучеру ни слова.

— Значит, вы не одна?

— Что вы! Прийти одной было бы просто неприлично...

— Прошу вас, не надо...

— И подумать только, что все началось с кольца, ведь оно привело нас сюда, — сказала она.

— Кольцо, которое вы мне вернули.

— Что вы сказали?

— Ничего.

— Пожалуйста, не надо! Вот повозка!

На следующий день в утреннем выпуске газеты «Вестник Краснокожего Вождя» появилось сенсационное сообщение:

НЕОБЫЧАЙНАЯ НАХОДКА

НАЙДЕНЫ

*похищенные ценности Уэлса, Фарго и К°  
на сумму около трехсот тысяч долларов.*

Наши читатели помнят дерзкое ограбление почты на пути из Сакраменто в поселок Краснокожий Вождь в ночь на первое сентября, когда были похищены огромные ценности Уэлса, Фарго и К°. Хотя большинство грабителей было арестовано, двоим удалось ускользнуть, и полиция

пришла к выводу, что они, очевидно, спрятали похищенные ценности на сумму в 500 000 долларов в золоте, драгоценностях и ценных бумагах, поскольку никаких следов похищенного имущества обнаружить не удавалось. Вчера наш уважаемый гражданин, мистер Кэсс Бэрд, который

давно уже пользуется в нашей округе заслуженной любовью, обнаружил эти ценности в каштановой роще, неподалеку от дороги, ведущей к поселку Краснокожий Вождь, по соседству с тем местом, где недавно нашли труп неизвестного человека. Предполагается, что это был некий Генри Кэсс, человек с весьма дурной репутацией, который, как удалось установить, был одним из скрывшихся бан-

дитов. По этому делу начато следствие. Всеми открытиями мы обязаны упорным поискам талантливого мистера Бэрда, который посвятил этому больше года. Первым толчком послужила находка кольца, которое сейчас опознано как часть похищенных ценностей и выпало, вероятно, из ящиков Уэлса, Фарго и К°, когда бандиты перетаскивали их ночью через Сверкающую Звезду».

В той же самой газете появилось еще одно важное сообщение, объясняющее и завершающее эту правдивую хронику:

«По слухам, в скором времени состоится свадьба между героем нашумевшей истории с найденным сокровищем и некой молодой девушкой из поселка

Краснокожего Вождя, чья верная помощь и участие в этой важной работе хорошо известны всему нашему обществу».

---

# В миссии Сан-Кармел

## ПРОЛОГ

Был полдень 10 августа 1838 года. Однообразная береговая линия между Монтереем и Сан-Диего резко разделяла ослепительное сияние калифорнийского неба и металлический блеск Тихого океана. Унылая череда округлых куполообразных холмов скрадывала расстояние; изредка проходившему вдоль берега китобойцу или еще более редкому торговому судну представляли лишь бесконечные ржавые волны холмов, не прерываемые ни горой, ни мысом и лишенные древесной поросли как на гребнях, так и в седловинах. Пожухлые стебли овсюга придавали этой веренице холмов единый блеклый цвет, и на их гладких округлых склонах не лежало ни единой тени. И дальше, насколько хватал глаз, ничто не оживляло унылой монотонности побережья — ни пробегающее по небу облачко, ни какой-либо признак жизни. Ни один звук не нарушал безмолвия; звон колокола со скрытой за холмами миссии Сан-Кармел относился в глубь страны северо-восточным пассатом, который в течение шести месяцев обдувал побережье, стирая с него все краски и тени.

Но вскоре картина переменилась, не став при этом менее однообразной и гнетущей. С запада к берегу стала подступать стена тумана; и к четверем часам осталась видимой лишь узкая полоска воды стального цвета; на севере же кромка берега постепенно растаяла и исчезла. Туман не спеша сползал к югу, стирая последние признаки глубины, расстояния и своеобразие местности; холмы, еще залитые светом солнца, ничем не отличались от тех, которые только что поглотила мгла. Напоследок, перед тем, как исчезнуть, багровое солнце на секунду осветило парус близко подошедшего к берегу торгового судна. Затем его заволокли влажные пары, резкие очертания сма-

зались, словно по грифельной доске прошлись тряпкой, и на месте паруса возникло бесформенное серое облако.

В тумане замер ветер и умолк плеск волн: незримые и притихшие валы иногда набегали на берег с легким шорохом, за которым следовали промежутки грозной тишины, но беспрестанного рокота прибоя уже не было слышно. Вдруг со стороны бухты послышался явственный скрип весел в уключинах, но лодка, хотя она как будто была всего в нескольких шагах от берега, оставалась невидимой.

— Суши весла! — донеслась с моря негромкая команда, словно тоже приглушенная туманом. — Тише!

Раздался скрежет киля о песок, а затем последовал приказ все того же невидимого командира:

— Все на корму!

— Будем вытаскивать? — раздался другой приглушенный голос.

— Подождем. А ну-ка, — крикнули еще раз, — все вместе!

— Эй-эй-эээй!

Кричало четыре голоса, но их призыв прозвучал совсем слабо, словно он только почудился и, не успев достичь берега, был задушен наползающим облаком. Вновь наступила тишина, которую так и не нарушил ответный крик.

— Пока мы не найдем ялик, нет смысла вытаскивать шлюпку и выходить на берег, — угрюмо проговорил первый голос. — Если его отнесло течением, он должен быть где-то здесь. Ты уверен, что правильно определил место?

— Более или менее. Насколько вообще можно определить место с моря, когда на берегу не за что зацепиться глазом.

Опять наступило долгое молчание, прерываемое лишь редкими всплесками весел: невидимую шлюпку держали носом к открытому морю.

— Помяните мое слово, ребята, — не видеть нам больше ни ялика, ни Джека Крэнча, ни капитанского отродья.

— Да вообще-то чудно, с чего бы это фалиню вдруг развязаться? Кто-кто, а Джек Крэнч узлы вязать умеет.

— Тихо! — сказал невидимый командир. — Слушайте!

Со стороны моря донесся оклик — такой слабый и невнятный, что его можно было принять за запоздалое далекое эхо их собственного.





— Это капитан. Он ничего не нашел, а то бы он не ушел так далеко на север. Тише!

Издалека опять донесся едва слышный бесплотный призыв. Однако натренированные уши моряков уловили в нем какой-то смысл, потому что первый голос сосредоточенно откликнулся:

— Есть! — И затем тихо приказал: — Берись за весла!

Раздался всплеск. Весла резко и дружно закрипели в уключинах, затем скрип стал удаляться и, наконец, замер в темноте.

С наступившей тишиной пришла ночь; мрак на много часов окутал море и берег. Однако временами в воздухе происходило словно бы какое-то движение, темнота немного светлела, будто начинался туманный рассвет, но затем сгущалась снова, из тишины вырастали слабые далекие крики и какие-то странные невнятные звуки, но, едва успев привлечь настороженный слух, тут же замирали, как в неуловимом сне, и оказывались лишь призраками. Местами туман сгущался, и казалось, что там находятся какие-то неподвижные предметы, но стоило в них всмотреться, как они расплывались; тихий плеск волн и шорох гальки временами напоминал человеческий смех или говор. Но ближе к утру равномерный скрежет о песок, который уже довольно долгое время дразнил слух, стал более отчетлив, и колыхавшаяся в полумраке тень превратилась в темный, вполне материальный предмет на берегу.

С первыми лучами зари туман рассеялся. Один за другим холмы сбрасывали свой покров и подставляли солнцу холодную грудь, и уходящая вдаль береговая линия вновь обрела свои очертания. За ночь ничто не изменилось, только на песке лежала выброшенная морем лодка, а на ее корме спал маленький ребенок.

## I

Прошло четырнадцать лет, но и к 10 августа 1852 года унылое однообразие голых холмов, ветра и тумана осталось прежним. Только на море стали чаще мелькать паруса стремительных яхт, обгоняющих старые торговые тихоходы, а иногда горизонт затягивала полоса дыма, вырывавшегося из трубы парохода. На девственных песках появились следы человеческих ног, и новая тропа

вела от взморья через гряду прибрежных холмов в поросшую кустарником долину.

Там, из окон трапезной старинной миссии Сан-Кармел, открывался вид, совсем не похожий на однообразный пейзаж, обращенный к морю. В этом месте пассаты, утратив свою ярость и силу в столкновении со стеной поднимавшегося из долины раскаленного, как в печи, воздуха, в изнеможении замирали на лесистом склоне и испускали дух у подножия стоявшего перед миссией каменного креста; на гребне этих холмов останавливался надвигающийся с моря туман, не смея спуститься в залитую солнцем равнину; бескрайние пшеничные поля простирались на тучном красноземе этой равнины; через увитую виноградными лозами ограду сквозь листву фиговых и грушевых деревьев улыбался сад миссии, где уже пятьдесят лет жил отец Педро. В этот день он с удовольствием посмотрел вокруг и тоже улыбнулся.

Отец Педро улыбался не так уж часто. Не будучи ни Лас Касасом, ни Хуниперо Серра<sup>1</sup>, он, однако, отличался глубокой серьезностью, как все апостолы, посвятившие жизнь проповедованию учения, созданного кем-то другим. На этот раз в улыбке отца Педро светилась не только обыкновенная человеческая радость, но и религиозное умиление: его взгляд с особым удовольствием остановился на видневшейся среди виноградных лоз белокурой голове его служки Франсиско, певшего, кроме того, в хоре, и он с наслаждением слушал мелодичный псалом, который мальчик, прилежно работая, напевал необычайно нежным и высоким сопрано.

И вдруг псалом оборвался криком испуга. Мальчик бросился к отцу Педро, вцепился в его сутану и даже попытался спрятать в ней свою кудрявую голову.

— Ну-ну,— проговорил отец Педро, с некоторым раздражением отстраняя его от себя.— Кто там? Нечистый прячется в наших каталанских лозах или один из этих язычников-американос из Монтерея? Ну?

— Ни то, ни другое, святой отец,— ответил мальчик; краска постепенно возвращалась на его побледневшие щеки, а его чистые глаза засветились робкой, извиняющейся улыбкой.— Ни то, ни другое. Только там — ой! — такая страшная, безобразная жаба! Она чуть на меня не прыгнула!

---

<sup>1</sup> Испанские миссионеры, чья деятельность в основном протекала в Центральной Америке.

— Жаба на тебя чуть не прыгнула! — с явной досадой повторил отец Педро. — Что еще ты выдумаешь? Послушай меня, дитя, сколько раз я должен повторять, что тебе не подобает поддаваться этим глупым страхам и ты должен стараться их превозмочь — если нужно, то с помощью епитимьи и молитвы. Испугаться жабы! Святые угодники! Ну точно какая-нибудь глупая девочка!

Тут отец Педро вдруг умолк и кашлянул.

— Я хочу сказать, что ни один христианин не должен чураться безобидных божьих тварей. А ты всего лишь на прошлой неделе с брезгливостью отвернулся от свиньи бедной Муриеты, забыв, что сам святой Антоний даже в славе небесной взял свинью себе в верные товарищи.

— Да, святой отец. Но эта свинья была такая жирная и грязная, и от нее так скверно пахло! — ответил мальчик.

— Пахло? — с сомнением переспросил отец Педро. — Смотри, не слишком ли ты стремишься услаждать свои чувства. В последнее время я заметил, что ты набираешь слишком большие букеты роз и душистого чубучника; кто говорит, они по-своему прекрасны, но в умеренном количестве. И уж, конечно, их нельзя сравнить с цветком святой церкви — лилией.

— Но лилии не так красиво выглядят на столе трапезной и возле глинобитных стен! — возразил Франсиско капризным тоном избалованного ребенка. — А потом цветы же не виноваты, что они хорошо пахнут, как мирра и ладан. И язычников-американос я больше не боюсь. Вчера один из них зашел в сад — мальчик, вроде меня, — и он говорил со мной ласковым голосом, и лицо у него было доброе.

— А что он тебе сказал, дитя? — встревоженным голосом спросил отец Педро.

— Я не понял, что он говорил! — со смехом отозвался мальчик. — Но у него был такой же ласковый голос, как у тебя, святой отец.

— Ну что ты говоришь! — досадливо оборвал его отец Педро. — Твои сравнения так же неразумны, как твои страхи. Кроме того, разве я тебе не говорил, что христианскому ребенку не следует вступать в разговоры с этими сынами Велиала? Слушай, а ты не запомнил слова, которые он говорил?

— У американос очень грубый язык, — ответил мальчик. — Он сказал что-то вроде «черт побери» и «смазлив, как девчонка», — и при этом посмотрел на меня.

Отец Педро с серьезным видом заставил мальчика повторить слова и сам с тем же серьезным видом просто-душно повторил их за ним.

— Это еретические слова,— пояснил он в ответ на вопросительный взгляд мальчика.— И хорошо, что ты не понимаешь по-английски. Но довольно. Теперь беги, но помни, что скоро прозвонят к молитве. А я немного посижу под грушами.

Радуюсь, что все так хорошо обошлось, юный служка побежал по аллее фиговых деревьев, не без опаски поглядывая на густо росшую под ними куриную слепоту, в которой могли скрываться ползающие и скачущие гады. Отец Педро вздохнул и окинул взглядом окрестности, уже одетые сумраком. Солнце зашло за отделявший долину от моря горный кряж, по гребню которого лежал белый ободок тумана. Прохладный ветерок обдувал лицо отца Педро; это было предсмертное дыхание пассата, дующего по ту сторону горной гряды. Подняв глаза на эту стену, отгораживавшую долину от шумного внешнего мира, он впервые заметил в ней как бы небольшой пролом, через который просачивались клубы тумана. Уж не предзнаменование ли это? Однако тут мысли отца Педро прервал прозвучавший рядом с ним голос.

Резко повернувшись, отец Педро увидел одного из «язычников», против которых он только что предостерегал своего юного служку; одного из искателей счастья, которых привлекло на этот берег недавно найденное здесь золото. К счастью, в плодородных аллювиальных почвах долин, лежавших параллельно морю, не обнаружилось признаков драгоценного металла, и потому старатели оставили их в покое. Тем не менее отцу Педро были неприятны даже редкие встречи с американос, слишком назойливыми и непочтительными. Они задавали каверзные вопросы и выслушивали его серьезные ответы с холодным равнодушием суетных сердец. Они были достаточно сильны, чтобы стать тиранами и угнетателями, но вместо этого проявляли поразительную терпимость и не шли дальше насмешливой добродушной непочтительности, которая оскорбляла отца Педро больше, чем открытая враждебность. Они казались ему опасными и полными коварства.

Однако в стоявшем перед ним американос эти раздражающие национальные черты не слишком бросались в глаза. Это был человек среднего роста и крепкого телосложения, с загорелым обветренным лицом и легкой

седина в волосах — след, оставленный годами и невзгодами. Отцу Педро понравилась его деловитая серьезность, которую он истолковал на свой лад, решив, что незнакомец несколько смущен в его присутствии; тот же просто пришел к святому отцу, как он выражался, «по делу».

— Я рад, что застал вас одного, — начал незнакомец, — это сэкономит время. Мне не нужно будет дожидаться своей очереди там, — он ткнул большим пальцем в сторону церкви, — а вам не надо будет назначать мне час. До того, как прозвонят к молитве, у вас есть еще целых сорок минут, — добавил он, вынув из кармана серебряный хронометр, — а мне на мое дело хватит двадцати, и у вас будет десять минут на вопросы и замечания. Я хочу исповедаться.

Отец Педро отступил с негодующим жестом. Однако незнакомец взял его за рукав с видом человека, который ожидал возражений, но не собирается мириться с отказом, и продолжал:

— Да-да, я знаю. Вы скажете, чтобы я пришел как-нибудь в другой раз и вон туда. Вы хотите, чтобы все было по правилам. У вас так полагается. Но меня это не устраивает. Я считаю, что смысл исповеди в том, чтобы изложить факты. Я готов вам их сообщить, если вы согласны выслушать меня здесь. Если вы согласитесь обойтись без церкви, исповедальни и всего прочего, то я так и быть обойдусь без отпущения грехов и всего прочего. Вы, конечно, можете, — добавил он с трогательной наивностью, — выслушав меня, подать мне совет; например, сказать, как бы вы поступили на моем месте. Большого не требуется. Но это воля ваша. Дела это не касается.

Хотя его речь звучала весьма непочтительно, незнакомец, судя по его манере, вовсе не хотел быть дерзким, и его очевидное твердое убеждение, что его предложение вполне практично и никак не задевает достоинства священнослужителя, само по себе могло бы склонить отца Педро к согласию, если бы даже он и не чувствовал себя беспомощным перед подобной энергией. Заметив, что отец Педро колеблется, незнакомец взял его под локоть и с покровительственной уверенностью повел к скамье, стоявшей под окнами трапезной. Снова вынув часы, он вложил их в несопротивляющуюся руку ошеломленного священника и со словами «Засеките время!» начал свою исповедь:

— Четырнадцать лет тому назад в Тихом океане, вдоль этих берегов, плавало судно — ни дать ни взять уго-

лок ада с мачтами. Если капитан не огреет тебя шкворнем, то уж наверняка помощник заедет тебе сапогом в ребра. Одного парня в Калифорнийском заливе столкнули в люк, и он сломал ногу; другой, когда мы проходили мыс Корриентес, прыгнул за борт: свихнулся, после того как капитан стукнул его по голове рупором. Вот как оно было. Наша бригантина занималась торговлей вдоль мексиканского побережья. С нами плавала и жена капитана, робкая такая мексиканочка, которую он подобрал в Масатлане. Наверно, ей доставалось от него не меньше, чем матросам, а то с чего бы ей в один прекрасный день вдруг умереть, оставив капитану годовалую дочку? Один из матросов очень привязался к девочке. Посадит, бывало, негритянку-няньку с девочкой в ялик, привяжет его за кормой и раскачивает, как люльку. Но это не мешало ему ненавидеть капитана лютой ненавистью. Как-то раз няньке понадобилось куда-то на минуту отойти, и она вылезла из ялика, оставив спящую девочку с матросом. И тут ему пришла в голову мысль — и не потому, что был он такой уж отпетый, а просто чтобы и капитану отомстить и самому с корабля сбежать. Бригантина шла близко вдоль берега, и как раз начинался прилив. Он развязал канат, и ялик поплыл по воле волн. Само собой, это было чистейшее сумасшествие. Весел-то в ялике не было. Только ему, как всем сумасшедшим, повезло. Он вырвал скамейку и, подгребая ею, изловчился не допустить ялик в буруны. Пока он искал подходящую бухточку, где можно было бы высадиться, на корабле подняли тревогу, но тут как раз опустился туман. Однако ему было слышно, что за ним гонятся на шлюпках. Он слышал, что капитан уже совсем рядом и вот-вот найдет его в тумане. Тогда он осторожно, без плеска, выскользнул из ялика в воду и поплыл к берегу через прибой. Четыре раза его сшибало волной и оттаскивало назад в море, и он благодарил бога, что не взял с собой девочку. Можете мне поверить, это чистейшая правда. Выбравшись наконец на берег, он пошел через холмы в Монтерей.

— А ребенок? — спросил священник неожиданно суровым тоном, который не предвещал исповедующемуся ничего доброго. — Что стало с ребенком, покинутым так безжалостно?

— В этом-то все и дело, — угрюмо подтвердил незнакомец. — Этот человек и на смертном ложе поклялся бы, что через несколько секунд после того, как он прыгнул за борт, капитан нашел девочку. Чистая правда. Только по-



том он, то есть я, встретил как-то в Фриско одного матроса с того судна. «Здорово, Крэнч,— говорит тот,— ловко ты тогда от нас смылся! А как дочка капитана — небось, уже выросла?» «О чем это ты,— говорю,— болтаешь? Откуда мне знать, выросла она или нет?» Он от меня попятился, выругался и говорит: «Так, значит, ты...» Тут я схватил его за горло и заставил все мне рассказать. Оказывается, они так и не нашли ни ялика, ни девочки, и все матросы и сам капитан думали, что я ее украл.

Он на мгновение замолчал. Отец Педро непреклонно глядел вдаль.

— Выходит, что я поступил не очень-то хорошо, правда? — продолжал незнакомец задумчивым тоном.

— Откуда мне знать, что вы не расправились с девочкой? — спросил священник, не поворачивая головы.

— То есть как?

— Что вы не довели свою месть до конца... и не убили ее, как заподозрил ваш товарищ? О Святая Троица! — воскликнул отец Педро, резко вскидывая руки, словно не в силах выразить в словах какую-то мысль.

— Откуда вам знать? — ледяным тоном повторил незнакомец.

— Да.

Незнакомец сцепил руки, обхватил ими колено и мягко подтянул его к груди, спокойно при этом проговорив:

— Вы-то знаете.

Священник поднялся со скамьи.

— Что вы этим хотите сказать? — спросил он, сурово воззрившись на незнакомца. Их взгляды встретились. Серые глаза незнакомца с чуть опущенными веками смотрели с испытующим упорством. Ввалившиеся глаза священника были широко раскрыты, и их белки отливали желтизной, словно запачканные табачным соком. Но первыми опустились они.

— Я хочу сказать,— продолжал незнакомец все тем же рассудительным тоном,— вы сами понимаете, что мне не было бы никакого смысла приходить сюда, если бы я убил девочку; разве что я захотел бы уладить это дело там,— он показал на небо,— и получить отпущение, но я ведь вам сказал, что этого мне не нужно.

— Зачем же в таком случае вы явились ко мне? — подозрительным тоном спросил отец Педро.

— Да потому, что, на мой взгляд, человек может исповедаться в любом проступке, если это только не убийство. А коли вы с этим не согласны...

— Перестаньте богохульствовать,— оборвал его священник и повернулся, словно собираясь уйти. Однако незнакомец никак не попытался его задержать.

— Прежде чем прийти сюда, вы испросили прощения у отца, у человека, которому вы причинили такое зло? — помедлив, спросил священник.

— Не испросил. И будь он жив, ничего хорошего из этого не получилось бы, да только он четыре года назад умер.

— Вы в этом уверены?

— Да.

— Но, может быть, есть какие-нибудь другие родственники?

— Нет!

Отец Педро помолчал.

— Чего же вы хотите? — спросил он, и в его голосе впервые прозвучало доброжелательство, которого ожидают от священника. — Вы не можете попросить прощения у земного отца, которому вы причинили зло, и вы отказываетесь от ходатайства святой церкви перед отцом небесным, заповеди которого вы нарушили. Так что же вы хотите, несчастный?

— Я хочу найти ребенка.

— Но если бы это и было возможно, если она еще жива, достойны ли вы того, чтобы ее искать, чтобы открыться ей, даже просто предстать перед ней?

— Отчего же? Если ей это пойдет на пользу.

— Отчего же! — с презрением повторил священник. — Пусть так. Но зачем вы пришли именно сюда?

— Посоветоваться с вами. Спросить, как мне приниматься за поиски. Вы знаете здешние места. Вы жили здесь, когда лодку выбросило на берег за той горой.

— При чем тут я? Это — дело алькальда — мирских властей, вашей... вашей полиции.

— Разве?

Их глаза опять встретились, и табакерка, которую священник с показным безразличием вынул из кармана, застыла в воздухе.

— А разве нет, сеньор? — спросил он.

— Если она жива, то она уже взрослая девушка и, возможно, не захочет, чтобы о ней знали всякие такие подробности.

— А как вы узнаете в девушке покинутого вами ребенка? — спросил отец Педро, показывая рукой сравнительный рост младенца и взрослой девушки.

— Мне кажется, что я ее узнаю и узнаю одежду, которая на ней была. Уж, наверное, у того, кто ее нашел, хватило ума сохранить одежду.

— Через четырнадцать лет? Прекрасно. Вы умеете верить, сеньор...

— Крэнч, — сообщил незнакомец и взглянул на часы. — Однако у нас больше нет времени. Дело есть дело. До свидания. Не смею вас больше задерживать.

Он протянул священнику руку.

Тот неохотно протянул свою — такую же сухую и желтую, как окрестные холмы. Выпустив руку незнакомца, священник еще секунду помедлил, глядя на Крэнча. Если он ожидал услышать от него еще какие-нибудь доводы или просьбы, то ошибся в своих предположениях — американец, не оборачиваясь, деловито зашагал по аллее фиговых деревьев и исчез за оградой. Горы уже скрылись в тумане. Отец Педро пошел в трапезную.

— Антонио!

Сильный запах кожи, лука и конюшни предшествовал появлению из патио низкорослого кряжистого вакеро.

— Завтра на рассвете оседлай Пинто и своего собственного мула: Франсиско повезет мои письма к отцу-настоятелю миссии Сан-Хосе, а ты поедешь с ним.

— На рассвете, святой отец?

— На рассвете. И поезжайте не по большой дороге, а горными тропами. На постоянных дворах и в харчевнях не останавливайтесь. Если мальчик устанет, отдохните у дона Хуана Брионеса или на Ранчо Блаженного Рыбаря. Не вступайте в разговоры с прохожими, особенно с этими безбожниками американос. Вот так...

С башни донесся первый удар колокола, призывающего к молитве. Отец Педро жестом отстранил с дороги Антонио и открыл дверь в ризницу.

— *Ad maiorem Dei Gloriam*<sup>1</sup>.

## II

Усадьба дона Хуана Брионеса, приютившаяся в лесистой расселине у подножия гор — поэтому-то и вспомнил про нее благоразумный отец Педро, — была скрыта от взоров путников, направляющихся по пыльной дороге в Сан-Хосе. Выехав из рощи и завидев выбеленные стены усадьбы, Франсиско пришпорил мула.

---

<sup>1</sup> К вящей славе господней (лат.).

— Эх ты, маленький святоша,— пробурчал Антонио,— только что жаловался, что до того устал, еле в седле держишься, а до Блаженного Рыбаря и осталось-то меньше трех лиг. Пресвятая дева! И все для того, чтобы повидать эту полукровку Хуаниту.

— Но послушай, Антонио, мы же с Хуанитой вместе выросли, а когда я сюда снова попаду, бог ведает. И никакая Хуанита не полукровка, или, может, скажешь, я тоже полукровка?

— Она метиска, а ты воспитанник церкви, хотя, глядя, как ты бегаешь за цыганками, об этом и не догадаешься.

— Но ведь отец Педро не запрещает мне видеться с ней!

— Святой отец, видно, забыл, когда он сам был молодым,— назидательно произнес Антонио,— а то бы он держал огонь подальше от пакли.

— Что это ты говоришь, Антонио,— спросил Франсиско, и его голубые глаза широко раскрылись в неподдельном удивлении,— кто из нас огонь, а кто пакля?

Достойный вакеро, озадаченный и смущенный наивностью юноши, ограничился тем, что пожал плечами и пробормотал: «*Quien sabe?*»<sup>1</sup>.

— Нет уж,— весело продолжал Франсиско,— признайся лучше, что в Блаженном Рыбаре ты надеялся утолить жажду агвардиенте. Ну, ничего, не огорчайся, у Хуаниты тоже, наверно, немного найдется. А вот и она!

В темном коридоре мелькнули белые оборки, блеснули атласные туфельки, взметнулись длинные черные косы, и молоденькая девушка с радостным восклицанием бросилась к Франсиско и чуть не стащила его с мула.

— Осторожнее, сестричка! — засмеялся юноша, поглядывая на Антонио.— Как бы не вспыхнул пожар. Так это я огонь? — спросил он, с удовольствием принимая по звонкому поцелую в каждую щеку, но все еще не сводя лукавого взора с вакеро.

— *Quien sabe?* — сердитым тоном повторил тот, устремляя на девушку значительный взгляд, от которого она вся вспыхнула.— Меня это не касается,— бурчал он про себя, уводя мулов.— Может, отец Педро и прав, и этот молоденький сучок на дереве церкви так же сух, как и он сам. Пусть себе метиска пылает, если ей нравится.

---

<sup>1</sup> Кто знает? (исп.)

— Быстрей, Панчо, — взволнованно говорила меж тем девушка, идя впереди Франсиско по коридору. — Сюда. Мне нужно с тобой поговорить до того, как ты встретишься с дон Хуаном: поэтому я и выбежала тебе навстречу, а вовсе не по той причине, на которую намекает этот глупый Антонио. Он просто хочет вогнать тебя в краску. Тебе стало стыдно, мой Панчо?

Юноша дружески обнял ее гибкую тонкую талию, не знавшую корсета и отмеченную лишь поясом пышной белой юбки, и сказал:

— Но отчего такая спешка, Нита? И потом теперь я вижу, что ты плакала.

Они вышли из коридора в залитый солнцем сад. Девушка опустила глаза, потом метнула вокруг быстрый взгляд и сказала:

— Не здесь! Пойдем к ручью. — И потащила его дальше через рощу земляничных деревьев и ольхи, где вскоре до их слуха донеслось тихое журчание воды.

— Помнишь, как я тебя здесь крестила, — спросила она, указывая на маленькую заводь, — когда отец Педро в первый раз привез тебя к нам и мы с тобой играли в монахов? Славное было время! Ведь отец Педро только мне разрешал играть с тобой и всегда держал нас возле себя.

— Помню, он еще говорил, что прикосновение других меня осквернит, и поэтому всегда сам меня мыл и одевал и клал спать в одной с собой комнате.

— А потом увез тебя, и мы так долго не виделись — до прошлого года, когда ты приехал сюда с Антонио на клеймение скота. А теперь, мой Панчо, я тебя, может быть, никогда не увижу.

Она закрыла лицо руками и громко разрыдалась.

Франсиско стал было ее утешать, но так рассеянно и холодно, что она поспешно сняла у себя с плеча руку, которой он тихонько ее поглаживал.

— Но почему? Что случилось? — с любопытством спросил он.

Девушка вдруг преобразилась. Ее глаза засверкали, она уперлась в бок смуглым кулачком и принялась раскачиваться из стороны в сторону.

— Я все равно не поеду, — злобно проговорила она.

— Куда не поедешь?

— А, куда, — досадливо повторила она. — Послушай, Франсиско, ты знаешь, что я, как и ты, сирота, только тебя усыновила святая церковь, а меня нет. Потому что — увы, — с горечью добавила она, — я не мальчик и ан-

гельским голосом меня бог не наделил. Как и ты, я найденыш, и меня тоже приютили святые отцы, а потом меня удочерил дон Хуан, бездетный вдовец. Я не знала и не хотела знать, кто мои родители, покинувшие меня на произвол судьбы, с меня было довольно любви моего названного отца. А теперь...— Она запнулась.

— Что теперь? — с любопытством спросил Франсиско.

— А теперь они говорят, что узнали, кто мои родители.

— И они живы?

— Слава богу, нет,— отозвалась девушка с чувством, которое никак нельзя было назвать дочерним.— Объявился какой-то человек, который знает мою историю и будет моим опекуном.

— Но откуда? Расскажи мне все подробно, милая Хуанита! — воскликнул юноша с жгучим интересом, который так разительно отличался от его прежнего безразличия, что Хуанита от обиды закусил губу.

— Откуда! Святая Варвара! Сказка для детей! Ожерелье из небылиц! Будто бы меня украли с судна, на котором мой отец — упокой господи его душу! — был капитаном, и подобрали среди морской травы на берегу, словно Моисея в камышах. И кто этому поверит!

— Как романтично! — с восторгом воскликнул Франсиско.— Ах, Хуанита, как бы мне хотелось, чтобы это случилось со мной!

— С тобой! — горько воскликнула девушка.— Нет, им нужна девочка. Да и о чем говорить? Это была я.

— А когда приедет твой опекун? — с блестящими глазами продолжал расспросы юноша.

— Он уже здесь, и с ним этот надутый дурак американский алькальд из Монтерея. Этот осел не знает ни здешнего края, ни здешних людей, а все-таки помог другому американцу отнять меня у дон Хуана. Говорю тебе, Франсиско, скорее всего это просто глупость, какая-нибудь нелепая ошибка этих американос, которые пользуются добротой дон Хуана и его доверием к ним.

— А как он выглядит, этот американо, который хочет тебя забрать? — спросил Франсиско.

— Какое мне дело, как он выглядит,— ответила Хуанита,— или какой он человек? Пусть хоть будет писанным красавцем,— мне это безразлично. Но вообще-то,— не без кокетства добавила она,— он не так уж плох собой.

— А может быть, у него длинные усы, грустная ласковая улыбка и голос одновременно мягкий и повелитель-



ный, так что хочется его слушаться, хотя он ничего и не приказывает? И тебе не показалось, что он прочитал все твои мысли? Эту самую мысль, что ему надо повиноваться?

— Святые угодники, Панчо? О ком это ты говоришь?

— Слушай, Хуанита. Год тому назад в сочельник он был в церкви, когда я пел в хоре. Куда бы я ни смотрел, я все время встречал его взгляд. А когда мы кончили и я хотел пройти в ризницу, он оказался рядом и заговорил со мной ласковым голосом, но я не знаю его языка. Он дал мне золотую монету, но я притворился, что не понял его, и опустил ее в кружку для бедных. Он улыбнулся и ушел. С тех пор я видел его много раз, а вчера вечером он разговаривал с отцом Педро.

— А отец Педро? Что он о нем говорит? — спросила Хуанита.

— Ничего. — Мальчик секунду помялся. — Может быть, потому, что я ему ничего не говорил об этом незнакомце.

Хуанита рассмеялась.

— Так, значит, когда ты захочешь, ты умеешь хранить тайны от святого отца. Но почему ты думаешь, что этот человек и есть мой новый опекун?

— Разве ты сама не видишь, сестричка? Он и тогда искал тебя! — с радостным возбуждением воскликнул Франсиско. — Он, наверное, узнал, что мы с тобой дружим. А может быть, отец Педро раскрыл ему тайну твоего происхождения. И это вовсе не выдумка алькальда, поверь мне. Мне все ясно. Это чистейшая правда!

— Значит, ты позволишь ему увезти меня отсюда, — с горечью проговорила девушка, отнимая руку, которую он бессознательно сжимал, охваченный возбуждением.

— Увы, Хуанита, я все равно ничего не могу сделать. Меня отослали в Сан-Хосе с письмом к отцу-настоятелю, от которого я узнаю, что со мной будет дальше. Что он мне скажет и сколько я там пробуду, мне неизвестно. Одно я знаю: когда отец Педро благословлял меня в путь, у него в глазах была тревога, и он долго держал меня в объятиях. Видит бог, я перед ним ничем не провинился. Может быть, отец-настоятель услышал о моем голосе и хочет взять меня в большой храм. — При этой мысли в глазах Франсиско загорелся тщеславный огонек.

Хуанита же восприняла его слова иначе. Ее черные глаза засверкали гневом и подозрением, она набрала в легкие воздуха, и ее губы плотно сжались. Через секун-

ду она разразилась гневной речью, все повышая и повышая голос.

Пресвятая дева! Как он соглашается терпеть такое обращение? Что он, ребенок, что святые отцы отсылают его на неопределенное время и с неизвестной целью, а ему даже ничего не говорят? Если уж господь послал ему талант, неужели не спросят хотя бы его согласия, решая, как им распорядиться? Она бы этого не потерпела!

Юноша с восхищением смотрел на пылающее задором личико и завидовал ее смелости. «Это все смешанная кровь», — пробормотал он про себя и затем добавил вслух:

— Тебе нужно было родиться мужчиной, Нита.

— А тебе женщиной.

— Или священником. Постой, что это?

Они оба вскочили на ноги. Хуанита, круто повернувшись, так что взлетели ее черные косы, устремила вызывающий взгляд в кусты; Франсиско же вцепился в нее дрожащими руками и побледнел. Со склона холма к их ногам скатился камень; выше по склону слышался треск ольшаника.

— Что это: медведь или разбойник? — с ужасом прошептал Франсиско.

— Просто кто-то нас подслушивал, — пренебрежительно отозвалась Хуанита. — А кто и зачем, я сейчас узнаю! — И она направилась к кустам.

— Не бросай меня одного, Хуанита, милая! — взмолился Франсиско, хватая девушку за юбку.

— Беги тогда в дом, а я останусь тут и обыщу кусты. Живей!

Юноша не стал дожидаться второго приказа и кинулся бежать со всех ног, не замечая колючек, цеплявшихся за его длинные одежды, а Хуанита кошачьим движением бросилась в кусты. Но она никого не обнаружила и, вернувшись обратно с раздосадованным видом, вдруг увидела на сухой траве, где минуту назад они сидели с Франсиско, письмо. Очевидно, он выронил его из кармана, вскочив на ноги, и в страхе этого не заметил. Это было письмо отца Педро настоятелю миссии Сан-Хосе.

Хуанита схватила его с такой яростью, словно это и был тайный соглядатай, который их подслушивал. Она знала, что у нее в руках оказался секрет внезапной ссылки Франсиско, и инстинктивно почувствовала, что в этом желтоватом конверте, запечатанном красным сургучом и перевязанном красным шнурком, содержится также и решение ее судьбы. Хуанита не была воспитана в чрез-

мерном почтении к замкам или печатям, потому что и ни то и ни другое не было известно в патриархальном укладе усадьбы. Однако с инстинктивной женской осторожностью она огляделась по сторонам и даже умудрилась сорвать восковую печать, не повредив выдавленного на ней изображения двух скрещающихся ключей. Затем она вынула письмо и принялась его читать.

На половине она вдруг остановилась и отбросила со смуглого виска прядь волос. Затем волны яркой краски стали заливать ее шею и лицо, и на глазах у нее выступили слезы. Чуть не плача, она выронила из рук письмо и стала раскачиваться из стороны в сторону. Потом резко остановилась, в глазах ее засветилась улыбка, она рассмеялась, сначала тихонько, потом все громче и, наконец, истерически захохотала. Затем так же внезапно перестала хохотать, нахмурила брови, еще раз перечитала письмо и собралась было бежать домой. Но в это мгновение чья-то рука мягко, но решительно отняла у нее письмо, и она увидела перед собой мистера Джека Крэнча.

Хуанита густо покраснела, но отказалась признать себя побежденной. Она машинально протянула руку за письмом; американец взял ее руку в свою, поцеловал тонкие пальчики и сказал:

— Еще раз здравствуй.

— Письмо! — потребовала Хуанита.

Казалось, она вот-вот топнет ножкой.

— Но ты уже прочитала достаточно, чтобы понять, что оно предназначается не тебе, — с деловитой прямоотой сказал Крэнч.

— Но и не вам, — возразила Хуанита.

— Верно. Оно предназначается отцу-настоятелю миссии Сан-Хосе. Я его ему и передам.

Хуанита испугалась — сначала этой мысли, а затем почувствовав, что незнакомец незаметно приобрел над ней какую-то власть. С суеверным трепетом она вспомнила, как описывал его Франсиско.

— Но оно касается Франсиско. В нем раскрывается тайна, которую он должен узнать.

— Тогда и скажи ему. Может быть, ему будет легче это узнать от тебя.

Хуанита снова покраснела.

— Почему? — спросила она, почти со страхом ожидая ответа.

— Потому, — невозмутимо ответил американец, — что вы друзья с детства.

Хуанита закусила губу.

— Почему вы сами его не прочитаете? — спросила она резко.

— Потому что я не имею привычки читать чужие письма, а если там что-нибудь касается меня, ты сама мне скажешь.

— А если нет?

— Тогда скажет отец-настоятель.

— По-моему, вы уже и так знаете тайну Франсиско, — вызывающе бросила девушка.

— Возможно.

— Пресвятая дева! Чего же вы тогда хотите, сеньор Крэнч?

— Я не хочу разлучать таких нежных друзей, как вы с Франсиско.

— Быть может, вы хотели бы забрать себе нас обоих? — спросила девушка с усмешкой, не лишенной кокетства.

— Я был бы счастлив.

— В таком случае не мешкайте, сеньор! Вон идет мой приемный отец дон Хуан и ваш приятель сеньор Бр-р-раун, американский алькальд.

На дорожке сада действительно появились двое мужчин. Жесткая черная блестящая шляпа с широкими полями затеняла смуглое лицо дона Хуана Брионеса, напоминавшее своим выражением серьезности и романтической честности Дон-Кихота. Его спутник, краснолицый благообразный мужчина с ленивыми движениями, был сеньор Браун, американский алькальд.

— Ну что ж, пожалуй, мы обо всем договорились, — сказал сеньор Браун с широким жестом, словно сметая все мелочи. — Как я только что сказал дону, когда благородные джентльмены, вроде вас двоих, решают между собой дело такого деликатного свойства, тут уж обходится без какого-нибудь надувательства. Дон до того уж высок помыслами, что согласен для блага девушки принести в жертву свою привязанность к ней. Вы же, со своей стороны, постараетесь о ней заботиться не хуже него, а даже и лучше. Теперь дело за формальностями. Если индианка присягнет, что нашла ребенка на берегу, я считаю, все будет в порядке. А если вам нужно будет какое-нибудь свидетельство, так прямо обращайтесь ко мне, я вам это мигом обделаю.

— Мы с Хуанитой к вашим услугам, кабальеро, — торжественно произнес дон Хуан. — Надеюсь, никто не смо-

жет сказать, что мексиканская нация уступает в благородстве великой американской нации. Будем считать, что богиня американской свободы вверила мне Хуаниту на попечение, а она выросла в гнезде мексиканского орла.— Упоенный собственным красноречием, он мгновение помолчал, а затем добавил менее напыщенным тоном, обращаясь к девушке: — Разве не так, моя радость? Мы любим тебя, малютка, но мы верны долгу чести.

— Вот уж чего в старике нет, так это мелочности,— восхищенно сказал Браун, слегка припустив левое веко.— Голова у него ясная и сердце верное.

— Ты забираешь у меня дочь, сеньор Крэнч,— продолжал охваченный волнением старик,— но американская нация дарит мне сына.

— Ты сам не знаешь, что ты говоришь, отец,— сердито сказала девушка, уловив в глазах американца легкую улыбку.

— Нет, нет,— сказал Крэнч,— быть может, какой-нибудь американец еще поймает его на слове.

— В таком случае, кабальеро, прошу вас воспользоваться скромным гостеприимством моего дома,— с традиционной мексиканской учтивостью произнес дон Хуан, вынимая из кармана большой ключ от ворот патио.— Он к вашим услугам,— повторил он.

И гости последовали за ним в дом.

Прошло два часа. Восточные склоны холмов стали темнеть; длинные черные тени немногочисленных тополей вдоль пыльной дороги, словно канавы, прорезали плоскую рыжую равнину; тени пасущегося скота, сливаясь с силуэтами самих животных, принимали все более причудливые очертания. Поднявшийся в горах резкий ветер, вырываясь из лесистого ущелья, как из воронки, разливался по долине. Антонио вдоволь поболтал со слугами, пощипал девушек за щечки, выпил не один стаканчик агвардиенте, оседлал мулов и уже начал досадовать на задержку.

И вдруг неторопливое течение жизни патриархальной усадьбы дона Хуана Брионеса было нарушено. Дремавший в тишине двор вдруг наполнился пеонами и слугами. На аллеях сада поднялась страшная беготня. Отовсюду раздавались вопросы, распоряжения и восклицания; стук копыт десятка всадников прогремел по равнине. Дело в том, что служба миссии Сан-Кармел Франсиско исчез, как в воду канул, и с того дня его никогда больше не видели в асиенде дона Хуана Брионеса.

### III

Когда отец Педро проводил взглядом пегих мулов, скрывшихся за дубами возле маленького кладбища, увидел, как лучи утреннего солнца в последний раз блеснули на металлической уздечке Пинто, услышал, как в последний раз звякнули шпоры Антонио, с его уст сорвалось что-то очень похожее на мирской вздох. Повергнув в наивное изумление пришедших к утренней мессе молящихся, в большинстве своем недавно обращенных в христианство метисов, которые с большим усердием вкушали как духовную, так и телесную пищу, предлагаемую им святыми отцами, он препоручил свои обязанности в церкви помощнику, а сам с требником в руках удалился в сад под сень старых груш. Не знаю, способствовало ли его размышлениям созерцание этих корявых узловатых ветвей, все еще приносивших обильные и ароматные плоды, но как бы то ни было, он любил сюда приходить, и под самым кривым и уродливым стволом для него была врыта грубая скамья. На нее-то он и опустился, обратив лицо к горам, которые отгораживали от него невидимое море. Палящие лучи калифорнийского солнца освещали его лицо, беспощадно выискивая в нем признаки бессонной ночи, полной мучительных раздумий. Желтоватые белки его глаз покраснели; кожа на висках была изборозждена жилками, словно табачный лист; его одежда, всегда издававшая запах мертвенной сухости, дышала лихорадочным жаром, словно среди пепла вдруг возродился огонь.

О чем думал отец Педро?

Он думал о своей молодости — молодости, проведенной под сенью этих самых груш, которые уже и тогда были старыми. Он вспоминал свои юношеские мечты об обращении язычников, о подвигах и жертвах, превосходящих подвиги самого Хуниперо Серра; он вспоминал, как рухнули эти мечты, когда архиепископ послал его товарища, брата Диего, на север вести миссионерскую работу в чужих землях, а его обрек на прозябание в Сан-Кармеле. Он вспоминал, какую тяжелую борьбу ему пришлось вести с самим собой, чтобы побороть греховное чувство зависти, и как через молитву и покаяние он наконец обрел терпение и смирение и отдался своему скромному делу, как выращивал верных сыновей истинной веры, иногда для этого даже отрывая их от груди матерей-еретичек.



Он вспомнил, как, обуреваемый религиозным усердием и бессознательным стремлением к отцовству, он стал мечтать о духовном отцовстве, о девственной душе, над которой он имел бы неограниченную власть, не ослабленную родительской привязанностью, и из которой смог бы вырастить продолжателя своего дела. Но как это сделать? Среди мальчиков, которых родители с большой готовностью предлагали на службу святой церкви, не было ни одного достаточно чистого душой и не испорченного родительским влиянием. И вот однажды ночью Святая Дева, как он твердо верил, вняла его мольбам, и его мечта осуществилась. Старуха индианка принесла ему ребенка — девочку, которую она подобрала на морском берегу. У нее не было родителей, и никто не мог заявить на нее права; у нее не было прошлого, которое могло бы напомнить о себе; ее история была известна лишь невежественной индианке, которая, передав малютку священнику, сочла свой долг выполненным и утратила к ней всякий интерес. Строгость монашеского уклада его жизни была такова, что он должен был скрыть пол ребенка. Это было вовсе не трудно, так как он запретил кому бы то ни было до него дотрагиваться и ухаживал за ним сам, смело окрестив его вместе с другими детьми и дав ему имя Франсиско. Никто не знал происхождения ребенка и не интересовался им. Было известно, что отец Педро усыновил найденныша; а если он так ревниво его оберегает, прячет ото всех, то это, наверное, какая-нибудь священная тайна, не доступная пониманию простых смертных.

У отца Педро тоскливо потемнели глаза и участилось дыхание, когда он стал вспоминать, как повседневные заботы о беспомощном младенце открыли ему радости отцовства, которых он был лишен; как он считал своим долгом бороться с восторгом, охватывавшим его при прикосновении к его пергаментным щекам маленьких пальчиков, при звуке младенческого лепета, при взгляде в изумленные и полные немого вопроса детские глаза; он вспоминал, как трудно давалась ему эта борьба и как наконец он вовсе перестал бороться, решив, что все это лишь символ детской чистоты, воплощенной в младенце Иисусе. И все же, даже предаваясь этим мыслям, он вынул из кармана маленький башмачок и положил его рядом с требником. Это был башмачок, который в детстве носил Франсиско, совсем такой же, как башмачки на миниатюрной восковой фигуре божьей матери, стоявшей в нише в трансепте.

Мучили ли его все эти годы угрызения совести из-за того, что он скрыл пол ребенка? Отнюдь. Ибо для него дитя не имело пола, как и подобало тому, кому предстояло жить и умереть у подножия алтаря. Бога он не обманывал, а все остальное не имело значения. И отдать ее на попечение святых сестер он не мог, потому что в округе не было женского монастыря, а с каждым годом возвращение девочки к ее естественному положению и обязанностям становилось все более затруднительным. А затем судьбу ребенка окончательно определило обстоятельство, в котором отец Педро вновь увидел прямое вмешательство провидения. У него обнаружился голос такой прелестной чистоты и нежности, что, казалось, сам ангел поет на хорах, и простертые на полу молящиеся в восторге поднимали глаза кверху, как бы ожидая, что темные балки потолка сейчас озарятся небесным сиянием. Слава маленького певца достигла самых отдаленных уголков долины Сан-Кармел, и все считали, что миссия удостоилась своего чуда. Дон Хосе Перальта припомнил, что в Испании ему — да-да! — доводилось слышать в церквах голоса такой неземной красоты!

И эту душу, самым господом вверенную его попечению, хотят у него отобрать! Да разве он отдаст эту душу, которую отторг от неведомого греховного мира и сохранил в непорочной чистоте, разве отдаст эту предназначенную богу душу, как раз когда она обещает умножить славу матери церкви? И только по слову заведомого грешника, человека, раскаявшегося с таким запозданием и все еще не получившего от церкви отпущения грехов? Нет! Ни в коем случае! С неподобающей священнослужителю радостью отец Педро думал об отказе незнакомца от заступничества церкви: если бы он его принял, то священный долг обязал бы отца Педро возлюбить его и помочь ему.

Отец Педро поднялся со скамьи и побрел в дом. Проходя по коридору миссии, он заглянул в маленькую келью, расположенную рядом с его собственной. На окне, на столе и даже на умывальнике стояли собранные вчера Франсиско букеты цветов; некоторые из них уже завяли; белое облачение, в котором он пел в церкви, одиноко висело на стене. При виде его отец Педро вздрогнул: ему почудилось, что вместе с этим одеянием его воспитанник оставил здесь свое духовное начало.

Поежившись от прохлады, которую в Калифорнии даже в самый зной хранит любая тень, отец Педро вернулся

в сад. Мысленно последовав за Франсиско, он увидел, как тот приехал на ранчо дона Хуана, но с роковой слепотой всех мечтателей нарисовал себе картину, не имевшую ничего общего с действительностью. Дальше он последовал за пилигримами до Сан-Хосе и представил себе, как Франсиско вручает настоятелю письмо, раскрывающее его тайну. Отец Педро был весь во власти одной мысли, и ему даже в голову не пришло, что настоятель Сан-Хосе может не согласиться со скромным священником из Сан-Кармела и отказаться выполнять его планы. Подобно всем одиноким людям, оторванным от жизни общества, он не умел предвидеть события, выходящие за рамки повседневной жизни. Однако в это мгновение у него вдруг мелькнула мысль, от которой его пергаментные щеки побелели. Что если отец-настоятель сочтет необходимым посвятить Франсиско в его тайну? Что если тот возмутится обманом и перестанет любить своего приемного отца? Впервые за все это время отец Педро позабыл о себе и подумал о чувствах Франсиско. До сих пор тот был для священника лишь существом, обязанным беспрекословно ему подчиняться как духовному наставнику и опекуну.

— Святой отец!

Он с досадой обернулся. Это был его вакеро Хосе. Глаза отца Педро оживились.

— А, Хосе! Ну так как, ты нашел Санчичу?

— Да, ваше преподобие. И я ее привез: только уж не знаю, что с ней можно сделать, кроме как закопать в землю и прочитать молитву. Если вам удастся добиться от нее какого-нибудь толку, я отдам мула, на котором ее привез, на прокорм койотам. Она ничего не слышит и не говорит — не знаю только, от слабости или от упрямства.

— Тогда помолчи! И пусть она будет тебе в этом примером. Приведи ее в ризницу, а сам займись своими делами. Иди!

Глядя вслед удаляющемуся погонщику, отец Педро торопливо провел по лбу своей иссохшей рукой, изборожденной морщинами и венами, словно ноябрьский лист, и кожа под ней отвечала сухим шелестом. Затем он вдруг стиснул пальцами требник, опустил прямо перед собой руки и скованной походкой прошел в коридор, а оттуда в ризницу.

В комнате царил полумрак, и сначала она показалась ему пустой. В углу валялась куча одеял, а поверх них виднелись жесткие черные волосы, напоминавшие расплетенную риату. Когда отец Педро приблизился к этой ку-

че, она заколыхалась. Наклонившись, он увидел среди одеял горящие, как угли, черные глаза Санчичи, столетней индианки миссии Сан-Кармел. В ее дряхлом теле жили одни глаза. Старость сделала ее беспомощной, размягчила ее кости и угасила разум.

— Послушай, Санчича, — торжественно произнес отец Педро. — Постарайся на минуту оживить в своей памяти события, происшедшие четырнадцать лет назад. Для тебя это все равно, что вчера. Помнишь ребенка, которого ты принесла мне четырнадцать лет тому назад?

В глазах старухи загорелся осмысленный огонек. Они обратились на открытую дверь ризницы и оттуда внутрь церкви на хоры.

Священник раздраженно махнул рукой.

— Нет, нет, ты меня не поняла, ты не слушаешь, что я тебе говорю. Ты не знаешь, целы ли его вещи: одежда с меткой, может быть, амулет или какая-нибудь безделка?

Огонек в глазах старухи потух. Она казалась мертвой. Отец Педро немного подождал, а потом нетерпеливо положил руку ей на плечо.

— Ты хочешь сказать, что ничего не сохранилось?

В ее глазах опять что-то засветилось.

— Нет.

— Ты хочешь сказать, что ты не сохранила и не спрятала ничего, по чему родители ребенка могли бы его узнать? Поклянись на этом распятии.

Она взглянула на распятие, и ее глаза стали так же пусты, как глаза без зрачков на резном лице Спасителя.

Отец Педро терпеливо ждал. Прошла минута; со двора доносился звон шпор Хосе.

— Тем лучше, — наконец сказал отец Педро со вздохом облегчения. — Пепита тебя покормит, а Хосе отвезет домой. Я ему скажу.

Он вышел из ризницы, не закрыв за собой дверь. Луч солнца вбежал внутрь и упал на кучу тряпья в углу. Глаза Санчичи опять ожили; более того, ее лицо пришло в какое-то странное движение. На месте ее беззубого рта открылся черный провал — она смеялась. В коридоре слышались шаги Хосе, и старуха вновь замерла без движения.

Третий день после отъезда Франсиско, день, когда Антонио должен был вернуться домой, подходил к концу. Отец Педро испытывал нетерпение, но не тревогу. Святые отцы в Сан-Хосе могли ведь задержать Антонио, пока обдумывали ответ. Если бы с Франсиско что-нибудь слу-

чилось, Антонио вернулся бы сам или прислал бы человека с известием. На закате отец Педро сидел на своей скамье в саду, опустив руки с требником на колени и устремив взор на горы, отделявшие его от полного тайн моря, которое так много изменило в его жизни. У него появилось странное желание — увидеть море. Его охватило любопытство, которому доселе не было места в его занятой жизни: ему захотелось взглянуть на берег, может быть, даже на то самое место, где был найден Франсиско; ему казалось, что его пытливый взор обнаружит какой-нибудь незаметный след; его настойчивость и помощь Святой Девы заставят море раскрыть свою тайну. Глядя на туман, ползущий по гребню, он вспомнил разговоры, которые слышал за последнее время в миссии, — будто бы с приходом американос туман все ближе подступает к миссии. При мысли о ненавистных пришельцах отцу Педро представился незнакомец так, как он стоял перед ним в этом самом саду три дня назад, представился с такой явственностью, что он с испуганным восклицанием вскочил на ноги. И тут увидел, что ему вовсе не почудилось и что сеньор Крэнч собственной персоной выходит к нему из тени груши.

— Я предполагал найти вас здесь, — начал мистер Крэнч таким спокойным и деловым тоном, словно продолжал прерванный разговор, — и я надеюсь задержать вас не дольше, чем в прошлый раз. — Он молча поглядел на часы, которые уже держал в руке, и затем положил их в карман. — Так вот, мы ее нашли!

— Франсиско! — воскликнул священник, шагнул к Крэнчу и, схватив его за руку, посмотрел ему прямо в глаза.

Мистер Крэнч осторожно снял руку отца Педро со своей.

— По-моему, ее зовут не так, — сухо отозвался он. — Может быть, вы лучше присядете?

— Простите... простите меня, сеньор, — проговорил священник, поспешно опускаясь на свою скамью. — Я думал о другом. Вы... вы... так внезапно появились. Я принял вас за служку. Продолжайте, сеньор, я вас слушаю с большим интересом.

— Я так и думал, что вы заинтересуетесь, — спокойно ответил Крэнч. — Поэтому я и пришел. К тому же вы можете нам помочь.

— Да-да, — поспешно отозвался священник. — И кто же эта девушка, сеньор?

— Метиска Хуанита, приемная дочь дона Хуана Брионеса, владельца ранчо в долине Санта-Клара, — ответил Крэнч, ткнув большим пальцем себе через плечо, и сел на скамью возле отца Педро.

Священник несколько секунд пристально впивался в его лицо воспаленным взглядом, а затем упрямо уставился в землю. Крэнч вынул из кармана плитку табаку, отрезал кусок, положил его себе за щеку и затем стал спокойно точить нож о подошву. Отец Педро краем глаза следил за ним и, хотя был поглощен совсем иными мыслями, почувствовал брезгливое презрение.

— И вы уверены, что она и есть тот ребенок, которого вы ищете? — спросил священник, не поднимая глаз.

— Более или менее. Ее возраст подходит, она была единственным найденным-девочкой, которую вы крестили, — он с вопросительным видом повернулся к священнику, — в том году. Индианка говорит, что она нашла на берегу ребенка. Как будто все сходится.

— А одежда ее сохранилась, мой друг? — спросил священник, все еще глядя в землю, но равнодушным тоном.

— Я полагаю, она со временем найдется, — ответил Крэнч. — Главное было найти девушку. Моя забота была ее найти, а уж законники пусть проверяют доказательства и говорят, чего еще не хватает.

— Но при чем тут законники? — спросил отец Педро с насмешкой, которую не сумел скрыть. — Вы же нашли ребенка и не сомневаетесь в том, что это она?

— Это из-за наследства. Дело надо вести по-деловому.

— Наследства?

Мистер Крэнч нажал тупой стороной лезвия на сапог, со щелчком закрыл нож и, кладя его в карман, спокойно пояснил:

— После смерти ее отца остался капитал в миллион долларов, который по праву принадлежит ей, но надо ведь доказать, что она его дочь.

Засунув обе руки в карманы, он повернулся и в упор посмотрел на отца Педро. Священник торопливо поднялся.

— Но прежде вы об этом ничего не говорили, сеньор Крэнч! — с жестом негодования воскликнул он, поворачиваясь к Крэнчу спиной и делая шаг в направлении трапезной.

— А зачем мне было об этом говорить? Я искал девушку, а тут наследство ни при чем, — ответил Крэнч,



внимательно наблюдая за священником, но продолжая говорить беспечным тоном.

— Ах, вот как? И вы думаете, другие с вами согласятся? Буено! Что подумают люди о вашей священной миссии? — продолжал отец Педро возбужденно, но по-прежнему отвернувшись от собеседника.

— Людей интересуют доказательства и, будь они в порядке, на остальное внимания не обратят. Девушка только скажет мне спасибо за то, что я помог ей получить большое состояние. Смотрите! Вы что-то уронили! — воскликнул Крэнч и, вскочив на ноги, подобрал выпавший из рук отца Педро требник и вернул его владельцу с мягкой вежливостью, которая, казалось бы, была ему не свойственной.

Священник взял требник дрожащей рукой и даже не поблагодарил.

— Но какие у вас есть доказательства, — продолжал он, — какие именно?

— Ну, во-первых, вы подтвердите, что вы ее крестили.

— А если я откажусь? Если я не захочу принимать в этом участие? Если я не могу поручиться, что не произошла какая-нибудь ошибка? — Священник разжигал в себе все более пылкое негодование. — Что кого-то не подвела память? Я крестил столько детей — разве я могу их помнить? И если эта Хуанита вовсе не та девушка, а?

— Тогда вы поможете мне отыскать ту, — невозмутимо ответил Крэнч.

Вне себя от гнева отец Педро обрушился на своего мучителя. Истерзанный бессонницей и тревогой, он забыл обо всем и только хотел избавиться от присутствия человека, который, казалось, взял на себя роль его совести.

— Кто вы такой, чтобы так со мной разговаривать? — хриплым голосом проговорил он, наступая на Крэнча с вытянутой, как для проклятия, рукой. — Кто вы такой, сеньор Язычник, что вы осмеливаетесь приказывать мне, служителю святой церкви? Я вам говорю, что не потерплю этого. Нет! Ни за что! Запомните! Ни за...

Он вдруг умолк. С башни прозвучал первый удар колокола. Первый удар колокола, магические звуки которого изгоняли все человеческие страсти, мирного колокола, который вот уже пятьдесят лет призывал паству Сан-Кармела к молитве и отдыху, достиг взволнованного слуха отца Педро. Его дрожащая рука нащупала распятие и поднесла его к левой стороне груди; его губы зашевели-

лись в молитве. Он поднял глаза к холодному, бесстрастному небу, где уже виднелось несколько светлых редких звезд, тихонько прокрававшихся на свои места. Колокол продолжал звонить; постепенно отец Педро перестал дрожать и застыл в скованной неподвижности.

Американец терпеливо ждал, сняв шапку — больше из уважения к чувствам священника, чем к самому обряду. Глаза отца Педро вновь обратились на землю, увлажненные, словно небесной росой. Он посмотрел на американца отрешенным взглядом.

— Прости меня, сын мой, — заговорил он совершенно другим тоном. — Я всего лишь старый, усталый человек. Мне надо будет с тобой обо всем этом поговорить еще раз... но не сегодня... не сегодня... завтра.. завтра... завтра...

Он медленно повернулся и каким-то бесплотным духом заскользил по саду, пока его не поглотила черная тень колокольни. Крэнч тревожно смотрел ему вслед. Затем он вынул из-за щеки табачную жвачку.

— Так я и думал, — вслух проговорил он. — Скала твердая, но внутри чистое золото.

#### IV

В ту ночь отцу Педро приснился странный сон. Что в нем было явью, сколько времени он продолжался и когда окончился, он не мог бы сказать. Тяжкое волнение, испытанное накануне, привело его в состояние лихорадочного возбуждения, в котором он как бы жил другой жизнью и действовал помимо своей воли.

Вот что он запомнил. Будто бы ночью его охватило раскаяние и ужас перед содеянным и, войдя в темную церковь, он упал на колени перед алтарем. Вдруг с хоров понесся голос Франсиско, но он звучал до того странно и неблагозвучно, что казался неуместным в церкви, и священника охватил суеверный трепет. У отца Педро осталось также воспоминание, что он открыл Крэнчу тайну своего воспитанника, но когда он это сделал — на следующее утро или через неделю, — он не мог сказать. У него было впечатление, что Крэнч, в свою очередь, признался в каком-то пустячном обмане, но в чем заключался этот обман, он не мог вспомнить: слишком уж чудовищной казалась его собственная вина. Он смутно припоминал, что Крэнч отдал ему письмо, которое он написал настоятелю Сан-Хосе, сказав, что никто не узнал его тайну и что он избавлен от публичного признания и возможного сканда-

ла. Но все это подчиняла себе и заслоняла одна-единственная мысль: он должен проехать с Санчичей на берег моря и там, на том месте, где она нашла Франсиско, увидеться с девушкой, в которую тот превратился, и проститься с ней навеки. Он смутно припоминал объяснения Крэнча, что это необходимо для формального установления ее личности, но каким образом и зачем, ему было неясно: достаточно было того, что это входило в его епитимью.

И вот пришел день, когда он на заре выехал из миссии Сан-Кармел в сопровождении верного Антонио, Санчичи и Хосе. На лицах всех участников маленькой кавалькады, кроме ничего не выражавшего лица старухи, было написано беспокойство и уныние. Отец Педро не отдавал себе отчета, до какой степени его рассеянность и галлюцинации удручали его честных спутников. Они ехали по извилистой тропе, поднимающейся в гору, и священник заметил, что Антонио и Хосе переговариваются вполголоса, ежеминутно благочестиво крестясь и бросая на него встревоженные взгляды. Он задумался, не следует ли ему объявить им о своем грехе и униженно просить их прощения, но его остановила мысль, что его преданные слуги захотят разделить наложенную на него кару; кроме того, он вспомнил, что обещал Крэнчу никому ничего не говорить. Ради нее. Раза два он оглянулся на миссию. Какой маленькой она казалась с вершины горы и как мирно дремала в долине, за которой открывались дикие просторы, вплоть до едва видневшейся на востоке призрачной стены Сьерры! Вот уже почувствовалось могучее дыхание моря; еще немного, и кавалькада достигла гребня и остановилась; надвинув на лоб сомбреро, с развевающимися серапе, они смотрели на бескрайний сверкающий Тихий океан.

Оглушенный и ослепленный сияющей волнующейся гладью, отец Педро ехал к морю, как во сне. Вдруг он натянул поводья и подозвал к себе Антонио:

— Сын мой, не говорил ли ты мне, что этот берег дик и пустынен и что здесь нет ни зверья, ни человеческих жилищ?

— Говорил, святой отец.

— Так что же это? — спросил священник, показывая вниз.

Там виднелась группа зданий, примостившихся возле впадающего в море ручья. Из высокой фабричной трубы валил дым, кругом лежали груды какой-то породы, неве-

домые им машины были разбросаны по песчаному берегу, а между ними сновали человеческие фигурки. В бухте стояла на якоре шхуна.

Вакеро ошеломленно перекрестился.

— Не знаю, ваше преподобие. Я здесь был всего два года назад, когда разыскивал жеребят, отбившихся от табуна, и, клянусь священными мощами святого Антонио, все было, как я говорил.

— У этих американос всегда так, — отозвался Хосе. — Мой брат Диего рассказывал, как он два месяца назад поехал из Сан-Хосе в Пескадеро и на всем пути через прерию не встретил ни одной харчевни или постоянного двора, где бы остановиться. А когда возвращался неделю спустя, посреди прерии стояли три дома и фабрика и было полно народу. И все почему, Пресвятая Дева! Кто-то остановился у ручья напиться и увидел там золото. Вот столько. — И Хосе показал пальцем на одну из серебряных монет, пришитых к рукавам его куртки вместо пуговиц.

— Они и здесь промывают песок, чтобы найти золото, — сказал Антонио, показывая на кучку людей, столпившихся около одной из машин, напоминавшей огромную люльку. — Поехали быстрее.

На минуту пробудившийся в отце Педро интерес погас. Слова его спутников казались ему скучными и бессмысленными. Он опять был поглощен своими мыслями и сознавал только, что эта кипучая, напряженная жизнь еще больше отделяет от него Франсиско, когда-то, как он верил тогда, принесенного ему морем. В его утомленном, затуманенном мозгу возникла мысль, что если такая чуждая жизнь могла идти в десятке миль от миссии и он ничего о ней не знал, то, может быть, то же самое происходило и вокруг него, в монастырском уединении миссии, а он оставался ко всему слеп? Может быть, сам того не сознавая, он все это время жил в суетном мире? Может быть, суета была и у него в крови? Может быть, это она побудила его... Он содрогнулся при этой мысли.

Когда петлявшая по склонам дорога уже почти вывела их к берегу, он увидел, что неподалеку через заросли овсюга медленно идут мужчина и женщина. Ему показалось, что он узнал в мужчине Крэнча. Кто же тогда женщина? Сердце на секунду замерло у него в груди. Неужели это она? Он никогда не видел ее в женском платье — неужели оно так ее изменило? Разве она такая высокая? Как в полусне, он приказал Антонио и Хосе не спе-

ша ехать вперед с Санчичей, а сам слез с мула и начал пробираться между гигантскими метелками злаков, стараясь остаться незамеченным. Крэнч и его спутница, видимо, не слышали, как он приблизился, и продолжали о чем-то горячо спорить. Отцу Педро чудилось, что они держались за руки и что потом Крэнч обнял ее за талию. Он чуть было не бросился к ним, возмущенный этим, как ему показалось, чудовищным кощунством, но тут до него донесся голос девушки. Он остановился, затаив дыхание. Это был голос не Франсиско, а Хуаниты, маленькой метиски.

— А может быть, вы и сейчас притворяетесь, что меня любите, как притворялись, что верите, будто я и есть та девочка, с которой вы убежали и которую потеряли? Вы уверены, что в вас говорит не раскаяние за то, что вы всех нас обманули — меня, дона Хуана и бедного отца Педро?

Отцу Педро показалось, что вместо ответа Крэнч попытался ее поцеловать, ибо девушка, кокетливо взмахнув косами, вдруг отпрянула от него и спрятала смуглые руки за спину.

— Послушай, — сказал Крэнч с той же добродушной непринужденной прямоотой, которая запомнилась священнику и которую в более склонном к раздумьям человеке могли бы принять за признак философского склада ума, — ты несправедлива. Во-первых, это дон Хуан и алькальд высказали предположение, что ты и есть тот самый ребенок.

— Но, по вашим словам, вы с самого начала знали, что это Франсиско, — прервала его Хуанита.

— Это верно, но, когда я увидел, что священник не хочет мне помочь и не признается, что служка на самом деле девочка, я предпочел сделать вид, что ему поверил и собираюсь отдать наследство кому-нибудь другому и пусть уж его совесть решает, допустить это или помешать этому. И все вышло, как я предполагал. Надо думать, старику досталось нелегко — в его годы расстаться с ребенком, к которому так привязан, не просто, но он оказался мужественным человеком.

— И чтобы спасти его, вы решили обмануть меня? Спасибо, сеньор, — сказала девушка, делая насмешливый реверанс.

— Да, конечно. Тебя я прочил себе в жены, а не в дочки, если ты об этом. Когда ты лучше меня узнаешь, Хуанита, — продолжал Крэнч серьезно, — ты согласишься,

что я никогда не стал бы тебя обманывать, притворяясь, что хочу тебя удочерить, если бы не надеялся на тебе жениться.

— Bueno! И когда же у вас появилась эта милая надежда?

— Когда я в первый раз тебя увидел.

— То есть две недели назад?

— Год назад, Хуанита. Когда Франсиско приехал по-видать тебя на вашем ранчо. Я отправился следом и увидел тебя.

Хуанита мгновение глядела на него молча, потом вдруг бросилась к нему, схватила за отвороты сюртука и стала трясти, как терьер трясет добычу.

— А вы уверены, что не были влюблены в Франсиско? Отвечайте! — Она опять его встряхнула. — Поклянитесь, что вы не ходили за ней следом!

— Но... я же ходил, — смеясь, ответил Крэнч, не препятствуя маленьким ручкам трясти его.

— Иуда Искарот! Поклянитесь, что вы все это время не были в нее влюблены!

— Но, послушай, Хуанита!

— Поклянитесь!

Крэнч поклялся. Тогда, к несказанному изумлению отца Педро, Хуанита, взяв американца за уши, нагнула к себе его лицо и поцеловала его.

— А ведь вы могли бы влюбиться в нее и взять в приданое целое состояние, — заметила она, помолчав.

— Тогда как бы я искупил свою вину и выполнил свой долг? — усмехнувшись спросил Крэнч.

— Ей было бы достаточно получить вас в мужья! — ответила Хуанита, мгновенно проникаясь враждебностью любящей женщины к возможной сопернице. В ответ на это Крэнч еще раз ее поцеловал, а затем Хуанита сказала:

— Мы очень далеко ушли от дороги. Пойдемте назад, а то пропустим отца Педро. Вы уверены, что он приедет?

— Неделю назад он обещал мне приехать, чтобы собственными глазами посмотреть на доказательства.

Они пошли к дороге, и их голоса постепенно стихли вдали.

Отец Педро стоял как вкопанный. Неделю назад! Неужели прошла неделя... Но после чего? А что он делал тут сейчас? Подслушивал! Он! Отец Педро, как бездельник-пеон, подслушивал признания влюбленных. Но они говорили о нем, о его преступлении, и американец его пожалел. Почему он не заговорил с ними? Почему он их



не окликнул? Он попытался крикнуть, но его горло сжалось, и ему показалось, что он сейчас задохнется. Метелки овсюга вокруг закивали ему, он почувствовал, что качается. Потом он стал падать — долго-долго — с вершины горы на пол часовни в миссии. И там остался лежать в темноте.

— Он пошевелился!

— Спаси его, святой Антоний!

Он услышал голос Антонио, почувствовал на себе руку Хосе, увидел колышущиеся злаки и небо над головой — ничто не изменилось.

— Что произошло? — слабым голосом спросил священник.

— У вас закружилась голова, ваше преподобие, и вы обмерли. А мы как раз пошли вас искать.

— Вы никого не встретили?

— Никого, ваше преподобие.

Отец Педро провел рукой по лицу.

— А это кто? — спросил он, показывая на две фигуры, появившиеся на тропе.

Антонио обернулся.

— Это американо сеньор Крэнч и его приемная дочь Хуанита. По-моему, они ищут вас, ваше преподобие.

— А,— сказал отец Педро.

Крэнч подошел и почтительно поздоровался со священником.

— Я весьма тронут, отец Педро,— сказал он, бросая выразительный взгляд в сторону Хосе и Антонио,— тем, что вы приехали проводить меня и мою приемную дочь. Мы отплываем с приливом, а пока приглашаем вас вон в тот дом.

Отец Педро долго смотрел на Крэнча, потом перевел взгляд на Хуаниту.

— Вот как,— проговорил он наконец, запинаясь.— Но она ведь едет не одна? Ей будет сначала очень тяжело одной в незнакомом мире. Может быть, с ней едет подруга, какая-нибудь спутница?

— Да, с ней едет ее старая и любимая подруга, отец Педро, и она нас сейчас ждет.

Он привел отца Педро к маленькому белому домику — такому маленькому и белому и явно так недавно построенному, что он казался просто каплей морской пены на берегу. Оставив Антонио и Хосе в соседней мастерской, Крэнч помог престарелой Санчиче слезть с мула

и вместе с отцом Педро и Хуанитой вошел в обнесенный частоколом участок возле дома и остановился возле песчаного холмика с двустворчатой дверью, как у погреба. Дверь была заперта на висячий замок. Рядом стояли американский алькальд и дон Хуан Брионес. Отец Педро оглянулся, ища глазами еще одну фигуру, но ее не было.

— Господа, — начал Крэнч, как всегда, без промедления приступая к делу, — вы все знаете, что мы пришли сюда, чтобы установить личность девицы, которая, — он на секунду запнулся, — до последнего времени находилась на попечении отца Педро, установить, что она является тем самым ребенком, которого пятнадцать лет тому назад нашла на этом берегу индианка Санчича. Вы все знаете, как этот ребенок здесь очутился и какое я имел к этому отношение. Я вам рассказал, как я выбрался на берег, оставив ребенка в ялике, предполагая, что его заберут люди, преследовавшие меня на шлюпке. Некоторым из вас, — он взглянул на отца Педро, — я рассказал, как три года тому назад я узнал от одного из матросов, служившего на том же судне, что отец так и не нашел своего ребенка. Но я никому не говорил, откуда я точно знал, что ребенка подобрали на этом самом месте. Я не помнил, где именно вышел на берег, потому что стоял густой туман. Но два года назад я пришел в эти места с компанией золотоискателей. И вот в один прекрасный день, копая яму неподалеку от ручья, я наткнулся под толстым слоем песка на что-то твердое. Это не было золото, господа, но нечто, имевшее для меня бóльшую ценность, чем золото или серебро. Вот оно.

Он сделал знак алькальду, и тот отпер замок и распахнул дверцу. За ней оказалась яма, в которой лежал наполовину откопанный ялик.

— Это ялик «Тринидада», джентльмены, на нем и сейчас можно разобрать название судна. На его корме под шкотом я нашел полуистлевшие детские вещи, которые тогда были на девочке. Тогда я понял, что кто-то забрал ребенка, оставив одежду, чтобы нельзя было установить его происхождение. Похоже было, что в деле замешан индеец или индианка. Я начал потихоньку расспрашивать местных жителей и вскоре нашел Санчичу. Она призналась, что нашла ребенка, но сначала не хотела говорить, куда его дела. Но позднее она в присутствии алькальда заявила, что отдала его отцу Педро в миссию Сан-Кармел — и вот она стоит перед нами, бывший Франсиско, нынешняя Франсиска.

Он отошел в сторону, уступая дорогу высокой девушке, которая вышла из дома.

Отец Педро не слышал последних слов и не видел движения Крэнча. Его глаза были прикованы к слабой Санчиче — Санчиче, над которой небеса, словно в укор ему, сотворили чудо, вернув ей разум и речь. Он провел дрожащей рукой по лицу и отвернулся от индианки, и тут его взгляд упал на только что подошедшую девушку.

Эта была она. Пришла та минута, которой он так ждал и так боялся. Она стояла перед ним, хорошенькая, оживленная, оскорбительно сознающая свое новое очарование, свой непривычный наряд и жалкие побрякушки, которые заменили ей монашеское одеяние и которые она хвастливо перебирала тщеславными пальцами. Она была поглощена своим новым положением, и для прошлого в ее сознании не оставалось места; ее ясные глаза оживленно блестели в предвкушении будущего богатства и удовольствий. Это было само воплощение суетного мира, даже протягивая ему в полукокетливом смущении руку, она другой поправила складки на юбке. Прикоснувшись к ее пальцам, отец Педро вдруг почувствовал себя бесконечно старым, и его душу охватил холод. Ему было отказано даже в том, чтобы искупить свою вину болью расставания — он больше не чувствовал горести при мысли о разлуке. Он подумал о белом одеянии, висевшем в маленькой келье, но эта мысль не вызывала сожаления. Ему только было страшно при мысли, что когда-то оно одевало эту плоть.

— Вот и все, господа, — раздался деловитый голос Крэнча. — Дело законников решить, достаточны ли эти доказательства, чтобы объявить Франсиску наследницей состояния ее отца. Для меня же они достаточны, они дали мне возможность искупить содеянное зло, заняв место ее отца. В конце концов это была случайность.

— Это была воля божья, — торжественно произнес отец Педро.

Это были последние слова, которые он к ним обратил. Когда туман начал подбираться к берегу, ускоряя их отъезд, он отвечал на их прощальные слова лишь молчаливым пожатием руки, не разжимая губ и глядя на них отсутствующими глазами.

Когда звук весел затих вдали, он велел Антонио отвести его и Санчичу назад к погребенной в песке лодке. Там он приказал ей встать на колени рядом с ним.

— Мы будем отбывать здесь свою епитимью, дочь моя, ты и я,— сурово проговорил он.

Когда туман мягко сомкнулся вокруг этой странной пары, закрыв море и берег, отец Педро прошептал:

— Скажи, дочь моя, все было вот так же в ту ночь, когда ты ее нашла?

Когда с невидимого в тумане судна донесся скрип блоков и канатов, он опять прошептал:

— И это ты тоже слышала тогда?

И так всю ночь он тихим голосом напоминал едва соображавшей, что происходит, старухе, как плескались волны, как шумели вдалеке буруны, как то светлел, то сгущался туман, как в нем возникали фантастические тени и как медленно пришел рассвет. А когда утреннее солнце рассеяло пелену, покрывавшую море и землю, за ними пришли Антонио и Хосе. Осунувшийся, но не согбенный, он стоял возле дрожащей старухи и, протянув руку к горизонту, где еще виднелся белый парус, посылал ему вслед свое благословение:

— Vaya Usted con Dios!<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Идите с богом! (исп.)

**История  
одного рудника  
ПОВЕСТЬ**





# История одного рудника

## ЧАСТЬ I

### ГЛАВА I

#### Кто его искал

Крутая горная тропа пересекала Монтерейский береговой кряж. Кончо устал, Кончо был покрыт густым слоем пыли, Кончо был сильно не в духе. Только одна услада могла скрасить Кончо изнурительно трудную дорогу, и эта услада таилась в кожаной фляжке, висевшей у него на луке. Кончо поднес фляжку к губам, сделал большой глоток, сморщился и крикнул:

— *Sarajo!*<sup>1</sup>

Во фляжке оказалось не агвардиенте<sup>2</sup>, а скверное американское виски, которое под этим звучным кастильским названием продавал ирландец в таверне около поселка Три Сосны. Тем не менее фляжка была почти опорожнена и снова повисла на седле, желтая и сморщенная, как лицо самого Кончо.

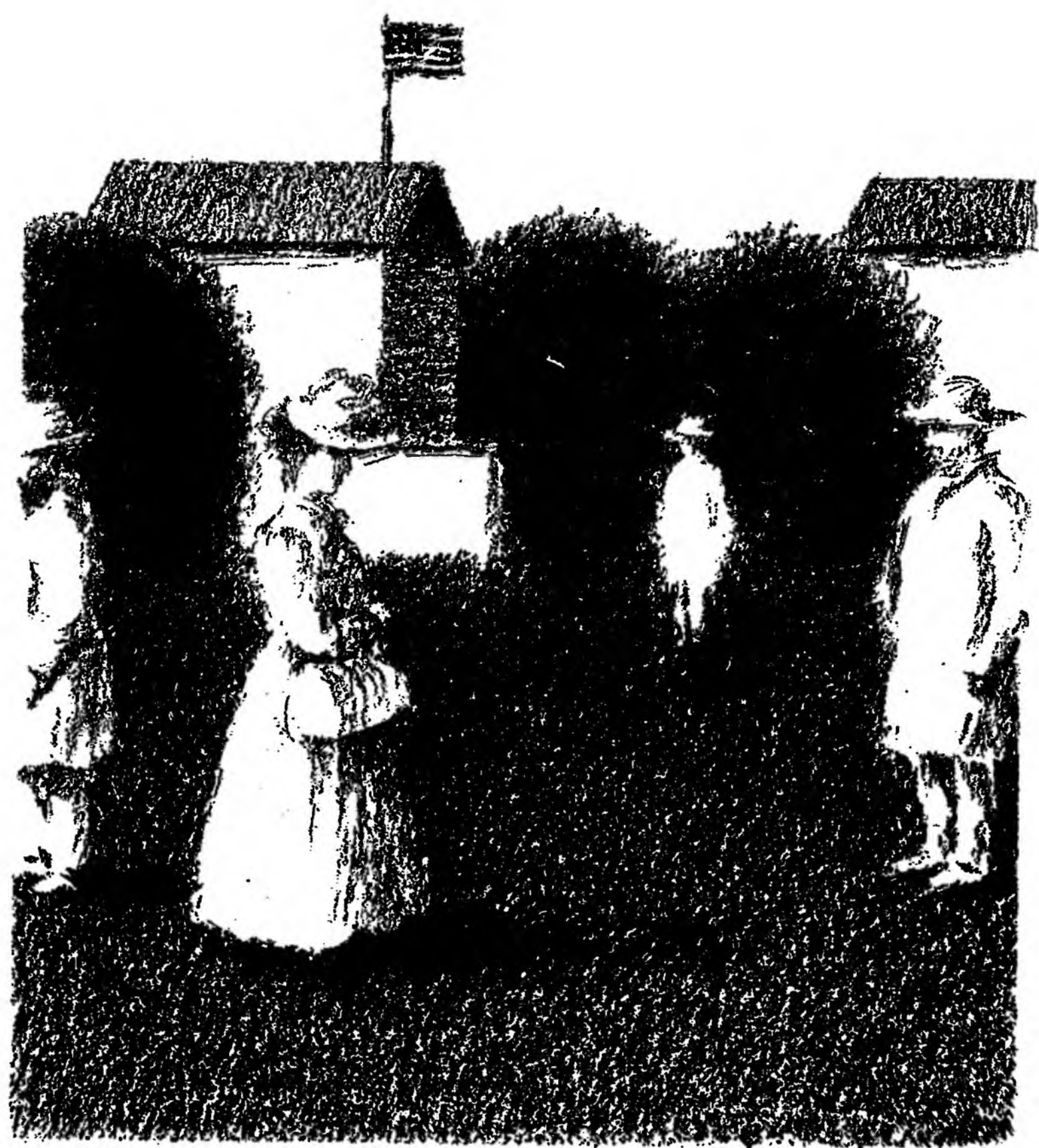
Подкрепившись, Кончо заглянул на дно ущелья, откуда он поднимался с самого полудня. Там внизу была равнина — бесплодная, пыльная, унылая и лишь кое-где окаймленная узкой полоской вспаханной земли или зеленых *valdas*<sup>3</sup>. С минуту Кончо пристально разглядывал низкую гряду облаков на востоке, таких белых и легких, что они, казалось, то возникали, то исчезали у него на глазах. Он провел рукой по лбу, сощурил воспаленные веки. Что это — действительно Сьерра или проклятое американское виски над ним подшучивает?

Кончо стал снова подниматься в гору. По временам заброшенная тропа совсем терялась на каменистом скате, но умная ослица Франсискита каждый раз отыскивала, куда ступить. Так шло до тех пор, пока она не упала, споткнув-

<sup>1</sup> Проклятье! (*исп.*)

<sup>2</sup> Местная водка (*исп.*).

<sup>3</sup> *Valda*, или *Falda* (*исп.*). — подол женской юбки, в переносном смысле — часть горного склона, образующего угол с долиной. (*Примеч. автора.*)



шись о камень. Тщетно Кончо старался поднять ее из-под груды лагерной утвари, лотков для промывки золотого песка и мотыг — ослица лежала смиренно и только время от времени поднимала голову и окидывала взглядом расстилавшуюся внизу унылую равнину. Кончо стал осыпать ее градом совершенно бесполезных ударов. Кончо разразился ругательствами, носившими ярко выраженный мирской характер, как, например: «злодейка», «изверг», «свиная морда, хоть бы тебя бык на рога насадил!» — но и это ни к чему не привело.

Тогда Кончо прибегнул к религиозной тематике.

— Ах ты, Иуда Искарот! Хочешь бросить хозяина в одной миле от лагеря! Предательница подлая! Хозяина там ужин дожидается! Вставай, богопротивная тварь!

Все было напрасно. Кончо стало не по себе: ведь ни одна благочестивая ослица не могла бы устоять перед такими увещаниями. Он сделал еще одну отчаянную попытку.

— Встань, богоотступница! Смотри! — Протянув руку вперед, он быстро перекрестил воздух. — Смотри! Изыди, дьявол! Ага, дрожишь! Ну-ка, посмотри еще, не отводи глаз, богомерзкая! Я... я отлучаю тебя от церкви!

— Что ты там беснуешься? — проговорил чей-то грубый голос над головой у Кончо.

Кончо вздрогнул. А что, если дьявол и на самом деле схватит его Франсискиту и улетит с ней прочь? Он не решился поднять глаза.

— Оставь свою ослицу в покое, мексиканская замухрышка, — продолжал тот же голос. — Не видишь разве, что она ногу вывихнула?

Хотя эти слова и напугали Кончо, но все же он вздохнул свободнее: Франсискита вывихнула ногу, зато в вере не пошатнулась.

Несколько осмелев, Кончо поднял голову. Незнакомец, судя по говору и одежде — американо, спускался к нему с верхнего уступа. Это был худощавый человек с загорелым, чисто выбритым лицом, которое можно было бы счесть самым заурядным и маловыразительным, если бы не левый глаз, сосредоточивший в себе все то злодейское, что было присуще этому лицу. Закройте этот левый глаз — и перед вами самый обыкновенный человек; закройте всё лицо, кроме этого глаза, и на вас глянет сам сатана. Насмешница природа, по-видимому, заметила эту особенность, и, парализовав нерв на левом веке незнакомца, прикрыла ему зрачок точно занавеской, потом рассмеялась над делом рук своих и пустила этого человека гулять по свету среди его доверчивых обитателей.

— Ты что тут делаешь? — спросил незнакомец, помогая Кончо кое-как поставить ослицу на ноги.

— Я на разведках, сеньор.

Незнакомец покосился на Кончо своим благопристойным правым глазом, тогда как левый с бесконечным презрением и злобой взирал на окружающие горы.

— Что ищешь?

— Золото и серебро, сеньор. Серебро чаще попадает.

— Один?

— Нет, нас четверо.

Незнакомец огляделся по сторонам.

— Наш лагерь в миле отсюда, — пояснил Кончо.

— Нашли что-нибудь?

— Вот этого много. — Кончо достал из вьюка кусок сероватой железной руды, испещренный блестками колчедана. Незнакомец не сказал ни слова, но его левый глаз сверкнул дьявольской хитростью.

— Тебе повезло, мексикашка.

— А?

— Это действительно серебро.

— Почему вы знаете?

— Такое уж мое дело. Я металлург.

— Значит, вы можете сказать, что серебро, а что нет?

— Могу. Вот смотри! — Незнакомец вынул из вьюка небольшой кожаный футляр с несколькими склянками. Одну склянку, завернутую в синюю бумагу, он протянул Кончо.

— Это раствор серебра.

Глаза у Кончо загорелись, но взгляд был недоверчивый.

— Налей воды в лоток.

Кончо опорожнил в лоток флягу и подал его незнакомцу. Тот опустил в склянку сухую былинку и стряхнул с нее в лоток две капли. Вода осталась такой же прозрачной.

— Теперь брось туда щепотку соли, — сказал незнакомец.

Кончо так и сделал. На поверхности выступила белая пленка, и вскоре вода приняла молочный оттенок.

Кончо быстро перекрестился.

— Матерь божия, да это — колдовство!

— Хлористое серебро, дурак!

Не удовлетвовавшись этим незамысловатым опытом, незнакомец опустил в азотную кислоту лакмусовую бумажку; у Кончо дух захватило от изумления, когда она вдруг стала красной, а потом простодушный мексиканец

окончательно опешил, увидев, что в соленой воде бумажка приняла свой прежний цвет.

— А теперь вот это,— сказал Кончо, подавая незнакомцу свой кусок железной руды.— Сначала в препарат серебра опустите, а потом в соленую воду.

— Не торопись, приятель,— ответил незнакомец.— Руду надо прежде всего расплавить, а потом взять пробу,— а это, мексиканский ангелок, стоит не дешево! Нет, сэр, не для того я провел свои молодые годы в Гейдельберге и Фрейбурге, чтобы метать бисер перед первым встречным мексиканцем.

— А сколько... э-э... сколько это будет стоить? — нетерпеливо спросил Кончо.

— Ну что ж, долларов за сто я исследую твою руду, и издержки оплатишь. Но уж если в ней окажется серебро, тебе останется только лопатой его загребать.

— Даю сто долларов! — взволнованно крикнул мексиканец.— Мы вчетвером дадим! Приедете в наш лагерь, будете плавить... окажется серебро... Хватит! Пошли! — И уже сам не свой от волнения, он схватил незнакомца за руку, готовый вести его хоть сейчас.

— А как же твоя ослица? — спросил тот.

— И правда! Пресвятая богородица, что же с ней делать?

— Слушай,— сказал незнакомец с недоброй усмешкой.— Далеко она не уйдет, ручаюсь. У меня тут поблизости есть выючный мул; поедешь на нем, покажешь мне, где ваш лагерь, а завтра вернешься за своей скотиной.

Верное сердце бедного Кончо сжалось при мысли о том, что ему придется бросить свою беспомощную ослицу, которую минуту назад он осыпал проклятиями, но алчность победила.

— Я вернусь за тобой, маленькая, завтра же, и вернусь богачом. Потерпи малость. Adios<sup>1</sup>, моя крошка! Adios!

И, ухватив американца за руку, он потащил его вверх по крутой тропе к вершине горы. Там его спутник остановился и устремил свой злобный глаз на расстилавшуюся под ними долину.

Прошло много лет, и когда история этих двух людей стала известна всем, пионеры, как истые католики, называли это место «la Cañada de la Visitation del Diablo» — «Ущельем явления дьявола». Теперь же по этому ущелью проходит граница знаменитого мексиканского поместья.

---

<sup>1</sup> Прощай (исп.).

## Кто его нашел

Кончо так не терпелось добраться до лагеря и порадовать товарищей хорошими вестями, что незнакомцу приходилось то и дело сдерживать его.

— Мало тебе твоей ослицы, проклятый мексиканец, хочешь еще и моего мула доконать? Смотри, поставлю его тебе в счет, — сказал он, усмехаясь и зловеще подмигивая левым глазом.

Проехав с милю вдоль гребня, они снова стали спускаться в долину. Теперь тропинку окаймляла скудная растительность: заросли чемисаля, редкие кусты мансани-та, карликовые каштаны запускали свои корни в расселины черно-серых скал. Кое-где в ущельях, прорытых зимними потоками, однообразие серых камней нарушалось темно-красными и коричневыми пятнами; на утесах, нависших над тропой, всюду виднелись следы кирки. Вскоре за откосом, который путники только что обогнули, с каменистого дна ущелья показалась тонкая, еле заметная струйка дыма, словно подтянутая чьей-то невидимой рукой в небеса.

— Вот наш лагерь, — весело сказал Кончо. — Поеду вперед предупредить товарищей, что к нам едет чужой человек. — И не успел незнакомец остановить его, как он галопом понесся вперед и исчез за поворотом тропинки.

Оставшись один, спутник Кончо поехал медленнее, и у него осталось достаточно времени на размышления. Доверчивость бедняги мексиканца озадачила даже такого негодяя, как он. Совесть его была спокойна, но он боялся, как бы товарищи Кончо, зная его легковёрность, не заподозрили чужака в том, что он хочет ею воспользоваться. Американец ехал в глубоком раздумье. Может быть, ему вспомнилось его прошлое? Бездомный бродяга с первых лет жизни, мошенник по ремеслу, человек, отвергнутый обществом, он с детства стоял на той роковой грани, за которой начинается преступление, но в то же время старался не порывать с видимостью порядочности.

Ему ничего не стоило надуть мексиканцев — ведь это же отребье человеческое! — и он почувствовал себя чуть ли не носителем культуры и прогресса. Истинный смысл просвещения становится понятен нам только тогда, когда мы просвещаем насильственным путем.

Еще несколько шагов, и в сгущающихся сумерках на тропинке появились четверо. Американец сейчас же узнал сияющего улыбкой Кончо и, быстро оглядев осталь-



ных, успокоился, поняв, что товарищи Кончо, хоть и не столь добродушные на вид, вряд ли превосходят его умом. Педро был рослый пастух, Мануэль — худощавый мулат, бывший питомец Сан-Кармелской миссии, а Мигель — в недавнем прошлом монтерейский мясник.

Благодетельное влияние Кончо усыпило в них ту подозрительность, с которой люди невежественные обычно встречают чужаков, и они повели своего гостя, назвавшегося мистером Джозефом Уайлзом, к лагерному костру. Желание сразу же приступить к делу заставило их даже забыть законы гостеприимства, и они пришли в себя только после того, как мистер Уайлз — отныне дон Хосе — резко напомнил им, что ему не мешало бы прежде всего подкрепиться. После скудного ужина, состоявшего из лепешек, бобов, солонины и шоколада, мексиканцы сложили печь из темно-красных камней, вывороченных с ближайшего уступа, и вмазали в нее глиняный горшок, обожженный каким-то особым местным способом. Из ущелья натаскали охапками сосновых веток, и через несколько минут в горне запылал огонь.

Мистер Уайлз не принимал участия в этих хлопотах и, вольготно развалившись на земле, время от времени цедил указания сквозь зубы, сжимавшие глиняную трубку. Прохвост и виду не показывал, как его потешает вся эта ненужная возня, но было замечено, что левым глазом он то и дело поглядывал на бывшего пастуха — широкоплечего Педро, на угрюмо-насупленную физиономию этого достойнейшего мужа. Поймав на себе недобрый взгляд американца, Педро выругался вполголоса, но, не устояв перед его коварной притягательной силой, стал то и дело посматривать в ту сторону.

Зловещие взгляды Уайлза только усугубляли мрачную живописность пейзажа. Горы, громоздившиеся вверх, тяжелой тучей рембрандтовских теней четко выделялись в небе, таком непостижимо далеком, что уставшей от жизни человеческой душе, казалось, никогда не достигнуть его, никогда не одолеть этой голубоватой, как сталь, выси. Звезды были крупные, яркие, но от них веяло холодом. Они не мерцали, не подмигивали, словно скованные своей несокрушимой оправой. Пламя горна бросало багровые блики на лица мужчин, играло на пестрых одеялах и серапе, но, добравшись до тени, притаившейся шагах в двадцати у темной скалы, терялось в ней без следа. Только тихая, напевная речь мексиканцев, рев огня в горне и пронзительный лай койотов, доносившийся снизу, из долины, нарушали гнетущую тишину гор.

Рассвет был близок, когда мексиканцы сказали, что руда расплавилась, — и как нельзя более кстати, ибо горшок уже начал медленно оседать между раскрошившимися камнями. Кончо, ликуя, возопил: «За бога и свободу!», но дон Хосе Уайлз прикрикнул на него и велел укрепить горшок подпорками. Потом дон Хосе нагнулся над бурлившей массой. Прошла секунда, но за эту секунду опытный металлург, мистер Джозеф Уайлз, успел тихонько бросить в котел серебряную монету в полдоллара.

После этого он приказал мексиканцам поддерживать огонь в горне, а сам смежил глаза — вернее, только один глаз, правый.

Рассвет зажег тусклые сигнальные костры на вершинах ближайших гор, а далеко на востоке разбросал розы по снегам Сьерры. Внизу в ольховнике зачирикали птицы, явственно слышался скрип колес фургона, хотя сам фургон казался всего лишь облачком пыли на дороге. И тогда дон Хосе торжественно разбил горшок, и раскаленная добела масса вылилась на землю. Наш опытный металлург отделил от нее небольшой кусочек, измельчил его, проделал то же самое со вторым куском, подверг их действию кислоты, опустил в соленую воду, которая сразу же приняла молочный цвет, и, наконец, показал мексиканцам белый комочек, оказавшийся *mirabile dictu*<sup>1</sup> серебром, и было его тут на два цента!

Кончо закричал, вне себя от радости, остальные обменялись недоверчивыми, подозрительными взглядами; товарищи в нищете, они уже начинали сторониться и подозревать друг друга в предвидении богатства. Левый глаз Уайлза иронически поглядывал на них.

— Вот вам сто долларов, дон Хосе, — сказал Педро, вручив золото Уайлзу и достаточно бесцеремонно выразив своим тоном, что они больше не нуждаются ни в присутствии американца, ни в его услугах.

Уайлз принял деньги, милостиво улыбнувшись и подмигнув, отчего у Педро душа ушла в пятки, и уже хотел было отправиться восвояси, как вдруг его остановил возглас Мануэля:

— Смотрите, что вытекло из горшка! Смотрите!

Мануэль подметал перед завтраком сор от развалившегося горна и обнаружил на земле блестящую лужицу ртути.

Уайлз вздрогнул, обежал мексиканцев быстрым взглядом, сразу же убедился, что они не знают этого металла, и спокойно сказал:

---

<sup>1</sup> Странно сказать (*лат.*).

— Это не серебро.

— Прошу прощения, сеньор, это не серебро, оно еще не застыло.

Уайлз нагнулся и провел пальцем по блестящей лужице.

— Матерь божия! Что же это такое — волшебство?

— Нет, просто неблагородный металл.

Осмелев, Кончо последовал примеру Уайлза, набрал полную пригоршню сверкающего металла, и ртуть сразу же разбежалась крохотными шариками у него по ладони, с ладони проникла в рукав, и он так и заплясал на месте не то от ребячливой радости, не то от страха.

— И его не стоит добывать? — спросил Педро.

Правый глаз Уайлза и правая половина лица были обращены к Педро, а злобным глазом он уставился на красно-бурый скат горы.

— Нет! — И, круто повернувшись, он стал седлать своего мула.

Сразу же после его ухода Мануэль, Мигель и Педро начали озабоченно переговариваться между собой, а Кончо, вспомнив о своей искалеченной ослице, пошел обратно в горы. Но ослицы на том месте не было. Сохраняя преданность своему хозяину, несмотря на плохое обращение и побои, Франсискита на сей раз не смогла перенести нелюбезности и пренебрежения к себе. Некоторые особенности характера присущи, видимо, всем существам женского пола.

Усталый, безутешный, одолеваемый угрызениями совести, Кончо проделал еще три мили по каменистому кряжу на обратном пути в лагерь. Но, к его величайшему удивлению, в лагере было пусто — ни людей, ни мулов, ни вещей. Кончо стал громко звать своих товарищей. Ответом ему было только суровое горное эхо. Что это, шутка? Кончо засмеялся через силу. «Да-да, подшутили... здорово подшутили... Нет, его бросили здесь одного». Бедняга упал ничком на землю и зарыдал так горько, что казалось, сердце его вот-вот разорвется на части.

Но через минуту-другую буря миновала; Кончо не мог долго горевать и сердиться на людскую несправедливость. Он поднял голову и вдруг увидел поблескивающую ртуть — шаловливый металл, который привел его в такой восторг час тому назад. Не прошло и двух-трех минут, как Кончо опять развеселился: он гонял ртуть по земле, перекачивал ее на ладонях и заливался мальчишеским смехом, потешаясь над увертливыми, быстрыми шариками.

— Ишь, какая ловкая! Попрыгунчик! Побежала, побежала! Ну-ка, иди сюда... Теперь попалась, крошка, попалась, мучача<sup>1</sup>. Поцелуй меня!

За игрой предательство товарищей было забыто. Взвалив на плечо свои скудные пожитки, Кончо не забыл прихватить с собой и полюбившуюся ему ртуть, собрав ее в кожаную флягу, висевшую у пояса.

И мне думается, что солнце ласково смотрело, как он бодро шагает по склону сумрачной горы, и шаг его, не отягченный ни серебром, ни преступлением, был легче и свободнее, чем у его недавних товарищей.

### ГЛАВА III

#### Кто сделал заявку

Туман уже надвинулся на Монтерей, и его белые волны вскоре заволокли кипение синих валов внизу. Спускаясь с горы, Кончо раз-другой наклонялся над пропастью и смотрел на изогнувшийся подковой залив, до которого оставалось еще много миль пути. Днем он видел сверкающий на солнце золоченый крест над белым фасадом миссии, но теперь все скрылось в тумане. Когда Кончо добрался до города, уже совсем стемнело, и он завернул в первую же таверну, где постарался утопить свое горе и усталость в агвардиенте. Но голова у Кончо болела, спину ломило, и вообще ему было так плохо, что он вспомнил об одном медико — недавно поселившемся в городе американском враче, который однажды вылечил и его самого, и его ослицу, по-видимому, одним и тем же лекарством и одним и тем же могущественным способом. Кончо рассудил тогда довольно логично, что если уж пришлось лечиться, так надо получить за свои деньги как можно больше здоровья. Фантастическое изобилие плодов земных и всяческой живности в Калифорнии не допускали и мысли о микроскопических дозах. Врач дал Кончо дюжину порошков хины, по четыре грамма каждый. На следующий день благодарный мексиканец явился на прием исцеленным. Врач был очень доволен им, но из дальнейшего разговора выяснилось, что Кончо по забывчивости, а также во избежание лишних забот принял все порошки разом. Врач пожал плечами и... изменил дозировку в рецептах.

---

<sup>1</sup> Девочка (*исп.*).

— Ну,— сказал доктор Гилд, когда Кончо в изнеможении опустился на один из двух имевшихся в приемной стульев,— а теперь что с тобой случилось? Опять ночевал на болоте, или таможенное виски пришлось не по нутру? Рассказывай, в чем дело.

Кончо сообщил врачу, что в желудке у него сидит сам дьявол, что Иуда Искарот вселился в его спину, что сотни бесенят терзают ему голову, а ступни крутит Понтий Пилат.

— Значит, синие пилюли,— сказал врач и дал ему шарик величиной с ружейную пулю и такой же тяжелый.

Кончо тут же проглотил его и собрался уходить.

— Денег у меня нет, сеньор медико.

— Пустяки. С тебя всего один доллар, стоимость лекарства.

Кончо устыдился, что проглотил столько наличными, и робко сказал:

— Денег у меня вовсе нет, а есть вот эта красивая и забавная вещица. Возьмите ее себе.— И он протянул врачу флягу с ее драгоценным содержимым.

Врач взглянул на зыбкую блестящую массу и сказал:

— Да ведь это ртуть!

Кончо засмеялся.

— Да, ртуть, живая, как ртуть! — И он прищелкнул пальцами в подтверждение своих слов.

Выражение лица у врача сразу изменилось.

— Где ты ее взял, Кончо? — спросил он после долгого молчания.

— Там, в горах. Она вытекла из горшка.

Врач недоверчиво посмотрел на него. Тогда Кончо рассказал ему, как все было.

— Ты сможешь найти это место?

— Матерь божия! Еще бы! У меня там ослица осталась, черт бы ее унес!

— Ты говоришь, и товарищи твои это видели?

— Конечно!

— А потом они убежали, бросили тебя?

— Бросили, неблагодарные скоты!

Врач встал и притворил дверь кабинета.

— Слушай, Кончо,— сказал он.— Лекарству, которое я тебе дал, цена доллар. Оно стоит доллар потому, что его делают из того вещества, что у тебя во фляге,— из ртути. Этот металл очень ценится, особенно там, где добывают золото. Друг мой! Если ты знаешь место, где этой ртути много, считай себя богачом.

Кончо вскочил со стула.

— Скажи мне, камень, из которого вы сложили горн, красный?

— Да, сеньор.

— Красновато-бурый?

— Да, сеньор.

— И крошится на огне?

— В прах распадается.

— И много там такого красного камня?

— Большая гора им беременна.

— Ты уверен, что твои товарищи не завладеют этой большой горой?

— Это как же?

— Сделают заявку по праву первооткрывателей, и закон будет на их стороне.

— Нет! Я этого не допущу!

— Но как же ты будешь в одиночку бороться против четверых? Ведь твой ученый металлург, наверно, с ними заодно!

— Я буду бороться, буду!

— Хорошо, милый Кончо, а что, если я освобожу тебя от этой борьбы? Вот мое предложение: я подберу тебе в компанию человек пять американос. На добывание руды нужен капитал. Ты войдешь с ними в половинную долю. Они возьмут на себя риск, дадут тебе деньги и будут защищать твои права.

— Понимаю,— сказал Кончо, кивая головой и быстро мигая глазами.— Bueno!<sup>1</sup>

— Я вернусь через десять минут,— сказал врач, беря шляпу.

Он сдержал слово и ровно через десять минут вернулся с шестью первыми заявщиками, советом директоров, председателем, секретарем и актом об организации компании ртутного рудника «Синяя пиллюля». Название было дано из уважения к врачу, который пользовался популярностью в здешних местах. Председатель добавил от себя револьвер,

— Вот, возьми,— сказал он, протягивая оружие Кончо.— Моя лошадь стоит во дворе, садись, скачи во весь опор, приедешь — держись там, пока мы не явимся!

Минута — и Кончо был уже в седле. И тут один из директоров снова превратился в медика.

— А можно ли тебе, больному, ехать? — неуверенно проговорил доктор Гилд.— Ты же только что принял

---

<sup>1</sup> Хорошо (исп.).



сильное лекарство,— продолжал он с лицемерной озабоченностью.

— А! К черту! — рассмеялся Кончо. — Ртуть, которая во мне,— пустяк по сравнению с той, которая у меня будет! Хоп-ла, коняга! — Послышался стук подков, звон шпор, и он скрылся в темноте.

— Вы вовремя начали действовать, господа,— сказал американский алькальд, подъехав к дому доктора Гилда. — Для работ на том же самом участке образовалась еще одна компания.

— Кто такие?

— Три мексиканца: Педро, Мануэль и Мигель,— а управляет всем делом этот наглец и мошенник — косоглазый Уайлз.

— Они здесь?

— Мануэль и Мигель здесь. Остальные в таверне «Три сосны» уламывают Роскоммона, пытаются втянуть его в свою компанию, чтобы погасить долги за выпитое виски. Я считаю, что вам не стоит выезжать до рассвета: ведь они наверняка напьются вдребезги.

Высказав, таким образом, свое непредвзятое мнение, законный преемник почтенных мексиканских алькальдов отправился восвояси.

Тем временем Кончо, грозный Кончо, удачливый Кончо не щадил ни рияты, ни боков своего коня. В темноте тропа была еле заметна, скакать по ней по временам становилось опасно, и Кончо, хоть ему было и не в первый раз подниматься на такую высоту, то и дело вспоминал свою надежную Франсискиту.

— Ничего, Кончо,— утешал он себя,— потерпи немножко, совсем немножко, и у тебя будет другая Франсискита. А-а, попрыгунчик, хорошо ты плясала! Доллар за унцию! Под такую музыку распляшешься! Ничуть не хуже серебра и вдобавок веселее!

Однако, несмотря на прекрасное расположение духа, Кончо зорко вглядывался в крутые повороты тропинки. Кончо боялся не убийц и не разбойников — он был человек храбрый,— его страшил дьявол, который, как говорят, принимает разные обличья и прячется в горах Санта-Крус, к величайшему огорчению всех истых католиков. Кончо вспомнил случай с Игнасио, погонщиком мулов из общины францисканских монахов: Игнасио остановился в час молитвы, чтобы прочесть «Верую», и увидел сатану в образе чудовищного медведя-гризли, который сидел на корточках и передразнивал его, молитвенно подняв передние лапы. Тем не менее, ухватив одной рукой повод и четки, другой придерживая фляжку и револьвер, Кончо

ехал быстро и добрался до вершины горы, когда первые лучи солнца озарили далекие уступы Сьерры. Привязав лошадь на небольшом плато, он осторожно спустился вниз к красному откосу и осевшему, развалившемуся горну. Все здесь было так, как и утром; следов недавнего посещения этих мест человеком не замечалось. С револьвером в руках Кончо обследовал каждую пещеру, овраг, каждую расселину в скалах, заглянул за стволы деревьев, обшарил заросли дикого каштана и мансанита и все прислушивался, прислушивался. Но до него не доносилось ни звука, только ветер тихо шелестел в соснах.

Кончо принялся шагать взад и вперед. Будто и вправду часовой, подумалось ему. Но его подвижная, как ртуть, натура скоро взбунтовалась против такого монотонного занятия; дало себя знать и утомление. Прибегнув к помощи фляги, он почувствовал сонливость, и в конце концов лег на землю и укутался одеялом. Через минуту он уже спал.

Лошадь, привязанная наверху, два раза громко заржала, но Кончо не слышал ее. Потом в кустах прямо над ним что-то хрустнуло, к ногам его упал небольшой камень — Кончо не шелохнулся. И вот на скалистой гряде появились две темные фигуры.

— Ш-ш! — слышался шепот. — Около горна кто-то лежит. — Речь была испанская, но голос принадлежал Уайлзу.

Второй осторожно подполз к самому краю утеса и заглянул вниз.

— Это болван Кончо, — презрительно сказал Педро.

— А что, если он не один, что, если он проснется?

— Я буду караулить, а ты иди ставь заявку.

Уайлз исчез. Педро стал спускаться вниз, цепляясь за чемисаль и кусты.

Не прошло и минуты, как он остановился около спящего. Опасливо огляделся по сторонам. Тень, падавшая от скал, скрывала его спутника; только по легкому потрекиванию сучьев можно было судить, где он находится. Стремительным движением Педро накиннул на голову Кончо серапе и всей тяжестью своего грузного тела навалился на него, крепко сжимая руками закутанное в одеяло тело своей жертвы. Кончо взметнулся, захрипел, по его телу пробежала судорога, но, укутанный одеялом, точно саваном, несчастный не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Все обошлось тихо, без криков. У подножия скал спокойно лежали два человека. Казалось, они спят, крепко

обняв друг друга. Среди мертвой тишины наверху в кустах слышались осторожные шаги Уайлза.

Кончо почти не бился. Сверху донесся шепот:

— Где ты? Не вижу. Что ты там делаешь?

— Сторожу его.

— Он спит?

— Спит.

— Крепко?

— Крепко.

— Мертвым сном?

— Мертвым сном.

Кончо совсем затих. Педро встал навстречу спускавшемуся с горы Уайлзу.

— Готово,— сказал Уайлз.— Будешь свидетелем, что я поставил заявку?

— Буду свидетелем.

— А что делать с ним?— Он показал на Кончо.— Оставим его здесь?

— Этого пьяницу? Конечно.

Уайлз взглянул левым глазом на Педро. Они стояли рядом, как прошлой ночью. Педро вскрикнул и выругался:

— Карамба! Отведи от меня свой сатанинский глаз! Чего уставился? А?

— Ничего, друг мой Педро,— ответил Уайлз, поворачиваясь к нему правым боком.

Взбешенный, перетрусивший пастух спрятал нож, который он уже успел наполовину вытащить из ножен, и злобно заворчал:

— Ну, ступай! Только держись слева от меня.

Прислушиваясь, озираясь по сторонам, не доверяя ничему на свете, а меньше всего друг другу, они скрылись в густой тени скал, из которой, словно злые духи, возникли несколько минут назад.

Прошло полчаса, восток посветлел, вспыхнул, заискрился, как расплавленное золото. Солнце горделиво поднялось в небе, и туман, украдкой забравшийся ночью на самую вершину горы, пополз вниз по ее склонам, раздирая в поспешном бегстве свои белые одежды о деревья, кусты, камни. Тонкие былинки в расселинах скал, вскормленные бурями под баюканье пассата, протягивали к всевышнему свои слабые, беспомощные руки, но сильный Кончо, отважный Кончо, веселый Кончо умолк навсегда и лежал недвижим.

## Кто им завладел

На горной вершине не умолкало ржание. Лошадь Кончо требовала утреннего корма. Ее нетерпеливый голос слышали всадники, поднимающиеся на гору по западному склону. Одному из них он показался знакомым.

— Вот черт! Ведь это Чикита! Проклятый мексиканец валяется где-нибудь пьяный, — сказал председатель компании рудника «Синяя пилюля».

— Не нравится мне это, — заговорил доктор Гилд, когда они подъезжали к негодующей кобылке. — Будь на месте Кончо американец, я назвал бы его нерадивым хозяином, но мексиканец никогда не забудет о своем коне. Вперед, друзья, боюсь, что мы опоздали.

Через полчаса они увидели внизу выступ скалы, развалившийся горн и неподвижную фигуру Кончо, который лежал на солнцепеке, закутанный в одеяло.

— Что я говорил? Конечно, пьян! — сказал председатель.

Врач нахмурился, но промолчал. Всадники спешили, привязали лошадей, потом на четвереньках подползли к краю уступа. И вдруг секретарь Гиббс крикнул:

— Смотрите! Кто-то поспел сюда раньше нас, вон заявки.

Они увидели на скале два брезентовых полотнища с заявкой, и на них стояли подписи Педро, Мануэля, Мигеля, Уайлза и Роскоммона.

— Все это было сделано, доктор, пока ваш надежный мексиканец валялся тут пьяный, пропади он пропадом! Как же нам теперь быть?

Но доктор Гилд, не говоря ни слова, уже начал спускаться к злосчастному виновнику их неудачи, хранившему безмолвие в ответ на обращенные к нему упреки. Остальные последовали за ним.

Он опустился на колени рядом с Кончо, отдернул одеяло, пощупал Кончо пульс, прижался ухом к его сердцу и сказал:

— Он умер!

— Ну, конечно! Вы же вчера напичкали его лекарствами... Вот к чему приводит ваша смелая практика!

Но доктор Гилд был слишком озабочен, чтобы обращать внимание на насмешки. Он посмотрел на выкатившиеся глаза Кончо, открыл ему рот, взглянул на распухший язык и быстро встал.

— Сорвите заявки, друзья, только не выбрасывайте их. И ставьте свои. Не бойтесь, никто не будет оспаривать ваши права — тут, кроме разбоя, и убийство.

— Убийство?!

— Да, — взволнованно сказал доктор Гилд. — Я под присягой покажу, что этого человека задушили. Напали на сонного. Вот, смотрите! — Он показал на револьвер, зажатый в окоченевшей руке убитого, ибо выстрелить Кончо так и не успел.

— Правильно, — сказал председатель, — никто не ложится спать, держа в руках револьвер со взведенным курком. Что же нам делать?

— Все, что только в наших силах, — ответил врач. — Убийство совершено не больше двух часов назад, тело еще теплое. Убийца ушел отсюда другой дорогой, иначе мы бы встретились с ним. Сейчас он, наверное, на пути к Трем Соснам.

— Господа! — Председатель солидно кашлянул для начала. — Двое из нас останутся здесь. Остальных прошу следовать за мной к Трем Соснам. Мы свидетели грубейшего нарушения закона. Это — подсудное дело.

Циничные, легкомысленные, бесшабашные люди мгновенно превратились в трезвых, степенных граждан. Они сказали «Правильно!», все как один утвердительно кивнули и быстро пошли к своим лошадям.

— Может быть, лучше дождаться дознания и получить ордер на арест? — осторожно сказал секретарь акционерного общества.

— Сколько нас?

— Пятеро.

— Тогда, — заявил председатель, резюмируя в одной выразительной фразе все законодательство штата Калифорния, — на черта нам нужен этот ордер!

## ГЛАВА V

### Кто имел на него права

В Трех Соснах стоял жаркий полдень. Верхушки трех сосен, давших поселку его название, словно дымились, источая смолистый бальзам в раскаленный, пыльный воздух. Ослепительно сверкала дорога, сверкало небо, сверкали скалы и белые парусиновые крыши нескольких лачуг, из которых состоял поселок. Сверкала даже сбитая из некрашенных досок таверна и бакалейная лавка Роскоммона, а нагретый на солнце пол ее веран-

ды словно коробился под ногами посетителей. Мулы, привязанные у водопойной колоды, жались к стене в поисках тени.

Бакалейная торговля мистера Роскоммона, хотя и удовлетворявшая нужды поселка, не была обременительна или непосильна для владельца лавки: отпуск муки и свинины старателям отнимал у него какой-нибудь час в субботу вечером, но для того, чтобы ежедневно предоставлять старателям возможность упиваться спиртным, требовалось немало хлопот и усилий. Роскоммон проводил больше времени за стойкой, чем за прилавком. Если прибавить к этому, что на длинной, похожей на сарай пристройке имелась вывеска: «*Отель «Космополит»*». Комнаты со столом на сутки и на неделю. М. Роскоммон», — то читатель получит представление, насколько разнообразны были обязанности хозяина. Впрочем, «отель» находился больше под присмотром миссис Роскоммон, женщины тридцати лет, пышущей здоровьем, вспыльчивой, но добродушной.

Мистер Роскоммон давно пришел к убеждению, что большинство его клиентов — полоумные и потому их следует запугивать или задабривать, смотря по обстоятельствам. Ни буйные речи, ни буйное поведение не могли вывести из равновесия, не могли одолеть этого твердокаменного, упрямого, но спокойного с виду человека. Каждую свободную минуту, когда не надо было наливать виски или следовало подождать, пока налитое не выпьют, он усердно вытирал стойку грязным-прегрязным полотенцем, а то и любой тряпкой, какая попадалась под руку. Заметив за ним эту привычку, старатели коварно подсовывали ему разные предметы, не соответствовавшие такому назначению, — рваные рубахи и белье, мучные мешки, паклю, а один раз даже фланелевую юбку его жены, похищенную с веревки на заднем дворе. Роскоммон вытирал стойку, не поднимая глаз, но тем не менее ухитрялся следить за каждым посетителем:

— Ни капли не получишь, Джек Браун, пока не заплатишь по старому счету.

— А-а, явился, миленький! Тебя бутылочка с самой субботы дожидается.

— Слушай, Маккоркл! Ты что же это делаешь? Я-то гнул спину, вылавливал для него из бочки со свининой куски пожирней, а он последний цент спустил у Гилроя!

— Эй, ребята! Если хотите драться, так позади загоня есть хорошенький лужок. Ступайте-ка туда! Может, я сам возьму палку да приду с вами позабавиться.

Впрочем, в этот день настроение у мистера Роскоммона было несколько иное, чем всегда, и когда стук копыт перед крыльцом дал знать о приближении каких-то посетителей, он перестал вытирать стойку и поднял глаза на дверь как раз в ту минуту, когда доктор Гилд, председатель и секретарь новой компании входили в лавку.

— Мы ищем человека по имени Уайлз, — сказал врач, — а также троих мексиканцев — Педро, Мануэля и Мигеля.

— Ищете?

— Да, ищем.

— Ну, что ж, надеюсь, найдете. А если получите с них по моему счету, я к этим деньгам свое благословение прибавлю, милые вы мои.

Стоявшие рядом старатели засмеялись — им пришлось не по вкусу вторжение чужаков.

— Пожалуй, вам будет не до смеху, господа, — сухо проговорил доктор Гилд, — когда вы узнаете, что немногим больше часа тому назад было совершено убийство и люди, которых мы ищем, оставили на месте преступления вот эти заявки, подписанные их именами. — Доктор Гилд показал всем оба полотнища.

В наступившей тишине старатели столпились вокруг него. Один только Роскоммон по-прежнему вытирал стойку.

— Заметьте, джентльмены, что имя Роскоммона тоже стоит на этом документе. Он тоже расписался как заящик.

— Ну, мой милый, — сказал Роскоммон, не поднимая глаз, — если и против этих ребят улики не сильнее, чем против меня, так вам лучше ехать прямо домой. Я из своей лавки ни на минуту не отлучался, ни днем, ни ночью, вот они все это подтвердят — я им товар отпускал.

— Это верно, Росс правду говорит, — хором ответили старатели. — Мы ему всю ночь покоя не давали.

— Так почему же ваше имя стоит на этом документе?

— О, чтоб тебя! Послушайте его, ребята! Да ведь все, кто задолжает мне за выпивку, то и дело приходят и говорят: «Мистер Роскоммон» или «Майк», уж как случится, «я сегодня напал на хорошую жилу и поставил под заявкой ваше имя. Теперь вам привалит, мистер Роскоммон! А на наше с вами счастье налейте еще кварту виски». Да вот спросите Джека Брауна, он вам скажет, — я его заявками сыт по горло.

Смех, последовавший за речью хозяина лавки, и напрашивающиеся из этого выводы убедили компаньонов, что они сделали промах и не отыщут здесь следов насто-



ящих преступников и что их угрозы встретят здесь в штывы. Однако врач стоял на своем:

— Когда вы их видели последний раз?

— Когда я их видел? Вот поди ж ты! Да я на них и не гляжу никогда: то виски подаешь, то стойку вытираешь — мне по сторонам глазеть некогда!

— Верно, Росс! — подтвердили старатели, которым разговор этот доставлял огромное удовольствие.

— Тогда я скажу вам, господа, что вчера вечером они были в Монтерее, — сухо проговорил доктор Гилд, — возвращались другой дорогой и, следовательно, на рассвете проезжали здесь.

С этими словами, о которых врач не замедлил пожалеть, компаньоны вышли из лавки.

Мистер Роскоммон снова принялся разливать виски по стаканам и вытирать стойку. Но поздно ночью, когда бар был закрыт и последний гуляка без церемонии выставлен за дверь, он удалился в свою супружескую спальню и там, наедине с женой, вынул из кармана какой-то документ.

— Ну-ка, милая моя Мэгги, прочти, что тут написано. Сам-то я так и не научился читать, все времени не было да и способностей тоже.

Миссис Роскоммон взяла документ у него из рук.

— Это гербовая бумага. Тебе передается какое-то имущество, Майк! Уж не занялся ли ты спекуляциями?

— Ну вот еще! А что сказано в этой грязной бумажонке с печатями и подписями?

— Вот этого я никак не разберу. Должно быть, не по-нашему писано.

— Мэгги! Это испанская грамота на владение землей!

— Испанская грамота? А что ты за нее дал?

Мистер Роскоммон приложил палец к носу и тихонько шепнул:

— Виски!

## ЧАСТЬ II. В СУДАХ

### ГЛАВА VI

#### Как было получено

#### «ранчо красных скал»

Когда компания рудника «Синяя пиллюля», проявляя больше рвения, чем осторожности, преследовала Уайлза и Педро по дороге к Трем Соснам, сеньоры

Мигель и Мануэль сидели в монтерейской таверне, покуривая сигары самокрутки и обсуждая свои дела. Впрочем, оба друга были настроены не лучше, чем их недавние компаньоны, ибо, как выяснилось из их беседы, в минуту слабости они продали свою долю в так называемом серебряном руднике Уайлзу и Педро за несколько сотен долларов, поверив им на слово, что американцы так просто рудника не отдадут. Проницательный читатель легко поймет, что ученый металлург, мистер Уайлз, ни слова не сказал им про ртуть, обнаруженную на этом участке, хотя и поделился своей тайной с Педро, ибо ему была необходима помощь смелого сообщника. О том, что Педро не чувствовал никаких угрызений совести, предавая товарищей, можно было судить по его жестокой расправе с Кончо, а в том, что он не постесняется устранить и мистера Уайлза, если представится случай или нужда, ни минуты не сомневался и сам Уайлз.

— Нечего было так спешить, он бы нам прибавил, этот косоглазый! — проворчал Мануэль.

— Ничего бы он не прибавил, ни единого песо, — отрезал Мигель.

— Почему, Мигель, друг мой? Ведь мы и сами могли бы разрабатывать рудник.

— Да, и пустить свои труды по ветру? Послушай-ка, младший брат мой. Где ты видел, чтобы мексиканец нажил хотя бы один реал в Калифорнии? Где эти мексиканцы? Нет их! Ни одного нет. У кого в руках мексиканские рудники? У американос. Кто наживает деньги на мексиканских рудниках? Американос. Помнишь Брионеса, который потратил целую гору золота на поиски серебра? Кто забрал землю и дом Брионеса? Американос. У кого скот Брионеса? У американос. У кого рудник Брионеса? У американос. Кому досталось то серебро, которого он так и не нашел? Американос! И так всегда! Есть и будет! Карамба!

Тут дьяволу взбрело в голову — и не без известной цели — еще немножко помучить этих людей, ни в чем дурном не замешанных. И вот перед ними предстал некий Виктор Гарсиа, бывший писарь из муниципалитета, который за бутылкой агвардиенте рассказал им о находке ртути и о двух заявках, сделанных в тот вечер Уайлзом и Кончо. Мигель так и вспыхнул синим пламенем и разразился бранью, а Мануэль, недавний питомец миссионеров, побледнел и погрузился в раздумье. Но вот Мигель утихомирился, и между несколько поостывшими участниками этой сцены произошло нечто вроде следующего разговора:

Мигель (*озабоченно*). Когда ты ходатайствовал, чтоб тебе дали землю в этой долине, друг Виктор?

Виктор (*удивленно*). Я? Никогда! Ведь это бесплодная пустыня. Вот нашел дурака!

Мигель (*мягко*). Неправда. Я сам видел твое ходатайство перед губернатором Микельтореной.

Виктор (*почуяв, что тут можно будет пожить*). Ах, да! Я совсем забыл! Но разве эти земли были в долине?

Мигель (*настойчиво*). В долине, вверх по falda.

Виктор (*решительно*). Да-да! Ты прав: вверх по falda.

Мигель (*не сводя глаз с Виктора*). А ведь документа у тебя нет. Какая жалость, если американцы сожгли его вместе со всем архивом в Монтерее!

Виктор (*осторожно, нащупывая почву*). Возможно.

Мигель. Надо бы это разузнать.

Виктор (*напрямик*). А зачем?

Мигель. Для нашего и твоего блага, друг Виктор. Мы делимся с тобой своей находкой, а ты с нами — своей оборотистостью, опытом, знанием государственной службы, таможенной бумагой<sup>1</sup>.

Мануэль (*перебивая его, пьяным голосом*). Зачем это? Ведь мы мексиканцы. И мы проиграем. У нас судьба такая. Кто сможет прогнать американцев?

Мигель. Одного американца мы возьмем в долю. Понимаешь, он подкупит свои суды, а потом приведет людей, которые поставят паровую машину и плавильную печь.

Виктор. И он не станет воровать? Кто же это такой?

Мигель. Это ирландец из Трех Сосен, добрый католик.

Виктор и Мануэль (*в один голос*). Роскоммон?

Мигель. Он самый. Мы дадим ему долю в обмен на провизию, на инструменты, на виски. Американос очень боятся ирландцев. Это они голосуют на выборах — выбирают президента. Алькальд в Сан-Франциско тоже ирландец. А кроме того, Роскоммон, как и мы, католик.

Они хором сказали «*bueno*» и возликовали духом, отдавшись религиозному чувству, которое обещало смерть, поражение, а может быть, и поддельные документы тем, кто не был одной с ними веры.

Этот духовный порыв устранил все практические препятствия и сомнения.

---

<sup>1</sup> Концессии, просьбы и официальные извещения писались при испанском правительстве на гербовой бумаге, которая называлась «таможенной бумагой». (*Примеч. автора.*)

— У меня есть племянница, — сказал Гарсиа, — которая ловко умеет копировать. Скажешь ей: «Кармен, снимь мне копию с того-то и того-то», хотя бы с гравюры, — глядишь, готово, не угадаешь, где настоящее, где ее рука. Матерь божия! На днях она изобразила подпись губернатора Пио Пико — так не отличишь! Да ты ее знаешь, Мигель. Она вчера о тебе спрашивала.

Мигель постарался принять безразличный вид, но ему, человеку неотесанному, это не удалось. Боюсь, что черные глаза Кармен уже сделали свое дело, — быть может, именно ради них Мигель и обратился за помощью к Виктору. Однако, чтобы не выдать себя, он спросил:

— А она не догадается?

— Где ей, несмысленному!

— Не разболтает?

— Я запрещу ей болтать, и ты тоже... а, Мигель?

Эта лесть, в которой, кстати сказать, не было и следа правды, ибо племянница Виктора вовсе не была расположена к Мигелю, возымела свое действие. Не вставая с места, они пожали друг другу руки.

— Только уж если делать, так делать скорее, — сказал Мигель.

— Мигом сделаем, — сказал Виктор, — и сделаем при тебе. Ну, согласен? Пойдем.

Мигель кивнул Мануэлю.

— Мы вернемся через час; подожди здесь.

Они вышли на темную, кривую улицу. Судьба повела их мимо дома доктора Гилда, как раз в ту минуту, когда Кончо садился на коня. Скрывшись в тени, они успели подслушать последний наказ председателя несчастному Кончо.

— Слышал? — шепнул Мигель, сжимая руку своего сообщника.

— Да, — ответил Виктор. — Но пусть его едет, другой мой! Через час в наших руках будет нечто такое, что поможет нам опередить его на целые годы. — И, снисходительно посмеиваясь, они прошли незамеченными дальше, свернули за угол и остановились перед приземистым глинобитным домом.

Когда-то эта обитель претендовала на роскошь, но теперь, очевидно, она разделяла судьбу своего бывшего владельца, дона Хуана Брионеса, который сунул ее, как последнюю подачку, в пасть трехглавому Церберу, сторожившему подземные сокровища Плутона. Теперь дом являл собой весьма жалкое зрелище. Борозды на его красной черепичной крыше были похожи на старческие морщины. В гостиной пахло плесенью, сырость постепенно

делала свое разрушительное дело, но калифорнийские испанцы — хорошие архитекторы: массивные стены и перегородки стойко выдерживали землетрясения, и внутри дома круглый год сохранялась ровная температура.

Виктор провел Мигеля через низкую прихожую в бедно обставленную комнату, где за мольбертом сидела Кармен.

Сеньорита Кармен рисовала по-своему весьма недурно, ей было присуще смутное стремление творить, но она, увы, не обладала стойкостью духа истинного художника. Она чувствовала красоту и форму бессознательно, как мог бы чувствовать их ребенок, и не умела передавать в живописи даже изменчивость своих настроений, свойственных природе в такой же мере, как и женщине.

Кармен с наивной жадностью зарисовывала все, что попадалось ей на глаза: цветы, птиц, бабочек, пейзажи и людей, — и копировала природу с радостью, но без поэтического вдохновения. Птицы пели для нее только одну неизменную песню, цветы и деревья говорили всегда одно и то же, а небо вечно сияло ровной синевой. Она была сильна в изображении католических святых и могла старательно выписать и чисто выбритую, невыразительную физиономию святого Алоизия и одутловатую сонную мадонну, которую никто бы не отличил от мадонн старых мастеров, — так плохо это было сделано. Ее способность точно копировать проявлялась даже в каллиграфии, а за последнее время и в воспроизведении чужих почерков и подписей. Со свойственным ей чутьем формы она еще в школьные годы отличалась успехами в чистописании, а добрые сестры в монастыре высоко ценили успехи этого рода.

Фигурка у Кармен была миниатюрная, еще не совсем сформировавшаяся, шаг по-мальчишески скорый. Невысокий лоб, обрамленный иссиня-черными волосами, — чистый и открытый; глаза темно-карие, не очень большие, с тяжелыми, грустно опущенными веками, что говорило о страстности ее натуры; нос короткий, ничем не примечательный; рот маленький, с прямой линией губ, зубы белые и ровные. Выражение лица у нее было задорное, но этот задор мог в любую минуту смениться нежностью или гневом. Сейчас же сравним личико сеньориты Кармен с салатом, в который влито равное количество масла и уксуса. Проницательная читательница, конечно, укорит меня, мужчину, в поверхностности критики и сразу составит себе мнение как о характере этой Кармен, так и о компетентности самого критика. Но я знаю одно: мне

эта девушка нравится, а роль, которую она должна сыграть в моей правдивой истории, будет довольно важная.

Кармен подняла глаза на вошедших, вскочила с места, нахмурила свои черные брови при виде неожиданного гостя, но по знаку дяди улыбнулась и заговорила.

Это была одна только фраза, притом довольно банальная, но если б Кармен могла изобразить свой голос на полотне, то возвратила бы роду Гарсиа все его богатства. Он был так музыкален, так нежен, так приятен и мелодичен, полон такой женственности, что казалось, эта девушка сама изобрела язык, на котором говорила. А ведь сказанная ею фраза была только преувеличенно вежливым вариантом обычного приветствия, которое хорошенькие ротик мои прекрасных соотечественниц произносят то сюсюкая, то жеманно, то нараспев, то скороговоркой.

Мигель пришел в восторг от ее рисунков. Особенно поразил его набросок карандашом, изображающий мула.

— Матерь божия, да ведь он как живой! Видно, что заупрямился и не хочет идти.

Хитрец Виктор сказал:

— Это пустяки по сравнению с тем, как она пишет. Вот, посмотри, попробуй отличить настоящую подпись Пио Пико! — И он достал из ящика секретера два листа бумаги. Один был старый, пожелтевший, другой белый. И, конечно, Мигель, как галантный кавалер, указал на белый листок. «Вот тут настоящая!» Виктор торжествующе захохотал. Кармен тоже рассмеялась мелодичным, по-детски веселым смехом и заявила, слегка вздернув свою красивую головку:

— Нет, это моя!

Лучшие представительницы прекрасного пола ни за что не откажутся от заслуженного комплимента, хотя бы он исходил от человека, им неприятного. Тут важен принцип, а не чувство.

Но Виктору было мало этого доказательства талантов племянницы.

— Назови ей какое хочешь имя, — сказал он Мигелю, — и она скопирует подпись у тебя на глазах.

Мигель был не так уж влюблен в Кармен, чтобы не понять, к чему клонит Виктор, и он сказал, что росчерк губернатора Микельторены необыкновенно сложен и труден для копирования.

— А она его скопирует! — решительно повторил Виктор.

Из пачки старых ведомственных документов извлекли бумагу с подписью губернатора, снабженной тем замыс-

ловатым росчерком, на который покойный, вероятно, положил немало трудов в молодости.

Кармен взяла перо, посмотрела на потемневший от времени документ, потом на девственную белизну бумаги, которая лежала перед ней.

— Но ведь сначала надо выкрасить эту бумагу в желтый цвет, — сказала она, мило надув губки. — К тому же так быстрее впитаются чернила. Когда я писала святого Антония для миссии Сан-Габриэль, по заказу отца Акольты, мне пришлось как следует поработать кистью, чтобы придать картине старинный вид, иначе падре не соглашался принять ее.

Мошенники переглянулись. Им только это и было нужно.

— Подождите, — сказал Виктор с деланной небрежностью, — у меня где-то завалялся старый таможенный бланк. — Он достал из секретера пожелтевший лист бумаги с гербовой маркой. — Попробуй вот на этом.

Кармен радостно улыбнулась, взялась за перо, и у нее получилось настоящее чудо.

— Это колдовство! — сказал Мигель, делая вид, что крестится.

Роль Виктора была более ответственна. Он притворился, что глубоко тронут, взял бумагу, сложил ее и, спрятав на груди, сказал:

— Сыграю же я шутку над доном Хосе Кастро! Он примет это за собственноручную подпись своего друга губернатора. Только смотри, Кармен! Держи свои розовые губки на замке. Я подшучу над доном Хосе, а потом скажу ему, какое у меня есть диво — моя племянница, и он купит твои картины. Согласна, крошка? — И Виктор удостоил девушку родственной ласки, то есть потрепал по щечкам и поцеловал. Мигель позавидовал ему, но алчность пересилила амура, и разговор мало помалу иссяк. Тут дядюшка вспомнил весьма кстати, что его с товарищем ждут к десяти часам в гостинице «Быки», и, воспользовавшись этим удобным предлогом, они стали прощаться.

Однако напоследок Кармен нечаянно пустила стрелу в уходящих.

— Скажите мне, — спросила она, обращаясь к ним обоим, — что случилось с Кончо? Он всегда приносил мне с гор цветы, бабочек и птиц. Подолгу сидел здесь и рассказывал о всяких редкостных камешках, о медведях и злых духах. А теперь мой Кончо больше не приходит! Почему? Может, с ним случилось что-нибудь? — И она грустно опустила свои тяжелые веки.



В Мигеле вспыхнула ревность.

— Он, верно, пьянствует, сеньорита, и забыл не только вас, но и ослицу свою и вьюки! Такая уж у него натура, ха-ха-ха!

Сочные губки Кармен побелели, и она сомкнула их, точно щелкнув замочком. Голубка вдруг превратилась в орлицу, девочка — в амазонку классического мира; сходство с какой-нибудь сварливой прабабкой из рода Гарсиа проступило яснее в чертах ее лица. Она метнула быстрый взгляд на дядю, потом, упершись ручками в худенькие бедра, шагнула к Мигелю.

— Допускаю, сеньор Мигель Домингес Перес (с глубоким реверансом), что вы правы. Может быть, Кончо пьяница, но, пьяный или трезвый, он никогда не поворачивался спиной ни к другу, ни... (ледяным тоном) ни к врагу.

Мигель хотел было ответить ей, но Виктор вовремя одернул его.

— Болван, — прошептал он, ущипнув своего сообщника, — это ее старый друг... А потом... ведь просьба еще не написана. Рехнулся ты, что ли?

Нет, в этом Мигеля нельзя было заподозрить! Он хоть и затаил в своей и без того злобной душе еще и ненависть к сопернику, но позволил Виктору увести себя.

Возвратясь в таверну, компаньоны убедились, что Мануэль слишком далеко зашел в возлияниях и в ярости против всех американос и не может быть полезен в деле. Тогда они раздобыли перо, чернила, бумагу и засели за работу вдвоем в душной и полной табачного дыма задней комнате таверны. И в полночь, через два часа после того, как Кончо отправился в путь, Мигель, прищипорив коня, поскакал в поселок Три Сосны, а в кармане его лежало прошение на имя губернатора Микельторены о передаче ему земель Ранчо Красных Скал.

## ГЛАВА VII

### Кто хотел оттягать его

Не подлежит никакому сомнению, что, расследовав обстоятельства гибели Кончо, суд присяжных во Фресно установил бы факт «смерти вследствие отравления алкоголем», если б доктор Гилд не решил отстоять интересы правосудия и свою собственную точку зрения.

Большинство присяжных считало дознание совершенно излишней процедурой, а один из них, человек прямодушный, заявил, что нет никакой нужды отрывать американских граждан от их дел каждый раз, когда какой-нибудь мексиканец окочурится при подозрительных обстоятельствах.

— Если даже его и убили, — сказал другой присяжный, — ничего удивительного тут нет. Он всегда на это напрашивался, как все мексиканцы.

Наконец присяжные сошлись на том, что следует вынести вердикт «убийство, совершенное неизвестными». Подразумевалось, однако, что неизвестные эти не кто иные, как Уайлз и Педро. Мануэлю, Мигелю и Роскоммону удалось доказать свое алиби, Уайлз и Педро скрылись в Нижнюю Калифорнию, а Мигель, Мануэль и Роскоммон, учтя возбужденное состояние умов, предпочли придержать фальшивые документы, не привлекая к ним внимания суда и не вызывая досужих домыслов.

Таким образом, целый год после убийства Кончо и бегства его убийц компания «Синяя пилюля» беспрепятственно владела заявкой и хозяйничала там вместо прежних претендентов.

Но дух убитого Кончо, подобно духу убитого Банко, не хотел успокоиться и с терпеливостью, свойственной Кончо и при жизни, навлек на компанию «Синяя пилюля» большую неприятность. В один прекрасный день некий крупный Капиталист и Великий Стяжатель явился на рудник, похвалил его и, отведя в сторону одного из акционеров, предложил свое имя вдобавок к солидному кушу денег за контрольный пакет акций. Этот щедрый аванс сопровождался намеком, что в случае отказа он будет вынужден скупить кое-какие мексиканские рудники и наводнит рынок ртутью, причинив компании «Синяя пилюля» большие убытки. Этот серьезный намек, исходивший от человека, который слыл «Королем горного дела в Калифорнии», а также «опорой, на которой зиждется развитие естественных богатств нашего штата», нельзя было пропустить мимо ушей, вследствие чего благоразумный акционер, не удосужившись известить об этом остальных членов компании, с похвальной скрытностью сбыл с рук свой пай.

Слухи о том, что прославленный Капиталист завладел рудником «Синяя пилюля», разнеслись повсюду, акции его подскочили, пайщики возрадовались, и так продолжалось до тех пор, пока прославленный Капиталист не счел необходимым обзавестись дорогостоящими машинами, нанять управляющего за солидное вознаграждение, други-

ми словами, поставить дело на более широкую ногу, употребив на это часть доходов с рудника. Таким образом, на акцию, котировавшуюся сто двенадцать пунктов, теперь уже падало отчисление в пятьдесят долларов. Еще полсотни были отчислены на поездку управляющего в Россию и Испанию, чтобы он ознакомился там с ртутными рудниками; кроме того, была создана комиссия, в которую входили столпы науки, призванные исследовать состав ртути и выяснить, нельзя ли добывать ее из обыкновенного песчаника с помощью пара и электричества. Все эти новшества быстро отрезвили пайщиков. В то же самое время «честный Смит», «солидный Браун» и «падкий на спекуляции, но удачливый Джонсон» — маклеры прославленного Капиталиста — сочли как нельзя более своевременным скупить для своего патрона по сниженной цене акции у других держателей.

Боюсь, что я утомил читателя столь подробным описанием довольно нудных деталей этого чисто американского времяпрепровождения, которое мои соотечественники со свойственным им эпиграмматическим лаконизмом именуют «процессом вытеснения мелкого акционера». А на тот случай, если читатели мои усомнятся в этической стороне вышеупомянутого процесса, я попрошу их вспомнить, что один из джентльменов, особенно искусных в этом деле, в открытую, со всей своей прямоотой осуждал покойного игрока Джона Окхерста.

Но Великий Стяжатель не принял во внимание стяжательских инстинктов других людей и в один прекрасный день с ужасом узнал, что в Земельную комиссию поступила просьба о подтверждении права владения участком земли, известным под названием «Ранчо Красных Скал», включавшим и его рудник. Известие это пришло к Великому Стяжателю незаметными, тайными путями, как и все получаемые им известия, и, прежде чем стоустая молва успела сделать его всеобщим достоянием, Великий Стяжатель успел продать свои весьма спорные права на рудник энергичному молодому человеку — единственному члену, оставшемуся от прежней компании «Синяя пилюля».

Для нового владельца наступили тяжелые времена. Унаследовав непомерные долги и затраты Великого Стяжателя, не имея возможности рассчитывать на кредит, подорванный уходом от дел удачливого Капиталиста, который заслужил всеобщее восхищение тем, что так ловко учуял грядущий крах (а выход из компании грозил гибелью любому предприятию), молодой Биггс, в свое время секретарь, а сейчас единственный представитель компа-

нии «Синяя пиллюля», не имевший даже достаточно обоснованных прав на рудник, с тоской просматривал отчеты и документы о переходе участка в его собственность и горько вздыхал.

Но, как я уже говорил, он был человек энергичный, верил в свою работу (что очень хорошо), верил в себя (что еще лучше) и даже, имея веры не больше чем с горчичное зерно, мог бы сдвинуть целую гору ртути, разрушив то кольцо, которым окружили ее фальшивые документы. Кроме того, провидение, освободив его от негодяев, подарило ему друга. Но друг, который будет играть в этой правдивой истории немаловажную роль, заслуживает того, чтобы ему отвели здесь целый абзац.

Пилад этого Ореста был известен среди простых смертных как Ройэл Тэтчер. Его генеалогия, подробности о рождении и воспитании не суть важны в нашем рассказе, который говорит только о дружбе Тэтчера с Биггсом и о том, что эта дружба дала им. Они познакомились года за два до описанных событий; у них был общий кошелек, общее жилье, общий стол, а случалось, и общие друзья, и по тем идиллическим временам все это делилось свободно и просто, без всяких обязательств. Изменчивая Фортуна выкинула Тэтчера на пустынный холм в Сан-Франциско вместе с незастрахованным грузом, состоявшим из Надежд на будущее, тогда как его не слишком богатое воображение рисовало ему, что с помощью той же Фортуны ладья Биггса перемахнула через гребни Монтерейских гор и плавает в океане ртути. Поэтому он очень удивился, получив от своего приятеля записку следующего содержания:

*«Дорогой Рой! Будь другом и приезжай. Мне одному, пожалуй, со всем этим не справиться. Давай наляжем на постромки и попробуем вдвоем вытянуть «Синюю пиллюлю»*

*Бигси».*

Сидя в убогой мебелированной комнате, за которую было давно не плачено, и не чувствуя уверенности, удастся ли пообедать завтра, Тэтчер внял этому зову, как апостол Павел внял македонянам. Он написал хозяйке весьма утешительную долговую записочку с обещанием уплатить за комнату и, опасаясь нежной грусти, сопутствующей разлуке, спустил свой тощий чемодан на веревке во двор. Затем, экономно сочетая путешествие в дилижансах и пешее передвижение, к вечеру третьего дня он появился на пороге комнаты Биггса, через несколько минут вошел в курс дела, спустя полчаса и в компанию с Биггсом

и, став владельцем половины рудника, поделил с другом бесславное прошлое и сомнительное будущее «Синей пилюли».

Покончив с этим, Биггс присмотрелся к нему повнимательнее.

— А ты постарел с тех пор, как мы виделись в последний раз, — сказал он. — Везло, должно быть, как утопленнику. Твои глаза, дружище, я узнаю и в тысячной толпе, а вот губы у тебя сухие и линия рта стала совсем суровая.

Тэтчер улыбнулся в доказательство того, что он еще умеет улыбаться, но промолчал, а он мог бы многое порассказать о том, как необходимость обуздывать себя, обиды, разочарования, а часто и голод сделали свое дело и исправили явную ошибку природы, наделившей его доброй улыбкой. Он снял свою поношенную куртку, засучил рукава рубашки и сказал:

— Работы у нас уйма, да и борьбы не миновать, — и тотчас же окунулся с головой в дело рудника «Синяя пилюля».

## ГЛАВА VIII

### Кто выступал в качестве защитника

Все эти годы Роскоммон выжидал. Но вот наступил день, когда он наконец обратился в Земельную комиссию от имени Гарсии, а также от своего и приложил к бумагам прошение на имя губернатора Микельторены (с его поддельной утверждающей подписью), заявив, что подлинный акт уничтожен огнем. Почему же он так сделал?

По-видимому, даже для талантов сеньориты Кармен существовали какие-то границы. При всей своей одаренности она не могла воспроизвести печать — необходимое добавление к акту, подписанному губернатором. Но в Земельную комиссию были представлены письма на бланках губернатора Микельторены, адресованные самому Роскоммону, Гарсии, Мигелю и отцу Мануэля за подписью Микельторены — Кармен де Гаро. Кроме того, в большом количестве имелись устные свидетельские показания; были налицо и сами свидетели, помнившие все, что касалось этого дела, — Мануэль, Мигель и всеведущий де Гаро. Свидетели не скупились на подробности — поэтические, полные подказок, распространялись в духе миссис Ку-

икли<sup>1</sup> о том, как его превосходительство покойный губернатор, сидя, правда, не «у камелька», а попивая агвардиенте и покуривая сигару, поклялся ему, бывшему служителю божью — Мануэлю, что удовлетворит просьбу Гарсии, и действительно удовлетворил. Речистых свидетелей, писем, документов было хоть отбавляй. Короче говоря, все и вся оказались налицо, кроме печати его превосходительства. Единственный отпечаток ее находился в руках конкурирующей художественной школы по восстановлению памятников прошлого, которая улаживала тогда свои дела в Земельной комиссии.

И все-таки Роскоммон получил отказ! Выдав не столь давно документы на один и тот же участок двум разным лицам, Земельная комиссия действовала теперь осмотрительно и вдумчиво.

Роскоммон сначала удивился, потом вознегодовал, потом настроился на воинственный лад: сразу же подать апелляцию!

Читатель, у которого уже сложилось определенное мнение о Роскоммоне, сочтет такой его ход непоследовательным. Но для некоторых натур тяжбы обладают всей прелестью азартной игры, а к тому же не следует забывать, что для Роскоммона судебный процесс был в новинку.

Адвокат Роскоммона мистер Сапонасиус Вуд застал своего клиента в ярости, что всегда обязывает законников призывать на помощь всю изощренную софистику своего ремесла.

— Вы, разумеется, имеете право апеллировать, уважаемый сэр, но, прошу вас, успокойтесь, поразмыслите как следует. Под нас не подкопаешься, все представленные документы бесспорны, но нам портят дело прежние решения Земельной комиссии, которые навлекли на нее столько неприятностей. Так что если бы в суде появился сам Микельторена и подтвердил передачу вам земли, то и это не помогло бы: с испанскими пожалованиями раньше не считались и не будут считаться еще с полгода. Правительство, уважаемый сэр, прислало сюда одного крупного вашингтонского юриста для расследования дел о выдаче этих пожалований, и он обнаружил в ряде случаев мошенничества, сэр, крупные мошенничества. А почему, сэр, почему? Продался, сэр, и душой и телом продан Клике!

— Это еще что за Клика? — рявкнул Роскоммон.

---

<sup>1</sup> М и с с и с К у и к л и — служанка из пьесы Шекспира «Виндзорские кумушки»

— Клика — это... гм!.. это группа людей беспринципных, но богатых и мало считающихся с правосудием.

— А при чем тут Клика, когда этот прохвост мексиканец передал мне бумагу в уплату за то, что ел и пил у меня на даровщину? Ну-ка, сами поразмыслите!

— Клика, уважаемый сэр, — это... это противная сторона. Гм-гм! Это всегда так бывает.

— Какого же черта у нас с вами нет Клики? Ведь я, кажется, плачу вам пятьсот долларов, а вы и в ус не дуετε! За что же я деньги отваливаю?

— Я не намерен отрицать, — сказал мистер Вуд, — что разумное расходование средств, помимо судебных издержек, принесет вам громадную пользу, однако...

— Послушайте-ка, мистер Саппи Вуд, апеллировать я буду и своего добьюсь, меня и мою старуху с этого не сдвинешь. Поможете мне получить участок — отдам вам половину, и по рукам!

— Но, уважаемый сэр, в нашей профессии есть свои правила... разумеется, все дело в том, с какой стороны к ним подойти...

— А плевал я на вашу профессию! Чем она лучше моей? Я рисковал из-за участка Гарсии провизией и виски, купленными во Фриско за немалые денежки, значит, и вам нечего цепляться за свои законы.

— Ну что ж, — сказал Вуд с натянутой улыбкой, — принимая во внимание ваши дружеские чувства, уважаемый сэр, полагаю, что, получив от вас документ на половину участка и вручив вам за него доллар, я с вами полажу.

— Ну вот, сейчас вы говорите дело. А с кем все-таки мы будем воевать, у кого эта самая Клика?

— О-о, уважаемый! Это Соединенные Штаты! — почтительным тоном сказал адвокат.

— Штаты? То есть правительство? И вы этого испугались? Я у себя на родине дрался с правительством, оно же меня и в Америку прогнало, что же, вы думаете, на этот раз я отступлюсь от своих принципов?

— Ваши политические убеждения делают вам честь...

— А какое дело правительству до моей апелляции?

— Правительство, — многозначительно проговорил мистер Вуд, — будет представлено на суде окружным прокурором.

— А кто этот прохвост?

— Ходят слухи, — медленно продолжал мистер Вуд, — что ожидается новое назначение. Я сам питаю некоторые надежды.

Клиент устремил на своего американского адвоката хитрые, но не слишком умные серые глаза и сказал только:



— Питаете надежды?

— Да, — ответил Вуд, смело встретив его взгляд, — и если я мог бы заручиться поддержкой кое-кого из ваших влиятельных соотечественников, с которыми считаются все партии, кого-нибудь, вроде вас, уважаемый сэр... Мне, например, кажется, что вы могли бы со временем стать человеком более умеренным в своих взглядах или по крайней мере наладить отношения с правительством.

Оба мошенника, и мелкий и крупный, на минуту почувствовали друг к другу искреннее расположение и молча обменялись рукопожатием.

Поверьте мне, дорогой читатель, во взаимной симпатии двух понимающих друг друга мошенников гораздо более человеческого, чем в том холодном почтении, которое питаем друг к другу мы, меряясь нашими добродетелями.

— Значит, вы подадите мою апелляцию?

— Подам!

И действительно подал и, по странному стечению обстоятельств, получил также место окружного прокурора. А затем, положив в карман документ о передаче ему половины Ранчо Красных Скал, направил в суд одного из своих сотоварищей в качестве защитника интересов Соединенных Штатов, выступающих против него самого, Роскоммона, Гарсии и пр. Никакими силами нельзя было бы заставить его отказаться от этого благородного решения. Такова неопишуемая щепетильность законников, и нам, литераторам, не мешало бы брать с них пример.

Соединенные Штаты проиграли тяжбу! Это грозило гибелью и разорением компании «Синяя пилюля», купившей у благодетельного щедрого правителя не принадлежавшие ему земли. Правда, мексиканское пожалование было утверждено раньше, чем Кончо, Уайлз, Педро и прочие заявили претензии на этот рудник, раньше, чем образовалась компания «Синяя пилюля», представителями которой стали теперь Биггс и Тэтчер. Мало того, с новых владельцев не только не потребовали возместить затраты на оборудование рудника, — наоборот: Биггсу с Тэтчером было предложено вернуть Гарсии всю прибыль, выжатую из участка Великим Стяжателем. Окружной прокурор прикинулся, будто он сильно огорчен исходом дела, но покоряется судьбе. Биггс и Тэтчер были огорчены искренне и покоряться не желали.

И с этих пор (я несколько забегаю вперед в изложении событий) началась тяжба — нешуточная тяжба, в ко-

торую Биггс и Тэтчер вкладывали все свое рвение, мужество, отвагу и уверенность в собственной правоте, а Роскоммон, Гарсия и прочие запутывали ее формальными придирадками, крючкотворством и проволочками в духе Фабия Кунктатора. Из всей этой нуднейшей истории я приведу только один эпизод, полный оригинальности и дерзости замысла, которые, как мне кажется, наиболее ярко характеризуют нравы и цивилизацию той эпохи.

Один из мелких чиновников окружного суда отказался выслать в Верховный суд Соединенных Штатов копию дела. Остается лишь пожалеть, что сей Герострат, поднесший спичку к храму наших конституционных свобод, во всех других отношениях был мало примечателен, и имя его кануло в архивную пыль того весьма сомнительного заведения, весьма сомнительным служителем коего он был. Тяга к бессмертию пресеклась вместе с его услугами, которые он оказывал обеим тяжущимся сторонам. Но сохранилось письмо этого юного джентльмена, полное обвинений по адресу законников нашей страны, письмо, не лишенное остроумия и даже весьма поучительное для молодежи, мечтающей об известности и богатстве. Как бы там ни было, но Верховный суд в целях самозащиты лишил этого остроумца его прав и переложил их в более поместительную длань своего прокурора.

Все эти юридические процедуры, на которые при обычных обстоятельствах понадобилось бы всего несколько месяцев, затягивались, откладывались, мариновались или черепашьям шагом двигались вперед в течение восьми-девяти лет.

А тем временем «Синяя пиллюля» продолжала оставаться в сильных руках Биггса и Тэтчера, которые, пользуясь, может быть, теми же приемами, что и их враги, делали все возможное, чтобы сохранить за собой фактическое владение, добывали руду и продавали ртуть, тогда как противная сторона расходовала золото. Но вот метко пущенная стрела поразила Биггса сквозь доспехи, и он пал на поле брани. Щеки его покрылись восковой бледностью, сильные руки ослабли и, чувствуя приближение конца, он завещал свою долю товарищу и умер. С этого времени Ройэл Тэтчер царил один.

Но мы слишком забежали вперед с юридической частью нашей истории, давайте вернемся к описанию тех человеческих страстей, которые легли в основу этой тяжбы.

Начнем с Роскоммона. Чтобы оправдать его дальнейшие действия и высказывания, следует напомнить читателю, что, когда Роскоммон согласился принять вместе

с Гарсией участие в заявке на Ранчо Красных Скал, тогда еще никем не оспариваемой, он действовал необдуманно или же не подозревал надувательства. Роскоммон понял, что его провели и надули, когда было уже поздно, когда он окончательно потерял голову, упиваясь тяжбой, и с упорством обманутого предпочитал искать корень зла в отдельных фактах и лицах, а не в обстоятельствах, которые вели к неудаче. Этот ограниченный человек видел только то, что компания «Синяя пиллюля» загребает деньги с рудника, который еще не отошел к ней по суду и заявку на который сделал он сам. Каждый доллар, заработанный Биггсом и Тэтчером, брался Роскоммоном на учет. Любая проволочка, затягивавшая ввод во владение, — пусть даже она была делом рук его собственного адвоката, — воспринималась как кровная обида. Тот факт, что этот громадный участок достался ему почти даром, только подливал масла в огонь. Боязнь упустить из рук химеру угнетала его куда больше, чем если б он на самом деле вложил в дело тот миллион, который можно было бы потом выручить с рудника. Не знаю, удалось ли мне доказать, что люди любят поживиться на даровщину, выжимать из всего максимальные выгоды при минимальных затратах, но если удалось, то вряд ли стоит обвинять Роскоммона в этом грехе больше, чем его ближних.

Борьба не прошла для него даром, как не прошла она даром для всех, над кем витал дух убитого Кончо, — для всех, кого жажда стяжаний то возносит, то подвергает мучениям. Он бросил на эту безумную затею тысячи долларов, нажитых законным трудом и бережливостью. Неотступная мечта состарила его, убелила сединами; он перестал шутить с посетителями таверны, даже если среди них попадались люди влиятельные, заслуживающие всяческого внимания. У него были другие заботы: тут надо кое-кого умаслить, там подладиться к врагам, вознаградить друзей. Бакалейная торговля страдала от этого; миссис Роскоммон видела, с какой быстротой тают деньги, когда приходится кормить и поить несметное количество неподкупных свидетелей, выступающих в Земельной комиссии и в окружном суде. Даже бар их пустовал; рабочие с рудника «Синяя пиллюля» ходили в соседнюю таверну и за выпивкой во всеуслышание осуждали Роскоммона. Невозмутимого равнодушия, с которым Роскоммон обслуживал прежде посетителей, как не бывало. Полотенце уже не скользило по стойке, она была грязная, на ней виднелись круги от множества стаканов, а это говорило о том, что мысли хозяина заняты совсем другим. Внимательные серые глаза претендента на Ранчо Красных

Скал только и знали, что выглядывать всюду друзей и недругов.

Теперь о Гарсии. Ослабевшая память подвела этого джентльмена, наделенного способностью извращать исторические факты; года через два после дачи показаний по делу о ранчо он был уличен — совсем по другому поводу — в некотором несоответствии деталей в своих свидетельствах. В силу этого они пошли на пользу той стороне, которая заплатила ему больше. Но противники не замедлили обнаружить махинации Гарсии. С того времени слава его как свидетеля, эксперта и историка стала быстро падать. Ему приходилось подкреплять свои слова показаниями других свидетелей, а это стоило немалых денег. Вместе с гибелью репутации к нему вернулись его прежние дурные привычки. Он запил, потерял клиентуру, потерял дом, и Кармен, перебравшейся в Сан-Франциско, приходилось содержать дядю своей кистью.

Итак, поскольку мы снова заговорили об этой хорошенькой девушке и невольной преступнице, чье бессознательное деяние взрастило столь губительные плоды на голых склонах Ранчо Красных Скал, посмотрим, как сложилась ее дальнейшая жизнь, когда судьба обратила к ней более ласковый взгляд.

## ГЛАВА IX

### Какое отношение имел ко всему этому прекрасный пол

Дом, который Ройэл Тэтчер покинул так скоропалительно в день своего исхода в Биггсову землю обетованную, был одним из тех несуразных сан-францисских великанов, на которые строители возлагали великие надежды, но по въезде немедленно же убеждались в тщете своих чаяний. Задуманные вначале как дворцы для начинающих калифорнийских Аладинов, они превращались в обыкновенные жилые дома, где беспомощные вдовицы или безнадёжные старые девы как-то ухитрялись разрешать нелегкую задачу: сохранять респектабельность и снискивать себе пропитание.

Хозяйка Тэтчера принадлежала к первой категории. По несчастному стечению обстоятельств она пережила не только своего супруга, но и его капитал, и, обосновавшись в одной комнатухе, по примеру итальянских вельмож, сдавала остатки былого величия внаем. Ее вечные разговоры на эту тему приобретали особый смысл первого чис-

ла каждого месяца. Тэтчер подметил это с той обостренной чувствительностью, которая свойственна джентльменам, находящимся в стесненных обстоятельствах. Но когда через несколько дней после внезапного исчезновения жильца от него пришло письмо с вложенным туда чеком на сумму, с избытком покрывавшую все просроченные платежи и долги, сердце вдовы возликовало, скала, рассеченная ударом волшебной палочки, извергла поток щедрот, о размерах которых можно было судить по новому платью самой вдовы, новому костюму для ее сына Джонни, новой клеенке в передней, лучшему обслуживанию жильцов и — да вознаградит ее за это бог! — по тому снисхождению, которое она стала проявлять к бедной черноглазой художнице из Монтерея, задолжавшей ей за много месяцев. Да! Сказать без утайки, набегу, совершаемые на тощий кошелек сеньориты де Гаро ее дядюшкой, за последнее время участились, ибо цена на лжесвидетельство в Монтерее сильно пала ввиду избытка предложений, а разграничительная линия между лжесвидетельством и истиной стала настолько незаметней, что Виктор Гарсия заявил:

— Лучше говорить правду сразу, по крайней мере спасешь душу. Уж если сам дьявол принялся за эти дела, с ним конкуренции не выдержишь.

Хозяйка дома миссис Плодгитт не могла устоять перед искушением и поделилась с Кармен де Гаро своей радостью:

— К вам он всегда относился по-дружески, милочка, и он настоящий джентльмен — такой не позволит себе обидеть бедную вдову. Послушайте-ка, что тут про вас написано.

Она вынула из кармана письмо Тэтчера и прочла:

*«Передайте моей маленькой соседке, что я скоро вернусь, заберу ее силой вместе со всеми рисовальными принадлежностями, привезу сюда и не отпущу до тех пор, пока она не нарисует по моему заказу черные горы и красные скалы, о которых я столько от нее слышал, а на переднем плане картины пусть изобразит рудник «Синяя пилуля».*

Что случилось, крошка? Кармен, разве можно так краснеть, принимая первый блестящий заказ! Пресвятая дева! Кармен, зачем же ты суешь в рот кисть и сейчас же роняешь ее на колени? Неужели добрые сестры в монастыре учили тебя подходить к старшим таким по-мальчишески широким шагом и вырывать у них из рук письмо, которое тебе не терпится прочесть самой? Много чего другого хочется нам узнать, черноглазая Кармен. Дай

услышать твой мелодичный голосок! Отвечай же, отвечай, и я расхвалю твою скромность моим прекрасным соотечественникам.

Увы! Ни повествователю, ни миссис Плодгитт не удалось получить ответ от благоразумной Кармен, и им не остается ничего другого, как судить о некоторых фактах только на основании уже имеющихся сведений.

Комнатка мисс Кармен приходилась как раз против комнаты Тэтчера, и, когда их двери в коридор были открыты, Тэтчер видел черноволосую головку и стройную мальчишескую фигурку девушки в синем переднике, которая восседала перед мольбертом на высоком табурете. Кармен же часто обоняла табачный дым, проникавший в ее уединенную обитель, и видела окутанного клубами того же дыма американского олимпийца, который сидел в качалке, положив ноги на каминную доску. Несколько раз они сталкивались на лестнице, и Тэтчер отвешивал Кармен не то почтительный, не то шутливый поклон, что никогда не оскорбляет женщину и, может быть, только чуть-чуть ущемляет ее самолюбие тем чувством превосходства, которое сквозит в такой любезности. Женщины прекрасно знают, что истинная и опасная страсть хранит серьезную внешность, и никогда не упустят случая проверить, а не скрывается ли под маской весельчака Меркуцио пылкий Ромео.

Тэтчер был прирожденный защитник и покровитель; слабость, только человеческая слабость и беззащитность могли пробудить в глубинах его сердца нежные чувства, хотя — увы! — этот юморист и в слабости умел находить смешные стороны. Слабыми же существами он считал женщин и детей. Я говорю об этом на пользу более молодым моим братьям, твердо веря в то, что смиренное преклонение перед Красотой — всего лишь дешевый галлицизм, не встречающий отклика у тех женщин, которые стоят того, чтобы их завоевывали, ибо женщина всегда должна смотреть снизу вверх на любимого человека, даже если ей придется стать для этого на колени.

Только мои читатели-мужчины сделают отсюда вывод, будто Кармен была влюблена в Тэтчера. Более критическое женское око не увидит в их отношениях ничего такого, что выходило бы за границы простой дружбы. Тэтчер был чужд сентиментальности; он никогда не отпускал Кармен комплиментов, даже в самой деликатной форме. Его комната часто по несколько дней подряд стояла закрытой, и, встречаясь потом с девушкой, он держался свободно и просто, словно они только вчера виделись. В первые дни после исчезновения Тэтчера простодушная



Кармен, зная — бог весть какими путями, — что дверь в его комнату все это время заперта, рисовала в своем воображении болезнь, скоропостижную смерть, может быть, даже самоубийство соседа и, обратившись за помощью к хозяйке, сама того не ведая, способствовала раскрытию его бегства. Судя по возмущению, которые она испытала в первые минуты наравне с миссис Плодгитт, в ее сердце не нашлось сочувствия к изменщику. Кроме того, до сих пор она была привязана только к одному Кончо — своему первому другу — и, верная памяти убитого, ненавидела всех американос, видя в каждом из них его убийцу.

Итак, Кармен изгнала из головы всякую мысль о полученном приглашении и о том, от кого оно исходило, и вернулась к своей работе — портрету почтеннейшего падре Хуниперо Серра, который умер за несколько сот лет до захвата Калифорнии американцами, благодаря чему кости и слава этого знаменитого миссионера остались в неприкосновенности. Портрет был хорош, но покупателя на него не находилось, и Кармен начала уже серьезно подумывать, не перейти ли ей на рисование вывесок, что имело в то время гораздо больший спрос. Незаконченная голова Иоанна Крестителя, искусно обрамленная облаками, была продана за пятьдесят долларов одному аптекарю и сослужила ему хорошую службу в качестве рекламы притирания против веснушек, в то же время без излишней навязчивости напоминая покупателям об этом святом. И все-таки Кармен было как-то не по себе, она пала духом, затосковала о добрых сестрах и безмятежной, сонной жизни монастыря, и вдруг...

Он вернулся!

Но вернулся не как принц, который мчится на белом скакуне освобождать похищенную, заколдованную принцессу. Он предстал перед ней загорелый, обросший баками, точно тигр, одетый небрежно и чем-то озабоченный. Но его рот и глаза остались прежними, и когда он все тем же простым и шутливым тоном повторил приглашение, о котором говорилось в письме, маленькая Кармен смутилась и покраснела.

И Тэтчер тоже покраснел, пораженный какой-то новой мыслью. Истый джентльмен скромнен, как женщина. Он сбежал по лестнице и, разыскав вдовицу Плодгитт, торопливо заговорил:

— Вы себя просто губите здесь. Вам надо переменить климат. Приезжайте ко мне в Монтерей денька на два и пригласите с собой сеньориту де Гаро, чтобы не скучать одной.



Почтенная дама живо поняла, как обстоит дело. Тэтчер теперь человек с будущим. В каждой дочери Евы хотя бы в малой степени сидит сваха. Это единственный способ оживить прошлое.

Миссис Плодгитт приняла приглашение, а Кармен де Гаро не нашла подходящей отговорки.

«Синяя пилюля» предстала перед обеими гостями такой, какой ее описывал Тэтчер, — «местечко довольно суровое, пригодное главным образом для мужчин». Но он уступил им свое жилье, а сам спал с рабочими или, что более вероятно, просто под деревьями. На первых порах миссис Плодгитт не хватало газового освещения, водопровода и некоторых других благ цивилизации, среди которых — увы! — насчитывались простыни и наволочки, но бальзамический горный воздух излечил ее невралгию и раздражительность. Что касается Кармен, то она наслаждалась безграничной свободой, забыв о стеснительных условностях городской жизни и необходимости сдерживать свои ребяческие порывы. Она бродила в одиночестве по горам, забиралась в темные лесные чащи, карабкалась по склонам, поросшим чемисалем, и возвращалась домой, нагруженная ветками цветущего каштана, лавра и ягодами мансанита. Но рисовать панораму рудника «Синяя пилюля» и живописную группу весело улыбающихся рабочих, трудами которых здесь добывались тонны ртути, ей не хотелось даже ради ее патрона, дона Ройэла Тэтчера; не хотелось делать ничего такого, что потом можно будет литографировать и размножать. Вместо заказанной картины она сделала набросок: развалившийся бездействующий горн, над ним темнеет гора, красно-бурые выбоины на скалах, свет от потухающего костра. Но даже этот набросок удовлетворил Кармен только после некоторых изменений и добавлений; когда она, наконец, принесла его на суд дона Ройэла, взгляд у нее был вызывающий. Тэтчер искренне восхитился им, потом стал критиковать в полуплутильной форме и далеко не искренне.

— А не могли бы вы, разумеется, за соответствующее вознаграждение, нарисовать на этой скале доску со стрелой: «Направо дорога к руднику компании «Синяя пилюля»? Тогда у вас искусство сочеталось бы с делом. Вы, таланты, об этом не задумываетесь. А кто это лежит около горна, завернувшись в одеяло? Моих рабочих вам здесь вряд ли приходилось видеть... Да это мексиканец, судя по его серапе!

— Он понадобился мне для заполнения переднего плана, — холодно сказала Кармен. — Здесь надо что-то поместить, этого требует композиция наброска.

— Но ведь он как живой, — продолжал Тэтчер, увлекаясь против собственной воли. — Сеньорита де Гаро, признавайтесь, пока я не обратился за помощью к миссис Плодгитт, кто мой ненавистный соперник и ваш натурщик?

— Это всего лишь бедный Кончо, — вздохнув, ответила Кармен.

— А где он теперь, этот Кончо? (С некоторой долей раздражения.)

— Он умер, дон Ройэл.

— Умер?

— Да, умер. Его убили здесь ваши соотечественники.

— Так, понимаю... И вы хорошо знали его?

— Он был мой друг.

— О-о!

— Да, да!

— Но у вас (ядовито) получилась довольно мрачная реклама для моего рудника, причем не газетная.

— Почему же мрачная, дон Ройэл? Посмотрите, он спит.

— Да, мертвым сном.

Кармен (быстро перекрестившись).

— Да, так спят мертвые.

Оба почувствовали неловкость. Кармен не сдержала дрожи, но, будучи женщиной, к тому же очень тактичной, она овладела собой первая.

— Это этюд, дон Ройэл. Я сделала его для себя, а вам напишу что-нибудь другое.

И Кармен ушла, думая, что таким образом ей удастся отделаться от этого разговора и от Тэтчера. Но она ошиблась: вечером Тэтчер снова вернулся к нему. Кармен оборонялась; она не трусила и не хотела обмануть дон Ройэла, как, вероятно, подумают читатели мужского пола. Нет! В ней заговорил женский инстинкт, требующий осторожности. Но Тэтчеру все-таки удалось вывести у нее неизвестный ему раньше факт: оказалось, что Кармен приходится племянницей его главному противнику. Как истый джентльмен, Тэтчер удвоил свое внимание к девушке, вселив твердую уверенность в миссис Плодгитт, что свадьба — дело давно решенное, и заставив ее серьезно задуматься над тем, какое платье она наденет по случаю такого торжества.

Этой ночью Кармен заснула в слезах, решив бросить своего беспутного дядю и перейти на сторону этого благородного американца, хотя ей и в голову не приходило, что причиной смертельной вражды между Тэтчером и Гарсией были ее невинные каллиграфические упражне-

ния. Женщины — даже лучшие из них — придают значение главным образом второстепенным фактам и быстро в них разбираются, но лишь только дело доходит до точных формулировок и логики, тут они беспомощны, как дети. Кармен, разумеется, никогда не считала себя причастной к притязаниям ее дяди на рудник, а обстоятельства, при которых она подделала подпись губернатора, и вовсе вылетели у нее из головы.

Мои читатели-мужчины теперь вообразят, будто им понятно, почему Кармен так смутилась и покраснела, и обзовут себя болванами за то, что считали это раньше доказательством ее нежных чувств к Тэтчеру, представительницы же прекрасного пола, наоборот, скажут: «Нет, коварная девчонка поставила себе целью завоевать его сердце!» Кто из них окажется прав, я и сам не знаю.

Как бы там ни было, Кармен написала для Тэтчера картину, которая украшает теперь контору компании в Сан-Франциско. Рудник изображен на ней приятными, геометрически простыми линиями, и в каждом мазке кисти художницы чувствуется вера в его розовое будущее. Решив после этого, что «расчеты» с Тэтчером покончены, Кармен стала проявлять в обращении с ним некоторую холодность, что заставило его только удвоить свою любезность, так как он считал присутствие девушки здесь ошибкой и приписывал эту ошибку ей самой. То, что Кармен — племянница его врага, нисколько не беспокоило Тэтчера, для него она по-прежнему была милой девушкой, которая нуждалась в защите. И все-таки подозрение зарождается даже в самых благородных умах.

Миссис Плодгитт, обманувшаяся в своих матримониальных расчетах, взвалила всю вину, разумеется, на представительницу одного с ней пола и перешла на сильнейшую сторону — на сторону мужчины.

— Бывают же такие странные девушки! — сказала она *sotto voce*<sup>1</sup> Тэтчеру, видя, что Кармен снова ходит хмурая. — Должно быть, это у нее в крови. Испанцы народ мстительный, не лучше итальянцев.

Тэтчер с изумлением воззрился на нее.

— Да неужто не понимаете? Ведь не будь вас, весь этот участок достался бы ее дяде, она только об этом и думает. И вместо того, чтобы обходиться с вами полубезнее... — Тут миссис Плодгитт осеклась и закашлялась.

— Боже мой! — встревожился Тэтчер. — Мне это и в голову не приходило! — Он помолчал, потом добавил

---

<sup>1</sup> Вполголоса (*ut.*).

решительным тоном: — Да нет, не может быть! Это на нее не похоже!

Миссис Плодгитт, уязвленная в своих лучших чувствах, удалилась, пустив напоследок парфянскую стрелу:

— Ну что ж, надеюсь, она не задумала чего-нибудь похуже.

Тэтчер усмехнулся, потом нахмурился. При следующей встрече с ним Кармен впервые поймала на себе такой пытливый, подозрительный взгляд его серых глаз. Это только подлило масла в огонь. Забыв, что он хозяин, а она гостя, девушка обошлась с ним прямо-таки грубо. Тэтчер держался спокойно, но настороженно; он пораньше спровадил миссис Плодгитт спать и под предлогом, что ему хочется показать Кармен горы при лунном свете, увел ее к развалившейся печи, где их никто не мог подслушать.

— Что случилось, мисс де Гаро? Я оскорбил вас чем-нибудь?

Насколько мисс Кармен известно, ничего особенного не случилось. Если дон Ройэл отдает предпочтение своим старым друзьям, не сомневаясь в их порядочности, и знает, что *они не будут наговаривать на джентльмена, попавшего в беду* (стыдись, Кармен!), если он сам предпочитает старых друзей новым, тогда (мои читатели, конечно, легко представят себе, как задрожал и оборвался здесь ее голос)... тогда ее-то в чем винить?

Они взглянули друг другу в глаза. Все было за то, чтобы между ними возникло недоразумение. Тэтчер рассуждал по-мужски. Кармен отдавала преимущество чувствам. Тэтчер хотел выяснить кое-что, а потом уже спорить. Кармен выдвигала на первое место чувства и факты подгоняла под них.

— Но я вас ни в чем не виню, мисс Кармен, — серьезно проговорил он. — С моей стороны было глупо звать вас на рудник, который ваш дядя считает своей собственностью, хотя хозяйничаю здесь я. Это была ошибка... Нет, — спохватился он, — даже не ошибка. Ведь я ничего не знал, тогда как вам все было известно раньше. Но вы не сочли нужным считаться с этим, а я, узнав, и подавно не стал, поскольку вы уже жили здесь.

— Ну, конечно, — капризным тоном сказала Кармен, — я во всем виновата. Как это похоже на мужчин! (Заметьте! Кармен едва вышла из детского возраста, но эту квинтэссенцию житейской мудрости она изрекла так, словно убедилась в ней на собственном опыте, а не впитала ее с молоком матери.)

Обобщения, к которым прибегают женщины, всегда сбивают мужчин с толку. Тэтчер промолчал. Кармен разгневалась еще больше.

— Зачем же тогда вы отняли у дяди Виктора его участок? — торжествующе спросила она.

— А разве этот участок действительно принадлежит ему?

— Действительно принадлежит ему? А вы не видели прошения на имя губернатора Микельторены с его собственной подписью? А свидетельские показания вы слышали? — горячо продолжала она.

— Подписи могут быть подделаны, а свидетельским показаниям не всегда веришь, — хладнокровно ответил Тэтчер.

— Как это «подделаны»?

Тэтчер вспомнил, что в испанском языке нет равнозначного слова. Искусство подлога, видимо, было изобретением *El Diablo Americano*<sup>1</sup>. Он ответил с легкой усмешкой в добрых глазах:

— Есть такие ловкачи, которые умеют подделывать чужие почерки. Когда на это идут с мошенническими целями, мы называем это подлогом. Простите, мисс де Гаро... Мисс Кармен! Что с вами?

Она прижалась спиной к дереву, устремив на Тэтчера беспомощный, испуганный взгляд. Чисто женская прозорливость заговорила в этой неопытной, наивной девочке. В одно мгновение ей стала ясна загадка, над разрешением которой Тэтчер бился несколько лет.

Тэтчер видел, что она страдает, что она беззащитна, и этого было достаточно для него.

— Может быть, вашего дядю обманули, — сказал он. — Многие порядочные люди попадают в лапы к ловким мошенникам — к мужчинам, к женщинам...

— Замолчите! Мать божья! Замолчите сию же минуту!

Тэтчер отшатнулся от этой девочки, которая наступала на него, сверкая глазами, побелев от гнева, сжав крохотные кулачки. Он замолчал.

— Где это прошение, где этот подложный документ? Покажите мне его!

Тэтчер с облегчением перевел дух и снисходительно улыбнулся женской наивности.

— Неужели вы думаете, что ваш дядя доверяет мне хранение своих документов? Они у его адвоката, конечно!

— Когда я смогу выехать отсюда?

---

<sup>1</sup> Американский дьявол (исп.).

— Если мои желания что-нибудь значат для вас, то вы здесь останетесь, хотя бы для того, чтобы простить меня. Но если я оскорбил вас, сам того не подозревая, и вы неумолимы...

— Могу я выехать завтра на рассвете?

— Как вам угодно, — сухо ответил он.

— Благодарю вас, сеньор.

Они медленно пошли к хижине. Тэтчер по-мужски переживал несправедливую обиду, инстинкт женщины подсказывал Кармен, что она потерпела крушение. До самых дверей не было сказано ни слова. И вдруг Кармен с прежней детской непоследовательностью весело проговорила:

— Спокойной ночи, дон Ройэл, приятных снов. До завтра!

Тэтчер онемел, глядя на эту капризную девушку. Кармен сразу поняла причину его изумления.

— Это для старой ведьмы! — прошептала она, ткнув пальцем через плечо в том направлении, где мирно почивала миссис Плодгитт. — Спокойной ночи!

Тэтчер пошел распорядиться, чтобы кто-нибудь из пеонов отвез завтра обеих женщин. Когда он встал утром, оказалось, что мисс де Гаро уже отбыла со своим провожатым в Монтерей. Одна, без Плодгитт.

Тэтчер не мог скрыть от этой почтенной дамы своего удивления. А она, женщина, брошенная на произвол судьбы и еще не настолько состарившаяся, чтобы считать себя в безопасности от посягательств коварных мужчин, пребывала в полном смятении, но все же не упустила случая сказать Тэтчеру:

— Я же вам говорила! Эта девчонка уехала к дядюшке и теперь все ему расскажет.

— Все? Да черт возьми, что она может рассказать? — крикнул Тэтчер, изменив своей обычной сдержанности.

— Надеюсь, ничего лишнего не расскажет, — ответила миссис Плодгитт и скромно удалилась.

Она оказалась права. Сеньорита Кармен поехала прямо в Монтерей, чуть не загнала лошадь по дороге и отослала тележку и провожатого обратно с просьбой передать миссис Плодгитт, что встретятся они в Сан-Франциско, куда она вернется пароходом. После этого она смело отправилась в контору окружного прокурора Сапонасиуса Вуда, ведшего некогда дела ее дяди.

Мужская часть населения Монтерея хорошо знала сеньориту Кармен и восхищалась ею с должной мерой почтительности, несмотря на дурную репутацию ее родст-

венника. Мистер Вуд встретил посетительницу любезно и изо всех сил старался быть галантным. Сеньорита Кармен держалась холодно и деловито. Дядя прислал ее просмотреть документы по делу Ранчо Красных Скал. Документы сейчас же были предъявлены ей. Кармен отыскала прошение о пожаловании земли. Личико у нее слегка побледнело. Прекрасная память и верный глаз не могли обмануть девушку. Подпись губернатора Микельторены была сделана ее собственной рукой!

Однако она взглянула на адвоката с улыбкой.

— Вы разрешите мне взять эти бумаги. Я покажу их дяде.

Даже более пожилой и более проницательный человек, чем окружной прокурор, не смог бы устоять против этих опущенных долу ресниц, против этого нежного голоса.

— Разумеется!

— Через час я их верну.

Она сдержала свое слово, ровно через час с низким реверансом вернула дядюшкиному адвокату все документы и в тот же вечер села на пароход, который шел в Сан-Франциско.

На следующее утро Виктор Гарсия, еще не совсем отрезвившийся после вчерашней попойки, ввалился к Вуду в контору.

— Я начинаю побаиваться моей племянницы Кармен. Она переметнулась на сторону врагов,— хриплым голосом проговорил он.— Вот полюбуйтеесь-ка.

Прокурор взял у него из рук анонимное письмо (каракулями миссис Плодгитт), в котором сообщалось, что племянница Гарсии подкуплена его врагами.

— Быть того не может! — воскликнул Вуд.— Ведь она только на прошлой неделе прислала тебе пятьдесят долларов.

И без того багровая физиономия Виктора покраснела еще больше; он нетерпеливо взмахнул рукой.

— Кроме того,— хладнокровно продолжал прокурор,— она приходила посмотреть по твоему поручению документы и вчера же все вернула.

Виктор остолбенел.

— И вы... вы дали их ей?

— Конечно, дал!

— Все документы? И прошение с подписью Микельторены?

— Ну, конечно. Ты же сам ее прислал.

— Я прислал эту дьяволицу? — крикнул Гарсия.— Да нет же! Тысячу раз нет! Скорей, пока еще не поздно!



Мистер Вуд подал ему всю папку. Гарсия перелистал ее дрожащими пальцами и наконец наткнулся на роковой документ. Не удовольствовавшись беглым просмотром, он подошел к окну, чтобы разглядеть прошение получше.

— Оно самое! — и у него вырвался облегченный вздох.

— Конечно, оно самое, — резко сказал Вуд. — Все бумаги на месте. И глупец же ты, Виктор Гарсия!

Что верно, то верно. Но в не меньшей степени это относилось и к ученому юристу, мистеру Сапонасиусу Вуду.

Тем временем мисс де Гаро вернулась в Сан-Франциско и принялась за свою работу. Дня через два домой пожаловала и ее хозяйка. Миссис Плодгитт была натура слишком широкая, чтобы позволить какому-то анонимному письму, написанному ее собственной рукой, испортить отношения между нею и молоденькой жилищей. Она подлаживалась к Кармен, льстила ей и, несколько преувеличивая, описывала горе дона Ройэла по поводу ее неожиданного отъезда. Все это Кармен принимала сдержанно, но с некоторой долей кокетства, и работы своей не бросала. В положенный срок заказ дона Ройэла был выполнен; теперь у художницы оставалось достаточно времени, чтобы снова заняться мрачным этюдом, на котором была изображена развалившаяся печь.

А дон Ройэл, погруженный в дела, не возвращался, и миссис Плодгитт, решив немножко заработать, сдала временно его комнату двум тихим мексиканцам, которые оказались хорошими жильцами, хоть и отравляли весь дом табачным дымом. Им не удавалось познакомиться со своей очаровательной соотечественницей, сеньоритой де Гаро, но виной тому была ее занятость, а никак не отсутствие попыток с их стороны.

— Мисс де Гаро — очень странная девушка, — поясняла своим жильцам миссис Плодгитт. — Она ни с кем не знакомится, а я считаю, что это только вредит ей. Не будь меня, она так никогда и не встретилась бы с Ройэлом Тэтчером, владельцем большого ртутного завода, и не получила бы заказа нарисовать его рудник.

Мексиканцы переглянулись. Один сказал: «Вот жалость-то!» Другой: «Просто не верится!» И как только хозяйка удалилась, открыли подобранным ключом дверь и вошли в спальню и рабочую комнату своей очаровательной соотечественницы, которая была на этюдах.

— Вот видишь! — сказал бежавший от правосудия сеньор Педро бывшему мяснику Мигелю. — Этот американец всемогущ, и Виктор не зря заподозрил неладное, хоть он и пьяница.

— Правильно, правильно! — подтвердил Мигель. — Ты помнишь, как Ховита Кастро выкрала собриентскую заявку ради своего любовника-американца. Только мы с тобой, Педро, еще не забыли бога и свободу, как и подобает истым мексиканцам.

Они обменялись горячим рукопожатием и принялись за дело, то есть обшарили все сундуки, ящики и саквояжи бедной маленькой художницы Кармен де Гаро и даже вспороли матрац на ее девственном ложе. Но поиски их не увенчались успехом.

— А что там стоит на мольберте под покрывалом? — сказал Мигель. — Эти художники вот так и прячут свои ценности.

Педро подошел к мольберту, сорвал наброшенную на него кисею и испустил вопль. Перепуганный Мигель бросился к нему.

— А, чтоб тебе! — прошептал он. — Ты весь дом поднимаешь на ноги.

Бывший пастух дрожал, как испуганный ребенок.

— Смотри, — прохрипел он сдавленным голосом. — Смотри. Это перст божий... — И без чувств рухнул на пол.

Мигель взглянул в ту сторону. На мольберте стоял набросок развалившейся печи. Фигура Кончо, ярко освещенная костром, занимала левый угол этюда. Но законы композиции заставили Кармен ввести и вторую фигуру: к спящему Кончо на четвереньках подползал человек — двойник Педро.

## ГЛАВА X

### Кто хлопотал в кулуарах

В Вашингтоне был знойный летний день. Даже ранним утром, когда солнце еще не поднялось над головами пешеходов, на широких, лишенных тени улицах стояла невыносимая жара. Позже и сами улицы начали блеснуть, как настоящие лучи, расходящиеся во все стороны от центрального солнца — Капитолия, и незащищенным глазом опасно было смотреть на них. К середине дня стало еще жарче, с Потомака поднялся туман, обволакивая раскаленный небосвод, на горизонте громоздились обманчивые грозовые тучи, которые уже пролили где-то скопившуюся в них влагу и теперь только усиливали духоту. К вечеру солнце, собравшись с силами, вышло из-за

туч и отерло пот с высокого чела небес, пылавшего лихорадочным жаром.

Город опустел. Те немногие, кто остался в нем, как видно, прятались от резкого дневного света в укромных уголках лавок, отелей и ресторанов, и обливающийся потом посетитель, ворвавшись с улицы и нарушив их мирное уединение, натыкался на какие-то тени, без воротничков и без сюртуков, с веерами в руках, каковые тени, кое-как исполнив то, что от них требовалось, и, выпроводив клиента, вновь погружались в дремоту. Члены Конгресса и сенаторы давно уже вернулись к своим избирателям с самыми разнообразными сведениями, — стране предстояла или гибель, или светлое, полное надежд будущее, в зависимости от вкусов избирателей. Некоторые из правительственных чиновников еще оставались в городе и, давно убедившись, что не могут повернуть дело по-своему и что вести его можно не иначе, как по старинке, мрачно покорились своей участи. Собрание высокообразованных джентльменов, представлявших верховное судебное учреждение страны, все еще не разъезжалось, в смутной надежде отработать то скудное жалованье, которым их награждало правительство, и терпеливо слушало разглагольствования юриста, чей гонорар равнялся пожизненному доходу половины всего собрания. Генеральный прокурор и его помощники все еще охраняли государственную казну от расхищения и получали от общества ежегодное пособие, до такой степени ничтожное, что их противники, гораздо более состоятельные представители частного капитала, постеснялись бы назначить такое жалованье даже младшему из своих клерков. Маленькая постоянная армия правительственных чиновников — беспомощные жертвы самой бессмысленной рутины, какая только известна миру, рутины, которая неотделима от чьих-то прихотей и выгод, от трусости и тирании до такой степени, что реформа может привести к революции, нежелательной для законодателей, или к деспотизму, при котором десяток наудачу выбранных людей выдает за реформу собственные капризы и прихоти. Правительство за правительством и партия за партией упорствуют в безнадежных попытках натянуть детский колониальный костюмчик, сшитый нашими предками по старой моде, на широкие плечи и раздавшееся тело возмужавшей страны. Там и сям видны заплаты, платье трещит по швам и рвется, а партия, пришедшая к власти или отошедшая от власти, только и может, что чинить да штопать, чистить и мыть, и время от времени, приходя в отчаяние, предла-

гает отрубить руки и ноги непокорного тела, упрямо вырастающего из детских пеленок.

Это была столица противоречий и непоследовательности. На одном конце улицы сидел верховный хранитель воинской доблести, чести и престижа великой нации, не имеющей права заплатить собственным войскам то, что им следует по закону, пока не уладится какая-нибудь пустячная распря между двумя партиями. Бок о бок с ним сидел другой министр, обязанностью которого было представлять нацию за границей, посылая туда наименее характерных ее представителей — дипломатов, — и то только тогда, когда они оказывались неудачными политиками и избиратели находили, что они не достойны представлять страну на месте. Под стать этому национальному абсурду был другой: от бывшего политического деятеля ожидали, что он в течение четырех лет будет блюсти честь национального флага за океаном, которого он не переезжал ни разу в жизни, при помощи науки, азбуку которой он только-только начинал усваивать к концу этого срока, причем подчинялся он старшему чином сановнику, такому же невежественному в этой области, как и он сам, а тот, в свою очередь, подчинялся конгрессу, знавшему его только как политического деятеля. На другом конце улицы находилось другое министерство, такое обширное и с такими разнообразными функциями, что немногие из практических деятелей страны приняли бы на себя управление им даже за удесятенное жалованье; однако самая совершенная в мире конституция поручала этот пост людям, которые видели в нем лишь ступеньку к дальнейшему повышению. Было и еще одно министерство, на финансовые функции которого намекали его платежные списки, где проглядывала то расточительность, то экономия, — один Конгресс за другим постепенно отняли у него все другие функции; им заведовал чиновник, носивший звание хранителя и расточителя национальной казны и получавший такое жалованье, на какое не польстился бы ни один директор банка. Ибо такова была непоследовательность конституции и нелепость управления страной, что каждому чиновнику полагалось превосходить честностью, справедливостью и верностью долгу то правительство, которое он представлял. Но самой изумительной нелепостью было то, что время от времени суверенному народу предоставлялось право утверждать, будто бы все эти нелепости являются совершеннейшим выражением самого совершенного в мире образа правления. И следует отметить, что страна в лице ее представителей, ораторов и вольных поэтов единогласно это подтверждала.

Даже печать была на стороне великой нелепости. Если редакции газеты по левую сторону улицы было ясно как день, что в народе должен возродиться *дух* наших предков, иначе страна погибнет, то редакции другой газеты, по правую сторону улицы, было не менее ясно, что только неуклонная приверженность к *букве* их учения спасет нацию от гибели. Первой из названных газет было ясно, что под «буквой» следовало подразумевать помощь правительства другой газете, а эта другая газета, со своей стороны, полагала, что «дух» предков воскрешает и поддерживает лепта сенатора Х. Однако все были согласны в том, что это великое и совершенное правительство подвержено, правда, хищническим набегам многоголовой гидры, известной под названием «Клики». Происхождение этого чудовища окутано тайной, плодovitость его внушает ужас, оно без труда переваривает проглоченное, хотя прожорливость его сверхъестественна. Все дела оно окружило атмосферой загадочности, заволокло пылью и пеплом недоверия. Всякое недовольство, причиненное скупостью, неспособностью или честолюбием, можно без ошибки приписать ему. Оно проникло в частную и общественную жизнь: есть клики среди домашней прислуги; в школах, где живые детские умы держат в бездействии; есть клики привлекательных, красивых, распущенных юнцов, которые пользуются благосклонностью дам в ущерб более нравственным, но менее привлекательным представителям старшего поколения; есть коварные, заговорщицкие клики среди наших кредиторов, которые закрывают наш кредит и пускают нас по миру. Короче говоря, можно утверждать, не рискуя при этом ошибиться, что все злобное в общественной и частной жизни ведет свое начало от этой комбинации — власти меньшинства над слабостью большинства, — которая называется Кликой.

К счастью, существует корпорация полубогов, к которой до сих пор никто еще не обращался за помощью — она могла бы положить этому конец. Когда Смит из Миннесоты, Робинсон из Вермонта и Джонс из Джорджии, люди, свободные от провинциальных предрассудков, изумлявшие глубиной своих познаний, были избраны от этих сельских мест в Конгресс, то подразумевалось, что произойдут какие-то великие перемены. Это всегда подразумевается. Не было такого времени в истории политической жизни Америки, когда, выражаясь языком газет, упоминавшихся выше, «настоящая сессия Конгресса» не обещала бы «стать самым значительным событием в нашей истории», не оставила бы, говоря по существу,

множества незаконченных дел без всякой надежды на их окончание и не проглотила бы всей остальной массы дел наспех, так же мало заботясь о правильном пищеварении, как путешественник-американец, обедающий в станционном буфете.

Именно в этой столице, именно в этот томительно жаркий летний день, в одном из номеров второразрядной гостиницы сидел за письменным столом достопочтенный Пратт С. Гэшуилер. Бывают настолько обрюзгшие мужчины, что им неприлично показываться без воротничка и даже без галстука. Достопочтенный мистер Гэшуилер в брюках и рубашке являл собою зрелище, не предназначавшееся для целомудренных взоров. Его открытая шея настолько ясно намекала на массы жира, простиравшиеся далее, что свое дезабиле ему следовало бы скрывать от людей так же, как и свои темные делишки. Тем не менее, когда в дверь постучались, он решительно ответил: «Войдите!» — и, отодвинув правой рукой стакан, в котором плавали поверх жидкости душистые травы, поспешно придвинул левой корректуру своей будущей речи. На челе мистера Гэшуилера изобразилось проникновенное раздумье. Правый глаз незваного гостя с фамильярным выражением устремился на Гэшуилера, как на старого знакомого, в то время как левый окинул быстрым взглядом бумаги на столе и саркастически блеснул.

— Вы, как я вижу, заняты? — сказал он извиняющимся тоном.

— Да, — ответил член Конгресса, приняв рассеянно-скучающий вид, — это одна из моих речей. Проклятые наборщики все перепутали, — я, кажется, пишу не очень разборчиво.

Если б даровитый Гэшуилер прибавил, что он пишет не очень толково, и не очень правильно синтаксически, и при этом не очень грамотно, он не погрешил бы против истины, хотя из оригинала речи и корректуры, лежавшей перед ним, этого не было видно. Дело объяснялось тем, что эта речь была написана неким Экспектентом Доббсом, бедняком на посылках у Гэшуилера, и труды почтенного джентльмена заключались в том, что он вставлял кое-где в корректуру слова «анархия», «олигархия», «сатрап», «эгида» и «недремлющий Аргус» — кстати и некстати, почти не заботясь о связи с содержанием речи.

Незнакомец подметил все это своим коварным левым глазом, но правый его глаз взирал на окружающее по-прежнему кротко. Сняв сюртук и жилет Гэшуилера со стула, он подвинул его ближе к столу, оттолкнув в сторону внушительные, громко тикающие часы, точную копию



самого Гэшуилера, и, поставив локти на корректуру, сказал:

— Ну-с?

— У вас есть какие-нибудь новости? — спросил парламентски вежливый Гэшуилер.

— Да, и немалые! Женщина! — ответил незнакомец.

Хитрец Гэшуилер в ожидании дальнейших сведений решил отнестись к этому сообщению весело и галантно.

— Женщина? Дорогой мистер Уайлз, ну еще бы! Эти милые создания, — продолжал он, посмеиваясь наглым, жирным смешком, — везде сунут свой очаровательный носик. Ха-ха! Вращаясь в обществе, сэр, мужчина привыкает к этому, и ему известно, когда он должен проявить любезность — любезность, сэр, но и твердость в то же время! Я это знаю по опыту, сэр, по *собственному* опыту! — И член Конгресса откинулся на спинку стула с видом святого Антония, который устоял против одного искушения, чтобы поддаться другому.

— Да, — ответил Уайлз нетерпеливо, — но ведь она, черт ее возьми, не за нас!

— Не за нас! — озадаченно повторил Гэшуилер.

— Да. Это племянница старого Гарсии. Сущий чертенок.

— Так ведь Гарсия на нашей стороне, — возразил Гэшуилер.

— Да, но ее подкупила Клика.

— Женщина! — презрительно произнес Гэшуилер. — Где ей! Ну нет, нас не проведешь! Что она? Очень хороша собой?

— По-моему, она не красавица, — коротко ответил Уайлз, — однако говорят, что она поймала этого болвана Тэтчера, хотя он сухарь порядочный. Во всяком случае, он ей покровительствует. Она не то, что вы думаете, Гэшуилер. Говорят, будто бы она знает или делает вид, что знает что-то о подоплеке всей истории. У нее, может быть, есть какие-нибудь бумаги ее дядюшки. Эти мексиканцы такие идиоты: уж если он сделал какую-нибудь глупость, так, верно, напутал что-нибудь или не сумел замести следы. Эх, с такими-то шансами! Да будь я на его месте... — И мистер Уайлз вздохнул, огорченный несправедливостью судьбы, которая напрасно предоставляет такие случаи разиням.

Мистер Гэшуилер величественно выпрямился.

— Она не может нам повредить, — сказал он с достоинством.

Уайлз обратил на него свой иронический глаз:



— Мануэль и Мигель, которые продались нам, боятся ее. Они были свидетелями с нашей стороны. Я уверен, что они возьмут свои слова обратно, если она за них примется. А Педро думает, что его жизнь у нее в руках.

— Педро? У нее в руках? Каким образом? — спросил изумленный Гэшуилер.

Уайлз понял, что сделал промах, однако он понял и то, что зашел слишком далеко и отступать уже нельзя.

— Педро, — сказал он, — сильно подозревали в убийстве Кончо, одного из тех, кто нашел руду.

Мистер Гэшуилер побелел как полотно, потом побагровел так, что, казалось, его вот-вот хватит удар.

— И вы смеете говорить, — начал он, как только к нему вернулась способность владеть языком и ногами, ибо и то и другое было ему необходимо при отправлении законодательных функций, — вы хотите сказать, — заикался он, приходя в ярость, — что посмели обмануть американского законодателя и заставили его ходатайствовать о деле, которое связано с уголовным преступлением? Так ли я вас понял, сэр? Вы сказали, что убийство занесено в протокол этого дела, сэр, дела, в котором я принял участие, как официальный представитель города Римуса? Уж не хотите ли вы сказать, что ввели в заблуждение моих избирателей, священным доверием которых я облечен, принудив меня скрыть преступление от недремлющего ока правосудия? — И мистер Гэшуилер взглянул на звонок, будто собирался вызвать слугу, чтобы засвидетельствовать это оскорбление, нанесенное правосудию.

— Убийство, если оно и было, совершилось до того, как Гарсия заявил свои претензии и подал в суд, — невозмутимо возразил Уайлз, — и в деле о нем не говорится.

— Вы в этом уверены?

— Уверен. Вы можете убедиться в этом и сами.

Мистер Гэшуилер подошел к окну, потом возвратился к столу, одним глотком опорожнил свой стакан и, до некоторой степени восстановив утраченное достоинство, сказал:

— Это меняет дело.

Уайлз покосился на члена Конгресса левым глазом. Правый его глаз невозмутимо смотрел в окно. Помолчав, он спокойно сказал:

— Я привез вам акции, — переписать их на ваше имя?

Мистер Гэшуилер напрасно пытался сделать вид, будто не понимает слов Уайлза.

— Ах да! Гм! Позвольте — да, да, да, — акции! Ну, конечно, да, вы можете перевести их на имя моего секретаря мистера Доббса. Они, быть может, вознаградят его за

ту излишнюю письменную работу, которую он нес в связи с вашим делом. Это весьма достойный молодой человек. Хотя он не служит, однако он так близок ко мне, что, быть может, я поступаю ошибочно, позволяя ему принять вознаграждение от частного лица. Представитель американского народа, мистер Уайлз, должен быть весьма осмотрителен в своих поступках. Пожалуй, будет лучше, если вы передадите их без указания имени нового владельца? Насколько я понимаю, акции еще не выпущены на рынок. Мистер Доббс — человек достойный и даровитый, но он беден: он, быть может, захочет реализовать эти бумаги. И если какой-нибудь... гм!.. друг!.. располагающий средствами, захочет рискнуть капиталом и выдать ему авансом некоторую сумму наличными, — что ж, это будет доброе дело.

— Ваше великодушие всем известно, мистер Гэшуилер, — заметил Уайлз, открывая и закрывая левый глаз, наподобие потайного фонаря, и устремляя его на щедрого представителя американского народа.

— Молодежь следует поощрять, когда она трудолюбива и почтительна, — возразил мистер Гэшуилер. — Не так давно я имел случай указать на это в своей речи в воскресной школе в Римусе. Благодарю вас, я уж сам позабочусь о том, чтобы акции были... гм!.. переданы мистеру Доббсу. Я передам их лично, — заключил он, откидываясь на спинку стула, словно созерцая открывшуюся перед ним перспективу собственного великодушия и щедрости.

Мистер Уайлз взял шляпу и повернулся к дверям. Не успел он дойти до порога, как мистер Гэшуилер, снисходительно посмеиваясь, спросил его уже более игривым тоном:

— Вы говорите, что эта женщина, племянница Гарсии, бойка и недурна собой?

— Да.

— Так я знаю другую женщину, которая в любое время ее обставит!

Мистер Уайлз был умен и сделал вид, что не понимает, насколько такой фривольный тон не приличествует члену Конгресса; он только заметил, глядя на него правым глазом:

— Вот как?

— Клянусь богом, не будь я членом Конгресса.

Мистер Уайлз благодарно посмотрел на Гэшуилера правым глазом, а левым метнул на него убийственный взгляд.

— Это хорошо, — сказал он и прибавил вкрадчивым тоном: — Она живет здесь?

Член Конгресса утвердительно кивнул головой.

— Замечательно красивая женщина — и моя близкая приятельница!

Было видно, что мистер Гэшуилер ничего не имеет против подшучивания над его близостью с такой красавицей, но коварный Уайлз, заметив это, тут же подумал, что надо втереться к прекрасной незнакомке, если он хочет прибрать к рукам Гэшуилера. Он решил выждать время и удалился.

Не успела дверь закрыться за Уайлзом, как внимание Гэшуилера было отвлечено от корректуры новым стуком. Дверь открылась, и вошел молодой человек, рыжеватый, со встревоженным лицом. Он вошел боязливо, склонив голову перед высшим существом, которое внушало страх и принимало моления. Мистер Гэшуилер не попытался разуверить его.

— Вы видите, я занят, — буркнул он, — правлю вашу работу!

— Надеюсь, что она не так плоха, — робко сказал молодой человек.

— Гм, да, сойдет, пожалуй, — ответил Гэшуилер, — я думаю, в общем, ее можно назвать удовлетворительной...

— У вас нет ничего нового? — продолжал молодой человек, и к щекам его прилила легкая краска, порожденная самолюбием и надеждой.

— Нет, пока еще ничего нет. — Мистер Гэшуилер сделал паузу, словно в голову ему пришла новая мысль.

— Я думаю, — сказал он наконец, — что какое-нибудь место, ну хотя бы моего секретаря, поможет вам получить назначение на государственную службу. Предположим, я сделаю вас моим личным секретарем и дам вам какое-нибудь важное, конфиденциальное поручение. А? Как, по-вашему?

Доббс глядел на своего патрона тоскливым и полным надежды собачьим взглядом, беспокойно вертясь на стуле, словно заранее выражая этим свою благодарность; казалось, будь у него хвост, он непременно завилял бы им. Мистер Гэшуилер принял еще более внушительный вид.

— Собственно говоря, я это уже имел в виду, намереваясь поручить вам кое-какие бумаги, на которых стоит ваше имя, — вам остается только сделать передаточную надпись, и тогда я с чистой совестью смог бы рекомендовать вас как моего... гм!.. личного секретаря. Быть может, вам лучше было бы теперь же сделать передаточную надпись, раз вы уже здесь, и, так сказать, приступить к выполнению своих обязанностей.

Краска гордости и надежды, которая залила щеки бедного Доббса, могла бы смягчить и более жестокого человека, чем Гэшуилер. Но сенаторская тога придала мистеру Гэшуилеру более чем римский стоицизм по отношению к чувствам его ближних, и он только откинулся на спинку стула, сообщив своему лицу выражение непогрешимой справедливости, в то время как Доббс торопливо подписывал бумаги.

— Я положу их в свой портфель для сохранности, — сказал Гэшуилер, сопровождая слова делом. — Мне нечего напоминать вам — вы теперь находитесь в преддверии государственной службы, — что полная и ненарушимая тайна во всех государственных делах, — тут мистер Гэшуилер указал на свой портфель, как будто бы в нем хранился по меньшей мере какой-нибудь международный договор, — совершенно необходима и крайне важна.

Доббс согласился с этим.

— Значит, я обязан находиться при вас? — спросил он нерешительно.

— Нет, нет! — поспешно ответил Гэшуилер. — То есть, во всяком случае, не теперь.

Лицо бедняги Доббса вытянулось. Дело в том, что ему не так давно предложили съехать с квартиры, за которую он много задолжал, и он надеялся, что место секретаря связано со столом и квартирой. Но он спросил только, не нужно ли составить еще какой-нибудь доклад.

— Гм! Только не сейчас: мне приходится уделять много времени посетителям, — даже сегодня я принял чуть ли не десять человек; теперь я вынужден буду запереться на весь день и не пускать больше никого.

Почувствовав в этих словах намек на то, что аудиенция окончена, новоиспеченный секретарь, несколько разочарованный в своих надеждах, но радостно уповающий на будущее, почтительно откланялся и ушел.

Но тут провидение, быть может, заботясь о бедном Доббсе, вложило в его неумелые руки средство, которое могло бы дать ему перевес над противником в том случае, если б он сумел им воспользоваться. Спустившись с лестницы и проходя по коридору нижнего этажа, он стал невольным свидетелем следующего замечательного события.

Оказалось, что у мистера Уайлза, который покинул Гэшуилера, когда доложили о Доббсе, было еще одно дело, в этой же гостинице, и, чтобы покончить с ним, он постучался в дверь № 90. Грубый голос пригласил его войти, и мистер Уайлз, отворив дверь, увидел на кровати длин-

ную плечистую фигуру с рыжей бородой, плотно укутанную одеялом.

Мистер Уайлз просиял правой щекой и приблизился к кровати, вероятно, для того, чтобы пожать руку незнакомцу, который, однако, ни словом, ни движением не ответил на его приветствие.

— Может быть, я помешал вам? — вкрадчиво спросил мистер Уайлз.

— Может быть, — сухо отвечала Рыжая Борода.

Мистер Уайлз принужденно улыбнулся правой щекой, обращенной к обидчику, левая же щека выразила беспредельную злобу.

— Я хотел только узнать, рассмотрели вы это дело или нет? — сказал он кротко.

— Я его рассмотрел и вдоль, и поперек, и насквозь, заглядывал и выше, и ниже, и вокруг, и около, — ответил незнакомец без улыбки, не сводя глаз с мистера Уайлза.

— Вы прочли все бумаги? — продолжал мистер Уайлз.

— Я прочел каждую бумажку, каждую речь, каждое показание, каждое решение, — сказал незнакомец, словно повторяя формулу.

Мистер Уайлз попытался скрыть свое смущение любезной улыбкой на правой стороне лица, отчего сардонически перекосилась левая, и продолжал:

— В таком случае, дорогой сэр, я надеюсь, что, изучив дело в совершенстве, вы составили мнение в нашу пользу.

Джентльмен в кровати не ответил и только плотнее завернулся в одеяло.

— Я принес те акции, о которых говорил вам, — вкрадчиво продолжал мистер Уайлз.

— Есть у вас какой-нибудь приятель поблизости? — преспокойно прервал его лежащий в кровати джентльмен.

— Я не вполне вас понимаю, — улыбнулся мистер Уайлз, — конечно, любое предложенное вами имя...

— Есть у вас приятель, кто-нибудь, кого вы могли бы позвать сюда в любую минуту? — продолжал человек в кровати. — Нет? А кого-нибудь из коридорных вы знаете? Вон там звонок! — И он указал глазами на стену, но не двинулся с места.

— Нет, — сказал Уайлз, начиная что-то подозревать и злиться.

— Может быть, годится и посторонний? Кто-то идет по коридору. Позовите его, годится и он!

Уайлз нетерпеливо распахнул дверь и вопросительно взглянул на проходившего мимо Доббса.

Человек в постели позвал его:

— Эй, приятель! — И, когда Доббс остановился, сказал: — Подите-ка сюда.

Доббс вошел, слегка робея, как всегда с незнакомыми людьми.

— Я не знаю, кто вы такой, и знать не желаю. А вот это Уайлз, — сказал незнакомец, указывая на Уайлза. — Я Джош Сиббли из Фресно, член Конгресса от четвертого избирательного округа Калифорнии. Держу по пистолету в каждой руке, лежу, накрывшись одеялом, и едва сдерживаюсь, чтобы не снести полчерепа этому мерзавцу. Чувствую, что дольше не могу сдерживаться. Я хочу вам сказать, приятель, что вот этот самый мошенник, зовут его Уайлз, рассыпался мелким бесом, стараясь всунуть мне взятку, мне, Джошу Сиббли, а Джош, из уважения к своим избирателям, предпочел позвать кого-нибудь, чтобы он нас разнял.

— Но, дорогой мистер Сиббли, здесь какое-то недоразумение, — горячо запротестовал Уайлз.

— Недоразумение? А ну-ка, скинь с меня одеяло!

— Нет, нет, не нужно, — запротестовал Уайлз, когда простодушный Доббс собрался откинуть одеяло.

— Уберите его, — сказал почтенный мистер Сиббли, — чтоб я не опозорился перед избирателями. Говорили же мне, что я до конца сессии не выдержу, засадят меня в тюрьму. Если в вас есть хоть что-нибудь человеческое, приятель, тащите его вон, да поживей.

Доббс, испуганный и бледный, смотрел на Уайлза в нерешительности. Кровать слегка закрипела. Оба они бросились к двери и через секунду весьма решительно ее захлопнули.

## ГЛАВА XI

### Как хлопотали в кулуарах

Достопочтенный Пратт С. Гэшуилер, член Конгресса, конечно, не подозревал о событии, описанном в предыдущей главе. Его тайна, даже сделавшись известной Доббсу, оставалась в безопасности, попав в руки этого простодушного и достойного джентльмена; и уж, разумеется, тайна эта была не такого рода, чтобы мистер Уайлз захотел ее выдать. Мистер Уайлз, невзирая на свое поражение, разбирался в людях и понимал, что разъяренный депутат от Фресно удовольствовался тем, что по-своему отомстил за покушение на неприкосновенность своей личности, и не станет предавать его огласке.

Кроме того, Уайлз был убежден, что Доббс замешан в делах Гэшуилера и будет молчать, опасаясь за свою шкуру. Да и каждый мошенник в стране непременно назвал бы беднягу Доббса пройдохой, что нередко выпадает на долю честных, но слабохарактерных людей.

Из всего этого можно заключить, что спокойствие Гэшуилера не было потревожено. После того как дверь закрылась за мистером Уайлзом, Гэшуилер написал записку и отослал ее с нарочным, приложив к ней поразительно безвкусный букет, подобранный заново его собственными жирными руками так, что варварское смешение красок резало глаза. Затем он приступил к своему туалету — процедура, которая не представляет ничего интересного и изящного, когда ее совершает мужчина, и просто оскорбляет глаз, если ее совершает толстяк. Надев чистую рубашку необъятной ширины и белый жилет, от которого его живот стал еще толще, мистер Гэшуилер облачился в черный сюртук самого модного покроя и самодовольно оглядел себя в зеркало. Следует заметить, что результат мог казаться удовлетворительным только самому мистеру Гэшуилеру, но не беспристрастному зрителю. Есть люди, которым «эта уродливая воровка — мода» мстит за себя тем, что платье на них всегда кажется обношенным. Лоск, наведенный портновским утюгом, бросался в глаза, заглаженные складки топорщились, изобличая новизну костюма. Парадный костюм мистера Гэшуилера всегда производил впечатление с иголочки нового, хотя это не соответствовало истине, и на широкой спине законодателя так явственно читалось: «Наша собственная модель», «элегантно» и «последний крик моды, всего пятнадцать долларов», — словно ярлык был еще не сорван.

Облачившись в этот костюм, через час он и сам отправился туда же, куда были посланы букет и записка. Дом этот был когда-то резиденцией иностранного посла, который, честно служа своему правительству, заключил совершенно ненужный договор, теперь уже забытый, и давал обеды и приемы, еще памятные случайным посетителям его салона — теперь средней и довольно скучной американской гостиной. «Боже мой, — говаривал неотразимый мистер Х, — помнится, в этой самой гостиной, моя дорогая, я познакомился с известным маркизом Монте Пио», — а блистательный Джонс из государственного департамента одной фразой мгновенно уничтожал разорившегося друга, к которому зашел с визитом: «Честное слово, кто бы мог подумать, что ты попадешь сюда! А ведь не так давно я целый час болтал с графиней де Кастене в этом самом уголке». Ибо, когда посол был отозван,



особняк превратился в меблированные комнаты, которые содержала жена одного чиновника.

Быть может, во всей истории этого дома не было ничего более оригинального и поучительного, чем история его теперешнего обитателя. Роджер Фокье прослужил в министерстве ровно сорок лет. Все его везенье и невезенье объяснялось тем, что он слишком рано был назначен на должность, в которой требовалось основательно знать весь порядок дел в министерстве, которое расходовало миллионы государственных денег. Фокье получал небольшое жалованье, которое с годами уменьшалось, а не увеличивалось; на его глазах развернулось, процвело и засохло на корню не одно правительство, а он занимал все то же место, потому что его знания были необходимы и начальникам и подчиненным, сменявшим один другого. Правда, однажды его уволил новый министр, чтобы дать место своему соратнику, чьи незаменимые услуги во время избирательной кампании доказали, что он способен занять любую должность; однако после неприятного открытия, что новый служащий знает грамматику хуже самого министра и что из-за его неосведомленности дела запутались и государство понесло убыток в полмиллиона, мистера Фокье восстановили в должности, *уменьшив ему жалованье*. Во всем чувствовалось отсутствие порядка, а так как, приступая к реформам, Конгресс и правительство прежде всего убавляли жалованье чиновникам, то мистер Фокье пострадал одним из первых. Он был прирожденным джентльменом с довольно разборчивым вкусом и привык жить на старое свое жалованье; эта перемена заставила и миссис Фокье искать заработка — она попыталась, правда, не слишком успешно, извлечь доход из старого южного гостеприимства. Но беднягу Фокье нельзя было заставить подать счет джентльмену, к тому же одни отпрыски лучших южных семейств все еще дожидались назначения на должность, другие были только что уволены с должности, и этот опыт не принес дохода. Однако дом пользовался прекрасной репутацией и никогда не пустовал, и в самом деле, стоило посмотреть, как старик Фокье сидит во главе стола по дедовскому обычаю и рассказывает анекдоты о великих людях прошлого, что прерывалось только визитами назойливых кредиторов.

Среди тех, кого мистер Фокье называл «своим маленьким семейством», выделялась одна черноглазая дама, обладавшая неотразимым очарованием и пользовавшаяся в здешних местах репутацией кокетки. Однако покладистый и снисходительный муж терпел эти уклонения с пути истинного смиренно, и даже с восхищением взирал на

забавы своей супруги, и, казалось, молчаливо одобрял такое поведение. Никто не обращал внимания на Гопкинсона; в ослепительном сиянии достоинств миссис Гопкинсон он был совсем незаметен. Некоторые дамы, мужья которых питали слабость к женскому полу, а также те из девиц, которые засиделись дольше других, строго осуждали поведение миссис Гопкинсон. Мужчины помоложе, конечно, восхищались ею, но главной опорой миссис Гопкинсон были, как мне кажется, старики, вроде нас с вами. Именно этим невозмутимо-самодовольным, снисходительным, философически-равнодушным *pater familias*<sup>1</sup> с необъятной талией обязаны своим местом на общественном небосводе легкомысленные и беззаботные представительницы прекрасного пола. Мы не склонны к придирчивости, мы смеемся над тем, что наши жены и дочери считают непростительным грехом. Мы поддаемся очарованию хорошенького личика. Боже мой, нам по горькому опыту известно, чего стоит мнение одной женщины о другой женщине; мы хотим, чтобы наша очаровательная маленькая приятельница блистала в обществе; ведь только легкомысленные мотыльки обожгут свои грошовые крылышки в пламени! Да почему бы и нет? Природе было угодно создать больше мотыльков, чем свечей. Что ж! Пусть хорошенькое создание — будь она девушка, жена или вдова — повеселится! Итак, дорогой сэр, в то время как *mater familias*<sup>2</sup> неодобрительно хмурит черные брови, мы улыбаемся снисходительной улыбкой и оказываем госпоже «Неизвестной» свое благосклонное покровительство. И если Легкомыслие нас благодарит, если Безрассудство к нам дружески расположено, — что же, мы тут ни при чем. Это, пожалуй, подтверждает нашу точку зрения.

Я хотел сказать несколько слов о Гопкинсоне, но говорить о нем, право же, почти нечего. Он отличался неизменным благодушием. Некоторые дамы пытались убедить его, что ему следовало бы больше огорчаться поведением жены, и говорят, будто бы Гопкинсон в избытке благодушия и любезности пообещал даже и это. Добрый малый был до такой степени отзывчив, что молодой Деланси из министерства Волокиты будто бы жаловался ему на своего соперника и открыл ужасную тайну: что он (Деланси) вправе ожидать большего постоянства от его (Гопкинсона) жены. По его словам, добряк ему очень сочувствовал и обещал повлиять на жену в пользу Деланси.

---

<sup>1</sup> Отец семейства (*лат.*).

<sup>2</sup> Мать семейства (*лат.*).

— Видите ли, — объяснил Гопкинсон Деланси, — она так занята в последнее время, что стала немножко забывчива, такова уж женская натура. Если мне самому не удастся уломать ее, я поговорю с Гэшуилером — постараюсь, чтобы он повлиял на миссис Гопкинсон. Не горюйте, мой мальчик, он это уладит.

Букеты на столе миссис Гопкинсон появлялись часто, однако букет Гэшуилера туда не попал. Варварское сочетание красок оскорбило ее глаз — замечено, что хороший вкус переживает крушение всех остальных женских добродетелей, — и она употребила этот букет на бутоньерки для других джентльменов. Тем не менее, когда появился Гэшуилер, она поспешила сказать ему, приложив маленькую ручку к сердцу:

— Я очень рада, что вы пришли. Но вы так меня напугали час назад.

Мистер Гэшуилер был и польщен и вместе с тем удивлен.

— Что же я сделал такого, милая миссис Гопкинсон? — начал он.

— Ах, и не говорите лучше! — воскликнула она печально. — Что вы сделали? Вот это мило! Вы прислали мне этот прекрасный букет. Я не могла не узнать вашего вкуса в подборе цветов, но мой муж был дома. Вы знаете, как он ревнив! Мне пришлось от него спрятать букет. Обещайте мне никогда больше этого не делать.

Мистер Гэшуилер галантно запротестовал.

— Нет, нет! Я говорю серьезно. Я была так взволнована, он, должно быть, заметил, как я покраснела.

Только такой падкий на лесть человек, как мистер Гэшуилер, мог не заметить совершенной нелепости этих слов, произнесенных с девической застенчивостью. Тем не менее он спросил:

— С чего же это он стал так ревнив? Только третьего дня я видел, как Симпсон из Дулута поднес вам букет у него на глазах.

— Ах, — возразила миссис Гопкинсон, — тогда он только *казался* спокойным, — вы не знаете, какую он мне сделал сцену, когда вы ушли.

— Что вы, — удивился практический Гэшуилер, — ведь Симпсон устроил вашему мужу подряд, который принес ему ровнехонько пятьдесят тысяч.

Миссис Гопкинсон посмотрела на Гэшуилера с достоинством, насколько это было уместно при росте в пять футов три дюйма (лишние три дюйма приходились на пирамиду волос соломенного цвета), челке из легких завитков, лукавых голубых глазах и стянутой поясом тоненькой талии. Потом она сказала, опустив ресницы:

— Вы забываете, что муж меня любит.

И тут кокетка приняла вид кающейся грешницы. Ей это шло, хотя обычно покаяние разыгрывалось в простом белом платье, слегка оживленном бледно-голубыми лентами: пышные сиреневые оборки с розовой каймой не вполне соответствовали этой роли. Однако женщина, которая боится нарушить стиль своего туалета неподходящим выражением лица, наверняка проигрывает. А миссис Гопкинсон всегда оставалась победительницей именно благодаря своей смелости.

Мистер Гэшуилер был польщен. Даже самым распушенным людям нравится показная добродетель.

— Однако ваша грация и ваши таланты, милая миссис Гопкинсон,— сказал он елейным тоном,— принадлежат всей стране.— И постарался представить эту страну поклоном скорее чопорным, чем любезным.— Я сам думал воспользоваться вашими талантами для дела Кастро. Маленький ужин у Велкера, стакан-другой шампанского, один быстрый взгляд этих ясных глазок — и дело в шляпе.

— Но я обещала Джозайе бросить все эти пустяки,— сказала миссис Гопкинсон,— и хотя совесть моя чиста, вы знаете, какие у всех язычки! А Джозайя все это слышит. Еще вчера вечером, на приеме у патагонского посланника, все женщины сплетничали на мой счет из-за того, что я танцевала с ним котильон в первой паре. Неужели женщине, муж которой имеет дела с правительством, нельзя быть любезной с представителем дружественной державы?

Мистеру Гэшуилеру было не совсем понятно, почему, собственно, контракт мистера Гопкинсона на поставку солонины и консервов для армии Соединенных Штатов обязывает его жену принимать ухаживания знатных иностранцев, но он благоразумно воздержался от вопросов. Однако, не будучи дипломатом, он все-таки заметил:

— Насколько я понял, мистер Гопкинсон не возражал против того, чтоб вы приняли участие в этом деле, и, как вы знаете, некоторое количество акций...

Миссис Гопкинсон вздрогнула.

— Акции! Дорогой мистер Гэшуилер, ради бога, не произносите при мне этого ужасного слова! Акции! Мне противно о них слышать! Неужели нет других тем для разговора с дамой?

Она подчеркнула эту фразу, бросив лукавый взгляд на собеседника. И, как мне это ни прискорбно, мистер Гэшуилер не устоял и на этот раз. Славные граждане города Римуса, нужно надеяться, оставались в счастливом неведении относительно этого последнего поражения своего ве-

ликого законодателя. Мистер Гэшуилер совсем забыл о деле и начал усердно осыпать свою даму неуклюжими любезностями, достойными бегемота, и, надо сказать к ее чести, она парировала их игриво и ловко, с проворством фокстерьера, когда слуга доложил о приходе мистера Уайлза.

Гэшуилер насторожился. Зато миссис Гопкинсон оставалась спокойной, — впрочем, она осторожно отодвинула свой стул от стула Гэшуилера.

— Вы знакомы с мистером Уайлзом? — спросила она любезно.

— Нет! То есть... гм!.. да. Мне приходилось иметь с ним дело, — отвечал Гэшуилер, вставая.

— Может быть, вы останетесь? — прибавила она умоляюще. — Пожалуйста, останьтесь!

Благоразумие мистера Гэшуилера, как всегда, одержало верх над любезностью.

— Лучше я зайду после, — ответил он в замешательстве. — Мне, может быть, лучше уйти, чтобы не было сплетен, о которых вы рассказывали. Вам не нужно упоминать мое имя при этом... как его... Уайлзе.

И, покосившись одним глазом на дверь, он неловко поцеловал пальчики миссис Гопкинсон и удалился.

Мистер Уайлз без предисловий приступил к делу:

— Гэшуилер говорит, будто бы ему известна женщина, которая способна потягаться с этой приезжей испанкой со всеми ее доказательствами, красотой, обаянием и прочим. Эту женщину вы должны разыскать.

— Зачем? — с улыбкой спросила миссис Гопкинсон.

— За тем, что я не верю Гэшуилеру. Женщина с хорошеньким личиком, у которой есть хоть капля здравого смысла, может предать его и нас вместе с ним.

— Ну, скажем, две капли здравого смысла, мистер Уайлз. Мистер Гэшуилер не так глуп.

— Может быть, но не тогда, когда дело касается женщин, а эта женщина, надо полагать, умней его.

— Ну, я думаю, — сказала миссис Гопкинсон, лукаво улыбаясь.

— Так вы ее знаете?

— Не так хорошо, как его, — сказала миссис Гопкинсон совершенно серьезно. — Я хотела бы знать ее не хуже.

— Ну, так узнайте, можно ли ей доверять. Вы смееетесь, а дело нешуточное! Эта женщина...

Миссис Гопкинсон сделала изящный реверанс и сказала:

— *C'est moi*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Это я (*фр.*).

## Кто прибудет скорее

Ройэл Тэтчер работал не покладая рук. По всему его поведению казалось, что похожая на мальчика маленькая художница, пользовавшаяся его гостеприимством на руднике «Синяя пиллюля», не будет играть большой роли в деятельной жизни Тэтчера. Теперь его единственной возлюбленной была руда, она отнимала все его время, приводила в отчаяние изменчивостью, но требовала всей преданности, на какую он был способен. Возможно, мисс Кармен понимала это и с чисто женским тактом постаралась не то чтобы стать на место соперницы, но хотя бы бороться с ее влиянием. Помимо этого, она усердно занималась своим делом; хотя боюсь, что оно не приносило ей больших доходов. Доморощенное искусство мало ценилось в Калифорнии. Местные ландшафты еще не успели прославиться; прославить их было суждено одному художнику из восточных штатов, уже и тогда знаменитому, и люди мало заботились о воспроизведении того, что они видели изо дня в день собственными глазами и ничуть не ценили. И потому сеньорита Кармен разменивала свой талант на мелкую монету для поддержания своей маленькой особы и занималась керамикой, росписью по бархату и фарфору, разрисовыванием требников и другими работами в том же роде. У меня есть восковые цветы — изумительная фуксия и поразительный георгин, купленные за гроши у этой маленькой женщины, картины которой получили премию на выставке за границей и которую калифорнийские газеты называли гениальной дочерью Калифорнии, после того как эта самая Калифорния чуть не уморила ее голодом.

Об этой борьбе и победах Тэтчер не знал ровно ничего, однако он взволновался, не желая сознаться в этом самому себе, когда в один декабрьский день получил следующую телеграмму:

«НЕМЕДЛЕННО ВЫЕЗЖАЙТЕ В ВАШИНГТОН.

КАРМЕН ДЕ ГАРО».

«Кармен де Гаро»! Как ни прискорбно, я должен сказать, что этот человек, которому суждено было стать героем единственного любовного эпизода в этой повести, был настолько занят делами, что не сразу сообразил, кто она такая.

Вспомнив стойкую маленькую девушку, которая так мужественно сопротивлялась ему, а потом чисто по-жен-

ски убежала, Тэтчер был сначала заинтригован, а потом стал упрекать самого себя. Он смутно чувствовал, что сам себе противоречит. Он был невнимателен к дочери своего врага. Но зачем она посылает ему депеши и что она делает в Вашингтоне? На все эти вопросы, надо отдать ему справедливость, он не искал романтического ответа. Ройэл Тэтчер был скромн от природы и не преувеличивал своих успехов у женщин, как не преувеличивает их большинство мужчин, имеющих шансы на успех, несмотря на то, что с давних пор принято утверждать обратное. На десяток женщин, которых может покорить простая дерзость, приходится сотни таких, которых скорее тронет полная достоинства сдержанность. А уж когда женщине приходится первой делать авансы, она обычно доводит дело до конца. Тэтчер был настолько изумлен, что не заметил письма, лежащего на столе. Оно было от его поверенного в Вашингтоне. Заключительный абзац привлек его внимание:

*«Быть может, лучше вам самому приехать сюда. Роскоммон здесь, и, как говорят, недавно приехала племянница Гарсии, которая сможет привлечь симпатии общества на сторону мексиканца. Я не знаю, что они хотят доказать с ее помощью, но, по слухам, она очень привлекательна и умна и уже завоевала здесь сочувствие».*

Тэтчер бросил письмо в возмущении. Сильные мужчины не меньше слабых женщин склонны быть непоследовательными там, где замешано чувство. Какое право имела эта былинка, которую он лелеял — он был теперь совершенно уверен, что лелеял ее и страдал от разлуки, — какое право имела она так внезапно расцвести под лучами вашингтонского солнца — для того, чтоб ее сорвал кто-нибудь из его врагов? Он не мог согласиться со своим поверенным, что она имеет какое-то отношение к его врагам, — настолько-то он еще верил в ее чисто мужскую порядочность. Но там было нечто опасное для женской души — блеск, могущество, лесть. Теперь он был почти так же твердо уверен в том, что его бросили и забыли, как несколько минут тому назад — в том, что он сам был не слишком внимателен. Раздражения, хотя и мимолетного, было достаточно, чтобы решиться: он послал телеграмму в Сан-Франциско и, опоздав на пароход, решил отправиться сушей через весь континент; потом передумал и чуть не вернул билет через час после того, как он был куплен. Тем не менее, сделав один ложный шаг, он, как подобает мужчине, не отступил, чтобы не упрекать себя в непоследовательности. Однако он не был вполне



уверен в том, что его путешествие вызвано чисто деловыми соображениями. По-женски слабая, порывистая сеньорита Кармен одержала победу над сильным мужчиной.

В то время была построена только небольшая часть трансконтинентальной железной дороги. Она вдавалась с обеих сторон наподобие мола в необозримое море пустыни, через которое еще не был перекинут мост. Путешественник, сходя с поезда в Рено, расставался с цивилизацией, и до границы штата Небраска приходилось добираться по старым караванным путям на дилижансе Континентальной компании. Везде, кроме «Чертова каньона», дорога была ровная и неживописная, а перевал через Скалистые горы, вовсе не отличавшийся пресловутой поэтичностью пейзажа, напоминал скорее бесплодные просторы равнин Новой Англии. Монотонная скука путешествия, в которую неудобства отнюдь не вносили разнообразия, так как серьезные происшествия были редки, губительно действовала на нервную систему. Нередко бывали и случаи помешательства. «На третий день пути, — рассказывал кучер дилижанса Хэнк Монк, вскользь, но сочувственно упоминая об одном из пассажиров, — на третий день пути он стал без конца задавать вопросы и, не получая на них ответа, принялся жевать соломинки, таская их из подушек, а потом стал вроде как ругаться потихоньку. С этого дня я понял, что его дело — каюк, и прикрутил его к заднему сиденью, а добравшись до Шайенна, сдал с рук на руки каким-то знакомым, а он рвался и метался, и ругал на чем свет стоит Бена Холлидея, нашего почтенного хозяина». Предполагают, что злосчастный путешественник негодовал на покойного Бенджамина Холлидея, в то время владельца конторы дилижансов, — а это было явным признаком помешательства, в чем не усомнится никто из знавших лично этого великодушного, щепетильного и утонченно-культурного калифорнийца, впоследствии породнившегося с иноземной знатью.

Мистер Ройэл Тэтчер был слишком опытным и закаленным в бедствиях путешественником, чтобы не покориться с ироническим терпением калифорнийскому способу выколачивания денег. Предполагалось, что эту дорогу избирают лишь те, кто едет из Калифорнии с какими-либо темными целями, и потому жертвам дорожных неудобств сочувствовали мало. Уравновешенный темперамент Тэтчера и его железная воля сослужили ему хорошую службу — помогли не унывая переносить дорожные невзгоды. Он ел что придется, спал где придется и не жаловался, его выносливость снискала даже похвалу кондуктора. Под выносливостью подразумевалась, кстати сказать,

способность пассажира мириться с такими порядками. Правда, он не раз жалел, что не поехал пароходом, но потом вспомнил, что был одним из членов комитета бдительности, которые поклялись повесить этого превосходного человека, покойного командора Уильяма Г. Вандербильта, за жестокое обращение с палубными пассажирами. Я упоминаю об этом просто для того, чтобы показать, как такой опытный и практический путешественник, каким был Тэтчер, мог объяснять жадностью и грубостью то, что следовало приписать сложности управления крупной пароходной компанией: ему, как и другим калифорнийцам, было, по всей вероятности, неизвестно, что великий миллионер, по свидетельству его духовника, до конца жизни оставался невинен душой, как младенец.

Тем не менее Тэтчер находил время оказывать услуги своим спутникам и так очаровал Юбу Билла, что тот предложил ему занять место на козлах.

— Как же так, — озабоченно спросил Тэтчер, — ведь место на козлах было куплено другим джентльменом в Сакраменто? Он доплатил за это место, и его фамилия стоит у вас в списке пассажиров!

— Это меня мало трогает, — презрительно ответил Юба Билл, — хотя бы он заплатил за весь дилижанс. Послушайте, зачем я буду портить себе настроение и посажу рядом этого косоглазого? И еще какого! Фью-у-у! Да вот, будь ты неладен, на днях, когда мы поили лошадей у Вебстера, он слез и прошел мимо пристяжной, вот этой самой пегой кобылки; она привычная и к индейцам, и к гризли, и к бизонам, а как только он взглянул на нее этим своим глазом, она сразу взвилась на дыбы, ей-богу; я уж было думал, что мне придется снять с нее шоры и приспособить их этому пассажиру.

— Но ведь он заплатил деньги и имеет право на свое место? — настаивал Тэтчер.

— Может быть, и имеет в конторе дилижансов, — проворчал Юба Билл, — а только пора бы, кажется, знать, что в дороге хозяин я!

Это было достаточно ясно большинству пассажиров.

— По-моему, он такой же полный хозяин на этой унылой равнине, как капитан корабля в открытом море, — объяснил Тэтчер кривоглазому незнакомцу. Мистер Уайлз — читатель, без сомнения, узнал его — выразил согласие тем глазом, который был обращен к публике, и мстительно посмотрел другим на Юбу Билла, в то время как Тэтчер, не подозревавший о присутствии своего злейшего врага, уговорил Билла восстановить мистера Уайлза в его правах. Уайлз поблагодарил его.

— Долго ли мы будем иметь удовольствие ехать в вашем обществе? — вкрадчиво спросил Уайлз.

— До самого Вашингтона, — ответил Тэтчер откровенно.

— Веселый город во время сессии, — снова намекнул незнакомец.

— Я еду по делам, — напрямик ответил Тэтчер.

Возле Соснового Брода произошло незначительное событие, отнюдь не увеличившее расположения Билла к незнакомцу. Когда Билл отпер ящик под козлами, святая святых, где хранились сокровища компании дилижансов Уэлса, Фарго и К°, мистер Уайлз заметил среди поклажи маленький чемодан из черного сафьяна.

— Ах, вот как, вы здесь возите и багаж? — сказал он любезным тоном.

— Не часто, — коротко ответил Юба Билл.

— Так, значит, в этом чемодане ценности?

— Он принадлежит тому пассажиру, на чьем месте вы сидите, — сказал Юба Билл, который, чтобы уязвить незнакомца, упорно утверждал, что тот занял чужое место. — Народ тут собрался разный, и если пассажир желает держать свой чемодан под замком, то это никого не касается. Кто, черт возьми, управляет этим экипажем, — продолжал Билл, разыгрывая припадок бешенства, — а? Может, вы сидите тут на козлах и воображаете себя хозяином? Может, вы думаете, что видите за милю вперед этим вашим глазом и у вас хватит сил удержать лошадей на поворотах и там, где дорога идет под гору?

Но тут снова вмешался Тэтчер, вечный защитник угнетенных, и Юба Билл замолчал.

На четвертый день они попали в слепящую глаза снежную бурю при подъеме на пустынное плоскогорье, по которому им предстояло проехать следующие шестьсот миль. Лошади, с трудом пробившись через заносы, пришли к станции совершенно обессиленными, и будущее казалось сомнительным всем, кроме бывалых людей. Некоторые из пассажиров советовали пересест в сани и ехать дальше, другие — переждать на станции, пока не переменится погода. Один Юба Билл стоял за то, чтоб продолжать путешествие в дилижансе.

— Еще две мили, и мы будем на перевале, где ветер такой сильный, что может унести вас в окно; он сметет весь этот снег до последнего дюйма за перевал. Я уж выберусь как-нибудь из заносов на четырех колесах, а эти ваши ящики на полозьях вам не протащить через сугробы.

Билл, как и все калифорнийские кучера, презирал сани. Его горячо поддержал Тэтчер, который умел чутьем

разбираться в характерах и пользоваться чужим опытом, что на худой конец может заменить личный опыт.

— Кто хочет остаться, пускай остается, — властно сказал Билл, разрубая гордиев узел одним взмахом, — кто хочет взять сани, пускай берет — вот они, в сарае. Кто хочет ехать со мной на перекладных — пускай едет.

Мистер Уайлз выбрал сани и кучера, некоторые остались до следующего дилижанса, а Тэтчер с двумя другими пассажирами решил ехать с Юбой Биллом.

Все эти перемены отняли немало драгоценного времени, а так как метель все бушевала, то дилижанс вкатили под навес, пассажиры грелись на станции перед огнем, и только после полуночи Юба Билл запряг перекладных.

— Желаю вам приятного пути, — сказал Уайлз, который выезжал из-под навеса как раз в ту минуту, когда Билл входил туда. Билл не удостоил его ответом и, обращаясь к кучеру, сказал кратко, словно отдавая распоряжение насчет тюка с товаром:

— Выгрузишь его в Роулингсе. — Потом презрительно обошел сани кругом и принялся запрягать своих перекладных.

Луна уже вошла высоко, когда Юба Билл снова взялся за вожжи. Ветер, который начал дуть, как только они выехали на ровное место, казалось, подтверждал теорию Билла, и на протяжении полумили дорога была подморожена и чисто выметена ветром. Далее снег лежал, протянувшись длинным языком через дорогу от большого валуна, и слой его достигал толщины в два-три фута. Билл сначала врезался в него, потом, искусно маневрируя, объехал стороной. Но когда это препятствие осталось позади, карета накренилась, и правое переднее колесо соскочило и исчезло во тьме. Билл осадил лошадей, но не успел он это сделать, как слетело заднее колесо, дилижанс сильно закачался и остановился.

Юба Билл, не теряя ни минуты, соскочил на дорогу с фонарем. Послышалась такая крепкая брань, что, как мне ни жаль, повторить ее невозможно, настолько она выходит за пределы дозволенного мне снисходительной публикой. Поэтому да будет мне позволено сообщить, что в несколько минут он успел очернить своих нанимателей, всю их родню по женской и мужской линии, каретника, смастерившего дилижанс, станционного смотрителя, дорогу, по которой он вез пассажиров, и самих пассажиров, не забывая время от времени ввернуть крепкое словцо насчет своих родителей и самого себя. Более возвышенные выражения в том же духе взыскательный читатель может найти в третьей главе Книги Иова.

Пассажиры хорошо знали Билла и потому молчали и сидели терпеливо, не теряя надежды. Причина катастрофы была еще неизвестна. Наконец с козел послышался голос Тэтчера:

— Что там такое, Билл?

— Ни одной чеки во всем дилижансе, будь он проклят,— ответил тот.

Воцарилось мертвое молчание. Разъяренный Юба Билл неистово отплясывал на дороге воинственный танец.

— Кто это сделал? — спросил Тэтчер.

Юба Билл, не отвечая, вскочил на козлы, отпер ящик под ними и закричал:

— Тот, кто украл ваш чемодан,— Уайлз!

Тэтчер засмеялся.

— Не беспокойтесь, Билл. Там была чистая рубашка, два воротничка да кое-какие бумаги. Больше ничего.

Билл медленно слез с козел. Став на землю, он ухватил Тэтчера за рукав и отвел его в сторону.

— Так, значит, у вас в сумке не было ничего такого, с чем он собирался улизнуть?

— Нет,— смеясь, ответил Тэтчер.

— И этот Уайлз не из сыщиков?

— Насколько мне известно, нет.

Билл горестно вздохнул и пошел к карете, чтобы поставить ее на колеса.

— Не беда, Билл,— сочувственно сказал один из пассажиров, взглянув на членов комитета бдительности, уже формировавшегося вокруг него,— мы догоним этого Уайлза в Роулингсе.

— Да, как бы не догнать! — возразил Билл насмешливо.— Нам нужно еще вернуться на станцию, и не успеем мы выехать, как он будет уже в Клермонте, а мы отстанем на целый перегон. Как не догнать! Черт его догонит!

Очевидно, ничего не оставалось, как только вернуться на станцию и подождать, пока не починят дилижанс. Пока его чинили, Юба Билл снова отвел Тэтчера в сторону.

— Мне с самого начала не понравился этот косой, но все-таки я ничего такого не подозревал. Я думал, что правильно будет, если я пригляжу за всеми вещами, в особенности за вашими. И вот, чтобы чего-нибудь не вышло и чтоб уравнивать шансы, я на всякий случай прихватил вот этот его чемодан из саней, когда он уезжал. Не знаю, годится ли он взамен вашего, но, думаю, он поможет вам найти Уайлза или ему вас. По-моему, это предусмотрительно и справедливо.— И с этими словами он поставил

к ногам изумленного Тэтчера черный чемодан мистера Уайлза.

— Но послушайте, Билл! Я не могу его взять! — торпливо прервал его Тэтчер. — Вы не можете поклясться, что он украл мой чемодан, — и черт возьми! — это не годится, знаете ли. Я не имеею права брать его вещи, даже...

— Придержите-ка своих лошадей, — сказал Билл сурово, — вы поручили ваши вещи мне. Я их не устерег, то есть этот косой их... Вот чемодан. Я не знаю, чей он. Берите его.

Смеясь и не зная, что ему делать, но все еще протестуя, Тэтчер взял чемодан.

— Можете открыть его в моем присутствии, — сурово предложил Юба Билл.

Тэтчер, улыбаясь, открыл чемодан. Он был полон бумаг и документов официального вида. Фамилия Тэтчера на одном из них привлекла его внимание — он развернул бумагу и наскоро пробежал ее. Улыбка его исчезла.

— Ну что ж, — заметил Юба Билл, — теперь можно сказать, что на обмене вы не прогадали.

Тэтчер все еще просматривал бумаги. Вдруг этот осторожный и решительный человек посмотрел в полное ожидания лицо Юбы Билла и невозмутимо произнес на вульгарном жаргоне того времени и тех мест:

— Идет! По рукам!

### ГЛАВА XIII

#### Как он прославился

Юба Билл оказался прав, предположив, что Уайлз не станет терять времени в Роулингсе. Он выехал оттуда на быстроногом скакуне, когда Билл только возвращался на последнюю станцию с поломанным дилижансом, и на два часа опередил телеграмму, которая должна была задержать его. Избегая опасностей большой дороги и телеграфа, он свернул к югу на Денвер по военной дороге в обществе торговца-метиса и переправился через Миссури, прежде чем Тэтчер доехал до Джулсберга. Когда Тэтчер добрался до Омахи, Уайлз был уже в Сент-Луисе, а когда пульмановский вагон с героем рудника «Синяя пилюля» подъезжал к Чикаго, Уайлз уже разгуливал по улицам столицы. Тем не менее по дороге он нашел время, выразив при этом свое неудовольствие, утопить в водах Норт-Платта черный чемоданчик Тэтчера, в котором было несколько писем, несессер и запасная рубашка,

подивиться, почему простаки не возят с собой важных документов и ценностей, и начать осторожные поиски потерянного саквояжа с его немаловажным содержанием.

Если бы не эти пустяки, он имел бы все основания радоваться своим успехам.

— Все идет отлично, — весело говорила миссис Гопкинсон, — пока вы с Гэшуилером пробовали пустить в ход свои «акции» и вели себя так, как будто можно подкупить весь мир, я успела сделать больше вас всех с этим почтенным, прямо трогательным Роскоммоном, который сам себе верит и сам себя обманывает. Я рассказала его печальную историю и вызвала слезы на глазах сенаторов и министров. Больше того, я ввела его в общество, нарядила во фрак — такое чучело, — а вы знаете, в лучшем обществе все утрированное принимают за чистую монету; я создала ему полный успех. Да вот, еще вчера вечером, когда здесь были сенатор Мисненси и судья Фитцдоудл, я заставила его рассказать всю историю, в которую он, по-моему, верит и сам, а потом спела: «К морю прибрел несчастный изгнанник Эрина», — и муж сказал мне, что это дало целую дюжину голосов.

— А что же ваша соперница, эта племянница Гарсии?

— Вы опять ошибаетесь — мужчины ничего не понимают в женщинах. Во-первых, она маленького роста, смуглая брюнетка, глаза у нее, как щелки, походка мужская, не умеет одеваться, не носит корсета — никакого стиля. Во-вторых, она не замужем, одинокая, и, хоть воображает, что она художница, и ведет себя, как богема, она не может бывать в обществе без компаньонки или без кого-нибудь, как вы этого не понимаете? Сущий вздор!

— Однако, — не сдавался Уайлз, — она имеет какое-то влияние: судья Мэсон и сенатор Пибоди только о ней и говорят, а Динвидди из Виргинии на днях показывал ей Капитолий.

Миссис Гопкинсон улыбнулась:

— Мэсон и Пибоди стремятся прослыть меценатами, а Динвидди хотел уколоть меня!

— Но ведь Тэтчер не дурак.

— А разве Тэтчер влюбчив? — неожиданно спросила миссис Гопкинсон.

— Едва ли, — ответил Уайлз. — Он делает вид, будто по горло занят, и всецело посвятил себя этому руднику, но не думаю, чтобы даже вы... — Он замолчал, иронически улыбаясь.

— Ну вот, вы опять меня не понимаете, и, что еще хуже, вы ничего не понимаете в деле. Тэтчеру она нравится,



потому что он не видел никого другого. Подождите, пока он приедет в Вашингтон и получит возможность сравнивать. — Она бросила откровенный взгляд в зеркало, перед которым и оставил ее Уайлз, отвесив иронический поклон.

Мистер Гэшуилер был не менее уверен в счастливом исходе дела в Конгрессе.

— До конца сессии осталось несколько дней. Мы устроим так, чтобы наше дело выслушали и решили в экстренном порядке, пока этот Тэтчер еще не знает, что предпринять.

— Если это можно сделать, пока он сюда не приехал, — сказал Уайлз, — то успех почти обеспечен. Он опаздывает на два дня, а можно было устроить и так, чтобы он задержался подольше.

Тут мистер Уайлз вздохнул: что, если бы несчастный случай с дилижансом произошел в горах и дилижанс скатился бы в пропасть? Сколько драгоценного времени было бы сэкономлено, и в успехе можно было бы тогда не сомневаться. Но убийство не входило в обязанности мистера Уайлза как ходатая по делам, по крайней мере он не был уверен, можно ли поставить его в счет.

— Нам нечего бояться, сэр, — заключил мистер Гэшуилер, — дело теперь находится в руках верховного собрания нашей страны. Оно будет решено, сэр, беспристрастно и справедливо. Я уже набросал некоторые замечания.

— Между прочим, — перебил его весьма некстати Уайлз, — где этот ваш молодой человек, ваш личный секретарь Доббс?

Член Конгресса на мгновение смутился.

— Его здесь нет. И я должен сказать вам, что вы ошибаетесь, приписывая это звание Доббсу. Я никогда не поручал своих дел постороннему лицу.

— Но вы представили его мне как вашего секретаря?

— Просто почетное звание, которое ничего не значит. Правда, я, может быть, хотел доверить ему этот пост. Но я обманулся в нем, сэр. Это, к сожалению, случается нередко, когда человек во мне одерживает верх над сенатором. Я ввел мистера Доббса в общество, а он употребил во зло мое доверие. Он наделал долгов, сэр. Его расточительность была беспредельна, честолюбие не знало границ — и все это, сэр, без гроша в кармане. Я ссужал ему время от времени некоторые суммы под обеспечение тех бумаг, которые вы так великодушно подарили Доббсу за его услугу. Но все это было растрачено. И что же, сэр? Такова человеческая неблагодарность — его семья недавно

обратилась ко мне за помощью. Я понял, что тут необходима строгость, — и отказал. Ради его семьи я не хотел было ничего говорить, но я не досчитываюсь некоторых книг в своей библиотеке. На другой день после его ухода пропали два тома протоколов Патентного бюро и Синяя книга Конгресса, купленные мною в тот день на Пенсильвания-авеню, — да, пропали! Мне пришлось порядком похлопотать, чтоб эта история не попала в газеты!

Так как мистер Уайлз уже слышал эту историю от знакомых Гэшуилера с более или менее бесцеремонными комментариями относительно бережливости почтенного законодателя, он не мог не подумать, что хлопотать, вероятно, пришлось немало. Но он только устремил свой злобный глаз на Гэшуилера и сказал:

— Так он уехал, а?

— Да.

— И вы себе создали в нем врага? Плохо.

Мистер Гэшуилер постарался принять достойный и независимый вид, однако что-то в тоне гостя его встревожило.

— Я говорю: плохо, если так. Послушайте. Перед отъездом сюда я нашел в той гостинице, где он жил, сундук, задержанный хозяином за долги. В нем оказались ваши письма и составленные Доббсом записки, которым, по-моему, следует находиться у вас. Назвавшись другом Доббса, я выкупил сундук, заплатив по его счету, и захватил с собой самые ценные бумаги.

С каждым словом Уайлза лицо Гэшуилера апоплексически наливалось кровью, и наконец он пролепетал:

— Так, значит, сундук у вас и бумаги тоже?

— К несчастью, нет, это-то и плохо.

— Боже правый! Что же вы с ним сделали?

— Я потерял их где-то по дороге.

Мистер Гэшуилер на несколько минут лишился языка, и лицо его становилось то багровым от ярости, то мертвенно-бледным от страха. Потом он произнес хриплым голосом:

— Все эти бумаги подложные, черт бы их взял, все до одной!

— Ну, что вы! — сказал Уайлз, кротко глядя правым глазом и злорадно любуясь на всю эту сцену левым. — Все ваши бумаги подлинные, и в них нет ничего особенного, но, к несчастью, в том же чемодане лежат мои собственные записи, которые я составил для моего клиента, и, вы сами понимаете, если их найдет человек ловкий, нам это может повредить.

Мошенники посмотрели друг на друга. Вообще говоря, взаимное уважение между ворами встречается весьма редко, по крайней мере между крупными, и более мелкий плут не устоял, подумав, что сделал бы он сам, будь он на месте другого плута.

— Послушайте, Уайлз,— сказал он, причем достоинство убывало в нем с каждой минутой, вытекая из каждой поры вместе с обильно струившимся потом, так что воротничок на нем обмяк, словно тряпка,— послушайте, нам (впервые употребленное множественное число было равносильно признанию), нам нужно вернуть эти бумаги.

— Разумеется,— хладнокровно ответил Уайлз,— если мы сможем и если Тэтчер о них не пронюхал.

— Как же он мог пронюхать?

— Он ехал со мной в дилижансе, когда я потерял их, и направлялся в Вашингтон.

Мистер Гэшуилер снова побледнел. В этой крайности он прибегнул к графину, совсем забыв об Уайлзе. Десять минут назад Уайлз не двинулся бы с места; теперь же он встал, выхватил графин из рук даровитого Гэшуилера, налил себе первому и снова сел.

— Да, послушайте-ка, мой милый,— начал Гэшуилер, быстро поменявшись ролями с более хладнокровным Уайлзом,— послушайте-ка, дорогой мой,— прибавил он, тыча жирным пальцем в Уайлза,— ведь все кончится, прежде чем он сюда приедет, разве вы этого не понимаете?

— Понимаю,— ответил мрачно Уайлз,— только эти рохли, так называемые порядочные люди, имеют свойство попадать всюду вовремя. Им нечего торопиться: дело их всегда подождет. Помните, как в тот самый день, когда миссис Гопкинсон и мы с вами убедили президента подписать привилегию, откуда ни возьмись является этот субъект, не то из Сан-Франциско, не то из Австралии: ехал он не торопясь и приехал через полчаса после того, как президент подписал привилегию и послал ее в министерство; нашел нужного человека, который представил его президенту, побеседовал с президентом, заставил его подписать приказ в отмену прежней подписи и в один час погубил все, что было сделано за шесть лет.

— Да, но Конгресс не отменяет своих решений,— сказал Гэшуилер, к которому вернулось былое достоинство,— по крайней мере во время сессии,— прибавил он, заметив, что Уайлз недоверчиво пожимает плечами.

— Посмотрим,— сказал Уайлз, спокойно берясь за шляпу.

— Посмотрим, сэр,— с достоинством ответил депутат города Римуса.

В то время в числе сенаторов Соединенных Штатов был один известный и всеми уважаемый джентльмен, просвещенный, методический, добропорядочный и радикальный, — достойный представитель просвещенной, методической, добропорядочной и радикальной республики. В течение многих лет он выполнял свой долг сознательно и непреклонно, несколько недооценивая прочие добродетели, и в течение всего этого времени избиратели с той же непреклонностью переизбирали его каждый раз, относясь столь же скептически к прочим добродетелям. По натуре ему были чужды некоторые искушения, а по роду своей жизни он даже не подозревал о существовании других, и потому его репутация как общественного и политического деятеля оставалась незапятнанной. Чувство изящного удерживало его от личных нападков в политических дебатах, и всеобщее признание чистоты его побуждений и возвышенности его правил защищало сенатора от пасквильантов. Принципы его ни разу не были оскорблены предложенной взяткой, и волнение чувств было ему почти незнакомо.

Обладая тонким вкусом в искусстве и литературе и обширными средствами, он собрал в своем роскошном доме коллекцию сокровищ, ценность которых повысилась еще более оттого, что он ими дорожил. Его библиотека отличалась не только изяществом убранства, что было не удивительно при таком богатстве и вкусе, но и некоторым изысканным беспорядком, указывавшим на то, что книгами часто пользуются, и легкой небрежностью, присущей мастерской художника. Все это быстро подметила девушка, стоявшая на пороге библиотеки в конце одного тусклого январского дня.

На карточке, которую принесли сенатору, стояло имя «Кармен де Гаро» и в правом верхнем углу микроскопическими буквами скромно упоминалось, что она «художница». Быть может, звучность имени и связанные с ним исторические воспоминания были во вкусе ученого сенатора, ибо, когда он попросил ее сообщить через слугу, по какому делу она пришла, и Кармен ответила прямо, что у нее личное дело, он распорядился, чтоб ее впустили. Затем, укрывшись за письменным столом позади целого бастиона книг, за гласисом из брошюр и бумаг, он принял вид человека, всецело поглощенного своим делом, и стал спокойно дожидаться незваной гостьи.

Она вошла и на минуту нерешительно остановилась в дверях, словно картина в рамке. Миссис Гопкинсон была права — у Кармен не было «стиля» (если только оригинальность и полуиностранное своеобразие нельзя назвать стилем). Заметны были старания превратить в испанскую мантилью американскую шаль, которая то и дело соскальзывала с плеча, — и эта порывистая грация движений сразу обличала все недочеты «корсетного воспитания». Черные локоны лежали на ее невысоком лбу так гладко, что сливались с котиковой шапочкой.

Один раз она забылась и в разговоре накинула шаль на голову, собрав ее складками у подбородка, но изумленный взгляд сенатора заставил ее опомниться. Однако он почувствовал облегчение и, встав с места, указал ей на кресло с приветливостью, какой не дождалась бы от него дама в парижском туалете. И когда она быстрыми шагами подошла ближе и подняла к нему открытое и наивное, но решительное и полное энергии личико, женственное только в прелестных очертаниях рта и подбородка да в блеске глаз, он положил на место брошюру, которую взял только для вида, и ласково попросил ее рассказать о своем деле.

Кажется, я уже говорил о голосе Кармен, о его мягкости, музыкальности и выразительности? Мои прекрасные соотечественницы культивируют голос чаще для пения, чем для разговора, это большая ошибка с их стороны, ибо на практике наши беседы с прекрасным полом ведутся без оперных партитур. У нее было то преимущество, что она с детства говорила на музыкальном языке и принадлежала к нации, почти незнакомой с катарами горла. И в первых же коротких певучих фразах, покоривших сенатора, Кармен рассказала ему о своем деле, а именно о «желании посмотреть его редкие гравюры».

Гравюры, о которых идет речь, были подлинными работами первых великих мастеров этого искусства, и мне приятно верить в их необычайную редкость. С моей точки зрения профана, они были невероятно плохи — только начатки того, что впоследствии было доведено до совершенства, — тем не менее они были дороги сердцу истинного коллекционера. Не думаю, чтобы и Кармен искренне восхищалась ими. Но плутовка знала, что сенатор гордится единственными в мире каракулями великого А. или первыми опытами В. — представляю знатокам подставить на место букв настоящие имена, — и сенатор оживился. Ибо две или три из этих ужасных гравюр целый год висели в его кабинете, совершенно не замеченные посетите-

лями. А тут явилась ценительница искусства! Она только бедная художница, прибавила Кармен, она не в состоянии купить такое сокровище, но не может противиться искушению, хотя и рискует показаться навязчивой и нарушить покой великого человека и т. д. и т. д.

Нетрудно было бы обнаружить подделку, будь эта лесть облачена в привычные формы, но, произнесенная с иностранным акцентом и с южной горячностью, она была принята сенатором за чистую монету. Дети солнца так экспансивны! Мы, разумеется, чувствуем некоторое сожаление к тем, кто нарушает наши каноны хорошего вкуса и приличий, но южане всегда искренни. Холодный уроженец Новой Англии не заметил никакой фальши в двух-трех преувеличенных комплиментах, которые значительно сократили бы аудиенцию, будь они выражены рубленой металлической прозой, свойственной стране, представителем которой он являлся.

И через несколько минут черная головка маленькой художницы и развевающиеся седые кудри сенатора уже склонились вместе над папкой с гравюрами. Тут-то Кармен, внимая описанию раннего расцвета искусства Нидерландов, забылась и накинула шаль на голову, придерживая складки маленькой смуглой рукой. И в течение следующих двух часов их заставляли за этим занятием пять членов Конгресса, три сенатора, министр и член Верховного суда, каждый из которых был вежливо, но быстро спроважен. Общественное негодование, однако, прорвалось только в холле.

— Ну, знаете ли, это мне нравится, черт возьми! (Говорящий был один из провинциальных представителей.)

— В его-то годы смотреть картинки с девушкой, которая годится ему во внучки! (Почтенный чиновник, с тех пор заподозренный в разного рода эротических грешках.)

— Ничего в ней нет хорошего! (Достопочтенный представитель Дакоты.)

— Так вот почему он молчал всю эту сессию! (Проницательный коллега, из одного штата с сенатором.)

— О черт возьми! (Все вместе.)

Четверо ушли домой и рассказали все это своим женам. В супружеских отношениях нет ничего трогательнее той великолепной откровенности, с которой муж и жена доверяют друг другу прегрешения своих знакомых. На этом священном доверии непоколебимо зиждутся твердые основы брака.

Разумеется, жертвы злословия, по крайней мере одна из них, ничего не подозревали.

— Надеюсь, — робко сказала Кармен, когда они в четвертый раз с восхищением рассматривали отвратительную гравюру какого-то голландского «мастера», — надеюсь, я не отнимаю вас у ваших знаменитых друзей? — Ее прелестные ресницы опустились в трепетном огорчении. — Я никогда не простила бы себе этого. Может быть, у них важное государственное дело?

— О нет, что вы! Они придут и еще, они в этом заинтересованы.

Сенатор хотел сказать любезность. Ни один высокообразованный бостонец никогда не отважится на что-нибудь более похожее на комплимент, и Кармен с чисто женским чутьем уловила нужную нотку.

— А мне больше нельзя будет вас видеть?

— Я всегда буду рад предоставить свои папки в ваше распоряжение. Вам стоит только сказать слово, — ответил сенатор с достоинством.

— Вы так любезны, так добры, — сказала Кармен, — а я — ведь я только бедная девушка из Калифорнии, и вы меня не знаете.

— Простите, я хорошо знаю ваш край. — И в самом деле, он мог бы сказать ей точно, сколько бушелей пшеницы на акр производит ее родной Монтерейский округ, сколько там избирателей, каковы там политические течения. Однако о самом важном из продуктов страны он не знал ровно ничего, как и все кабинетные люди.

Кармен была удивлена, но из почтения к сенатору молчала. Оказалось, что она не имеет понятия о быстром распространении шелковичного червя в ее родном округе, не знает ничего о китайском вопросе и очень мало — об американских законах, касающихся горной промышленности. По всем этим вопросам сенатор дал ей исчерпывающие разъяснения.

— Кстати говоря, вы носите историческую фамилию, — заметил он любезно, — был такой кавалер Алькантар, по фамилии де Гаро, он приехал вместе с Лас-Касасом.

Кармен быстро закивала головой.

— Да, это мой прапрапрадедущка!

Сенатор в изумлении взглянул на нее.

— Да, да. Я племянница Виктора Кастро, который женился на сестре моего отца.

— Виктора Кастро с рудника «Синяя пиллюя»? — отрывисто спросил сенатор.

— Да, — спокойно ответила Кармен.



Если бы сенатор принадлежал к тому же типу людей, что и Гэшуилер, он выразил бы свои чувства протяжным свистом, по обычной мужской манере. Но его изумление и сразу проснувшаяся подозрительность отразились только на температуре приема, понизившейся так заметно, что бедная Кармен в недоумении взглянула на него и плотнее закутала в шаль озябшие плечи.

— У меня есть еще одна просьба, — сказала Кармен, опустив голову, — очень большая просьба.

Сенатор опять отступил за книжные бастионы и, видимо, готовился отразить атаку.

Теперь он все понял. Его неизвестно каким образом ввели в заблуждение. Он дал аудиенцию племяннице одного из истцов, обратившихся в Конгресс. Коса нашла на камень. Мало ли что вздумает попросить у него эта женщина? Он был неумолим — тем более, что уже расположился в ее пользу, — и самым искренним образом. Он сердился на Кармен за то, что она ему понравилась. Под ледяной вежливостью его манер таилась пуританская черствость, порожденная суровым воспитанием. Он еще не вполне освободился от жизнерадостного учения своих предков, что Природу следует обуздывать. По-видимому, не замечая в нем перемены, Кармен продолжала говорить с такой свободой движений и манер, которую трудно передать одними словами.

— Вы знаете, что я испанка родом и что на моей новой родине «Бог и Свобода» было нашим девизом. О вас, сэр, великом освободителе, об апостоле свободы, друге униженных и угнетенных, я впервые услышала в детстве. Я читала о вас в истории этой великой страны, я учила наизусть ваши речи. Я жаждала услышать, как вы с трибуны говорите о заветах моих предков. Матерь божья! Что мне сказать? Услышать ваше блестящее выступление в... — как это называется... — в дебатах, — вот чего я так долго ждала. Ах, простите, я, верно, показалась вам глупой, невоспитанной, неразумным ребенком, да?

Речь ее становилась все более и более сбивчивой, и наконец она сказала неожиданно:

— Я вас оскорбила? Вы на меня сердитесь, как на дерзкого, непослушного ребенка? Да?

Сенатор, по-видимому, совсем растроганный и размякший за своими укреплениями, собрался с силами и произнес сначала:

— О, нет! — потом: — Что вы? — и наконец: — Благодарю вас!

— Я здесь ненадолго. Я возвращаюсь в Калифорнию на днях, может быть, завтра. Неужели я никогда, никогда не услышу, как вы говорите с трибуны в Капитолии этой великой страны?

Сенатор поспешил сказать, что он опасается, то есть он убежден, что долг требует от него работы в комиссиях, а не речей и т. д.

— Ах,— сказала Кармен с грустью,— значит, правда то, что я слышала. Правда то, что мне говорили, будто бы вы покинули великую партию и ваш голос уже не раздастся больше с трибуны?

— Если кто-нибудь говорил это вам, мисс де Гаро,— резким тоном ответил сенатор,— он говорил это по неразумению — вам дали неверные сведения. Могу ли я спросить, кто именно?

— Ах! — сказала Кармен. — Я, право, не знаю! Это носится в воздухе. Ведь у меня здесь нет знакомых. Может быть, меня и обманули. Но все так говорят. Я спрашиваю всех: когда же я его услышу? День за днем я хожу в Капитолий, смотрю на него, на великого освободителя, а там говорят о делах, да? О чьих-нибудь правах, о налогах, о пошлине, о почте, а о правах человека — никогда, никогда! Я спрашиваю: почему же это? А мне говорят с сожалением: он больше не выступает. Он — как это говорится? — «выдохся», так, кажется, «выдохся». Я не знаю, может быть, так говорится в Бостоне? Мне сказали — ах, я плохо говорю на вашем языке, — будто бы он «подвел» нашу партию, да, «подвел»... Ведь так говорят в Бостоне?

— Позвольте мне сказать, мисс де Гаро,— возразил сенатор, вставая в раздражении,— что вы не совсем удачно выбираете ваши знакомства, а также и ваши э... выражения. Выражения, упомянутые вами, мне кажется, не приняты в Бостоне, а скорее в Калифорнии.

Кармен де Гаро сокрушенно закуталась в шаль, из-под которой блестели только черные глаза.

— Никто не имеет права,— он снова сел и продолжал более мягким тоном,— судить по моему прошлому о том, что я собираюсь делать, или диктовать мне, каким образом я должен служить своим принципам или партии, которую представляю. Это мое право и мой долг. Тем не менее, если бы представился случай или возможность... ведь через день или два закрывается сессия...

— Да,— грустно прервала его Кармен.— Я понимаю, будет слушаться какое-нибудь дело, какая-нибудь заявка, ах! Матерь божья! Вы не будете говорить, и я...

— Когда вы думаете уехать,— спросил сенатор с торжественной учтивостью,— когда мы вас потеряем?

— Я остаюсь до конца... до конца сессии,— ответила Кармен.— А теперь мне пора.— Она встала, капризно кутая плечи в шаль, милым и лукавым движением, быть может, самым женственным из всех ее движений за этот вечер. И, быть может, самым искренним.

Сенатор любезно улыбнулся.

— Во всяком случае, вы не должны разочаровываться; однако сейчас гораздо позднее, чем вы думаете, позвольте отправить вас в моем экипаже, он у подъезда.

Он торжественно проводил ее до кареты. Когда карета тронулась, Кармен, зарывшись в большие подушки, засмеялась тихонько, быть может, немного истерически. Доехав до дому, она заметила, что плачет, и торопливо и сердито смахнула слезы перед дверями дома, где остановилась.

— Ну, как ваши дела? — спросил мистер Гарлоу, поверженный Тэтчера, галантно высаживая ее из кареты.— Я уже два часа дожидаясь вас: ваша беседа затянулась, это добрый знак.

— Не спрашивайте меня сейчас,— сказала Кармен довольно сурово,— я совсем выбилась из сил.

Мистер Гарлоу поклонился.

— Надеюсь, завтра вам будет лучше — мы ждем нашего друга, мистера Тэтчера.

Смуглые щеки Кармен слегка порозовели.

— Он должен был бы приехать раньше. Где он? Что он делал?

— Он попал в снежные заносы в прериях. Теперь он спешит, насколько возможно, и все-таки может опоздать.

Кармен не ответила.

Адвокат медлил.

— Как вам понравился великий сенатор Новой Англии? — спросил он со свойственным его профессии легкомыслием.

Кармен устала, Кармен была измучена, Кармен упрекала самое себя, и ее нетрудно было рассердить. Поэтому она сказала ледяным тоном:

— Я нашла, что он настоящий джентльмен!

## Как дело положили под сукно

Заккрытие LXIX Конгресса ничем не отличалось от закрытия нескольких предшествующих Конгрессов. Оно сопровождалось все той же неделовой, ни к чему не ведущей спешкой, все тем же несправедливым и неудовлетворительным разрешением незаконченных, плохо продуманных дел, чего суверенный народ никогда не потерпел бы в своих частных делах. Требования мошенников спешно удовлетворялись; справедливые законные требования откладывались под сукно; неоплаченные долги оплачивались позорно скудными суммами, некоторые заключительные сцены были таковы, что только чувство американского юмора спасло их от совершенной гнусности. Актеры, то есть сами законодатели, знали об этом и смеялись; комментаторы, то есть печать, знали об этом и смеялись; зрители, то есть великий американский народ, знали об этом и смеялись. И никому ни на минуту не приходило в голову, что все это могло бы быть иначе.

Претензия Роскоммона попала в число незаконченных дел. И сам истец, угрюмый, встревоженный, назойливый и упрямый, тоже попал в число незаконченных дел. Член Конгресса от Фресно, выступавший уже не с пистолетом, а с обвинительной речью против истца, тоже был в числе незаконченных дел. Даровитый Гэшуилер, который в душе беспокоился из-за некоторых незаконченных дел, точнее говоря, из-за пропавших писем, но источал мед и елей, вращаясь среди своих собратьев, был королем беспорядка и министром незаконченных дел. Хорошенькая миссис Гопкинсон, осторожности ради сопровождаемая мужем, а также весьма неосторожными взглядами влюбленных членов Конгресса, своим присутствием придавала очарование как законченным, так и незаконченным делам. Один-два редактора, которые мечтали успешно закончить финансовый год, пользуясь незаконченными делами, также были там и наподобие древних бардов готовились воспеть в гимнах и элегиях завершение незаконченных дел. Множество стервятников, почуяв запах падали, исходивший от незаконченных дел, кружилось в залах и в кулуарах.

Нижняя палата под руководством даровитого Гэшуилера испила от чаши с дурманом, содержащей так называемую претензию Роскоммона, и передала наполовину опорожненную чашу Сенату, под видом незаконченного

дела. Но увы! В грозе и буре, в самом разгаре окончания дел восстало неожиданное препятствие — в лице великого сенатора, чьему могуществу никто не был в состоянии противиться и чье право высказываться свободно и в любое время никто оспаривать не мог. Дело о курах, насильственно захваченных армией генерала Шермана при переходе через Джорджию из курятника одного лояльного ирландца, превратилось в конституционный вопрос, а вместе с этим разверзло уста великого сенатора.

В течение семи часов он говорил красноречиво, торжественно, убедительно. В течение семи часов старые партийные и политические разногласия рассматривались им со всех сторон и разрешались с тем пафосом, которым некогда прославился сенатор. Вмешательство других сенаторов, позабывших о незаконченных делах и вновь кипевших политическим задором; вмешательство тех сенаторов, которые помнили о незаконченных делах, но не могли передать по назначению чашу Роскоммона, — все это только подливало масла в огонь. Набатный колокол, прозвучавший среди сенаторов, был услышан и в нижней палате: возбужденные члены Конгресса столпились в дверях Сената, предоставив незаконченные дела воле судеб.

В течение семи часов незаконченные дела скрежетали фальшивыми зубами и в бессильной ярости рвали на себе парики в кулуарах и залах. В течение семи часов даровитый Гэшуилер продолжал источать мед и елей, которые, однако, уже показались Конгрессу довольно пресными; в течение семи часов Роскоммон и его приятели в кулуарах топали ногами на почтенного сенатора и угрожали ему довольно грязными кулаками. В течение семи часов двум-трем редакторам пришлось сидеть и невозмутимо уснащать восторженными комментариями великую речь, в тот вечер облетевшую по проводам весь американский материк. И, что всего хуже, им пришлось тут же отметить, что закрытие LXIX Конгресса сопровождается бóльшим, чем обычно, количеством нерешенных дел.

Небольшая группа друзей окружила великого сенатора с комплиментами и поздравлениями. Старые враги учтиво кланялись ему, проходя мимо, с уважением сильного к сильному. Маленькая девушка робко подошла к нему, кутая плечи в шаль и придерживая складки своей смуглой ручкой.

— Я плохо говорю по-английски, — сказала она мягко, — но я много читала. Я читала вашего Шекспира. Мне

хотелось бы напомнить вам слова Розалинды, обращенные к Орландо после схватки: «Боролись славно вы и победили не одного врага». — И с этими словами она удалилась.

Однако не настолько быстро, чтобы ее не успела заметить хорошенькая миссис Гопкинсон, которая, как победительница к победителю, подходила к сенатору поблагодарить его, несмотря на то, что лица ее спутников заметно омрачились.

— Вот она! — сказала миссис Гопкинсон, коварно ущипнув Уайлза. — Вот та женщина, которой вы боялись. Посмотрите на нее. Взгляните на это платье! О боже, взгляните на эту шаль. Ну, не говорила ли я вам, что у нее нет стиля?

— Кто она такая? — угрюмо спросил Уайлз.

— Кармен де Гаро, разумеется, — живо ответила миссис Гопкинсон. — Куда же вы меня тянете? Вы мне чуть руку не оторвали!

Мистер Уайлз только что увидел среди толпы, заполнившей всю лестницу, измученное после дороги лицо Ройэла Тэтчера. Тэтчер казался бледным и рассеянным; мистер Гарлоу, его поверенный, стоял рядом и ободрял его.

— Никто не подумал бы, что вы вновь получили передышку и величайшее мошенничество кончилось крахом. Что с вами такое? Мисс де Гаро только что прошла мимо нас. Это она разговаривала с сенатором. Почему вы ей не поклонились?

— Я задумался, — угрюмо ответил Тэтчер.

— Ну, вас нелегко расшевелить! И вы не слишком стремитесь изъявить благодарность женщине, которая спасла вас сегодня. Ведь это она заставила сенатора произнести речь, можете быть уверены.

Тэтчер, не отвечая, отошел от него. Он заметил Кармен де Гаро и хотел было поклониться ей со смешанным чувством радости и смущения. Но он услышал ее комплимент сенатору, и теперь этот сильный, самоуверенный, деловой человек, который десять дней назад не думал ни о чем, кроме своего рудника, думал больше о комплименте, сказанном ею другому, чем о своем успехе, — и начал ненавидеть сенатора, который его спас, адвоката, стоявшего рядом, и даже маленькую девушку, которая спускалась по лестнице, не замечая его.

## И кто забыл его

Смущение и обида Ройэла Тэтчера плохо вязались с тем обстоятельством, что, выйдя из Капитолия, он тут же нанял карету и поехал к мисс де Гаро. Не застав ее дома, он опять помрачнел и обиделся и даже устыдился искреннего побуждения, которое привело его сюда, — и это было, я полагаю, вполне естественно для мужчины. Он, со своей стороны, сделал все, что требовали приличия, — в ответ на ее депешу он немедленно приехал сам. Если ей угодно отсутствовать в такую минуту, то он по крайней мере выполнил свой долг. Короче говоря, не было такой нелепости, которой не вообразил бы себе этот деловой когда-то человек; он не мог не сознавать, однако, что не в силах справиться со своими чувствами, но это не улучшило его настроения, а скорее заставило свалить свою вину на кого-то другого. Если бы мисс де Гаро сидела дома, и т. д., и т. д., а не восторгалась какими-то там речами, и т. д., и т. д., и занималась бы своим делом, то есть вела бы себя именно так, как он предполагал, ничего этого не случилось бы.

Я знаю, что все это не вызовет в читателе уважения к моему герою, но мне кажется, что неприметное развитие истинной страсти в сердце зрелого человека идет быстрее, чем у какого-нибудь молодого эгоиста. Эти хилые юнцы не имеют и понятия о той лихорадке, какая свирепствует в крови взрослого мужчины. Возможно, что прививка предохраняет от болезни. Лотарио всегда владеет собой, говорит и делает именно то, что нужно, а бедняга Целебс смешон со своим искренним чувством.

Он отправился к своему поверенному, настроенный довольно мрачно. Апартаменты, занимаемые мистером Гарлоу, находились в нижнем этаже особняка, принадлежавшего некогда государственному мужу с историческим именем, который был, однако, забыт всеми, кроме хозяина дома и последнего жильца. Вдоль стен там тянулись полки, разделенные на ячейки, иронически называемые «голубиными гнездами», в которых никогда не сидел голубь мира, и их ярлычки до сих пор хранили память о раздорах и тяжбах врагов, давно уже обратившихся в прах. Там висел портрет, изображавший, по-видимому, херувима, но при ближайшем рассмотрении оказывалось, что это знаменитый английский лорд-канцлер в пышном парике. Там были книги с сухими, неинтересными загла-



виями — произведения каких-то себялюбцев, излагавших личную точку зрения Смита на такой-то предмет или комментарии Джонса по такому-то поводу. На стене там висела афиша, вызывавшая легкомысленные представления о цирке или о поездке на пароходе, — на самом деле объявление о распродаже чьего-то имущества. Там были странного вида свертки в газетной бумаге, таинственно прятавшиеся по темным углам, — не то забытые юридические документы, не то белье знаменитого юриста, которое следовало отдать в стирку еще на прошлой неделе. Там были две-три газеты, в которых скучающий клиент надеялся было найти развлечение, но в них неизменно оказывались отчеты о заседаниях и постановлениях Верховного суда. Там стоял бюст покойного светила юриспруденции, не обметавшийся с тех пор, как само это светило обратилось в прах, и над его сурово сжатым ртом выросли уже порядочные пыльные усы. При свете дня это было далеко не радостное место; ночью же, когда, судя по реликвиям пыльного прошлого, оно было предоставлено мстительным призракам, чьи надежды и страсти были занесены в протокол и собраны здесь, когда во тьме протягивались из пыльных могил мертвые руки давно забытых людей и рылись среди пожелтевших документов, ночью, когда комнаты освещались резким светом газа, бездушная ирония этого расточительства попусту была настолько явной, что прохожим, заглядывавшим в освещенные окна, казалось, будто тишина фамильного склепа нарушена похитителями трупов.

Ройэл Тэтчер обвел комнату усталым и равнодушным взглядом, подумал, что она наводит на невеселые размышления, и сел на круглый табурет адвоката как раз в ту минуту, когда тот выходил из соседней комнаты.

— Ну, вы я вижу, не теряли времени, — весело сказал Гарлоу.

— Да, — ответил его клиент, не глядя и в отличие от всех прежних клиентов интересуясь делом гораздо меньше самого адвоката. — Да, я здесь, и, честное слово, не знаю, зачем я сюда приехал.

— Вы говорили, что нашли какие-то бумаги, — сказал адвокат.

— Ах, да, — ответил Тэтчер с легким зевком. — У меня с собой есть какие-то бумаги. — И он нехотя начал шарить по карманам. — А кстати сказать, это ужасно унылая, богом забытая квартира. Поедем лучше к Велкеру, и там вы просмотрите их за стаканом шампанского.

— После того, как я просмотрю их, я и сам кое-что вам покажу, — сказал Гарлоу, — а шампанского мы выпьем после в соседней комнате. Сейчас мне требуется ясная голова, да и вам тоже, если вы соблаговолите проявить хоть сколько-нибудь интереса к собственным делам и поговорить со мной о них.

Тэтчер рассеянно смотрел в огонь. Он вздрогнул.

— Я не очень-то интересный собеседник, — начал он, — может быть, дела отнимают у меня слишком много времени.

Он остановился, достал из кармана конверт и бросил его на стол.

— Вот кое-какие бумаги. Я не знаю, имею ли я на них право, и это тоже должны решить вы. Они попали ко мне довольно странным образом. В дилижансе я потерял мой чемодан с бельем и бумагами, «представляющими ценность только для их владельца», как говорится в объявлениях. Ну так вот, чемодан был потерян, но кучер дилижанса утверждает, что его украл один из пассажиров, по фамилии Джайлз, или Стайлз, или Байлз...

— Уайлз, — подсказал Гарлоу без улыбки.

— Да, — продолжал Тэтчер, подавляя зевок, — да, вы, кажется, правы, — Уайлз. Так вот, кучер, уверившись в этом, взял и преспокойно украл... послушайте, найдется у вас сигара?

— Я вам принесу.

Гарлоу скрылся в соседней комнате. Тэтчер подтащил к огню тяжелое кресло Гарлоу, которое никогда не сдвигалось раньше со своего священного места, и начал рассеянно мешать угли в камине.

Гарлоу вернулся с сигарами и спичками. Тэтчер машинально закурил сигару и сказал, пуская клубы дыма:

— Вы... когда-нибудь... разговариваете сами с собой?

— Нет. А что?

— Мне показалось, что я слышал ваш голос в соседней комнате. Во всяком случае, здесь должны быть привидения. Если б я пробыл один с полчаса, мне представилось бы, что лорд-канцлер в своей мантии выходит из рамы, чтоб составить мне компанию.

— Какие пустяки! Когда я занят, я сижу и пишу здесь за полночь. Здесь так тихо!

— До черта тихо!

— Ну, так вернемся к бумагам. Кто-то украл ваш чемодан, или вы потеряли его. Вы же украли...

— Не я, а кучер, — возразил Тэтчер настолько вяло, что это едва ли можно было назвать возражением.

— Ну, скажем, украл кучер и передал вам как сообщнику, союзнику или держателю краденого, некоторые бумаги, принадлежащие...

— Послушайте, Гарлоу, я вовсе не расположен шутить в этом мрачном кабинете после полуночи. Вот вам факты. Кучер Юба Билл украл чемодан у этого пассажира, Уайлза, или Смайлза, и передал мне в виде компенсации за потерю моего собственного. Я нашел в нем бумаги, имеющие отношение к моему делу. Вот они. Делайте с ними, что хотите.

Тэтчер рассеянно перевел глаза на огонь. Гарлоу взял первую бумагу.

— А-а, это, как видно, телеграмма. Да?

«ПРИЕЗЖАЙТЕ НЕМЕДЛЕННО В ВАШИНГТОН.

КАРМЕН ДЕ ГАРО».

Тэтчер вскочил, покраснел, как девушка, и торопливо схватил депешу.

— Пустяки. Это ошибка. Я нечаянно положил ее в конверт.

— Понимаю, — сухо сказал адвокат.

— Я думал, что разорвал ее, — продолжал Тэтчер после неловкого молчания.

К сожалению, этот обычно правдивый человек солгал в данном случае. Он сорок раз на дню читал эту телеграмму во время путешествия, и бумага истерлась на сгибах. Зоркий глаз Гарлоу подметил это, и он немедленно занялся документами. Тэтчер погрузился в созерцание огня.

— Ну, — сказал наконец Гарлоу, поворачиваясь к своему клиенту, — этого довольно, чтобы выбросить Гэшуилера из Конгресса или заткнуть ему рот. Что касается остального, то это — интересное чтение, но юридической силы не имеет, незачем и говорить. Однако они больше ничего не посмеют предпринять, зная, что мы располагаем такими доказательствами, особенно если мы опубликуем эту запись. Во взятках не так легко уличить виновного — единственным свидетелем, естественно, является *particeps criminis*<sup>1</sup>, но записям этого мошенника нелегко будет дать приличное объяснение. Кое-чего я не понимаю: что значит фраза против фамилии почтенного Х — «принял лекарство без оговорки и чувствует себя лучше»? И здесь, и на полях, после фамилии Y: «Следует наставить на истинный путь»?

---

<sup>1</sup> Соучастник преступления (*лат.*).

— Кажется, наш калифорнийский жаргон многое занимает у врачей и духовных лиц, — заметил Тэтчер. — Но зачем так добросовестно записывать каждое свое мошенничество?

Гарлоу, несколько смущенный своим незнанием американских метафор, теперь почувствовал себя в своей сфере.

— Нет, что ж, тут нет ничего необыкновенного. В одной из этих книг приводится случай, когда человек, совершивший целый ряд злодеяний, в течение многих лет подробно записывал их в свой дневник. Его предъявили суду. Половина всех наших дел, мой милый, возникает оттого, что люди имеют привычку хранить письма и документы, которые они могли — я не говорю, должны были (это вопрос чувства или этики), но могли уничтожить.

Тэтчер машинально взял телеграмму бедняжки Кармен и бросил ее в огонь. Гарлоу, заметив это, улыбнулся.

— Думаю, однако, что в чемодане, который вы потеряли, не было ничего такого, о чем вам стоило бы тревожиться? Только дураки или плуты возят с собой бумаги, которые могут послужить уликами против них. У меня был приятель, — продолжал Гарлоу, — человек довольно умный, который, однако, имел глупость завести серьезную связь с женщиной. Он был воплощенное благородство и в начале переписки предложил возвращать друг другу письма вместе с ответами. Так они делали в течение многих лет, а в конце концов это обошлось ему в десять тысяч долларов, не говоря уже о неприятностях.

— Почему же? — наивно спросил Тэтчер.

— Потому что он оказался самовлюбленным ослом и берег в качестве трогательного сувенира письмо с этим предложением, которое она честно вернула. Разумеется, письмо в конце концов нашли среди его бумаг.

— Спокойной ночи, — сказал Тэтчер, неожиданно вставая. — Если я пробуду здесь еще немного, я и родной матери перестану верить.

— Мне встречались такие семейные черточки, — смеясь, сказал Гарлоу. — Подождите, перед уходом вы должны выпить шампанского.

Он повел Тэтчера в соседнюю комнату, которая оказалась только прихожей, и на пороге третьей комнаты Тэтчер остановился в изумлении. Это была богато обставленная библиотека.

— Сибарит! Почему я здесь никогда раньше не был?

— Потому что вы приходили как клиент, а сегодня вы мой гость. Тот, кто входит сюда, оставляет свое дело

в передней, вместе со шляпой. Посмотрите! На этих полках нет ни одной юридической книги, этот стол никогда не безобразили деловые бумаги или пергаменты. Вы удивлены? Что ж, такова была моя прихоть — поместить и квартиру и контору под одной крышей, но совершенно отдельно, чтобы одно не мешало другому. Вы знаете, верхние этажи сдаются жильцам. Я живу в первом этаже с матерью и сестрой, а это моя приемная. Я работаю в той угрюмой комнате, что выходит окнами на улицу, а здесь я отдыхаю. Человеку нужно иметь в жизни что-нибудь, кроме работы. Я нахожу, что гораздо безобиднее и дешевле развлекаться вот здесь.

Тэтчер угрюмо опустился в кресло. Он глубоко задумался, он тоже любил книги и, как все люди, которым приходится вести нелегкую скитальческую жизнь, знал цену утонченному отдыху; как все люди, которым приходится спать под открытым небом, закутавшись в одеяло, он мог оценить по достоинству роскошь полотняных простынь и расписных потолков. Кстати сказать, одни только немощные городские клерки да страдающие несварением желудка священники воображают, будто бы настоящая жизнь — в дурном хлебе, пережаренных бифштексах и грубых одеялах горных пикников. Известно, что настоящие жители гор или те джентльмены, которым пришлось по-настоящему «опроститься», обычно не пишут книг о прелестях первобытной жизни и не умоляют своих собратьев разделить с ними уединение и связанные с ним неудобства.

Оценив по достоинству комфорт и изящество библиотеки Гарлоу, несколько завидуя хозяину и смутно сознавая, что его собственная суровая жизнь в последние годы могла бы быть иной, Тэтчер вдруг вскочил с кресла и подошел к мольберту, на котором стояла картина. Это был первый этюд Кармен де Гаро, изображавший горн и рудник.

— Я вижу, вы заинтересовались этой картиной, — сказал Гарлоу, останавливаясь с бутылкой шампанского в руках, — это показывает, что у вас хороший вкус. Многие от нее в восторге. Заметьте эту великолепную игру света на лице спящего, которая в силу контраста подчеркивает его мертвое спокойствие. Как сильно написаны эти скалы! Есть что-то таинственное в этих тенях. Вы знаете художницу?

Тэтчер пробормотал:

— Мисс де Гаро, — с новым волнением произнося это имя.

— Да. И вы, разумеется, знаете историю картины? Тэтчер, кажется, не знал, нет, он, право, не мог припомнить.

— Эта лежащая фигура изображает ее прежнего возлюбленного, испанца, которого, как она думает, убили здесь. Мрачная фантазия, не правда ли?

Тэтчеру не понравились две вещи: во-первых, слово «возлюбленный», сказанное другим мужчиной о Кончо, во-вторых, то, что картина принадлежала Гарлоу; в самом деле, какого черта Кармен...

— Да, — вырвалось у него наконец, — но откуда она у вас?

— О, я купил ее у художницы. Я в некотором роде покровительствую ей, с тех пор как выяснилось ее отношение к нам. Она совсем одна здесь, в Вашингтоне, и поэтому моя мать и сестра приняли в ней участие и вывозят ее в свет.

— Давно? — спросил Тэтчер.

— Нет, недавно. В тот день, когда мисс де Гаро послала вам телеграмму, она пришла сюда узнать, чем она может помочь нам, и как только я сказал, что остается одно — не подпускать Конгресс к этому делу, она пошла к сенатору. Ведь это она, и только она, заставила сенатора произнести речь. Однако, — добавил он лукаво, — вы, кажется, очень мало ее знаете?

— Нет, я... то есть я был очень занят последнее время, — ответил Тэтчер, не спуская глаз с картины, — она часто здесь бывает?

— Да, последнее время очень часто. Она заходила сегодня к моей матери; кажется, она была еще здесь, когда вы пришли.

Тэтчер пристально посмотрел на Гарлоу. Но лицо этого джентльмена вовсе не выражало смущения. Тэтчер не совсем ловко налил себе второй стакан шампанского, опорожнил его одним глотком и встал.

— Нет, дорогой мой, вы не уйдете, я этого не допущу, — сказал Гарлоу, ласково кладя руку на плечо своего клиента. — Вы что-то загрустили! Оставайтесь сегодня у меня. Хозяйство наше не велико, но мы приспособляемся. Ночевать вам будет удобно. Подождите минутку, я сейчас распоряжусь.

Тэтчер был доволен, что остался один. За последние полчаса он успел убедиться, что его чувству к маленькой художнице нанесено самое ужасное оскорбление. В то время как он трудился не покладая рук в Калифорнии, Кармен вывозили в вашингтонское общество особы, не-

женатые братья которых покупали ее картины. Тому, кто ревнует не на шутку, доставляет некоторое облегчение иметь дело со множественным числом. Тэтчеру приятнее было думать, что ее осаждают тысячи братьев.

Он все еще смотрел на картину. Мало-помалу она заволоклась туманом, и, словно по волшебству, перед ним на полотне возникла полночная, освещенная луной дорога, по которой он когда-то гулял с Кармен. Он видел развалившийся горн, темные, нависшие громады скал, дрожащую спутанную листву и ярче всего блеск глаз из-под мантильи рядом с собой. Каким он был дураком! Вот таким же бесчувственным и тупым, как этот Кончо, который лежит здесь, как бревно. А ведь она любила этого человека. За какого дурака она должна была принять его в тот вечер! Каким снобом она, должно быть, считает его теперь!

Его потревожил легкий шорох в коридоре, прекратившийся, как только он повернулся. Тэтчер посмотрел на дверь кабинета, словно ожидая, что лорд-канцлер, подобно командору в «Дон-Жуане», последовал его легкомысленному приглашению. Он снова прислушался; все было тихо. Он не мог отделаться от чувства неловкости и некоторого возбуждения. Как долго собирается Гарлоу! Ему захотелось выглянуть в переднюю. Но для этого нужно было приспустить газ. Он так и сделал, но в своем замешательстве совсем его привернул.

Где же спички? Он вспомнил, что на столе была какая-то бронзовая штука, которая могла служить спичечницей и пепельницей и всем чем угодно, — такова ирония современного декоративного искусства. Он опрокинул что-то — должно быть, чернильницу, еще что-то, — на этот раз стакан с шампанским. Он осмелел и начал шарить ощупью среди осколков и, повалив бронзового Меркурия на столе посреди комнаты, махнул на все рукой и уселся в кресло. Тогда два бархатистых пальчика вложили в его руку коробку спичек, и музыкальный голос произнес:

— Вы ищете спички? Вот они.

Тэтчер покраснел, сконфузился, взволновался, чувствуя, что смешно говорить кому-то в темноте «благодарю вас», чиркнул спичкой, увидел при ее короткой, неверной вспышке Кармен де Гаро, обжег пальцы, кашлянул, уронил спичку и снова погрузился во мрак.

— Дайте, я попробую!

Кармен чиркнула спичкой, вскочила на стул, зажгла газ, легко соскочила на пол и сказала:



— Вам нравится сидеть в темноте? Мне тоже, когда я бываю одна.

— Мисс де Гаро,— сказал Тэтчер с неожиданной откровенностью, приближаясь к ней с протянутыми руками,— поверьте мне, я искренне рад, больше чем рад видеть...

Она, быстро отступая перед ним, укрылась за высокой спинкой старинного кресла, став коленями на сиденье. К сожалению, я должен прибавить, что она довольно резко ударила по его протянутым пальцам неизменным черным веером.

— Мы не в Калифорнии. Это Вашингтон. Сейчас за полночь. Я бедная девушка и должна заботиться — как это называется? — о своей «репутации». Вы садитесь там,— она указала на диван,— а я сяду здесь,— и она положила свою мальчишескую головку на спинку кресла,— и мы поговорим, потому что мне нужно поговорить с вами, дон Ройэл.

Тэтчер сел на указанное место сокрушенно, смиренно и покорно. Сердечко мисс Кармен было тронуту. Но она все же продолжала свою речь из-за спинки кресла.

— Дон Ройэл,— сказала Кармен, подкрепляя свои слова движением веера,— до встречи с вами я была ребенком. Да, да, настоящим ребенком! Гадким, своевольным — и занималась... как это там у вас называется... подлогами.

— Чем? — спросил Тэтчер, не зная, рассмеяться ли ему или вздохнуть.

— Подлогами! — смиренным голосом продолжала Кармен.— Я изображала подписи других людей, мне это доставляло удовольствие, но мой дядя наживал на этом деньги. Понимаете? Что же вы замолчали? Или вы хотите, чтобы я опять ударила вас веером?

— Продолжайте,— сказал Тэтчер, смеясь.

— Приехав на рудник, я узнала, что повредила вам, подделав подпись Микельторены. Тогда я пошла к адвокату и выяснила, что так оно и есть на самом деле. Посмотрите на меня теперь, дон Ройэл, вы видите перед собой преступницу.

— Кармен!

— Тсс! Мне придется опять ударить вас веером. Я просмотрела все документы и нашла прошение, оно было подписано моей рукой. Вот!

Она бросила Тэтчеру конверт. Он вскрыл его.

— Понимаю,— тихо сказал Тэтчер,— вы снова завладеи этим документом.

— Как так «завладела»?

Тэтчер замялся.

— Вы взяли это прошение — эту невинную подделку.

— О-о! Вы меня и воровкой считаете! Уходите отсюда! Ступайте! Ступайте вон!

— Дорогая Кармен!

— Просмотрите прошение! О-о, глупый!

Тэтчер взглянул на документ. По качеству и ветхости бумаги, печати, почерку, которым он был написан, документ этот ничем не отличался от прошения Гарсии. Резолюция, наложенная Микельтореной, казалась подлинной. Но прошение было написано от имени Ройэла Тэтчера. А подпись нельзя было отличить от его собственной.

— У меня имелось только одно ваше письмо, — извиняющимся тоном проговорила Кармен, — я подделала вашу подпись как могла.

— Ангел мой, птенчик мой, — сказал Тэтчер, со смелостью влюбленного пуская в ход разношерстные метафоры, — неужели вы...

— А-а, вам не нравится, вы считаете, что это плохо сделано!

— Дорогая моя!

— Тсс! Старуха наверху! А у меня здесь есть репутация. Будьте добры сесть! Незачем бегать взад и вперед по комнате и поднимать на ноги весь дом! Вот, получите! — Она ударила веером приблизившегося к ней Тэтчера. Он сел.

— И вы не удосужились повидать меня за этот год и не написали мне ни слова!

— Кармен!

— Садитесь, дерзкий мальчишка! Разве вы не знаете, что нам полагается говорить о делах, по крайней мере этого ждут от нас те, кто находится наверху.

— К черту дела! Кармен, дорогая, послушайте... — Мне больно говорить это, но Тэтчер уже завладел спинкой кресла, в котором устроилась Кармен. — Расскажите мне, дорогая, о... об этом сенаторе. Вы помните, о чем у вас шла речь?

— Ах, рассказать об этом старичке? Так мы говорили с ним о делах. А вы послали к черту все дела!

— Кармен!

— Дон Ройэл!

. . . . .

Хотя во время этого разговора мисс Кармен то и дело пускала в ход веер, в комнатах, должно быть, стояла про-

хлада, потому что, спускаясь по лестнице, бедный Гарлоу, страдавший бронхитом, отчаянно закашлялся.

— Ну-с,— сказал он, входя в кабинет,— я вижу, вы разыскали Тэтчера и показали ему документы. Я уверен, что у вас было достаточно времени на это. Матушка послала меня отправить вас обоих отдохнуть.

Кармен закрылась мантилей и молчала.

— Полагаю, что вы уже достаточно разбираетесь в делах,— продолжал Гарлоу,— и понимаете, что документы, представленные мисс де Гаро, выполнены весьма художественно, но с юридической точки зрения не имеют никакой силы, если только вы...

— Если я не попрошу ее выступить свидетельницей. Гарлоу, вы славный человек! Не скрою от вас, мне бы не хотелось, чтобы моя *жена* воспользовалась этими документами. Мы перенесем тяжбу в разряд «неоконченных дел».

Так они и сделали. Но однажды вечером наш герой принес миссис Ройэл Тэтчер газету, в которой был помещен трогательный некролог покойному сенатору.

— Кармен, милая, прочти это. И тебе не стыдно за свои закулисные делишки?

— Нет,— твердо сказала Кармен.— Это были серьезные дела, и если бы все кулуарные делишки велись так же честно...

Даже пережив несколько землетрясений, из которых последнее произошло совсем недавно, осенью 1989 года, Сан-Франциско остается одним из крупнейших городов Америки и наверняка самым красивым. Поднимаются к облакам серо-голубые небоскребы, по знаменитому мосту через бухту Золотых ворот днем и ночью проносятся тысячи машин, в центральных кварталах жизнь бурлит допоздна, а парки зеленеют и цветут круглый год, поражая щедростью южных красок. Скоростные трассы, море огней, прибой, толпы на тротуарах, кафе, не закрывающиеся до утра, — кажется, в целом свете не найти другого места, где ритм и дух современной цивилизации чувствовался бы так неотступно, так обостренно.

Но всего полтора века назад ничего этого здесь не было: ни гигантского людского муравейника, ни мостов, ни сносных дорог. Был крохотный поселок, отрезанный от всего мира океаном с одной стороны, хребтом Сьерра-Невада — с другой. Вдоль берега лепилось десятка три обмазанных глиной хибар, над которыми вознеслась колокольня основанного испанцами монастыря. Чуть подалее, на холме ветшали постройки заброшенной фактории — напоминание об угасшей Российско-Американской компании да об экспедиции Н. П. Резанова, который на корабле «Юнона» посетил эти места в 1806 году, сохранив свое имя в романтическом предании о страстной любви русского капитана к дочери коменданта местного порта.

Предание сохранили испанцы, однако им недолго оставалась владеть в этих краях. С Востока накатывала волна американских переселенцев; они шли через просторную прерию, влекомые легендами о сказочно богатой стране у Тихого океана, а иные дезертировали с торговых бригов и основывали поселения, не признававшие власти испанского губернатора. В 1841 году после нескольких неудачных попыток одолеть горы и окружающую их пустыню первая партия незваных колонистов пробилась, наконец, к побережью. Пять лет спустя Калифорния была силой отторгнута от Мексики и присоединена к США.

А спустя еще три года началась «золотая лихорадка».

На территории, совсем недавно принадлежавшей Российско-Американской компании, строилась лесопилка, понадобилось углубить русло реки; вдруг в отвалах сверкнуло желтое пламя, грунт промыли, обработали осадок азотной кислотой — и для Калифорнии настала новая эпоха. Поселки обезлюдели, корабли стояли у причалов, покинутые экипажем. Искатели счастья бросились к Форт-Росс из соседнего Орегона, из Невады, а вскоре со всей Америки.

Плыли вокруг мыса Горн или, погрузившись в Нью-Йорке на судно, перетаскивали посуху груз через Панамский перешеек и нанимали тихоокеанскую барку. Но чаще всего добирались через материк в двуконных повозках, куда наспех бросили лопаты, кирки и ружья, чтобы отстреливаться от индейцев. Путь в Калифорнию был усеян могилами тех, кто сложил головы, так и не дождавшись вожаденных миллионов, за которыми надо только нагнуться.

За десятилетие, с 1849 по 1859 год, население нового штата выросло в сорок раз. От Соленого озера, где прежде кончались населенные белыми места, в Сакраменто протянулась железная дорога, а карта устаревала прежде, чем ее успевали отпечатать, — новые городки росли под калифорнийским солнцем, словно шампиньоны в теплице. Вслед за золотом по соседству, в Неваде, нашли серебро, а в окрестных горах еще и ртуть. Каменистые склоны, берега речек и ручьев, выжженные плато пестрели палатками старателей, торопившихся вбить заявочный столб и коряво расписаться на куске брезента, прибитом колышками к скалам. Сливки были давно уже сняты, а люди все продолжали приезжать, веря в поджидающую их удачу.

В 1854 году с очередной партией новоиспеченных аргонатов прибыл семнадцатилетний подросток, от отца и старшего брата слышавший о калифорнийских сокровищах. Его звали Фрэнсис Брет Гарт.

\* \* \*

Никакого золота он в Калифорнии не нашел, как не нашел в Неваде серебра повторивший его путь несколькими годами позже Марк Твен. На Западе оба они нашли вовсе не то, что собирались искать, — не драгоценную жилу, а литературный материал, питавший их творчество долгие годы. Брет Гарт оставался верен этому материалу всю свою писательскую жизнь.

В юности он не думал, что станет писателем. Брет Гарт (1836—1902) прошел путь самоучки, типичный для американских литераторов: никто не давал ему уроков мастерства, не помог отшлифовать его перо. Ребенком он много читал, рано открыл Диккенса и полюбил книги великого англичанина навсегда, но детство кончилось рано: потеряв в тринадцать лет отца, Брет Гарт вынужден был начать службу конторщиком, а верней, посыльным. В Калифорнию он потянулся за матерью, которой предложил руку и сердце колоритный джентльмен-авантюрист старого американского закала. Брет Гарт опишет его в своих рассказах под именем полковника Старботтла.

Окленд, где обосновалась семья, лежал в стороне от приисков. Брет Гарт все-таки испытал судьбу, вооружившись киркой и промывочным тазом, но быстро понял, что это занятие не для него. Одно время он был учителем, потом почтовым курьером. Свое призвание он обрел, став газетчиком.

В те времена журналист, пишущий для скромных провинциальных листков, должен был уметь все — и отыскивать материал, и литературно его обрабатывать, и набирать, и печатать. Брет Гарт начинал в тощем еженедельнике, выходившем в Юнионтауне, невзрачном старательском поселении. Что это было за издание, легко себе представить, читая его рассказы, где постоянно цитируются статьи из какого-нибудь «Вестника Рыжей Собаки» или «Глашатая Краснокожего Вождя».

Сенсации тут требовались в обязательном порядке, и ради броской новости, которую будут обсуждать во всех салунах, позволялось немилосердно уродовать факты, пресерьезно мусолить самые дикие домыслы,

даже с намерением околпачивать простаков, преподнося как достоверное сведение любую выдумку, лишь бы она была изобретательной. Обязанности пишущего перед истиной не признавались, занимательность ценилась превыше всего и достигалась любой ценой. Зато даром фантазии, а главное, знанием привычек и вкусов читающей публики такая работа вознаграждала сполна.

И то, и другое очень пригодилось, когда Брет Гарт решил всерьез посвятить себя литературе. Произошло это уже в Сан-Франциско, куда он перебрался весной 1860 года. Вскоре он напечатал свои первые новеллы на калифорнийском материале. Их успех превзошел самые смелые ожидания автора. А когда стараниями местных меценатов удалось наладить выпуск солидного журнала «Оверленд мансли», который Брет Гарт возглавил как редактор, открылся лучший период его творчества.

Заканчивались 60-е годы прошлого века. Позади осталась Гражданская война, резко переменившая все течение жизни в Америке, включая и Калифорнию, которая сохраняла нейтралитет, не вмешиваясь в спор Севера и Юга (рабовладение, правда, здесь было запрещено изначально). «Золотая лихорадка» тоже отошла в прошлое, оставив о себе память неузнаваемо преобразившимся обликом штата, который сделался богатейшим в Америке, и бесчисленными полулегендарными историями об этих овеянных романтикой временах.

Россыпи сюжетов, относящихся к той поре страстных мечтаний и поразительных капризов фортуны, к одним неправдоподобно ласковой, к другим до предела беспощадной, лежали нетронутыми, когда истощились золотоносные руды. Требовался человек, который рукою мастера огранит бы эти самородки, заставив их засверкать. Таким человеком оказался Брет Гарт.

В 1868 году появилось «Счастье Ревущего Стана», рассказ, прославивший его автора всюду в Америке и даже в Европе. Диккенс, его кумир, послал калифорнийскому прозаику письмо с лестной похвалой и приглашением участвовать в своем лондонском журнале. «Компаньон Теннесси», «Браун из Калавераса», «Илиада Сэнди-Бара» и другие новеллы, написанные, когда Брет Гарт переживал свой недолгий творческий расцвет, переводились на европейские языки, как только свежая книжка «Оверленд мансли» достигала Парижа и Берлина. В своей виллюйской ссылке Чернышевский прочел несколько этих рассказов, отозвавшись о них с восторгом. «Могущественный природный ум» в сочетании с «необыкновенно благородной душой», писал Чернышевский, искупают «недостаточность запаса впечатлений и размышлений», и поэтому Брет Гарт, выработавший «очень благородное понятие о вещах», — писатель с большим будущим.

Отметим в суждении Чернышевского дважды повторенное слово «благородный», — оно действительно ключевое, подразумевая характер конфликтов, к которым Брет Гарт возвращается постоянно. Мерой душевного благородства у него измеряется любой человеческий поступок, оценивается любой этический выбор. Все его любимые персонажи наделены даром самоотверженности и подлинной душевной широтой, все отрицательные герои мелочны и расчетливы. Для европейской литературы, к тому времени далеко продвинувшейся по пути постижения истинной сложности человеческой природы, подобная черно-белая гамма должна была выглядеть довольно примитивно, однако в обстоятельствах, которые изображает Брет Гарт, она оказывалась оправданной. Ведь эти обстоятельства неподдельно суровы, они каждого подвергают самой строгой проверке, ставя лицом к лицу с лишениями и опасностями, угрожающими самому существованию личности. И тогда все наносное отступает, а суть, нравственный стержень человека выявляется

с предельной четкостью. Брет Гарт понял этот психологический закон, став предшественником Джека Лондона и других писателей, сходным образом решавших психологические конфликты. Художественный эффект лучших его рассказов предопределен тем, что в них люди на виду — до самого дна.

Другое дело, что этот эффект не мог оказаться долговременным, с неизбежностью порождая самоповторения. Нельзя раз за разом создавать одни лишь экстремальные ситуации, словно бы будничная жизнь не таит в себе ни драматизма, ни напряжения, оставаясь только скучным фоном для того, чтобы особенно ослепительной вспышкой высветились роковые мгновения судьбы. Брет Гарт сам признавал, что найденный им способ повествования ограничен по своим возможностям. Он не раз пытался писать по-другому. Но выходило плоско и слабо. Все лучшее он создал в Калифорнии за те несколько лет, на которые пришла его слава.

Впрочем, и тогда на него смотрели только как на одаренного провинциала, которому еще предстоит доказывать весомость своих литературных притязаний. Сан-Франциско оставался периферией интеллектуальной жизни, сосредоточенной в старых центрах — Бостоне, Нью-Йорке. В 1871 году Брет Гарт покинул Калифорнию, отправившись на Восток. Это, как выяснилось впоследствии, была непоправимая ошибка. Он так и не вернулся в места, где прошла его молодость, но тосковал о них и писал только о них всю оставшуюся жизнь.

Бостон встретил его как чужака, не оценив по достоинству рассказы, которые Брет Гарт привез с собой, отправляясь в американскую литературную Мекку, — даже «Случай из жизни мистера Джона Окхерста». Вскоре его перестали печатать. В поисках заработка Брет Гарт стал разъезжать по стране с публичными чтениями собственных новелл. Они тоже не вызвали особого энтузиазма, и положение сделалось критическим. Брет Гарт пробовал освоить новые для него жанры, написал роман, затем пьесу — все без успеха. Надо было искать постоянный доход, хлопоча о должности. После долгих проволочек Брет Гарт получил место американского консула в Крефельде, столице маленького немецкого княжества.

Июньским полднем 1878 года он отплыл из Нью-Йорка, вряд ли догадываясь, что прощается с Америкой навсегда. Перед отъездом он закончил «Историю одного рудника», свою лучшую повесть. Напечатанная отдельным изданием, она не вызвала никаких откликов.

В Крефельде и потом в Глазго Брет Гарт люто тосковал по «золотым берегам Калифорнии», предаваясь ностальгии, заполнившей все, что он сочинил под старость. Его перо осталось легким, книги выходили одна за другой, но было ясно, что лучшие дни писательства давно миновали и ничего равного «Филдтаунской истории» или «Счастью Ревущего Стана» он уже не создаст. Жалованья не хватало, росли долги, и писать чаще всего приходилось просто ради денег. В английской литературной среде Брет Гарт так и не завязал прочных контактов, хотя его ценили такие авторитеты, как Честертон.

Старость принесла хвори и чувство тоски по оставленной родине. Брет Гарт работал до последнего своего дня. Его нашли за письменным столом, на котором лежали гранки последнего его рассказа.

\* \* \*

«Золотую лихорадку» Брет Гарт описывал не с натуры, а по воспоминаниям участников и очевидцев. Когда он сам очутился в Калифорнии, пик ее уже миновал. Впечатление полной достоверности всего,



о чем он рассказывает, создано не столько знанием из первых рук, — две-три недели, проведенные будущим писателем на приисках, не могли его дать, — а скорее искусством, которое основывается на продуманной системе приемов. Достоверность была главной целью многих американских прозаиков той поры, стремившихся к реализму. В Америке с ее молодой литературой реалистическое направление еще не утвердилось даже к концу Гражданской войны. Предстояло учиться той способности создавать глубоко типичные характеры и безукоризненно правдивые картины жизни, которая покоряла в книгах Диккенса и Теккерея, Бальзака, Флобера, других европейских реалистов.

Как раз в те годы, когда Брет Гарт опубликовал свои самые известные рассказы, заявила о себе школа «местного колорита», сделавшая первые шаги по этому пути. Многие из писателей, разделявших ее творческие установки, начинали свой путь в газетах. Журналистская работа позволила им вдоль и поперек изучить быт, нравы, понятия, поверья, особой метой отличавшие американский Дальний Запад от южных штатов, а Юг от Индианы или Массачусетса. Подобное разнообразие тогда еще чувствовалось в Америке очень сильно, составляя характерную особенность ее жизни. Бостон, Новый Орлеан, Чикаго, крохотные городки, затерявшиеся в прерии, стремительно выраставшие индустриальные центры наподобие Детройта или Омахи, — все это были как бы особые миры. Европейских путешественников неизменно удивляла пестрота американской действительности, казавшейся смешением несовместимых укладов жизни, несочетаемых особенностей быта. Для литературы такая чересполосица, создававшая резкие контрасты и завязывавшая драматические противоречия, была благодатным материалом, позволяя без труда добиваться красочности, выразительности деталей даже в непритязательном очерке, где сюжет исчерпывался каким-нибудь заурядным будничным происшествием.

У приверженцев «местного колорита» очерк и стал основным жанром. Они старались без затей и правдиво воссоздавать повседневность родных краев, дорожа всем, что было специфическим для того или другого штата: от местных преданий и легенд до характерных словечек. Особенно их интересовали человеческие типы, сформировавшиеся в этих своеобразных условиях, и книги «местных колористов» примечательны обилием характеров, которые несут на себе отпечаток противоречий, свойственных разноликой американской истории.

Брет Гарт в этом смысле далеко превзошел других прозаиков, ставивших перед собой те же творческие цели. Опыт газетчика и литературная выучка, которую он прошел, многократно перечитывая Диккенса, дали особый сплав, отличающий его прозу. Никто из «местных колористов» не обладал ни таким безошибочным мастерством точной детали, ни таким юмором. Брет Гарт бывает сентиментален, мелодраматичен, назидателен — все это дань романтическим условностям, доживавшим свой век. Порой он невыносимо выпретен, порой торопится привести дело к счастливому концу. Но в его лучших рассказах пристрастие к патетике и надрыву искупается завидной наблюдательностью, пониманием логики и мотивов, которые движут персонажами, а главное, неверием в иллюзии, пробужденные «золотой лихорадкой».

Такие иллюзии распустились пышным цветом, когда мечта о легких калифорнийских деньгах овладела тысячами людей. А реальность оказалась суровой: старательский лагерь, населенный одними мужчинами, отупевшими от работы без выходных, нехватка самого необходимого и пир спекулянтов, взвинтивших цены до баснословных цифр, стихийные бедствия, поножовщина в салунах, нашествие проходимцев, интригами сколотивших себе состояние на чужом горбу. Кто-то богател, но

чаще всего тут же спускал нажитое в домах терпимости или за карточным столом, где царил профессиональный шулер. Другие мерзли в палатках, тщетно преследовали ускользающую удачу, спивались и погибали.

Обо всех этих перипетиях калифорнийской эпопеи Брет Гарт рассказал, ничего не приукрашивая и не смягчая углов. В его новеллах о старателях есть несколько персонажей, которые переходят из рассказа в рассказ: возчик Юба Билл, игроки Джек Гемлин и Джон Окхерст. Своим присутствием они как бы связывают воедино мозаику эпизодов, показывающих разные облики изображаемой социальной среды. А в итоге возникает целостный неоднозначный образ, показывающий ее со всеми противоречиями и парадоксами, которые характеризуют этот неповторимый мир. В нем нерасторжимо сплелись взаимоисключающие начала — очерствелость и великодушие, бескорыстие и аферизм, товарищество и соперничество, напористая хватка индивидуалиста и своего рода джентльменский кодекс, в решающие минуты оказывающийся выше практических расчетов.

Пока охота за сокровищами еще не переросла в пошлую битву за миллион, подобное сочетание полярностей оставалось неотъемлемой приметой калифорнийской жизни, резко выделявшейся на тусклом фоне американских будней. Брет Гарт воплотил краткий миг, когда американская история окрасилась неподдельной романтикой. Это его бесспорная заслуга перед литературой.

Он быстро нашел своего героя — им стал рядовой человек, не поддавшийся страсти обогащения любыми способами и среди всеобщего ажиотажа сохранивший в себе честность, отзывчивость, чувство справедливости. Загрубев от лишений и дикости местных обычаев, этот герой мог шокировать чинную публику, почитавшую правила благопристойности. Он знает свою выгоду и при случае ее не упустит, хотя бы и обойдясь с заветами нравственности достаточно вольно. Он изобретателен, порой и жуликоват; в какой-нибудь Скороспелке или Сэнди-Баре, «свином хлеву беззакония и вертепе блудниц», как выражаются проповедники, он чувствует себя куда уютнее, чем в храме или в светской гостиной. Однако утилитарной морали он не признает, а за честь — свою и товарищей — всегда готов постоять и словом, и делом.

Ему ведомы милосердие к отверженным и участие к проигравшим в схватке с жизнью. При всей своей несентиментальности он способен стать и заботливым, и нежным, как раз в минуту испытания выявляя истинную широту души, которой Брет Гарт любит откровенно, даже чуточку наивно. «Компаньон Теннесси», «Браун из Калавераса», «Мужья миссис Скэгс» и другие знаменитые его новеллы построены на одной и той же коллизии: жизнь проверяет прочность нравственных убеждений неприметного человека, словно наугад выхваченного из толпы старателей, и герой выдерживает такую проверку с настоящим достоинством, чего бы это ему ни стоило.

Частое возвращение к подобным сюжетам свидетельствовало, сколь многим был обязан Брет Гарт Диккенсу, у которого они тоже занимают важнейшее место. Но все-таки в основе их лежат не литературные впечатления, а реальность, которую писатель наблюдал у себя в Калифорнии и старался передать, насколько удавалось, правдиво. Иной раз он был вынужден идти против негласных запретов. Никто до него, например, не писал о китайцах, чье положение на Дальнем Западе было ничем не лучше, чем положение негров на Юге. Брет Гарт первым заговорил об этих бесправных и забытых иммигрантах с сочувствием, а когда требовалось, то и с ядом памфлетиста, бичующего обыденный, никем не замечаемый расизм. Для мексиканцев, в которых видели конкурен-

тов и врагов, он тоже нашел слова понимания и доброжелательства. Век с лишним спустя эти слова вовсе не потеряли актуальности.

С годами Брет Гарт все чаще обращался к откровенно язвительной социальной критике. Он описывал банкиров из Сан-Франциско, которые берут на откуп целые прииски и держат золотоискателей в кабале,— такова фабула его романа «Габриэль Конрой». Прожженные авантюристы и вашингтонские взяточники составили основной круг персонажей «Истории одного рудника». Обычное для «местных колористов» противопоставление полуцивилизованного Запада поработенному светскими нормами Востоку Брет Гарт всегда использовал для того, чтобы лишний раз восхититься калифорнийским привольем и естественностью понятий, которыми живут в старательских поселках. Его герой, вчерашний оборванец, который разбогател и переселился на Восток, не радуется изнеженной культуре и утонченности своего нового окружения,— ничто не заменит ему желтой реки Станислав, бегущей мимо аскетических со-сен, и угрюмых очертаний Дредвудской горы.

Но шло время, и поэзия Калифорнии как-то отодвигалась в тень, а на авансцене оказывались преуспевшие преступники, которые, прокладывая себе путь когда махинациями, когда пистолетом, завоевали места под солнцем и сделали почтенными бюргерами в процветающем Сан-Франциско. Брет Гарт немало их перевидал в молодости, и рассказы вроде «Великой дредвудской тайны», несмотря на искусственно звучащий счастливый финал, явились важным дополнением к калифорнийской эпопее, которую он создавал всю жизнь.

Считается, что нападки, которым Брет Гарт подвергался у себя на родине, были вызваны прежде всего обличительными страницами, частыми в его поздних произведениях. Это не совсем так; упадок таланта, начавшийся после того, как Брет Гарт переселился на Восток, несомненен, и критики не так уж заблуждались, утверждая, что он исчерпал себя. Но раздражение, с которым он то и дело сталкивался в последние годы жизни на родине, хотя бы отчасти было порождено и тем, что Брет Гарт перестал соответствовать собственному образу, который сложился в сознании публики. Считалось, что он должен смешить и умилять. А он с ходом лет все больше высмеивал, негодовал, шаржировал. И при этом терял своих последних приверженцев.

Но любовь к Калифорнии он сохранил до конца, и в разлуке, оказавшейся вечной, она разгоралась только сильнее. Брет Гарт замкнулся в воспоминаниях, словно перестав замечать, как быстро меняется век. Он выпал из американской литературной жизни, и многие поражались, узнав, что он все еще существует на свете, даже что-то пишет. Славы ему эти писания не прибавили, однако в очень неравноценном наследии, которое оставил Брет Гарт, найдется достаточно рассказов, сохраняющих притягательность для все новых и новых читательских поколений.

*А. Зверев*

---

## СОДЕРЖАНИЕ

### РАССКАЗЫ

Счастье Ревущего Стана. <i>Перевод Н. Волжиной</i> . . . . .	5
Компаньон Теннесси. <i>Перевод Н. Волжиной</i> . . . . .	18
Браун из Калавераса. <i>Перевод Н. Дарузес</i> . . . . .	28
Блудный сын мистера Томсона. <i>Перевод Н. Волжиной</i> . . . . .	39
Илиада Сэнди-Бара. <i>Перевод Н. Волжиной</i> . . . . .	48
Мужья миссис Скэгс. <i>Перевод А. Поляковой</i> . . . . .	61
Фидлтаунская история. <i>Перевод Р. Бобровой</i> . . . . .	94
Случай из жизни мистера Джона Окхерста. <i>Перевод Н. Волжиной</i> .	138
Человек со взморья. <i>Перевод А. Ильф</i> . . . . .	162
Святые с предгорий. <i>Перевод Е. Осеневой</i> . . . . .	193
Кто был мой спокойный друг. <i>Перевод А. Мурик</i> . . . . .	207
Великая дедвудская тайна. <i>Перевод Н. Бать</i> . . . . .	215
Флип. <i>Перевод Е. Коротковой</i> . . . . .	240
Находка в Сверкающей Звезде. <i>Перевод Е. Грин</i> . . . . .	283
В миссии Сан-Кармел. <i>Перевод Р. Бобровой</i> . . . . .	318
История одного рудника. Повесть. <i>Перевод Н. Волжиной и Н. Дарузес</i>	357
<i>А. Зверев. На золотых берегах Калифорнии</i> . . . . .	456

## Брет Гарт

Г 20 Находка в Сверкающей Звезде. Рассказы. История одного рудника. Повесть: Пер. с англ. / Послесл. А. М. Зверева; Ил. Н. Г. Раковской.— М.: Правда, 1991.— 464 с., ил.

ISBN 5—253—00155—7

Сборник составили знаменитые старательские рассказы классика американской литературы Брет Гарта (1836—1902), посвященные эпохе «золотой лихорадки» в Калифорнии в середине прошлого века, а также небольшая повесть «История одного рудника».

Г  $\frac{4703000000-2072}{080(02)-91}$  2072—91

84.7 США

Литературно-художественное издание

**БРЕТ ГАРТ**

**НАХОДКА В СВЕРКАЮЩЕЙ ЗВЕЗДЕ**

*Рассказы*

**ИСТОРИЯ ОДНОГО РУДНИКА**

*Повесть*

Редактор Н. А. Галахова

Оформление художника Г. А. Раковского

Художественный редактор Р. А. Ключков

Технический редактор В. С. Папкова

**ИБ 2072**

---

Сдано в набор 24.01.90. Подписано к печати 21.08.90.  
Формат 84×108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 2.  
Гарнитура «Гарамонд». Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 24,36. Усл. кр.-отт. 24,57. Уч.-изд. л. 27,29.  
Тираж 500 000 экз. (1-й завод: 1—100 000).  
Заказ № 1613. Цена 4 руб.

Набор и фотоформы изготовлены в ордена Ленина  
и ордена Октябрьской Революции типографии  
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».  
125865, ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Отпечатано в типографии издательства  
«Восточно-Сибирская правда»,  
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.



4 руб.